

К. М А Р К С

и

Ф. Э Н Г Е Л Ъ С

СОЧИНЕНИЯ

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Публицистика - Философия - История

ОТДЕЛ ВТОРОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАПИТАЛ
ТЕОРИИ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ
ПЕРЕПИСКА

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ

**ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!**

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

К. МАРКС
и
Ф. ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

ТОМ
VI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й

К. МАРКС

И

Ф. ЭНГЕЛЬС

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ

1848 — 1849

ЧАСТЬ I

ИНСТИТУТ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

I.

Шестой и седьмой томы сочинений Маркса и Энгельса охватывают период от конца мая 1848 г. до начала июля 1849 г. Собранные в них статьи и материалы должны дать картину деятельности Маркса и Энгельса в эпоху революции 1848 — 1849 гг. не только как редакторов «Новой рейнской газеты», но и как революционеров-практиков.

До сих пор эта деятельность была известна главным образом по статьям Маркса и Энгельса, собранным в третьем томе изданного Мерингом «Литературного наследства Маркса и Энгельса».¹

Если и вообще издание Меринга отличается крайним субъективизмом, то наиболее субъективным и тенденциозным является именно третий том.

«В сущности говоря, — писали мы, — он представляет подбор и произвольную группировку статей Маркса и Энгельса, иногда значительно сокращенных. Уже первая обработка всех номеров «Новой рейнской газеты» показала нам, что Меринг, по тем или иным соображениям, пропустил не один десяток статей. Иногда эти соображения были чисто цензурного свойства. Так, знаменитая статья Маркса «Подвиги Гогенцоллернов», а также статьи, помещенные в течение последних дней существования «Новой рейнской газеты», которые несомненно были известны Мерингу, не могли быть перепечатаны в Германии в 1902 г., так как это навлекло бы на издателя процесс за оскорбление величества. И, опять-таки вследствие того, что приходилось считаться с «местными условиями», Меринг при своем выборе использовал «Новую рейнскую газету» за маленькими исключениями, но лишь постольку, поскольку она трактовала о *немецкой революции*. Совершенно опущен ряд статей Энгельса о Франции, Италии и Венгрии. Оставлены были без внимания также многочисленные статьи Маркса, имеющие огромное значение для оценки его роли в эпоху революции 1848 — 1849 гг.

¹ «К. Маркс и Ф. Энгельс в эпоху немецкой революции (1848 — 1850 гг.). Очерки и статьи, собранные Ф. Мерингом, под редакцией и с предисловием Д. Рязанова». Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. — Госиздат, М. — Л. 1926.

Меринг отчасти и сам признает эти пробелы и свой «субъективизм» в выборе статей, которые должны «правильно осветить отношение газеты к важнейшим историческим событиям революционной эпохи». Он вынужден был поэтому «местами нарушить хронологический порядок, соединить под общими заглавиями, по большей части им самим выбранными, те статьи, которые имели историческую связь между собою, и присоединить к большим статьям те отрывки, которые иногда наиболее ярко отражали дух газеты, хотя бы даже они входили в состав статей, не имеющих значения в других отношениях».

Таким образом, наряду с статьями, которые по содержанию являются точным или почти точным воспроизведением статей «Новой рейнской газеты», мы находим в собрании Меринга ряд статей, — например, «Министерство Кампгаузена», «Национальные революции» и др., — которые составлены из отрывков, выделенных Мерингом из разных статей, иногда совершенно произвольно, чтобы подогнать их под выбранное им общее заглавие.

Приведем один пример. Глава «Министерство Ганземана» скомпонована в собрании Меринга¹ таким образом. Она начинается статьей, которая и в «Новой рейнской газете» носит название «Министерство Ганземана». Она дана Мерингом без всяких сокращений (у него стр. 128 — 129, у нас стр. 267 — 268). Вторая статья — «Согласительные дебаты» (у нас стр. 271 — 275) — сильно сокращена. Из пяти страниц даны только первые две (у нас стр. 271 — 272, у Меринга стр. 129 — 131). Из статьи «Аресты» (у нас стр. 276 — 278) взяты только начало (три строки) и заключение (шестнадцать строк). У Меринга эти два отрывка соединены на стр. 131. Из трех больших статей — «Законопроект о гражданском ополчении» — (20, 21 и 23 июля 1848 г.; у нас стр. 312 — 323) Меринг (стр. 132) взял полстранички из второй статьи (у нас стр. 319). Без сокращений дана статья «Законопроект о феодальных поборах» (у нас стр. 335 — 340, у Меринга стр. 132 — 138). Таким образом из 30 страниц Меринг выкинул около 20, оправдываясь тем, что он брал «те мелкие отрывки, которые иногда наиболее ярко отражали дух газеты».

Меринг подчеркивает, что он пропустил отдельные статьи, хотя они «вероятно, или даже без всякого сомнения, были написаны Марксом или Энгельсом». Это вполне понятно. Он был связан договором с Дицем, который предоставил в его распоряжение ограниченное количество листов. Только в академическом издании можно дать все статьи Маркса и Энгельса, несомненно или вероятно написанные ими. Мы тоже в настоящем издании даем не все статьи Маркса и Эн-

¹ В русском издании под моей редакцией стр. 128 — 138.

гелса из «Новой рейнской газеты». Но не было никакой необходимости издавать статьи Маркса и Энгельса в таком произвольно подбранном и урезанном виде. Лучше было ограничить свой выбор наиболее характерными и выдающимися статьями, но дать их целиком, без всяких пропусков.

Меринг «отказывается» расследовать, какие из вновь печатаемых им статей написаны Марксом и какие — Энгельсом. Авторство некоторых отдельных статей, конечно, определенно установлено. Так, Марксу принадлежит статья о парижских июньских боях, между тем как статьи о венгерской революции и о демократическом панславизме принадлежат Энгельсу, который вообще разработал вопрос о венгерской революционной борьбе на столбцах «Новой рейнской газеты». Меринг совершенно верно замечает, что «вообще каждая ежедневная газета является в большей или меньшей мере продуктом коллективного творчества ее редакторов, особенно таких людей, как Маркс и Энгельс, которые в течение многих лет привыкли работать рука об руку».

Мы знаем, что в первое издание сочинений Ленина вошли газетные статьи, писанные не им, а другими сотрудниками. Так трудно в газете, в которой сотрудники хорошо сработались с редакцией, отличить статью главного редактора от статьи сотрудника, подвергшейся тщательной редакционной правке или, что еще труднее, дополненной некоторыми вставками, отличающимися всеми индивидуальными особенностями стиля редактора. Именно такие характерные черточки или стилистические особенности заставляют приписывать статьи сотрудников, в которые вкраплены такие вставки, самому редактору. Правда, такие статьи по существу являются уже продуктом не индивидуального, а коллективного творчества.

Еще труднее установить это авторство, когда речь идет о статьях таких писателей, как Маркс и Энгельс. Несмотря на все индивидуальные отличия стиля и манеры писания, во многих случаях, — именно потому, что Маркс и Энгельс обсуждали совместно ту или иную тему, — трудно определить, кто из них писал данную статью и кто делал только вставки и дополнения. Чаще всего главным автором являлся Энгельс, и Марксу принадлежали только вставки. Правда, имеются такие статьи, авторство которых можно приписать только Марксу. Обратимся опять к Мерингу. Отказавшись от исследования вопроса, кем именно написаны собранные им статьи, — Марксом или Энгельсом, — он все же позволяет себе сделать следующий вывод:

«Насколько я могу судить об этом, большая часть вошедших в этот том статей написана Марксом, некоторые из них, как мне кажется, не без непосредственного участия Энгельса, перо которого

чувствуется, например, в некоторых частях статей о Польше).

Счастливая случайность помогла нам установить авторство статей о Польше. Они принадлежат не Марксу, а Энгельсу, хотя в них чувствуется и «непосредственное участие Маркса».

Сохранился экземпляр книги Адлера «Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland» с пометками Энгельса. Излагая взгляды «Новой рейнской газеты» на польский вопрос, Адлер приписывает статьи о Польше Марксу. Энгельс поправляет Адлера и ставит вместо фамилии Маркса — свою.

Если принять во внимание, что эти статьи Энгельса, по своим размерам, немногим меньше трети напечатанных Мерингом статей Маркса и Энгельса из «Новой рейнской газеты», то придется, в противоположность Мерингу, сказать, что бóльшая часть напечатанных им статей написана не Марксом, а Энгельсом. Действительно, если сосчитать статьи, несомненно принадлежащие Энгельсу, то им написано чуть ли не две трети собранных Мерингом статей.

Мы знаем теперь, что Энгельс еще в молодые годы отличался необыкновенной литературной продуктивностью. Он был настоящим журналистом, умевшим быстро и легко писать на самые разнообразные темы. Но как раз статьи о польском вопросе показывают, что Энгельс умел в то же время, благодаря своим знаниям и прекрасной подготовке, писать не только скоро, но и основательно. Они показывают также, что не Марксу, а Энгельсу принадлежит в «Новой рейнской газете» большинство статей, в которых дается отчет о дебатах во франкфуртском и берлинском парламентах. Можно сказать, что именно он создал эти яркие и живые картины, в которых так отчетливо отображаются «дни и труды» обоих национальных собраний.

Все сведения, которые мы имеем о «Новой рейнской газете», показывают, что Энгельс был одним из самых, если не самым деятельным сотрудником «Новой рейнской газеты». Маркс, как главный редактор газеты, был вынужден много заниматься и другой работой, кроме писания передовиц. На нем лежала главная тяжесть организационной работы. Как и в старой «Рейнской газете», он был главным руководителем, распределял темы, следил, чтобы газета, не насилью индивидуальности главных сотрудников, не подчиняя их одному и тому же шаблону, не жертвуя разнообразием, не подводя все под один ранжир, сохраняла, как политический орган, строгое единство. В этом отношении Маркс значительно превосходил Энгельса.

Когда Виктор Адлер жалуется Энгельсу, что организационная работа в редакции только что поставленной «Arbeiter-Zeitung» отнимает у него столько времени, что он не успевает писать передовицы, Энгельс приводит ему в пример «Neue Rheinische Zeitung» и Маркса.

«Что ты пока не имеешь времени для писания передовиц, — пишет он Виктору Адлеру 9 января 1895 г., — вполне понятно. То же самое было с Марксом в «Новой рейнской газете». В течение первого месяца он написал только две статьи, а за первую четверть года — едва пять. Главный редактор вначале имеет очень много работы по части организации, а это и есть самое важное».¹

Первая четверть года, это — июнь, июль и август 1848 г., а так как Маркс уехал из Кельна 22 или 23 августа — мы увидим сейчас куда и с какой целью — и вернулся только к 12 сентября, то оказывается, что от 1 июня до 13 сентября Маркс написал не больше пяти статей, т. е. из собранных Мерингом за этот период статей огромное большинство написано Энгельсом.

У нас есть еще одно любопытное свидетельство. Оно принадлежит Стефану Борну, старому соратнику Маркса и Энгельса, прежде одному из виднейших членов Союза коммунистов, а после профессору истории литературы в Базельском университете. В своих воспоминаниях, писанных пятьдесят лет спустя, когда Борну уже был известен отрицательный отзыв о нем Энгельса, он рассказывает о своем посещении редакции «Новой рейнской газеты». Борн приводит свой разговор с Энгельсом о положении дел в редакции.

«Энгельс, — во всяком случае главный работник редакции, ибо никто не обладал его способностью так легко писать, — отложил в сторону работу, чтобы, как в старое время, поболтать со мной или, вернее говоря, излить свою душу. Он не был доволен. Только Вильгельм Вольф, сын силезского крестьянина, который в «Новой рейнской газете» предъявил крупному феодальному дворянству родной провинции детальный перечень всех грабежей, совершенных им у подвластных ему бедных крестьян, — только этот Вольф нашел у Энгельса снисхождение... Но больше всего жаловался Энгельс на Маркса. «Он вовсе не журналист, — говорил он, — и никогда не станет им. Над передовицей, которую другой напишет в два часа, он корпит целый день, как будто речь идет о решении глубокой философской проблемы; он поправляет и оттачивает, и опять исправляет поправленное и из-за этой основательности никогда не бывает готов к сроку». Борн прибавляет, однако, что Энгельс «питал глубокое уважение к Марксу, превосходство которого он всегда признавал».²

Во всяком случае не подлежит никакому сомнению, что Марксу принадлежит в «Новой рейнской газете» гораздо меньше статей, чем это казалось Мерингу. И не только в силу той особенности, на которую

¹ V. Adler, Aufsätze, Reden und Briefe, Heft I., Wien, 1922, S. 117.

² S. Born, Erinnerungen eines Achtundvierzigers. Leipzig, 1898, S. 198—199.

указал Энгельс в разговоре с Борном и о которой он мог говорить со старым товарищем как о факте, хорошо известном и Борну: Энгельс и после неоднократно журил Маркса — и устно, и письменно — за эту привычку «корпеть» над своими литературными работами. Но Энгельс знал, что Маркс и в «Новой рейнской газете» умел, когда этого требовала повелительная нужда, писать свои статьи достаточно скоро, хотя это и стоило ему огромного напряжения. Был период, и довольно продолжительный, когда вся тяжесть работы, не только организационной, но и литературной, лежала почти целиком на Марксе.

Но кроме организационной работы и руководства газетой была еще одна весьма важная, хотя и мало заметная работа, без которой немислимо ведение серьезного политического органа. Это — работа правки статей всяких рядовых корреспондентов, редактирование хроники, общение с «читателем». В общем и целом — все та же организационная работа, в которой больше всего помогал Марксу, как мы знаем опять-таки от Энгельса, Вильгельм Вольф.

«Его неустанное трудолюбие, — пишет Энгельс, — его скрупулезная, ничем не сбиваемая добросовестность имели для него в редакции, состоявшей из молодых людей, ту невыгоду, что другие позволяли себе иногда уходить на часок-другой, в полной уверенности, что «Лупус позаботится уже о том, чтобы газета была во-время готова». И я сам тоже принадлежал к их числу. Вот почему Вольф в первое время существования газеты меньше занимался писанием рефератов, чем текущей работой. Он, однако, скоро нашел способ использовать ее для самостоятельной деятельности. Под периодической рубрикой «Из империи» он группировал известия из немецких мелких государств и с несравненным юмором издевался над всей ограниченностью и филистерством правящих и управляемых как в государственных, так и в городских делах».

Самыми деятельными членами редакции после Маркса, Энгельса и Вольфа были Дронке и Веерт, который вел фельетон. Фердинанд Вольф не отличался особым прилежанием, а Фрейлиграт вступил в редакцию только в последний период ее существования. Но ни один из них не играл руководящей роли. Если не считать фельетонов Веерта и боевых стихотворений Фрейлиграта, идейное содержание которых составлял поэтический перепев статей Маркса и Энгельса, то все статьи, определяющие программу и тактику «Новой рейнской газеты», принадлежали Марксу, Энгельсу и Вильгельму Вольфу.

В специальной статье, посвященной Марксу и «Новой рейнской газете», Энгельс пишет:

«Конституция редакции сводилась к простой диктатуре Маркса. Для большой ежедневной газеты, которая должна выходить в опре-

деленный час и которая хочет проводить определенные взгляды, иная конституция и невозможна. К тому же для нас диктатура Маркса была чем-то самым собою разумеющимся, бесспорным, и все охотно принимали ее. Благодаря, главным образом, его пронизательности и твердости его взглядов газета стала самым замечательным немецким органом революционных годов».

II

В этой же статье Энгельс рассказывает историю основания «Новой рейнской газеты». Он объясняет, почему он и Маркс, приступая к основанию в Германии большой газеты, не развернули сразу коммунистическое знамя. Главной причиной являлась отсталость и неподготовленность немецкого пролетариата. «Несколько сотен разрозненных членов Союза коммунистов оказались незаметными в огромной, приведенной внезапно в движение массе. И вот почему немецкий пролетариат появился впервые на политической арене как крайняя демократическая партия».

Это вовсе не значило, что Маркс и Энгельс отказались от своей коммунистической программы. Составляя сейчас же после того, как разразилась февральская революция, программу-минимум для Германии, они указывали, что осуществление выставленных ими требований лежит именно в интересах всей демократии — *в интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и крестьянского сословия*.

Правда, в эти требования входил и ряд мер, рассчитанных уже на переходный период от капиталистического общества к коммунистическому.

Вся Германия объявляется единой, нераздельной республикой. Всякий гражданин, достигший 21 года, получает активное и пассивное избирательное право. Народные представители получают вознаграждение, чтобы и рабочие имели возможность заседать в парламенте. Всеобщее вооружение народа. Превращение в будущем армий в рабочие армии. Бесплатное судопроизводство.

На-ряду с этими политическими требованиями, осуществление которых должно было создать не политическое господство пролетариата, а только предварительные его условия, в интересах крестьянства и мелких арендаторов выставлялись следующие требования: отмена, без всякого выкупа, всех феодальных повинностей, оброков, барщины и т. д.; обращение в собственность государства всех имений, принадлежащих государям и крупным феодалам, всех рудников, копей и т. д.; на этих землях должно вестись хозяйство в крупном масштабе; проценты по долгам, лежащим на крестьянских землях, а равно и арендная плата уплачиваются государству в виде налога.

Программа предвидит ряд требований, осуществление которых должно ослабить господство денежных капиталистов. На место всех частных банков выступает государственный банк. Государство сосредоточивает в своих руках все средства транспорта: железные дороги, каналы, пароходы, гужевые дороги, почту и т. д. В вознаграждении всех государственных чиновников не устанавливается никаких различий, кроме прибавки на семью. Полное отделение церкви от государства. Ограничение права наследования. Введение усиленного прогрессивного налога и уничтожение налогов на предметы потребления. Всеобщее и бесплатное народное образование.

В интересах борьбы с безработицей рекомендуется устройство национальных мастерских. Государство гарантирует всем рабочим существование и берет на себя попечение о неспособных к труду.

Мы видим, что в этой программе нет ни одного слова ни о свержении буржуазии, ни о господстве пролетариата, ни об основании нового общества без классов и без частной собственности.

Эта программа составлена была в развитие тех основных тактических положений, которые были формулированы в «Коммунистическом манифесте»:

«В Германии коммунистическая партия борется совместно с буржуазией — как только она выступает революционно — против абсолютной монархии, против феодального землевладения и мелкой буржуазии. Но ни на минуту не перестает она вырабатывать в умах рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должно принести с собою господство буржуазии, как оружие против нее же самой, чтобы, сейчас же после крушения реакционных классов в Германии, началась борьба против самой буржуазии».

Маркс и Энгельс уже в «Коммунистическом манифесте» не переоценивали степени зрелости немецкого пролетариата в сравнении с современным ему английским или французским. Они подчеркнули, что считают его более развитым, чем английский пролетариат эпохи Великого бунта и французский пролетариат эпохи Великой французской революции. Но они выражали уверенность, что «немецкая буржуазная революция может быть лишь непосредственным прологом к пролетарской революции».

В другом месте мы подвергнем критике эти взгляды Маркса и Энгельса и дадим детальный анализ их тактики в эпоху немецкой революции.¹ Мы увидим, что они натолкнулись на оппозицию и в

¹ Вкратце эту критику мы дали в книжке «Маркс и Энгельс», пятая лекция

собственной среде. У них были оппоненты и слева, и справа. Пока мы ограничиваемся тем, что передаем их аргументацию.

«Немецкие рабочие должны были, — пишет Энгельс, — раньше всего завоевать себе те права, которые были необходимы им для самостоятельной организации в классовую партию: свободу печати, союзов и собраний, — права, которые сама буржуазия должна была бы завоевать в интересах своего собственного господства, но которые, из страха перед рабочими, она стала теперь оспаривать у них. Несколько сотен разрозненных членов Союза коммунистов оказались незаметными в огромной, приведенной внезапно в движение массе».

Но это и был спорный вопрос. Что именно должны были делать в первую очередь эти «сотни разрозненных членов Союза коммунистов»? Заняться укреплением, собиранием и расширением своей самостоятельной коммунистической организации, спланировать только самые передовые слои пролетариата под знаменем своего собственного коммунистического органа и на время отрезать себе всякий доступ даже в среду пролетариата, который, столь же мало развитой, как и немецкая буржуазия, не имевшая привычки «к полному духовному подчинению», был «неорганизован, неспособен еще даже к самостоятельной организации» и «лишь смутно чувствовал глубокую противоположность своих интересов интересам буржуазии»? Или, не отказываясь от этой основной задачи, не порывать в то же время связей с демократическими массами, входить в организации, созданные крайним левым крылом демократической партии, и создать «орган демократии», который толкал бы вперед демократические массы, ни на минуту не отказываясь от главных принципов *пролетарской* демократии и от беспощадной критики всех промахов и ошибок *буржуазной* демократии?

Маркс и Энгельс предпочли второй путь. Он казался им более практическим, но практика сама скоро показала, в чем заключалась их ошибка.

Поэтому знаменем газеты они выбрали «знамя демократии, но демократии, которая повсюду, во всех конкретных случаях, выдвигала бы свой *специфически пролетарский характер*, какой она не могла еще раз навсегда придать своему знамени».

Необходимо было доказать, что именно коммунисты, представители интересов пролетариата, будут наиболее последовательно защищать требования крайней демократической партии.

«Если бы мы не пошли на это, если бы мы не захотели пойти в ногу с исторически данным, наиболее прогрессивным, фактически пролетарским флангом движения, чтобы толкать его вперед, нам оста-

валось бы только проповедывать коммунизм в каком-нибудь захолустном листке и основать, вместо большой партии действия, маленькую секту. Но для роли проповедников в пустыне мы уже не годились: для этого мы слишком хорошо изучили утопистов. Не для этого мы составили свою программу».

История основания «Новой рейнской газеты», к сожалению, до сих пор еще не разработана. Главным свидетелем до сих пор являлся Энгельс. Меринг в общем повторяет его рассказ.

«Когда мы приехали в Кельн, — пишет Энгельс, — там уже велись приготовления со стороны демократов, а отчасти и коммунистов, к созданию большой газеты. Ее хотели сделать узко местной, кельнской, а нас удалить в Берлин. Но не прошло и 24 часов, как мы, благодаря Марксу, одержали победу: газета стала нашей под условием включения в редакцию Генриха Бюргера. Последний написал (в № 2) одну статью, а второй статьи так и не написал».

Энгельс несколько упрощает эту историю. Верно только, что Маркс принял решающее участие в деле организации газеты.

В конце марта 1848 г. Маркс получил из Кельна письмо от Веерта (25 марта):

«Я уже несколько дней в Кельне. Все вооружено, берлинскими обещаниям не верят, только всеобщее избирательное право, полная свобода печати и ассоциаций могут дать удовлетворение. Старый ландтаг в глазах народа совершенно мертв. Всех его прежних членов, которые выступают, но не являются вполне демократами, сгоняют с трибун; сегодня уезжают в Берлин пять членов, чтобы все это изложить королю. Соглашаются только на ландтаг, выбранный всеобщим голосованием. То же самое относится и к Франкфуртскому имперскому собранию — туда посылают несколько человек, чтобы внимательно наблюдать там за делегатами.

«Хотя все, что здесь проводят, звучит очень демократически, но слово республика всех пугает, и нашествие немцев из Парижа было бы здесь плохо принято. Зато ближе к Кобленцу и Верхнему Рейну настроение, видимо, больше в пользу республики.

«Коммунизм — теперь самое страшное слово. Открыто выступающий коммунист был бы побит камнями. Даниэльс, Бюргерс, д'Эстер говорят о новой газете. Фонды, которые хотят получить для этого, кажутся мне сомнительными. Вместо того, чтобы сидеть в Париже, было бы, наверное, лучше, если бы ты сюда приехал. Полиция весьма ослабла, и амнистия, видимо, до сих пор действительно применяется».

Из письма другого приятеля Энгельса, Наута, мы знаем, что Маркс и Энгельс должны были приехать в Эльберфельд уже 4 апреля.

В действительности они уехали из Парижа только 7 апреля. Переехав через границу, они, вероятно, направились в разные стороны — Энгельс в Эльберфельд, а Маркс в Кельн. Из их переписки нам теперь известно письмо Маркса, написанное около 24 апреля Энгельсу в Эльберфельд:

«Здесь подписалось уже изрядно много народу, и мы скоро сможем приступить к изданию. Но теперь необходимо, чтобы ты предъявил требования своему старику и вообще *окончательно* определил, что можно сделать в Бармене и Эльберфельде».

Из этого же письма Маркса мы узнаем, что проспект газеты был написан Бюргерсом. Таким образом, мы имеем доказательство, что Бюргерс, как это указывается и Энгельсом, действительно играл известную роль в основании газеты.

Миссия самого Энгельса в Эльберфельде кончилась неудачей. 25 апреля 1848 г. он пишет Марксу:

«Только что получил проспект вместе с твоим письмом. На акции здесь приходится, к сожалению, очень мало рассчитывать. Бланк,¹ которому я уже раньше писал об этом и который еще лучше их всех, на практике превратился в буржуа; остальные стали еще более буржуа, с тех пор как обзавелись собственными предприятиями и вступили в коллизию с рабочими. Эти люди боятся, как чумы, обсуждения общественных вопросов; они называют это подстрекательством... По существу, даже эти радикальные буржуа видят в нас своих будущих главных врагов и не хотят давать нам в руки оружие, которое мы очень скоро обратим против них самих. От моего старика совершенно ничего нельзя добиться. Для него «Кельнская газета» является средоточием всякой крамолы, и вместо тысячи талеров он охотно послал бы нам тысячу картечных пуль».

В том же письме Энгельса мы находим и следующее указание, бросающее яркий свет на те условия, в которых пришлось ему и Марксу проводить их тактику уже с самого начала:

«Если бы здесь кто-нибудь распространил хоть один экземпляр наших 17 пунктов, все было бы потеряно и здесь для нас. Настроение у буржуа действительно подлое. Рабочие начинают немного шевелиться. Движение носит еще неопределенный характер, но уже становится массовым. Они уже начали устраивать коалиции. Но *нам-то* [курсив принадлежит Энгельсу] это как раз и мешает». Последнее замечание особенно характерно.

После долгих усилий и трудов Энгельсу, как он сообщает Марксу в письме из Бармена от 9 мая 1848 г., удалось привлечь нескольких

¹ Прежде коммунист.

акционеров. Всех подписанных акций было в его списке не больше шестнадцати. Что Энгельс тратил свое время в Эльберфельде и Бармене не только на вербовку акционеров для газеты, видно из заключения этого письма, в котором он пишет, что «мы предприняли также шаги для организации общины Союза [коммунистов]».

Не лучше шло дело у Дронке, который вербовал акционеров в Кобленце и Франкфурте-на-Майне. Таким образом прошло не «двадцать четыре часа», а почти два месяца, пока газета начала выходить. Надежды на приток средств из среды демократической интеллигенции и радикальной буржуазии оказались иллюзиями. Это признает и Энгельс:

«Мы приступили к изданию газеты 1 июня 1848 г., — пишет Энгельс, — с очень небольшим акционерным капиталом, из которого была выплачена только небольшая часть. Да и акционеры были более чем ненадежны: после первого же номера половина из них покинула нас, а к концу месяца не осталось ни одного».

С первого же номера «Новая рейнская газета» подвергла беспощадной критике поведение левой демократии, а в конце июня «Новая рейнская газета» напугала своих акционеров страстной защитой парижских пролетариев:

«Июньское восстание парижских рабочих застало нас на посту. С первого выстрела мы решительно стали на сторону инсургентов. После их поражения Маркс почтил память побежденных одной из своих самых сильных статей. Тут нас покинули последние акционеры».

III.

На Маркса выпала еще одна задача: с первого же дня заботиться о средствах для газеты. Если он сам и некоторые сотрудники могли еще отказаться от гонорара, то наборщики, репортеры и корреспонденты требовали — весьма настоятельно — денег. Используя свои старые связи, Маркс доставал, где мог, деньги, чтобы заполнять прорехи, которые оставались, несмотря на неуклонный рост числа абонентов и розничной продажи. А на газету уже очень скоро обрушились, несмотря на более благоприятные условия в Рейнской провинции в сравнении с Берлином, судебные преследования. Марксу, несмотря на амнистию, отказали в восстановлении прав гражданства. Это создавало для него, как «иностранца», лишние затруднения. Находясь под постоянной угрозой высылки, Маркс вынужден был вне газеты или вовсе не выступать, или выступать более осторожно.

Чтобы укрепить связи «Новой рейнской газеты» и ее средства, Маркс два раза предпринимал большие поездки. В первый раз он уехал из Кельна 21 или 22 августа 1848 г. через Берлин в Вену, где пробыл до 6 сентября, и вернулся обратно в Кельн — опять-таки через Берлин — к 12 сентября.

В это время его заменял Энгельс, — правда, не совсем удачно. В своих воспоминаниях об Энгельсе Лафарг, со слов Маркса, сообщает некоторые подробности. «Энгельс заменял в руководстве «Новой рейнской газетой» Маркса, когда последнему приходилось уезжать. Но Энгельсу, несмотря на его духовное превосходство, не удавалось завоевать себе среди своих коллег по редакции, молодых людей, отличавшихся талантом, революционным духом и мужеством, тот авторитет, которым пользовался его старший друг. Маркс рассказывал мне, что когда он вернулся из своей поездки в Вену, то застал в редакции острые разногласия, с которыми Энгельс не мог справиться. Взаимные отношения были настолько обострены, что, казалось, не было другого выхода, кроме дуэли. Понадобилась вся дипломатия Маркса, чтобы восстановить мир».

Скоро после возвращения Маркса в Кельне произошли «беспорядки» — 25 сентября 1848 г., — в результате которых было объявлено осадное положение. «Новая рейнская газета» была приостановлена, Энгельс, Дронке, Вильгельм Вольф вынуждены были скрыться. Осадное положение было снято 4 октября, и, начиная с 11 октября, опять начала выходить «Новая рейнская газета». Энгельсу, который направился в Париж, а оттуда пешком через всю Францию в Швейцарию, удалось вернуться только 13 января 1849 г. Дронке вернулся только к началу апреля. Таким образом, от 11 октября 1848 г. до 13 января 1849 г. Маркс должен был выполнять не только всю редакционную работу, но и писать за всех отсутствующих редакторов. Фрейлиграт, который вступил в редакцию во время этого «спрорыва», мог помогать ему, как и Веерт, только при редактировании фельетона.

Вторую поездку Маркс предпринял во второй половине апреля 1849 г. Письмо его из Гамбурга, адресованное Энгельсу и датированное 23 апреля, дает возможность установить дату отъезда. Он пишет Энгельсу, что из Бремена выехал еще в среду утром, т. е. 18 апреля. Таким образом, он из Кельна выехал не позже 16 апреля.

«В Бремене ничего нового. Резинг год тому назад обанкротился и живет лишь на проценты с уцелевшего капитала его жены. Таким образом, ничего не выгорело. Здесь я, напротив, наверное раздобуду деньги».

Можно сомневаться, что надежды Маркса оправдались. На обратном пути в Кельн через Вестфалию он тоже старался раздобыть деньги. Мы имеем его собственное свидетельство:

«В мае 1849 г. я изложил господину Ремпелю (в Гамме) финансовые затруднения «Новой рейнской газеты», которые возрастали вместе с ростом числа подписчиков, так как расходы приходилось покрывать немедленно наличными, доходы же поступали позже, и, кроме того, получались большие дефициты благодаря дезертирству почти всех акционеров, вызванному статьями в защиту июньских инсургентов, статьями против франкфуртских парламентариев, берлинских соглашателей и франкфуртских мартовских соглашателей. Господин Ремпель указал мне на Генце, и последний дал займы «Новой рейнской газете» 300 талеров под мое письменное обязательство. Генце, в то время тоже преследуемый полицией, нашел нужным оставить Гамм и поехал со мной в Кельн, где меня ждало известие о моей высылке из Парижа».

Вероятно, это было 7 или 8 мая, ибо статья Маркса «Подвиги Гогенцоллернов» написана им 9 мая 1849 г. Сейчас же после его возвращения в Кельн Энгельс уехал в Эльберфельд. «Новая рейнская газета» просуществовала еще десять дней. Последний — красный — номер вышел 19 мая 1849 г. в разгар майских восстаний в защиту имперской конституции.

IV.

Мы уже сказали, что отказываемся дать в этом введении изложение и критику взглядов, которые Маркс и Энгельс защищали в «Новой рейнской газете». Новый материал, который мы впервые публикуем, до такой степени богат и разнообразен, что требовал бы очень подробного комментария.

Русскому читателю теперь доступен — в нашем издании — исторический комментарий, написанный Мерингом. Несмотря на все недостатки его работы, она и до сих пор сохраняет и литературную, и историческую ценность.

В предисловии к изданному Мерингом собранию статей Маркса и Энгельса я уже указал, в чем именно заключается значение его работы, в особенности для русских читателей:

«Вспомним, что этот том «Литературного наследия Маркса и Энгельса» вышел в свет в конце 1902 г., накануне Дрезденского съезда немецкой социал-демократии, когда стоял уже ребром вопрос о завоевании политической власти пролетариатом, и второго съезда РСДРП, когда не менее остро стоял вопрос о «двух тактиках социал-демократии в демократической революции».

Опыт Маркса и Энгельса в эпоху немецкой революции и тактика «Новой рейнской газеты» изучались и обсуждались всеми теоретиками и публицистами различных фракций. И единственным источником служила при этом работа Меринга. Без основательного знакомства с ней трудно разобраться в тех спорах, которые заполняют страницы русской социал-демократической печати в 1905 — 1907 гг., да и позже, вплоть до 1917 г. Задачи пролетариата в эпоху буржуазно-демократической революции, отношения между пролетариатом и буржуазией, вопрос о крестьянстве, политика по отношению к угнетенным окраинам, право наций на самоопределение и т. д. — все эти вопросы подробно трактовались на страницах «Новой рейнской газеты» Марксом и Энгельсом.

А между тем этот комментарий Меринга был так же односторонен, как был односторонен и его выбор статей.

До известной степени этот выбор определялся теми указаниями, которые дал Энгельс в уже цитированной нами статье.

В них особенно подчеркивалась *политическая* программа «Новой рейнской газеты».

Она состояла, по словам Энгельса, из двух главных пунктов: 1) единая, неделимая, демократическая немецкая республика и 2) война с Россией, которая должна была принести восстановление Польши.

Первый пункт определял *внутреннюю* политику «Новой рейнской газеты». Вокруг него сосредоточивалась вся борьба фракций в немецкой мелкобуржуазной демократии. Меринг поэтому выбирал только те статьи, а иногда и отрывки из статей, в которых особенно ярко высказывалась основная точка зрения «Новой рейнской газеты» в этом вопросе. Точно так же он поступил, чтобы иллюстрировать внешнюю политику «Новой рейнской газеты». Меринг забыл, что, как это часто бывало с Энгельсом, статья о «Марксе и «Новой рейнской газете» была написана для определенного момента, что Энгельс считал необходимым подчеркнуть те вопросы, на которые, по его мнению, слишком мало обращали внимания немецкие социал-демократы эпохи закона против социалистов. Но и внутренняя, и внешняя политика «Новой рейнской газеты» была несколько сложнее, чем это рисовал Энгельс. Газета никогда не достигла бы такого большого тиража, она не могла бы так успешно конкурировать с «Кельнской газетой», если бы она не была в то же время газетой рабочих Рейнской провинции и в особенности кельнских. А для этого она должна была затрагивать не только политические, но и экономические, финансовые, социально-политические вопросы. А вся эта сторона почти совершенно исчезает в собрании и комментарии Меринга.

Мы пошли поэтому другим путем. Мы решили, не отступая от тех указаний Энгельса, которым следовал Меринг, а потому и сохраняя все собранные им статьи, — восстановив, однако, все сделанные им сокращения, — сделать ряд существенных дополнений. До какой степени велики эти дополнения, насколько выросло число статей Маркса и Энгельса в нашем собрании по сравнению с меринговским, читатель может видеть из того, что вместо восьми печатных листов, которые Меринг посвятил периоду от 1 июня до 6 ноября 1848 г., мы даем *двадцать четыре*, т. е. в три раза больше, а вместо $4\frac{1}{2}$ листов, посвященных периоду от 11 ноября 1848 г. до 19 мая 1849 г., — *двадцать пять* листов, т. е. в пять раз больше!

Так как было бы очень трудно уместить весь собранный нами материал для освещения деятельности Маркса и Энгельса не только как редакторов «Новой рейнской газеты», но и как революционеров-практиков, в рамках одного тома, то мы отвели эпохе немецкой революции два тома.

Мы позволили себе сделать маленькое отступление от этого хронологического принципа. Не имея теперь возможности дать подробный комментарий ко всем статьям Маркса и Энгельса из «Новой рейнской газеты», мы предпосылаем им две работы. Первая, это — неоднократно цитированная нами статья Энгельса «Маркс и Новая рейнская газета», написанная им в 1884 г. Вторая, написанная тоже Энгельсом, но при непосредственном участии Маркса, — «Революция и контр-революция в Германии», составившаяся из серии статей-корреспонденций для «Нью-Йоркской трибуны» в 1851 и 1852 гг.

Последняя работа, являясь по существу воспроизведением всего политического содержания «Новой рейнской газеты», служит не только комментарием к последней, но и прекрасным путеводителем при изучении эпохи немецкой революции. В то же время она представляет отчет Маркса и Энгельса, в котором они для будущих поколений подвели итоги своей революционной работе в 1848 — 1849 гг.

После указанных работ следуют статьи Маркса и Энгельса из «Новой рейнской газеты». Мы разделили их на две группы. В шестой том вошли статьи от 1 июня до 7 ноября 1848 г. Он заканчивается статьей «Падение Вены». Мы уже знаем, что огромное большинство этих статей — до 13 сентября 1848 г. — написано Энгельсом. Только за период от 11 октября до 7 ноября, когда Энгельс скрылся из Кельна, все статьи написаны Марксом.

Статьи, которые мы даем без всяких сокращений, распреде-

лены нами по группам с особым титулом, который мы выбрали, руководствуясь в большей или меньшей степени объективными признаками. Так как «Новая рейнская газета» начала выходить только 1 июня, то она, понятно, только ретроспективно могла касаться событий, имевших место от марта до июня 1848 г. Первые шесть глав «Революции и контр-революции в Германии» могут поэтому служить историческим введением. Только с седьмой главы, посвященной Франкфуртскому национальному собранию, начинается резюме и комментарий к тем событиям, на которые непосредственно откликнулась «Новая рейнская газета».

Мы выделили поэтому следующие группы: «Франкфуртское национальное собрание» (пять статей — у Меринга глава под названием «Германское национальное собрание»); «Учредительное собрание в Берлине и министерство Кампгаузена» (19 статей — у Меринга глава «Министерство Кампгаузена»).

Ввиду огромного значения июньского восстания мы выделили особую группу: «Июньская бойня в Париже и ее влияние на Германию» (8 статей, из которых у Меринга напечатаны только две под названием «Французская и английская классовая борьба»). С этой группой связаны статьи о «Господине Кавеньяке», которые мы даем в приложении. Авторство их трудно установить, но они прошли через редакцию Маркса и представляют большой интерес как материал для сравнения с соответственной статьей Чернышевского.

Под названием «Внешняя политика Национального собрания во Франкфурте и Учредительного собрания в Берлине» мы даем 11 статей, из которых Мерингом использованы только четыре.

Мы уже показали, как Мерингом составлена глава «Министерство Ганземана». Под названием «Учредительное собрание в Берлине и министерство Ганземана» мы сгруппировали 21 статью, из которых большинство написано Энгельсом. Среди них имеются статьи о выкупе, о государственном кредите, о гражданском ополчении, о принудительном займе, о феодальных поборах, которые показывают, как основательно и блестяще «Новая рейнская газета» критиковала все социально-экономическое и социально-политическое законодательство немецкой буржуазии. Трудно понять, каким образом Меринг мог пропустить такую статью, как «Законопроект о принудительном займе», самое начало которой кричит об авторстве Маркса.

Мы впервые даем под заглавием «Бельгийские дела» три блестящих статьи о Бельгии. За ними следуют статьи Энгельса «Польский вопрос в немецкой революции». Из трех статей «Перемирие с Данией» — группа «Шлезвиг-гольштинская война» — Меринг дает только две. Из четырех статей Маркса — «Кризис и контр-революция», — кото-

рые у нас входят в группу «Падение министерства Ганземана», Меринг почему-то ограничился только второй.

У Меринга совершенно выпали статьи, посвященные «Восстаниям во Франкфурте и Кельне», тесно связанным с голосованием Франкфуртского собрания по вопросу о перемирии с Данией. Нет ни одной статьи о «Министерстве Пфуля». Пропущена такая важная статья Энгельса, как «Речь Тьера о всеобщем ипотечном банке», которую мы даем с двумя другими статьями в группе «Французские дела». Из статей Маркса, собранных нами под общим названием «Падение Вены», Меринг дает только одну.

В приложениях к шестому тому напечатан оставшийся в рукописи дневник Энгельса, куда он заносил свои наблюдения во время путешествия из Парижа в Швейцарию, предпринятое им в октябре 1848 г.

Ввиду того интереса, который имеет вопрос о борьбе Маркса за восстановление своего прусского подданства, мы поместили в приложении статью Энгельса «Маркс и прусское подданство».

Седьмой том начинается группой статей о «Контр-революции в Берлине и министерстве Бранденбурга». (Из них у Меринга имеются только две статьи — «Контр-революция в Берлине» и «Европейская революция» под общим названием «Министерство Бранденбурга».) Затем идут статьи, посвященные «Роспуску национального собрания в Берлине». Среди них и те четыре статьи Маркса, которые Меринг напечатал как «Баланс прусской революции».

Из следующей группы, характеризующей «Внешнюю политику Новой рейнской газеты», Меринг дает только одну статью («Новый 1849 год»).

Совершенно отсутствует серия статей, в которых Маркс и Энгельс подвергли суровой критике «Социально-экономическую программу прусской контр-революции». Достаточно указать на статьи Энгельса о прусском финансовом хозяйстве, статьи Маркса о рабочих книжках и о «Монтескье LVI», чтобы заметить, как искривляется все изображение «Новой рейнской газеты», игнорирующее эти высказывания Маркса и Энгельса.

Статьи Энгельса, направленные против Бакунина и его демократического панславизма, воспроизведены у Меринга без всяких пропусков.¹

Если Меринг в своем издании выпустил второй судебный процесс против «Новой рейнской газеты», потому что он уже был напечатан в отдельном издании, то первый процесс ему остался неизве-

¹ Выброшена только ссылка Энгельса на статью о Венгрии.

стен. Мы даем оба процесса с речами Маркса и Энгельса. Кроме того, мы поместили две статьи, посвященные делу Лассалья, и статью, характеризующую приемы рейнской прокуратуры.

Судьбы венгерской революции и обзор военных действий венгерских войск против габсбургской армии были специальностью Энгельса. Под рубрикой «Венгрия» мы, кроме опубликованной уже Мерингом статьи, даем еще две статьи общего характера. Все статьи Энгельса о Венгрии могут быть напечатаны только в академическом издании.

Дальше идут группы статей — «Вена и Франкфурт», «Европейские дела», «Законы о печати», «Итальянские дела», «Война против России», — посвященные различным вопросам внутренней и внешней политики. И здесь количественно преобладают статьи Энгельса. Среди статей об «Европейских делах» имеется и статья Энгельса о французском миллиарде, которая побудила Вильгельма Вольфа написать соответствующую статью о прусском миллиарде,¹ а затем и известные статьи о «силезском миллиарде», после переизданные Энгельсом.

Статьи «Новая стадия прусской контр-революции» и «Майские события» составляют кульминационный пункт истории «Новой рейнской газеты».²

«Каждый номер, каждый экстренный выпуск носил на себе печать подготавливавшейся великой борьбы, обострения противоречий во Франции, Италии, Германии и Венгрии. В особенности апрельские и майские экстренные выпуски были сплошь призывами к народу готовиться к решительному удару. В остальной части Германии удивлялись, как мы без стеснения писали все это, да еще в первоклассной прусской крепости с ее восьмитысячным гарнизоном, ее гауптвахтой... Наконец, 18 мая 1849 г. наступила развязка. Восстание в Дрездене и Эльберфельде было подавлено, восстание в Изерлоне было окружено, Рейнская провинция и Вестфалия были наводнены солдатами, которые, справившись с прусскими областями на Рейне, должны были выступить против Пфальца и Бадена. Тогда правительство отважилось обратиться и против нас. Против одной половины редакции было возбуждено судебное преследование, другая — состоявшая из не-пруссаков — подлежала высылке. Мы были бессильны предпринять что-нибудь против этого, ибо за правительством стоял

¹ Мы поместили ее в приложении, чтобы показать, как прекрасно спелись лучшие сотрудники «Новой рейнской газеты». На ней лежит печать коллективной работы.

² Статьи Маркса о наемном труде и капитале помещены нами в пятом томе, поскольку в основу их легли лекции, прочитанные в 1847 г., но напечатаны они были впервые в «Новой рейнской газете» в апреле 1849 г.

целый армейский корпус. Мы должны были сдать свою крепость, но мы покинули ее, унеся все военное снаряжение, при звуке барабанов, с развевающимся красным знаменем последнего номера, в котором мы предостерегали кельнских рабочих от безнадежных путей и говорили им: редакторы «Новой рейнской газеты», прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие; их последним словом — всегда и всюду — будет: *Освобождение рабочего класса!*»

После закрытия газеты Маркс уехал в Париж, а Энгельс отправился в Пфальц, где вступил в повстанческий отряд Виллиха, чтобы принять участие в вооруженной борьбе за имперскую конституцию. Критический обзор всей этой кампании он написал в 1850 г. для «Обозрения» Новой рейнской газеты». Мы решили закончить им седьмой том, так как работа Энгельса является прекрасным дополнением к последним статьям «Новой рейнской газеты» о «майских днях» и в то же время дает богатый конкретный материал для тех выводов, которые Энгельс сформулировал в последних трех статьях о «Революции и контр-революции в Германии». Мы прибавляем еще разысканную впервые В. Паппенгеймом статью Энгельса о «революционном движении в Пфальце и Бадене», которую он написал в начале июня 1849 г. для официальной газеты временного правительства в Кайзерслаутерне.

В приложении мы поместили также две статьи о «Процессе Готшалька и его товарищей». Готшальк был председателем рабочего союза в Кельне. Статьи написаны Марксом — только ему может принадлежать критика суда присяжных как гарантии правосудия — и показывают, как он умел отстаивать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка даже тогда, когда он не был согласен со всеми взглядами его носителей.

* * *

В приложении к седьмому тому читатели найдут подробный именной указатель к обоим томам; он составлен Б. Окуневым.

В редакции обоих томов принимал деятельное участие Е. Смирнов. Ценные указания сделаны были А. Бергером. В переводе статей для обоих томов принимали участие: Н. Алексеев, А. Воден, Е. Гурвич, С. Ежов, И. Рубин, И. Румер и А. Трояновский. Корректурой руководил О. Румер.

Д. Рязанов.

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ

ЧАСТЬ I

Ф. ЭНГЕЛЬС

МАРКС И «НОВАЯ РЕЙНСКАЯ ГАЗЕТА»
(1848—1849)

Когда разразилась февральская революция, немецкая «Коммунистическая партия», как мы ее называли, состояла из маленького кадра, именно из организованного в тайное пропагандистское общество «Союза коммунистов». Союз был тайным только потому, что в то время в Германии не существовало свободы союзов и собраний. Помимо рабочих групп за границей, в которых Союз рекрутировал своих членов, он имел в самой Германии около тридцати обществ или секций и, кроме того, отдельных членов во многих местах. Но у этой незначительной рати был, в лице Маркса, первоклассный вождь, которому все охотно подчинялись, и была еще, благодаря ему, принципиальная и тактическая программа, сохранившая все свое значение и до сих пор, — *Коммунистический манифест*.

Здесь для нас важнее всего, в первую очередь, тактическая часть программы. Она в общей части гласила:

«Коммунисты не составляют какой-либо особой партии, противостоящей другим рабочим партиям.

«У них нет таких интересов, которые не совпадали бы с интересами всего пролетариата.

«Они не выставляют никаких особых принципов, согласно которым они хотели бы формировать движение пролетариев.

«Коммунисты отличаются от других рабочих партий только тем, что, с одной стороны, в движении пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, независимые от национальности интересы всего пролетариата; с другой стороны, — тем, что на различных стадиях развития, через которые проходит борьба пролетариев против буржуазии, они всегда защищают общие интересы движения в его целом.

«Таким образом, коммунисты на практике представляют собой самую решительную, всегда толкающую вперед часть рабочих партий всех стран, и в теоретическом отношении они имеют перед остальной массой пролетариата то преимущество, что понимают условия, ход и общие результаты рабочего движения».

А относительно немецкой партии в частности в программе говорилось:

«В Германии Коммунистическая партия борется совместно с буржуазией, — как только она выступает революционно, — против абсолютной монархии, против феодального землевладения и мелкой буржуазии.

«Но ни на минуту не перестает она вырабатывать в умах рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должно принести с собой господство буржуазии, как оружие против нее же самой, чтобы сейчас же после крушения реакционных классов в Германии началась борьба против самой буржуазии.

«На Германию коммунисты обращают главное свое внимание, потому что она находится накануне буржуазной революции», и т. д.

Никогда еще ни одна тактическая программа не оправдывалась в такой мере, как эта. Составленная накануне революции, она выдержала испытание этой революции; каждый раз, когда какая-нибудь рабочая партия отступала от нее с тех пор в своей деятельности, она расплачивалась за это. И ныне, после почти сорока лет, она служит руководящей нитью для всех активных, сознательных рабочих партий Европы от Мадрида и до Петербурга.

Февральские события в Париже ускорили надвигавшуюся немецкую революцию и видоизменили благодаря этому ее характер. Германская буржуазия победила не собственными силами, а плелась за французской рабочей революцией. Не успев еще окончательно справиться со своими старыми противниками: абсолютной монархией, феодальной земельной аристократией, бюрократией, трусливым мещанством, она должна была повернуться против нового врага — пролетариата. Но при этом тотчас же проявилось влияние сильно отсталых, по сравнению с Францией и Англией, экономических отношений и столь же отсталых благодаря этому классовых взаимоотношений в Германии.

Немецкая буржуазия, начавшая только что строить свою крупную промышленность, не имела ни силы, ни мужества, ни вынужденной необходимости добиваться безусловного господства в государстве; пролетариат, столь же мало развитой, привыкший к полному духовному подчинению, неорганизованный и неспособный еще даже к самостоятельной организации, лишь смутно чувствовал глубокую противоположность своих интересов интересам буржуазии. Поэтому, хотя по существу он был опасным противником для буржуазии, он политически все же плелся за нею. Буржуазия, напуганная не тем, чем немецкий пролетариат был, а тем, чем он грозил стать и

чем был уже французский пролетариат, видела свое спасение в каком угодно, даже самом жалком, компромиссе с монархией и дворянством. Пролетариат же, не сознавая еще своей собственной исторической роли, должен был в своей подавляющей массе занять на первых порах место передового, крайнего левого крыла буржуазии. Немецкие рабочие должны были раньше всего завоевать себе те права, которые были необходимы им для самостоятельной организации в классовую партию: свободу печати, союзов и собраний, — права, которые сама буржуазия должна была бы завоевать в интересах своего собственного господства, но которые, из страха перед рабочими, она стала теперь оспаривать у них. Несколько сотен разрозненных членов Союза коммунистов оказались незаметными в огромной, приведенной внезапно в движение, массе. И вот почему немецкий пролетариат появился впервые на политической арене как крайняя демократическая партия.

Это предопределяло для нас наше знамя, когда мы приступили к основанию в Германии большой газеты. Этим знаменем могло быть только знамя демократии, но демократии, которая выдвигала бы повсюду, во всех конкретных случаях, свой специфически пролетарский характер, какой она не могла еще раз навсегда придать своему знамени. Если бы мы не пошли на это, если бы мы не захотели пойти в ногу с исторически данным, наиболее прогрессивным, фактически пролетарским флангом движения, чтобы толкать его вперед, нам оставалось бы только проповедывать коммунизм в каком-нибудь захолустном листке и основать, вместо большой партии действия, маленькую секту. Но для роли проповедников в пустыне мы уже не годились: для этого мы слишком хорошо изучили утопистов. Не для этого мы составили свою программу.

Когда мы приехали в Кельн, там уже велись приготовления со стороны демократов, а отчасти и коммунистов, к созданию большой газеты. Ее хотели сделать узко-местной, кельнской, а нас удалить в Берлин. Но не прошло и 24 часов, как мы, благодаря Марксу, одержали победу: газета стала нашей под условием включения в редакцию Генриха Бюргерса. Последний написал (в № 2) одну статью, а второй статьи так и не написал.

Нам именно нужно было поехать в Кельн, а не в Берлин. Во-первых, Кельн был центром Рейнской провинции, которая проделала французскую революцию, в которой Кодекс Наполеона ввел современное правовое сознание, в которой наиболее развита была крупная промышленность и которая вообще во всех отношениях была тогда самой передовой частью Германии. Мы по собственному опыту

слишком хорошо знали тогдашний Берлин с его едва зарождавшейся буржуазией, его злоязычным, но трусливым и раболепным мещанством, его совершенно еще неразвитыми рабочими, его бесчисленными бюрократами, придворной и дворянской челядью, со всеми его специфическими особенностями «резиденции». Но решающее значение имел тот факт, что в Берлине действовало жалкое прусское земское право и политические процессы разбирались профессиональными судьями; на Рейне же действовал Кодекс Наполеона, не знающий процессов по делам печати, ибо он устанавливает цензуру, и совершивший политическое *преступление*, — а не простое правонарушение, — подлежал там суду присяжных. В Берлине *после* революции молодой Шлеффель за пустяки был осужден на год, на Рейне же у нас была безусловная свобода печати, и мы ее использовали в полной мере.

Мы приступили к изданию газеты 1 июня 1848 г. с очень небольшим акционерным капиталом, из которого была выплачена только небольшая часть. Да и акционеры были более чем ненадежны: после первого же номера половина из них покинула нас, а к концу месяца не осталось ни одного.

Конституция редакции сводилась к простой диктатуре Маркса. Для большой ежедневной газеты, которая должна выходить в определенный час и которая хочет проводить определенные взгляды, иная конституция и невозможна. К тому же для нас диктатура Маркса была чем-то самим собой разумеющимся, бесспорным, и все охотно принимали ее. Благодаря главным образом его проницательности и твердости его взглядов газета стала самым замечательным немецким органом революционных годов.

Политическая программа «Новой рейнской газеты» состояла из двух главных пунктов: единая, неделимая, демократическая немецкая республика и война с Россией, которая должна была принести восстановление Польши.

Мелкобуржуазная демократия разделялась тогда на две фракции: северо-германскую, желавшую демократического прусского императора, и южно-германскую, — тогда почти исключительно баденскую, — желавшую превратить Германию в федеративную республику по образцу Швейцарии. Нам пришлось бороться с обеими фракциями. Интересам пролетариата одинаково противоречило как опруссачение Германии, так и увековечение ее расщепления на множество мелких государств. Интересы пролетариата повелительно требовали объединения Германии в единую *нацию* и очищения таким образом от всякого исторического мусора той арены, на которой

пролетариат и буржуазия должны были померяться силами. Но они не допускали, чтобы Пруссия стала во главе объединенной Германии. Прусское государство со всеми своими порядками, своими традициями и своей династией было как раз единственным серьезным внутренним противником революции в Германии, и революция должна была сокрушить его; кроме того, Пруссия могла объединить Германию, только разорвав ее, только исключив из нее немецкую Австрию. Разложение прусского государства, развал австрийского государства, действительное объединение Германии в виде республики — только такой могла быть наша ближайшая революционная программа. И осуществить ее следовало путем войны с Россией, и только таким путем! К этому пункту я еще вернусь.

Тон газеты не был вовсе торжественным, серьезным или восторженным. У нас были сплошь жалкие противники, и мы обращались со всеми ими, без исключения, самым презрительным образом. Конспирирующая монархия, камарилья, дворянство, «Крестовая газета», — словом, вся «реакция», вызывавшая такое нравственное негодование у филистера, — для нее у нас были только насмешки и издевательство. Но не лучше относились мы и к новым, появившимся вместе с революцией кумирам: мартовским министрам, Франкфуртскому и Берлинскому собраниям — одинаково к их правому и левому крылу. Первый номер газеты начинался как раз статьей, издевавшейся над ничтожеством Франкфуртского парламента, над бесцельностью произносившихся в нем длиннейших речей, над ничемностью его трусливых резолюций. Она стояла нам половины наших акционеро́в. Франкфуртский парламента не был даже дискуссионным клубом! В нем почти не дискутировали, а произносили заранее заготовленные академические рассуждения и принимали резолюции, которыми имелось в виду воодушевить немецкого филистера, но которыми, однако, никто не интересовался.

Берлинское собрание имело больше значения. Оно имело перед собою реальную силу, оно дебатировало и принимало решения не впустую, не догматически, как поступало Франкфуртское собрание. Поэтому ему посвящалось в газете больше внимания. Но и к берлинским кумирам левой — Шульце-Деличу, Берендсу, Эльснеру, Штейну и т. д. — мы относились не менее резко, чем к франкфуртцам. Мы беспощадно разоблачали их нерешительность, робость и мнимую расчетливость и указывали им, как они со своими компромиссами шаг за шагом изменяли революции. Это, разумеется, вызывало ужас среди демократических мещан, сфабриковавших себе этих кумиров. Но нам этот ужас показывал, что мы попадали прямо в цель.

Точно так же выступали мы против распространявшейся мещанством иллюзии, будто революция завершена мартовскими днями, и теперь остается только пожинать ее плоды. Для нас Февраль и Март могли иметь значение действительной революции только в том случае, если бы они были не завершением, а, наоборот, исходным пунктом длительного революционного движения, в котором, — как во время великого французского переворота, — народ, в ходе своей борьбы, развивался бы дальше, партии все резче обособлялись бы друг от друга, пока они не стали бы совпадать с крупными классами: буржуазией, мелкой буржуазией, пролетариатом, — революционного движения, в котором пролетариат постепенно завоевывал бы в ряде битв одну позицию за другой. Поэтому мы выступали против демократической мелкой буржуазии повсюду, где она желала затушевать свою классовую противоположность пролетариату излюбленной фразой: «ведь все мы хотим одного и того же, все разногласия — просто результат недоразумений». Но чем меньше мы позволяли мелкой буржуазии обманываться насчет нашей пролетарской демократии, тем смиреннее и стоворчливее становилась она по отношению к нам. Да и вообще, чем резче и решительнее выступают против мелкой буржуазии, тем покорнее она гнет спину, тем больше уступок она делает рабочей партии. В этом мы убедились.

Наконец, мы вскрывали парламентский кретинизм (по выражению Маркса) различных так называемых национальных собраний. Эти господа выпустили из рук все средства власти, передав их отчасти добровольно обратно правительствам. Против вновь окрепших реакционных правительств и в Берлине, и во Франкфурте находились немощные собрания, воображавшие, однако, что их бессильные резолюции перевернут мир. Жертвами этого идиотского самообольщения были все, вплоть до крайней левой. А мы повторяли им: ваша парламентская победа будет и вашим полным поражением.

Так оно и случилось в Берлине и во Франкфурте. Когда «левая» получила большинство, правительство разогнало собрание. Оно могло позволить себе это, ибо собрание потеряло весь свой кредит в глазах народа.

Когда впоследствии я прочел книгу Бужара о Марате, я увидел, что мы бессознательно подражали во многих отношениях великому образцу подлинного (не фальсифицированного роялистами) «Друга народа» и что все яростные вопли и вся фальсификация истории, искажившие на целых сто лет истинный облик Марата, объясняются только тем, что он безжалостно совлек покрывало с тогдашних кумиров — Лафайета, Бальи и других, разоблачив в них уже гото-

вых изменников революции, и тем еще, что, подобно нам, он не считал революцию завершенной, а хотел сделать ее перманентной.

Мы открыто заявляли, что представляемое нами направление лишь тогда сможет начать борьбу за достижение наших действительных партийных целей, когда самая крайняя из существующих в Германии официальных партий очутится у власти: по отношению к ней мы будем играть роль оппозиции.

Но события позаботились о том, чтобы, на-ряду с насмешками над немецкими противниками, проявилась и пламенная страстность. Июньское восстание парижских рабочих застало нас на посту. С первого выстрела мы решительно стали на сторону инсургентов. После их поражения Маркс почтил память побежденных одной из своих самых сильных статей.

Тут нас покинули последние акционеры. Но зато мы были в Германии и почти во всей Европе единственной газетой, высоко державшей эмяна разгромленного пролетариата в момент, когда буржуазия и мещанство всех стран обливали побежденных грязью своей клеветы.

Наша иностранная политика была проста: выступление в пользу всех революционных народов, призыв ко всеобщей войне революционной Европы против великой опоры европейской реакции — России. С 24 февраля нам было ясно, что революция имеет только *одного* действительно страшного врага — Россию, и что этот враг тем сильнее вынужден будет вмешаться в борьбу, чем больше революция станет общеевропейской. Венские, миланские, берлинские события должны были задержать нападение России, но неизбежность этого нападения была тем достовернее, чем ближе доходила революция до России. Если бы удалось толкнуть Германию на войну с Россией, Габсбургам и Гогенцоллернам пришел бы конец, и революция победила бы по всей линии.

Эта политика проходит красной нитью через все номера газеты вплоть до момента действительного выступления русских против Венгрии, вполне подтвердившего наши предсказания и повлекшего за собой поражение революции.

Когда весной 1849 г. стал надвигаться решительный бой, тон газеты с каждым номером становился все более резким и страстным. Силезским крестьянам *Вильгельм Вольф* напомнил в «Силезских миллиардах» (восемь статей) о том, как, при освобождении их от феодальных повинностей, помещики, при содействии правительства, обманули их и на деньгах, и на земле, и потребовал миллиард талеров возмещения.

Одновременно с этим, в апреле, появилась работа Маркса о наемном труде и капитале в виде ряда руководящих статей, определенно указывавших на социальную цель нашей политики. Каждый номер, каждый экстренный выпуск носил на себе печать подготавливаемой великой борьбы, обострения противоречий во Франции, Италии, Германии и Венгрии. В особенности апрельские и майские экстренные выпуски были сплошь призывами к народу готовиться к решительному удару.

В остальной части Германии удивлялись, как мы без стеснения писали все это, да еще в первоклассной прусской крепости с ее восьмидесяти тысячным гарнизоном, ее гауптвахтой. Но восемь ружей и двести пятьдесят патронов в редакционной комнате и красные якобинские колпаки наборщиков придавали нашему помещению в глазах офицерства тоже вид крепости, которую нельзя взять простым легким налетом.

Наконец, 18 мая 1849 г. наступила развязка.

Восстание в Дрездене и Эльберфельде было подавлено; восстание в Изерлоне было окружено; Рейнская провинция и Вестфалия были наводнены солдатами, которые, справившись с прусскими областями на Рейне, должны были выступить против Пфальца и Бадена. Тогда правительство отважилось обратиться и против нас. Против одной половины редакции было возбуждено судебное преследование; другая — состоявшая из не-пруссиков — подлежала высылке. Мы были бессильны предпринять что-нибудь против этого, ибо за правительством стоял целый армейский корпус. Мы должны были сдать свою крепость, но мы покинули ее, унося все военное снаряжение, при звуке барабанов, с развевающимся красным знаменем последнего номера, в котором мы предостерегали кельнских рабочих от безнадежных путчей и говорили им:

«Редакторы «Новой рейнской газеты», прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие. Их последним словом — всегда и всюду — будет: *Освобождение рабочего класса!*»

Так закончила свое существование «Новая рейнская газета», незадолго до истечения года со дня ее появления. Начатая почти без средств, — небольшая обещанная ей сумма денег не была, как я уже сказал, выплачена ей, — она уже в сентябре имела тираж в 5 000. При введении осадного положения в Кельне она была закрыта; в середине октября она должна была начать все сначала. Но в мае 1849 г., при запрещении ее, она опять достигла уже тиража в 6 000 номеров, между тем как «Кельнская газета» имела, по собственному признанию, не более 9 000. Ни одна из немецких

газет, — ни раньше, ни после, — не имела подобной силы и влияния, не умела так электризовать пролетарские массы, как «Новая рейнская газета».

И этим она обязана была главным образом Марксу.

Когда удар разразился, редакция рассеялась. Маркс уехал в Париж, где готовилась развязка, наступившая 13 июня 1849 г.; Вильгельм Вольф занял свое место в Франкфуртском парламенте в момент, когда это собрание должно было выбирать между разгоном сверху или присоединением к революции. А я отправился в Пфальц и стал адъютантом в добровольческом отряде Виллиха.

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

**РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ
В ГЕРМАНИИ**

I. [ГЕРМАНИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ.]

Лондон, сентябрь 1851 г.

Первое действие революционной драмы на континенте Европы кончилось. «Вчерашние власти», правившие до урагана 1848 г., снова стали «сегодняшними властями», а более или менее популярные однодневные герои, — временные правители, триумвиры, диктаторы, со всей своей свитой представителей, гражданских комиссаров, военных комиссаров, префектов, судей, генералов, офицеров и солдат, — выброшены на чужеземные берега, «сылаются за моря», — в Англию или Америку, чтобы образовать там *in partibus infidelium* (за рубежом) новые правительства — европейские комитеты, центральные комитеты, национальные комитеты, возвестив о своем прибытии в прокламациях, столь торжественных, как если бы они исходили от менее призрачных властей.

Более полного поражения, чем понесенное по всей линии континентальной революционной партией, — или, лучше сказать, партиями, — нельзя себе представить. Но что из этого? Разве в Англии буржуазия не добилась социального и политического господства только после сорока восьми лет, а во Франции — после сорока лет беспримечательной борьбы? И когда были они ближе к победе, как не в тот момент, когда восстановленная монархия считала свое положение наиболее прочным? Времена суеверия, приписывавшего революции злой воле немногих агитаторов, давно прошли. Теперь всякий знает, что за революционными судорогами всегда кроется какая-нибудь общественная потребность, удовлетворению которой мешают отжившие учреждения. Потребность эта, может быть, ощущается не так сильно и не так повсеместно, чтобы движению был обеспечен непосредственный успех; но всякая попытка насильственного подавления будет только делать ее сильнее и сильнее, пока она, наконец, не разорвет сжимающие ее оковы. Значит, если мы побиты, нам остается только снова начать сначала. К счастью, передышка, — по всей вероятности, весьма короткая, — между концом первого акта и началом второго акта движения дает нам время для очень нужной

работы — изучения причин, обусловивших как происшедший взрыв, так и его поражение. Их надо искать не в случайных поступках, талантах, недостатках, ошибках или измене некоторых вождей, а в общем социальном положении и жизненном укладе пережившего потрясение народа.

Что февральский и мартовский взрывы 1848 г. не были делом отдельных лиц, а стихийным, неудержимым проявлением национальных нужд и потребностей, более или менее смутно понимаемых, но чувствуемых весьма отчетливо многочисленными классами в каждой стране, — это признают все. Но если вы спросите о причинах успеха контр-революции, то отовсюду услышите стереотипный ответ, что «предал народ» господин такой-то или гражданин такой-то. Верен или не верен самый факт предательства, такой ответ ни в коем случае ничего не объясняет, не показывает даже, как же это «народ» допустил, чтобы его предали. И как жалки шансы политической партии, весь капитал которой состоит в знании одного лишь факта, что на гражданина такого-то или такого-то нельзя полагаться!

Исследование и выяснение причин революционного взрыва и его подавления имеет еще огромную важность с исторической точки зрения. Для англичанина или американца, наблюдающего события слишком издалека, чтобы различать детали, разве могут быть интересны, разве могут уяснить дело все эти мелкие личные перебранки и взаимные обвинения, все эти противоречивые уверения, что направил революцию на скалы, о которые она разбилась, именно Марраст или Ледрю-Роллен, или Луи Блан, или другой какой-нибудь член временного правительства, если не все они вместе? Ни один здравомыслящий человек не поверит, чтобы одиннадцать лиц, к тому же в большинстве своем весьма посредственных способностей как для добра, так и для зла, могли в три месяца погубить тридцатипяти-миллионный народ, если бы этот тридцатипяти-миллионный народ не разбирался столь же плохо в создавшемся положении, как эти одиннадцать. Но каким образом случилось, что эти тридцать шесть миллионов были вдруг призваны сами решить, каким путем они должны идти, хотя им приходилось это делать в густых сумерках, каким образом они заблудились и на мгновение дозволили снова завладеть собою старым правителям, — в этом и состоит вопрос.

Мы попытаемся изложить читателям «Tribune» причины, которые, сделав неизбежной германскую революцию 1848 г., столь же неизбежно привели к ее временному поражению в 1849 и 1850 гг. Читатели не должны, однако, ждать от нас полной истории происходивших

в стране событий. Позднейшие события и приговор будущих поколений решат, какая часть из этой беспорядочной массы с виду случайных, бессвязных и несообразных фактов должна войти во всемирную историю. Время для этого еще не наступило. Мы должны ограничиться пределами возможного и удовлетвориться, если сумеем найти, опираясь на непреложные факты, разумные причины, объясняющие главные события, основные фазисы движения. Это даст нам ключ к выяснению того направления, которое следующий, — может быть, не очень далекий, — взрыв сообщит развитию германского народа.

Прежде всего, каково было состояние Германии накануне революции?

Сочетание различных классов населения, составляющее фундамент всякого политического строя, в Германии было сложнее, чем в какой-либо другой стране. В то время как в Англии и Франции феодализм был окончательно разрушен или, по крайней мере, низведен, как в первой, к немногим незначительным остаткам могущественной и богатой буржуазией, сосредоточенной в больших городах, в частности в столице, — в Германии феодальное дворянство сохранило значительную часть своих старых привилегий. Феодальная система землевладения преобладала почти всюду. Землевладельцы сохранили даже право суда над держателями их земли. Лишившись политических привилегий, права контролировать действия государей, они сохранили почти всю свою средневековую власть над крестьянами своих поместий, а также свободу от податей. В одних местностях феодализм процветал более, чем в других, но нигде, за исключением левого берега Рейна, не был совершенно разрушен. Феодальное дворянство, крайне многочисленное и частью весьма богатое, официально считалось первым сословием страны. Оно поставляло высших правительственных сановников, оно же почти исключительно давало офицеров для армии.

Буржуазия в Германии была далеко не такой богатой и сплоченной, как во Франции или в Англии. Введение пара и быстро расширявшееся главенство английской промышленности разрушило старую германскую промышленность. Новая же промышленность, получившая толчок при наполеоновской континентальной системе и развившаяся в других местностях страны, не могла служить компенсацией за потерю старой. Ее было недостаточно для создания промышленных интересов настолько сильных, чтобы правительства, ревнивые ко всякому расширению богатства и власти недворян, были вынуждены считаться с ними. Если шелковые фабрики Франции победоносно выдержали пятьдесят лет революций и войн, то

Германия за то же время почти утратила свое полотняное производство. Сверх того, промышленные округа были немногочисленны и разбросаны далеко друг от друга; будучи расположены в глубине страны, пользуясь для своего ввоза и вывоза большей частью иностранными портами, голландскими или бельгийскими, они имели мало или вовсе не имели общих интересов с крупными морскими портами Немецкого и Балтийского морей; а главное, они не в состоянии были создать крупных торговых и промышленных центров, как Париж и Лион, Лондон и Манчестер. Причин этой отсталости германской промышленности было много. Достаточно указать на две из них: невыгодное географическое положение страны, далекой от Атлантического океана, который стал великим путем мировой торговли, и беспрестанные войны, в которые вовлекалась Германия и которые велись на ее территории с XVI века до настоящего времени. Недосток масс, главным образом хотя бы скольконибудь сконцентрированных масс, и мешал германским буржуазным слоям достичь политического главенства, которым английская буржуазия пользовалась с 1688 г. и которое французская буржуазия завоевала в 1789 г.

Все же с 1815 г. богатство, а вместе с богатством и политическое значение, буржуазии в Германии непрерывно росло. Правительства, хотя и против воли, вынуждены были считаться, по крайней мере, с ее ближайшими материальными интересами.

Быть может, даже справедливо будет сказать, что с 1815 по 1830 г. и с 1832 по 1840 г. за каждую крупницу политических прав, данных буржуазии в конституциях более мелких государств и снова отнятых у нее в указанные два периода политической реакции, — что за каждую такую крупницу буржуазия вознаграждалась какою-либо более практической выгодой. Каждое политическое поражение буржуазии влекло за собой победу в области торгового законодательства. И, конечно, прусский покровительственный тариф 1818 г. и образование Таможенного союза имели в глазах торговцев и промышленников Германии гораздо большее значение, чем сомнительное право выражать в палатах какого-нибудь крохотного герцогства недоверие министрам, которые только смеялись бы над их голосованиями. Таким образом, с ростом ее богатства и расширением торговли буржуазия скоро достигла такого уровня, на котором нашла, что развитие ее наиболее важных интересов тормозится политическими порядками страны: ее безрассудным распылением между тридцатью шестью государствами со сталкивающимися интересами и капризами; феодальными узами, сковывающими сельское хозяй-

ство и связанную с ним торговлю; назойливым надзором, которому невежественная и надменная бюрократия подвергала все ее дела. В то же время расширение и упрочение Таможенного союза, повсеместное введение парового транспорта, растущая конкуренция в области внутренней торговли теснее сблизили коммерческие классы различных государств и областей Германии, сравнивали их интересы, сконцентрировали их силу. Естественным последствием был переход всей массы их в лагерь либеральной оппозиции — первое серьезное достижение германской буржуазии в борьбе за политическую власть. Началом этого поворота можно считать 1840 г., когда прусская буржуазия стала во главе движения германской общественности. Мы еще вернемся к этому либерально-оппозиционному движению 1840—1847 гг.

Огромная масса населения, не принадлежавшего ни к дворянству, ни к буржуазии, состояла в городах из класса мелких ремесленников и торговцев, с одной стороны, и рабочих — с другой, в деревнях — из крестьянства.

Класс мелких ремесленников и торговцев в Германии крайне многочисленен благодаря хилому развитию в ней класса крупных капиталистов и промышленников. В более крупных городах он составляет почти большинство жителей, в более мелких — преобладает вполне в силу отсутствия более богатых и более влиятельных конкурентов. Этот класс, весьма важный в каждом современном государстве и в каждой современной революции, еще важнее в Германии, где он в недавних событиях играл решающую роль. Его промежуточное положение между классом более крупных капиталистов, торговцев и промышленников, так называемой буржуазией в собственном смысле слова, и пролетарским, или рабочим, классом определяет его характер. Мечтая пробиться в класс капиталистов, отдельные лица этого класса при малейшей неудаче низвергаются в ряды пролетариев. В монархических и феодальных странах этот класс нуждается для своего существования в заказах двора и аристократии, и потеря этих заказов может разорить значительную его часть. В более мелких городах военный гарнизон, окружная администрация, суд с его штатом очень часто образуют основу его благосостояния. Достаточно их перевести в другое место, — и все эти лавочники, портные, сапожники, столяры пойдут ко дну. Таким образом, вечно колеблясь между надеждой войти в ряды более богатого класса и страхом опуститься до положения пролетариев или даже нищих, между надеждой получить возможность защищать свои интересы путем завоевания для себя участия в управлении общественными

делами и страхом вызвать несвоевременной оппозицией гнев правительства, которое держит в руках их судьбу, ибо оно может удалить лучших их клиентов; обладая малыми средствами, необеспеченность обладания которыми тем больше, чем меньше эти средства, — этот класс крайне шаток в своих взглядах. Смиранный и рабски покорный при сильном феодальном или монархическом правительстве, он переходит на сторону либерализма, когда влияние буржуазии усиливается; когда буржуазия достигает господства, он отдается бурным демократическим порывам, но пятится назад в гнусном страхе, лишь только класс, стоящий ниже его, пролетариат, предпринимает самостоятельное движение. Мы не увидим дальше, как мелкая буржуазия в Германии поочередно переходила из одного из этих состояний в другое.

Рабочий класс в Германии по своему общественному и политическому развитию настолько же отстал от рабочего класса Англии или Франции, насколько германская буржуазия отстала от буржуазии этих стран. Каков хозяин, таков и работник. Улучшение условий существования многочисленного, сильного, организованного и сознательного класса пролетариев идет рука об руку с улучшением условий существования многочисленной, богатой, организованной и мощной буржуазии. Движение рабочего класса никогда не является самостоятельным, никогда не принимает исключительно пролетарский характер, пока все различные части буржуазии и, в частности, ее наиболее прогрессивный слой — крупные промышленники — не завоюют политической власти и не перестроят государство сообразно со своими потребностями. Лишь тогда неизбежное столкновение между нанимателями и наемниками становится неминуемым, и его нельзя уж долгие отсрочивать; лишь тогда от рабочего класса нельзя уж отделяться обманчивыми посулами и никогда не выполняемыми обещаниями; лишь тогда великая задача XIX века, уничтожение пролетариата, ставится, наконец, во всем своем объеме и в надлежащем свете.

Но в Германии масса рабочего класса работает не на новейших промышленных лордов, блестящие образчики которых дает Великобритания, а на мелких хозяев, вся производственная система которых есть лишь средневековый пережиток. И подобно тому как существует огромная разница между хлопчатобумажным лордом и мелким сапожником или портным, есть соответствующее расстояние и между пробудившимся фабричным рабочим современных промышленных Вавилонов и понурым портняжным или столярным подмастерьем мелкого городишки, живущим и работающим в обстановке, очень

мало отличающейся от той, в которой жили и работали подобные ему люди пятьсот лет тому назад. Это общее отсутствие современных условий жизни, современных способов промышленного производства, конечно, сопровождалось приблизительно таким же общим отсутствием современных понятий, и потому нечего удивляться тому, что, как только вспыхнула революция, значительная часть рабочих стала кричать о немедленном восстановлении цехов и средневековых привилегированных ремесленных корпораций. И все же в промышленных округах, где господствовал современный способ производства, благодаря ему и благодаря удобствам общения и умственного развития, создаваемым кочевой жизнью значительного числа рабочих, образовалось крепкое ядро таких элементов, идеи которых об освобождении их класса были гораздо яснее и больше соответствовали окружающим фактам и исторической необходимости. Но они составляли лишь меньшинство. Если активное движение буржуазии датируется с 1840 г., то активное движение рабочего класса возмещает о себе бунтами силезских и богемских фабричных рабочих в 1844 г., и мы скоро будем иметь случай проследить различные его стадии.

Был, наконец, еще обширный класс мелких земледельцев-крестьян, которые вместе с земледельческими рабочими составляют значительное большинство всего населения. Этот класс подразделялся на различные группы. Во-первых, зажиточные крестьяне, так называемые *Gross- и Mittelbauern* (крупные и средние крестьяне), владеющие более или менее обширными участками земли и пользующиеся трудом нескольких наемных рабочих. Эта группа, занимая промежуточное положение между крупными феодальными землевладельцами, не платящими налогов, и более мелкими крестьянами и батраками, очевидно находила в союзе с антифеодальной городской буржуазией свое естественное политическое русло. Второе место занимала группа мелких собственников, преобладавших в Рейнской области, где феодализм пал под могучими ударами Великой французской революции. Подобные же независимые мелкие собственники встречались и в других областях, где им удалось выкупить феодальные повинности, тяготевшие раньше на их землях. Однако это были собственники лишь по имени, потому что их собственность была вообще в такой степени и на таких тяжелых условиях обременена долгами, что действительным владельцем был не крестьянин, а ссудивший деньги ростовщик. Затем следовала группа феодально-зависимых держателей, которых нельзя было лишить их участков, но которые платили вечную ренту или выполняли известное количество работы в пользу помещика. Наконец, в-четвертых, земледельческие

рабочие. Положение их на многих крупных фермах было совершенно такое же, как в Англии, и они во всяком случае жили и умирали бедняками, плохо питались и были рабами своих хозяев. Три последние разряда земледельческого населения, — мелкие собственники, феодально-зависимые держатели и сельские рабочие, — до революции никогда не ломали своих голов над политическими вопросами, но очевидно, что революция должна была развернуть перед ними новые перспективы, озаренные блестящими надеждами. Каждому из них революция сулила выгоды, и надо было ожидать, что, раз движение начнется, они присоединятся к нему один за другим. Но в то же время столь же очевидно, — и это доказывается историей всех современных стран, — что земледельческое население, в силу разбросанности его на большом пространстве и затруднительности соглашения между сколько-нибудь значительными частями его, не может предпринять успешного самостоятельного движения; ему нужна инициатива более концентрированного, более просвещенного, более легкого на подъем городского населения.

Этого краткого очерка важнейших классов, составлявших в своей совокупности германский народ накануне недавнего движения, достаточно будет, чтобы объяснить значительную долю неразумия, несообразности и явных противоречий, преобладавших в этом движении. Когда интересы, столь различные, столь противоположные, столь причудливо перекрещивающиеся, приходят в насильственное столкновение, когда эти соперничающие интересы в каждом округе, в каждой области перемешаны в различных комбинациях, когда, сверх того, нет центра в стране, — Лондона или Парижа, решения которого, в силу своего веса, могут устранить необходимость продельвать одну и ту же борьбу в каждой местности отдельно, — чего иного можно ожидать, кроме того, что сражение разобьется на массу схваток, в которых будет потрачено огромное количество крови, энергии и капитала, но которые при всем том не дадут решительных результатов.

Политическое расчленение Германии на три дюжины более или менее значительных государств также объясняется этим смешением и многообразием элементов, составляющих нацию и меняющихся в каждой местности. Где нет общих интересов, там не может быть единства целей и еще менее возможно единство действий. Германский союз, правда, объявлен был навеки нерасторжимым. Но этот союз и его орган, сейм, никогда не представляли германского единства. Наивысшим пунктом, какого достигла централизация в Германии, было образование Таможенного союза. Благодаря ему, расположен-

ные у Немецкого моря государства также вынуждены были заключить свой отдельный таможенный союз, между тем как Австрия укрылась под особым запретительным тарифом. Германия получила таким образом возможность для всех своих практических нужд делиться только на три самостоятельные державы вместо тридцати шести. Преобладающее влияние русского царя, установившееся с 1814 г., разумеется, от этого не ослабело.

Сделав эти руководящие выводы из наших посылок, мы сможем в следующей главе разобрать, каким образом указанные различные классы германского народа вступали в движение один за другим и какой характер движение приняло накануне французской революции 1848 г.

II. [ПРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО.]

Лондон, сентябрь 1851 г.

Началом политического движения среднего класса, или буржуазии, в Германии можно считать 1840 г. Ему предшествовали симптомы, показывавшие, что денежный и промышленный класс страны достиг состояния, которое не позволит ему долее апатично и пассивно сносить гнет полуфеодального, полубюрократического монархизма. Более мелкие немецкие государи, частью чтобы обеспечить себе большую независимость от Австрии и Пруссии или же от давления дворянства своих собственных государств, частью в видах сплочения разрозненных областей, соединенных под их правлением по решению Венского конгресса, даровали один за другим конституции более или менее либерального характера. Они могли это сделать без всякого риска. Они знали, что если Союзный сейм, эта кукла в руках Австрии и Пруссии, вздумает посягнуть на их независимость как государей, то как общественное мнение, так и палаты поддержат их в сопротивлении ему; если же, наоборот, эти палаты приобретут слишком большую силу, то можно будет прибегнуть к власти сейма для подавления всякой оппозиции.

При таких обстоятельствах представительные учреждения Баварии, Вюртемберга, Бадена или Ганновера не могли вызвать серьезной борьбы за политическую власть. Поэтому громадное большинство германской буржуазии вообще держалось в стороне от мелких распрей, возникавших в законодательных собраниях небольших государств, хорошо зная, что без коренного изменения в политике и государственном строе двух больших государств Германии никакие частичные усилия и победы не принесут никакой пользы. Но в то же время в этих мелких собраниях развилась порода либеральных юристов, профессиональных оппозиционеров: Роттеки, Велькеры, Ремеры, Иорданы, Штюве, Эйзенманы, эти великие «люди народа» (Volksmänner), которые, после более или менее шумливой, но всегда безуспешной двадцатилетней оппозиции, были вынесены на вершину власти революционным потоком 1848 г. и, обнаружив свою полную

неспособность и ничтожество, были снова низвергнуты с этой вершины. Эти первые деловые политические и оппозиционные деятели приучили своими речами и писаниями немецкое ухо к языку конституционализма, и самым своим существованием предвещали они приближение времени, когда буржуазия овладеет этими политическими фразами и вернет настоящий смысл словам, которыми эти болтливые адвокаты и профессора привыкли пользоваться, не совсем представляя себе их действительный смысл.

На германской литературе тоже отразилось политическое возбуждение, в которое события 1830 г. ввергли всю Европу. Наивный конституционализм или еще более наивный республиканизм проповедывались почти всеми писателями того времени. Все более и более входило в привычку, особенно у литераторов низшего разбора, пополнять недостаток литературного искусства в их произведениях политическими намеками, которыми обеспечивался успех у публики. Стихотворения, повести, рецензии, драмы, всякие литературные произведения были преисполнены так называемой «тенденции», т. е. более или менее робких выражений противоположительного духа. В довершение путаницы понятий, царившей после 1830 г. в Германии, к этим элементам политической оппозиции примешивались плохо переваренные университетские воспоминания немецкой философии и непонятые крохи французского социализма, особенно сенсимонизма. И клика писателей, преподносивших публике эту мешанину, кичливо называла себя «Молодой Германией» или «Новой школой». Позднее они раскаялись в своих юношеских грехах, но манера их писания не улучшилась от этого.

Наконец, немецкая философия, этот наиболее сложный, но в то же время наиболее верный показатель развития германской мысли, стала на сторону буржуазии, когда Гегель провозгласил в своей «Философии права» конституционную монархию конечной и самой совершенной формой правления. Другими словами, он возвестил близость прихода буржуазии к политической власти. После смерти Гегеля школа его на этом не остановилась. Более передовая часть его последователей, подвергнув суровой критике все религиозные верования и потрясши до основания старое здание христианства, в то же время выдвинула более смелые политические принципы, чем какие доводилось когда-либо раньше слышать немецкому уху, и пыталась реабилитировать героев первой французской революции. Запутанный философский язык, в который облечены были эти плеи, вагуманивая ум как писателя, так и читателя, ослеплял и глава цензоров, и в результате «младогегельянцы» пользовались

свободой печати, не ведомой в какой-либо другой отрасли литературы.

Таким образом, было очевидно, что общественное мнение в Германии переживает глубокие изменения. Значительное большинство тех, кому образование или положение позволяло и при неограниченной монархии приобрести кое-какие сведения в политике и составить себе хоть некоторое подобие самостоятельных политических убеждений, постепенно объединялось в мощную фалангу оппозиции к существующему строю. И при суждениях о медленном темпе политического развития в Германии не должно упускать из виду затруднительность получения точных сведений о чем бы то ни было в стране, в которой все источники знания были под надзором правительства, в которой нигде, от сельских и воскресных школ до газет и университетов, нельзя было говорить, учить, печатать или обнародовать ничего без предварительного одобрения правительства.

Возьмем для примера Вену. Ее население, которое в области промышленной и производственной сноровки не уступит, пожалуй, никому в Германии, которое далеко превосходит всех в отношении умственного развития, мужества, революционной энергии, оказалось, однако, более невежественным относительно своих действительных интересов и наделало больше ошибок во время революции, чем население какого-либо другого города. И это в значительной мере объясняется почти полным невежеством в области самых простых политических вопросов, — невежеством, в котором правительство Меттерниха держало население Вены.

Нечего и говорить, что при такой системе политическая осведомленность была почти исключительной монополией тех классов общества, которые могли платить за контрабанду, и, в частности, тех, интересы которых особенно серьезно страдали от существующего порядка вещей, а именно — промышленных и торговых классов. Поэтому они первые ополчились против дальнейшего существования более или менее замаскированного абсолютизма, и от их перехода в ряды оппозиции можно вести начало действительно революционного движения в Германии.

Оппозиционный подъем германской буржуазии начинается с 1840 г., после смерти прусского короля, последнего из оставшихся в живых основателей Священного союза 1815 г. Было известно, что новый король — не сторонник бюрократического и военного по преимуществу самодержавия своего отца. Того, чего французская буржуазия ожидала от воцарения Людовика XVI, немецкая буржуазия ждала в некоторой мере от прусского Фридриха-Вильгельма IV.

Все соглашались, что старая система изжита и должна быть оставлена, и то, что молча сносили при старом короле, теперь громко объявляли невыносимым.

Но если Людовик XVI, «Louis le Désiré» (Людовик Желанный), был непритязательный простак, наполовину сознававший свое собственное ничтожество, без каких-либо твердых взглядов и руководившийся главным образом навыками, приобретенными в годы своего воспитания, то «Фридрих-Вильгельм le Désiré» был совсем иным. Несомненно превосходя свой французский оригинал по слабости характера, он был человеком не без претензий и не без мнений. Дилетантски ознакомившись с начатками многих наук, он находил себя достаточно ученым, чтобы считать свое суждение по какому угодно вопросу неопровержимым. Он был уверен, что он — первоклассный оратор, и не было, конечно, ни одного коммивояжера в Берлине, который превзошел бы его своим многословным остроумием или плавностью речи. А главное, он имел свои мнения. Он ненавидел и презирал бюрократический элемент прусской монархии, но только потому, что все симпатии его принадлежали феодальному элементу. Будучи одним из основателей и главных сотрудников берлинской «*Politisches Wochenblatt*», так называемой «исторической школы» (школы, жившей идеями Бональда, де-Местра и других писателей первого поколения французских легитимистов), он стремился к возможно полному восстановлению господствующего положения дворянства. Король — первый дворянин королевства; его окружает, во-первых, блестящий двор могущественных вассалов, князей, герцогов и графов, затем — многочисленное и богатое низшее дворянство. Он правит по собственному усмотрению верными горожанами и крестьянами. Он — глава законченной иерархии сословий или каст, из которых каждая пользуется особыми привилегиями и отделена от прочих неодолимыми преградами рождения или определенного неизменного общественного положения, и все эти касты или «сословия государства» взаимно уравнивают силу и влияние друг друга так хорошо, что королю остается полная независимость действий, — таков был beau idéal (прекрасный идеал), который Фридрих-Вильгельм IV вздумал было осуществить и который он снова пытается осуществить в настоящий момент.

Прошло немного времени, пока прусская буржуазия, не очень изощренная в теоретических вопросах, уразумела истинный смысл тенденций своего короля. Но в чем она очень скоро убедилась, — это в том, что его склонности совершенно противоположны тому, что ей нужно было. Едва смерть отца развязала язык новому королю,

как он стал заявлять о своих намерениях в бесчисленных речах; и каждая речь, каждое действие отнимали у него симпатии буржуазии. Он не очень печалился бы об этом, если бы некоторые грозные и тревожные обстоятельства не прервали его поэтических грез. Увы, романтизм не очень силен в арифметике, и феодализм со времен Дон-Кихота все сбивается со счета! У Фридриха-Вильгельма IV было чересчур много презрения к деньгам, — презрения, которое всегда считалось благороднейшим наследием потомков крестоносцев. При вступлении на престол он нашел требовавшую больших расходов, хотя и бережливо организованную правительственную систему и умеренно наполненную казну. В два года все следы избытков были растрачены на придворные празднества, высочайшие путешествия, подарки, подачки нуждающимся бедным и алчным дворянам и пр., и обыкновенных налогов уже не хватало на нужды двора и правительства. И, таким образом, его величество скоро очутился между дефицитом, с одной стороны, и законом 1820 г., в силу которого всякий новый заем или повышение существующего обложения были незаконны без согласия «будущего народного представительства», — с другой. Этого представительства не существовало. Новый король еще менее своего отца был расположен вводить народное представительство, а если бы и был расположен, то знал бы, что со времени его восшествия на престол общественное мнение поразительно изменилось.

В самом деле, буржуазия, отчасти ожидавшая, что новый король сразу даст конституцию, провозгласит свободу печати, суд присяжных и пр., — короче, сам станет во главе той мирной революции, которая ей нужна была, чтобы получить в свои руки политическую власть, — буржуазия, говорим мы, увидела свою ошибку и жестоко обрушилась на короля. В Рейнской области и более или менее повсеместно в Пруссии она настолько ожесточилась, что за неимением людей, способных представлять ее в прессе, решилась на союз с крайней философской партией, о которой мы говорили выше. Плодом этого союза была «*Rheinische Zeitung*» («Рейнская газета»), издававшаяся в Кельне и закрытая после пятнадцатимесячного существования. С нее, можно сказать, началась история газетной печати в Германии. Это было в 1842 г.

Бедный король, денежные затруднения которого были самой едкой сатирой на его средневековые склонности, скоро увидел, что ему нельзя более царствовать, не сделав некоторых уступок общему желанию «народного представительства», которое, как последний остаток давно забытых обещаний 1813 и 1815 гг., было упомянуто

в законе 1820 г. Наиболее подходящим способом выполнить этот неприятный закон он считал созыв постоянных комиссий областных ландтагов.

Областные ландтаги были учреждены в 1823 г. В каждой из восьми областей королевства они состояли 1) из высшего дворянства, бывших владетельных семей Германской империи, главы которых были членами ландтага по праву рождения, 2) представителей рыцарства, или низшего дворянства, 3) представителей городов и 4) депутатов от крестьян, или класса мелких сельских хозяев. Все было подстроено так, что в каждой области обе секции дворянства всегда составляли большинство. Каждый из этих восьми областных ландтагов выбрал комиссию, и эти восемь комиссий были теперь созваны в Берлин для образования представительного собрания, которое разрешило бы столь желанный заем. При этом утверждали, что казна имеет достаточно средств и что заем нужен не на текущие нужды, а на постройку государственной железной дороги. Но соединенные комиссии просто отказали королю в займе, объявив себя не уполномоченными действовать в качестве народных представителей, и предложили его величеству исполнить обещание, данное его отцом, когда ему нужна была помощь народа против Наполеона.

Сессия соединенных комиссий показала, что уже не одна буржуазия охвачена была оппозиционным духом. К ней присоединились часть крестьянства и многие дворяне, которые лично вели крупное сельское хозяйство в своих имениях, торговали хлебом, шерстью, водкой, льном и поэтому тоже нуждались в гарантиях против абсолютизма, бюрократии и феодальной реставрации и высказались теперь против правительства и за конституцию. План короля потерпел полное крушение; он не получил денег и увеличил силу оппозиции. Последовавшая затем сессия самих областных ландтагов была еще более неблагоприятна для короля. Все сеймы требовали реформ, исполнения обещаний 1813 и 1815 гг., конституции и свободы печати; соответствующие резолюции некоторых ландтагов были составлены в несколько непочтительных выражениях, а сердитые ответы приведенного в отчаяние короля еще более усилили беду.

Между тем финансовые затруднения правительства все возрастали. Временное сокращение ассигновок на различные административные нужды и мошеннические сделки с «*Seehandlung*», коммерческим предприятием, которое спекулировало и торговало за счет и риск казны и долго служило ее денежным маклером, давали возможность сохранять видимость платежеспособности казначейства.

Усиленная эмиссия бумажных денег тоже давала некоторые средства. И тайна, в общем, соблюдалась хорошо. Но все эти ресурсы скоро истощились. Тогда испробовали другой план: был учрежден банк, капитал для которого должны были дать часть казна, частью частные акционеры; главное заведывание должно было принадлежать государству, так что правительство могло бы в широкой мере черпать из фондов банка и повторять те мошеннические операции, которых оно не могло уже проделывать с «Seehandlung». Но, конечно, не нашлось капиталистов, которые пожелали бы дать деньги на таких условиях. Прежде чем открывать подписку на акции, пришлось переработать устав банка и гарантировать капитал акционеров от посягательств казны. Когда и этот план потерпел крушение, оставалось прибегнуть к займу, т. е. найти капиталистов, которые ссудили бы деньги без разрешения и гарантии со стороны таинственного «будущего народного представительства». Обратились к Ротшильду, и тот заявил, что если заем будет гарантирован этим «народным представительством», он готов дать деньги тотчас же; если же нет, то он не может иметь никакого касательства к этому делу.

Таким образом, все надежды достать деньги исчезли, и невозможно было обойтись без рокового «народного представительства». Отказ Ротшильда стал известен осенью 1846 г., а в феврале следующего года король созвал все восемь областных ландтагов в Берлине, чтобы образовать из них один «Соединенный ландтаг». Этот ландтаг должен был сделать то, что предначертано было на случай надобности законом 1820 г.: вотировать заем и увеличить налоги; сверх этого он не должен был иметь никаких прав. Его голос по вопросам общего законодательства должен был быть чисто совещательным; собираться он должен был не в установленные сроки, а когда заблагорассудится королю, и обсуждать только то, что правительство сообразовалит предложить на его рассмотрение. Разумеется, депутаты были очень мало удовлетворены ролью, которая им отводилась. Они повторили пожелания, выраженные ими в провинциальных собраниях. Отношения между ними и правительством скоро обострились, и когда от них потребовали вотировать заем, на этот раз якобы на постройку железных дорог, они снова отказались разрешить его.

Это голосование скоро положило конец сессии ландтага. Король, все более и более раздражаясь, распустил ландтаг с выговором, но остался без денег. И он, действительно, имел все основания тревожиться, видя, что либеральная партия, руководимая буржуазией и охватывавшая значительную часть низшего дворянства и разных недовольных, скопившихся в различных группах низших сосло-

вий, — что эта либеральная партия решилась добиться того, в чем она нуждалась. Тщетно король заявил в речи, которою он открыл собрание, что он никогда, никогда не дарует конституции в современном смысле слова, — либеральная партия настаивала на такой современной антифеодальной конституции со всеми ее спутниками: свободой печати, судом присяжных и пр., и на том, что до получения такой конституции она не даст ни копейки денег. Очевидно было одно: дольше такое положение длиться не могло, и одна из сторон должна уступить, — иначе последует разрыв, кровавая борьба. И буржуазия знала, что она накануне революции, и готовилась к ней. Всеми средствами старалась она получить поддержку рабочего класса в городах и крестьянства в сельских округах, и хорошо известно, что в конце 1847 г. вряд ли был хоть один выдающийся политический деятель среди буржуазии, который не заявлял бы себя «социалистом», чтобы снискать симпатии пролетарского класса. Мы увидим дальше этих «социалистов» за работой.

Это рвение руководящей буржуазии усвоить, по меньшей мере, некоторую видимость социализма было вызвано огромной переменой, происшедшей в настроениях рабочего класса Германии. С 1840 г. существовала группа рабочих, которые, странствуя по Франции и Швейцарии, в большей или меньшей степени прониклись незрелыми социалистическими или коммунистическими идеями, бывшими тогда в ходу среди французских рабочих. Усиленный интерес, проявившийся к подобным идеям во Франции с 1840 г., сделал социализм и коммунизм модным и в Германии, и уже в 1843 г. все газеты полны были рассуждениями на социальные темы. Скоро в Германии образовалась школа социалистов, отличавшихся больше туманностью, чем новизной своих идей; главные усилия ее были направлены на перевод французских учений Сен-Симона, Фурье и других на запутанный язык немецкой философии. Около того же времени образовалась коммунистическая школа, совершенно отличная от этой секты.

В 1844 г. вспыхнули бунты силезских ткачей, за ними последовало восстание пражских ситцепечатников. Эти бунты, жестоко подавленные, бунты рабочих не против правительства, а против хозяев, произвели глубокое впечатление и дали новый толчок социалистической и коммунистической пропаганде среди рабочих. Такое же действие оказали хлебные бунты в голодном 1847 г. Короче, точно так же как огромная масса имущих классов (за исключением крупных феодальных землевладельцев) соединилась вокруг знамени конституционной оппозиции, точно так же рабочий класс больших городов ожидал своего освобождения от социалистических и

коммунистических учений, хотя при существовавших законах о печати лишь очень мало мог знать о них. Нельзя было ожидать от него ясного представления о том, что ему нужно; он знал только, что программа конституционалистской буржуазии не содержит всего, чего он желает, и что его нужды совсем не покрываются кругом конституционных идей.

Особой республиканской партии в Германии не было. Были либо конституционные монархисты, либо более или менее ясно определившиеся социалисты и коммунисты.

При таких элементах самое слабое столкновение должно было вызвать великую революцию. Единственной надежной опорой существующего порядка были высшее дворянство и старшие военные и гражданские чины. Низшее дворянство, промышленная буржуазия, университеты, преподаватели всех разрядов и даже часть низших слоев бюрократии и офицерства, — все соединились против правительства. А за ними стояли недовольные массы крестьянства и пролетариев больших городов, поддерживавших пока либеральную оппозицию, но иногда уже произносивших необычные слова о том, что надо взять дело в собственные руки. Буржуазия готова была низвергнуть правительство, а пролетарии готовились низвергнуть, в свою очередь, буржуазию. Правительство же упорно следовало по пути, который неизбежно должен был привести к столкновению.

В 1848 г. Германия была накануне революции, и эта революция наверное вспыхнула бы сама собой, не будь приход ее ускорен французской февральской революцией.

В следующей статье мы увидим, какое влияние оказала на Германию эта парижская революция.

III. [ДРУГИЕ НЕМЕЦКИЕ ГОСУДАРСТВА.]

Лондон, сентябрь 1851 г.

В предыдущей статье мы ограничились почти исключительно Пруссией, государством, которое с 1840 по 1848 год играло самую важную роль в германском движении. Пора, однако, бросить беглый взгляд на положение других германских государств за тот же период.

Что касается мелких государств, то со времени революционного движения 1830 г. они совершенно подчинились диктатуре Союзного сейма, другими словами — Австрии и Пруссии. Различные конституции дарованы были не только с целью снискать популярность их державным авторам и обеспечить единство конгломератам разнородных областей, созданным Венским конгрессом без всякого руководящего принципа, но и для того, чтобы они могли служить щитом против посягательств крупных государств. При всей своей прозрачности, эти конституции все же оказались опасными для власти самих мелких государей в бурное время 1830 и 1831 гг. Они были почти совсем уничтожены, от них не осталось и тени, и надо было обладать болтливым самодовольством какого-нибудь Велькера, Роттека или Дальмана, чтобы воображать, что можно ждать каких-нибудь результатов от унизительно-льстивой, смиренной оппозиции, которую они оказывали в бессильных палатах этих мелких государств.

Более энергичная часть буржуазии в более мелких государствах вскоре после 1840 г. оставила все свои прежние надежды на развитие парламентского правления в этих вассальных владениях Австрии и Пруссии. Как только прусская буржуазия и соединившиеся с нею классы проявили серьезную решимость бороться за парламентское правление в Пруссии, они очутились во главе конституционного движения всей не-австрийской Германии. Теперь уже никем не оспаривается факт, что ядро средне-германских конституционалистов, которые впоследствии отделились от Франкфуртского национального собрания и которые по месту их сепаратных собраний были названы Готской партией, задолго до 1848 г. обдумывало план,

который с небольшими изменениями предложен был в 1849 г. представителям всей Германии. Они предлагали провести полное исключение Австрии из Германского союза, учреждение нового союза с новым органическим статутом и федеральным парламентом под покровительством Пруссии и приобщение более незначительных государств к более крупным. Все это должно было осуществиться с того момента, как Пруссия станет конституционной монархией, установит свободу печати, усвоит независимую от России и Австрии политику и позволит, таким образом, конституционалистам более мелких государств получить действительную власть над их правительствами. Творцом этого плана был Гервинус, профессор Гейдельбергского университета (Баден). Таким образом, эмансипация прусской буржуазии должна была послужить сигналом к эмансипации буржуазии во всей Германии и к образованию наступательного и оборонительного союза против России и Австрии. Последняя, как мы скоро увидим, считалась совершенно варварской страной, о которой весьма мало знали, да и то немного, что знали, было нелестно для ее населения. Поэтому Австрию не считали существенной частью Германии.

Что касается других общественных классов в мелких государствах, то они пошли более или менее скоро по стопам прусских. Мелкая буржуазия становилась все более и более недовольной своими правительствами, ростом налогов, урезыванием призрачных политических прав, которыми они хвастались перед «рабами деспотизма» в Австрии и Пруссии. Но в ее программе не было ничего определенного, ничего такого, что могло бы отметить ее как самостоятельную партию с иными требованиями, чем конституционализм высшей буржуазии. Среди крестьян недовольство также росло, но хорошо известно, что эта часть населения в спокойные и мирные времена никогда, за исключением стран со всеобщим избирательным правом, не выдвигает своих классовых интересов и не становится в независимое положение. Промышленные рабочие городов начали заражаться «ядом» социализма и коммунизма, но так как вне Пруссии сколькихнибудь значительных городов не много, а промышленных округов и того меньше, то движение этого класса в мелких государствах, за отсутствием центров агитации и пропаганды, развивалось крайне медленно.

Затруднения, которые встречало проявление политической оппозиции, создали как в Пруссии, так и в мелких государствах, род религиозной оппозиции, проявлявшейся в параллельно развивавшихся движениях германского католицизма и свободного конгрегационализма (вольных церковных общин). История дает много примеров

того, как в странах, которые пользуются счастьем иметь государственную церковь и в которых обсуждение политических вопросов стеснено, мирская и опасная оппозиция против светской власти скрывается за более благочестивой и с виду более бескорыстной борьбой против духовного деспотизма. Многие правительства, которые не допускают, чтобы их действия подвергались критике, призадумаются, прежде чем создать мучеников и будить в массах религиозный фанатизм. В Германии в 1845 г. в каждом государстве либо католицизм, либо протестантизм, либо обе религии вместе считались составной частью действовавшего в государстве права. И в каждом из этих государств духовенство одной из этих религий или обеих религий вместе составляло существенную часть государственного чиновничества. Нападки на протестантское или католическое правоверие, нападки на духовенство являлись, следовательно, нападками на само правительство. Что касается германо-католиков, то самое существование их было вызовом католическим правительствам Германии, в частности австрийскому и баварскому; так на это и смотрели эти правительства. Свободные конгрегационалисты, протестантские диссиденты, несколько похожие на английских и американских унитариан, открыто выражали оппозицию клерикальному и строго правоверному направлению короля и его любимца Эйхгорна, министра народного просвещения и духовных дел. Обе секты, временно быстро распространившиеся одна в католических, другая в протестантских странах, отличались друг от друга только различным происхождением; что же касается их учений, то они вполне соглашались относительно одного чрезвычайно важного пункта, а именно, что все определенные догматы не имеют значения. Это отсутствие определенности было действительно самой характерной их чертой. Они заявляли, что построят большой храм, под сводами которого могли бы соединиться все немцы. Таким образом, они представляли в религиозной форме другую политическую идею времени — идею германского единства. Однако, несмотря на это, они никак не могли столковаться.

Идея германского единства, которую названные секты пытались осуществить, — по крайней мере, на религиозной почве, изобретая общую религию для всех немцев, нарочито приспособленную к их нравам, привычкам и вкусам, — эта идея, действительно, была широко распространена, особенно в мелких государствах. Со времени разрушения Германской империи Наполеоном призыв к объединению *disjecta membra* (разрозненных частей) Германии был самым общим выражением недовольства существующим порядком, особенно в

мелких государствах, где расходы на двор, администрацию, армию, — короче, вся тяжесть обложения, — росли прямо-пропорционально их крохотности и бессилию. Но относительно того, каким должно быть это германское единство, когда оно будет осуществлено, партии расходились во взглядах. Буржуазия, не желавшая серьезных революционных потрясений, удовлетворялась тем, что, как мы видели, она считала «осуществимым», а именно объединением всей Германии, за исключением Австрии, под главенством прусского конституционного правительства; и наверное ничего больше в то время нельзя было сделать, не вызывая опасных бурь. Мелкие буржуа и крестьяне, поскольку последние вообще задумывались над такими вопросами, не пришли ни к какому определению германского единства, о котором так громко кричали. Несколько мечтателей, большей частью феодально-реакционных, надеялись на восстановление Германской империи. Несколько невежд, *soi-disant* (якобы) радикалов, восхищавшихся швейцарскими учреждениями, с которыми они практически еще не были знакомы и которые впоследствии самым потешным образом их разочаровали, высказывались за федеральную республику. И лишь самая крайняя партия осмеливалась в то время выступать за германскую республику, единую и неделимую. Таким образом, единство Германии было само по себе вопросом, чреватом разъединением, распрями, а при известных обстоятельствах — даже гражданской войной.

Резюмируем. Состояние Пруссии и более мелких германских государств в конце 1847 г. было таково. На одной стороне — буржуазия, сознававшая свою силу и решившаяся не терпеть долее стеснений, которыми феодально-бюрократический деспотизм сковывал ее торговлю, ее промышленную предприимчивость, ее совместные действия как класса; часть земельного дворянства, настолько превратившегося в производителя товаров для рынка, что у него были одинаковые интересы и общие цели с буржуазией; мелкая буржуазия, недовольная, ропщущая на налоги, на стеснение ее деятельности, но без определенного плана реформ, которые могли бы упрочить ее положение в государстве и в обществе; крестьянство, истощаемое то феодальными тяготами, то поборами заимодавцев, ростовщиков и адвокатов; городские рабочие, зараженные общим недовольством, одинаково ненавидящие и правительство, и крупных промышленных капиталистов, проникающиеся социалистическими и коммунистическими идеями, — короче, разнородная масса оппозиции, движимой различными интересами, но направляемой, в большей или меньшей степени, буржуазией, в первых рядах которой шла буржуазия Пруссии, в

частности — Рейнской области. На другой стороне — правительства, расхившиеся по многим пунктам, не доверявшие друг другу и, в особенности, Пруссии, к поддержке которой им, однако, приходилось прибегать; в самой Пруссии — правительство, покинутое общественным мнением, покинутое даже частью дворянства, опирающееся на армию и бюрократию, которая с каждым днем все более заражалась идеями оппозиционной буржуазии и подпадала под ее влияние, — правительство, помимо всего этого, не имевшее в буквальном смысле слова ни копейки и не имевшее возможности добыть ни гроша на покрытие растущего дефицита, не капитулируя перед буржуазной оппозицией. Когда и в какой стране буржуазия была в более блестящем положении в борьбе за власть с существующим правительством?

IV. [АВСТРИЯ.]

Лондон, сентябрь 1851 г.

Теперь нам нужно перейти к Австрии, стране, которая до марта 1848 г. была почти так же мало известна иностранцам, как Китай до последней войны с Англией.

Конечно, мы здесь будем иметь в виду только немецкую Австрию. Польские, венгерские или итальянские дела нас сейчас не интересуют; поскольку же они влияли с 1848 г. на судьбы австрийских немцев, они войдут в наше изложение позже.

Правление князя Меттерниха основывалось на двух правилах: во-первых, держать каждый из подвластных Австрии народов в покорности с помощью всех остальных народов, находившихся в том же положении; во-вторых, — и это всегда было основным принципом неограниченных монархий, — опираться на два класса: феодальных землевладельцев и крупных финансистов, уравновешивая влияние и силу одного класса другим классом, чтобы за правительством оставалась полная свобода действий. Земельное дворянство, все доходы которого состояли из всякого рода феодальных повинностей, не могло не стоять за правительство, свою единственную защиту от угнетенного класса крепостных, жестокой эксплуатацией которых оно жило. И всякий раз, когда менее богатая часть дворянства поднималась против правительства, — как это произошло в Галиции в 1846 г., — Меттерних тотчас же спускал на нее этих крепостных, и последние жадно пользовались всяким случаем жестоко отомстить своим непосредственным притеснителям.

С другой стороны, крупные капиталисты биржи были прикреплены к правительству Меттерниха большими суммами, которые они давали займы государству. Австрия, восстановленная в 1815 г. во всей своей мощи, восстановившая и поддерживавшая с 1820 г. неограниченную монархию в Италии, избавленная банкротством 1810 г. от части своих обязательств, после упрочения мира скоро восстановила свой кредит на крупных денежных рынках Европы, и, по мере того как этот кредит возрастал, она им пользовалась. Все крупные

денежные дельцы Европы поместили, таким образом, значительную долю своих капиталов в австрийские фонды; все они были заинтересованы в поддержании кредита страны, а так как австрийский кредит для своего поддержания требовал все новых займов, то они были вынуждены ссужать время от времени новые капиталы для поддержания доверия к бумагам, под которые они ссудили прежние капиталы. Продолжительный мир, наступивший после 1815 г., и кажущаяся невозможность крушения такой тысячелетней империи, как Австрия, чрезвычайно укрепили кредит правительства Меттерниха и делали его даже независимым от доброй воли венских банкиров и биржевиков. И пока Меттерних мог в изобилии получать деньги из Франкфурта и Амстердама, он, конечно, имел удовольствие видеть австрийских капиталистов у своих ног. Сверх того, они были в его власти и во всех других отношениях: крупные барыши, которые банкиры, биржевики и правительственные подрядчики всегда стараются извлекать из абсолютной монархии, возмещались почти безграничной властью правительства над их личностями и состояниями, и поэтому от них нельзя было ожидать и тени оппозиции. Таким образом, Меттерних был уверен в поддержке двух самых могущественных и влиятельных классов империи и, сверх того, располагал армией и бюрократией, как нельзя лучше приспособленными для всяких надобностей абсолютизма. Военные и гражданские служащие в Австрии образуют особую касту. Отцы их служили императору, и дети будут служить ему. Они не принадлежат ни к одной из множества народностей, собранных под крыльями двуглавого орла; они постоянно перемещались и перемещаются с одного конца империи на другой, из Польши в Италию, из Германии в Трансильванию. Венгерцы, поляки, немцы, румыны, итальянцы, кроаты, — все, не отмеченные печатью «императорско-королевской службы», одинаково презираются ими. Они не имеют национальности или, лучше сказать, одни они составляют настоящую австрийскую нацию. Ясно, каким гибким и в то же время сильным орудием должна быть подобная гражданская и военная иерархия в руках умного и энергичного вождя.

Что касается других классов населения, то Меттерних, совершенно в духе государственного человека *ancien régime* (старого режима), мало заботился о снискании их поддержки. По отношению к ним он придерживался лишь одной политики: выжимать из них возможно больше путем налогов и держать их в покорности. Торговая и промышленная буржуазия весьма медленно развивалась в Австрии. Торговля по Дунаю была сравнительно незначительна. Страна обладала всего одним портом, Триестом, и его торговые обороты были

очень ограничены. Промышленники пользовались значительным покровительством, доходившим в большинстве случаев до полного устранения всякой иностранной конкуренции; но это преимущество было даровано им, главным образом, с целью сделать их способными выносить более высокое налоговое обложение и в значительной мере уравновешивалось внутренними ограничениями промышленной деятельности, привилегиями цехов и других феодальных корпораций, которые тщательно охранялись, поскольку не мешали намерениям и видам правительства. Мелкие ремесленники были заключены в узкие рамки этих средневековых цехов, которые поддерживали различные промыслы в постоянной войне друг против друга за привилегии и в то же время, почти совершенно лишая отдельных рабочих всякой возможности подняться по общественной лестнице, придавали известную наследственную устойчивость членам этих принудительных корпораций. Наконец, на крестьян и рабочих смотрели только как на объекты обложения, заботясь единственно о том, чтобы держать их по возможности в тех условиях жизни, в которых жили их отцы и деды. Для этого все старые, установившиеся наследственные авторитеты поддерживались точно так же, как и авторитет государства. Власть помещика над мелким крестьянином - арендатором, промышленника над рабочим, мелкого хозяина над подмастерьем и поденщиком, отца над сыном всюду строго охранялась правительством, и всякое неповиновение наказывалось, как нарушение закона, с помощью палок — этого универсального орудия австрийского правосудия.

И, наконец, чтобы связать в одну стройную систему все эти стремления, создать искусственную стабилизацию, умственная пища, разрешавшаяся нации, выбиралась с мелочной осторожностью и отпускалась очень скупо. Воспитание всюду было в руках католического духовенства, главы которого, подобно крупным феодальным землевладельцам, были глубоко заинтересованы в сохранении существующего строя. Университеты были организованы так, чтобы выпускать только специалистов, умелых или бесталанных в своей области, но во всяком случае лишенных общего свободного образования, которого обычно ждут от других университетов. Ежедневной прессы, за исключением Венгрии, абсолютно не существовало, а венгерские газеты были запрещены в остальных частях монархии. Что касается общей литературы, то она за целое столетие не выросла, — после смерти Иосифа II ее влияние даже ослабело. И вдоль всей границы, по которой австрийские области соприкасались с какой-либо цивилизованной страной, протянут был кордон цензоров, в дополнение к кордону таможенных чиновников, не допускаявший в Австрию ни

одной иностранной книги или газеты, прежде чем ее содержание не будет дважды или трижды просмотрено и не будет найдено чистым от малейших следов злокозненного духа времени.

В продолжение почти 30 лет после 1815 г. система эта действовала с удивительным успехом. Австрия оставалась почти неизвестной Европе, а Европа — почти совершенно столь же мало известной Австрии. Социальное положение каждого класса в отдельности и всего населения в целом, казалось, не испытало ни малейшей перемены. Какое бы озлобление ни существовало между классами, — а существование этого озлобления было для Меттерниха главным условием управления, и он даже поощрял его, делая высшие классы орудием всех правительственных вымогательств и таким образом навлекая на них ненависть низших классов, — как бы ни ненавидел народ низших чиновников, недовольства центральным правительством, в общем, было мало или вовсе не было. Императора обожали, и старый Франц I, казалось, был прав, когда, сомневаясь в прочности этой системы, самодовольно прибавлял: «а все же на мой и Меттерниха век ее хватит».

И однако, происходило медленное, скрытое движение, о которое разбилась все усилия Меттерниха. Богатство и влияние промышленной и торговой буржуазии разрастались. Введение пара и машин перевернуло в Австрии, как и везде, старые отношения в промышленности и условия существования целых классов общества; оно превратило крепостных в свободных людей, мелких крестьян — в фабричных рабочих; оно подкопало старые феодальные ремесленные корпорации и лишило многие из них средств существования. Новое торгово-промышленное население всюду приходило в столкновение со старыми феодальными учреждениями. Буржуазия, которая по своим делам все чаще должна была ездить за границу, привозила некоторое преувеличенное представление о цивилизованных странах, расположенных за имперской таможенной линией. И, наконец, постройка железных дорог решительно ускорила как промышленное, так и интеллектуальное развитие страны.

Была и одна опасная сторона в австрийском государственном строе — венгерская феодальная конституция с ее парламентской процедурой, ее борьбой обедневшей и оппозиционной массы дворян с правительством и его союзниками — магнатами. Пресбург, местопребывание рейхстага, был у самых ворот Вены. Все это способствовало появлению у городской буржуазии духа — не оппозиции собственно, ибо оппозиция была еще невозможна, а недовольства, общего желания реформ скорее административного, чем конституционного

характера. И точно так же, как в Пруссии, часть бюрократии примкнула к буржуазии. Среди этой наследственной касты чиновников традиции Иосифа II не были забыты; более просвещенные савонники, иногда сами мечтавшие о реформах, решительно предпочитали прогрессивный и просвещенный деспотизм этого императора «отеческому» деспотизму Меттерниха. Часть более бедного дворянства также стала на сторону буржуазии, а что касается низших классов населения, которые всегда имели достаточно оснований жаловаться на своих господ, если не на правительство, то они в большинстве случаев не могли не присоединиться к реформаторским желанием буржуазии.

Около этого времени, т. е. в 1843 — 1844 гг., в Германии возникла особая отрасль литературы, благоприятствующая этой перемене. Несколько австрийских писателей, беллетристов, литературных критиков, плохих поэтов, — все людей весьма посредственных талантов, но одаренных особенной коммерческой сноровкой, свойственной еврейскому племени, поселились в Лейпциге и других германских городах, расположенных вне Австрии, и здесь, находясь вне власти Меттерниха, печатали ряд книг и брошюр об австрийских делах. Они и их издатели «бойко торговали». Вся Германия жаждала узнать тайны политики европейского Китая, а австрийцы, получавшие эти издания контрабандным путем через богемскую границу, были еще любопытнее. Конечно, секреты, разоблачавшиеся в этих изданиях, были не великой важности, а проекты реформы, набросанные доброжелательными авторами, носили печать безвредности, почти доходившей до политической невинности. Конституция и свобода печати для Австрии считались недостижимыми; административные реформы, расширение прав областных ландтагов, допущение иностранных книг и газет и менее суровая цензура, — далее этого лояльные и смиренные желания добрых австрийцев вряд ли заходили.

Как бы то ни было, растущая невозможность предупредить литературные сношения Австрии с остальной Германией, а через Германию — и со всем остальным миром, много способствовала образованию противоправительственного общественного мнения и дала хотя бы некоторую политическую осведомленность части австрийского населения. Таким образом, к концу 1847 г. Австрия была охвачена, хотя и в меньшей степени, политическим и политико-религиозным брожением, господствовавшим тогда в Германии; и если в Австрии оно распространялось более медленным темпом, то, тем не менее, оно нашло достаточно революционных элементов, на которые оно могло дей-

ствовать. Там были крестьяне, крепостные или оброчные, разоряемые помещичьими или правительственными поборами; фабричные рабочие, которых полицейскими палками заставляли работать на любых условиях, какие соблаговолит продиктовать капиталист; ремесленные рабочие, у которых цеховые законы отнимали всякие шансы достигнуть независимого положения в своем ремесле; купцы, на каждом шагу натыкавшиеся в своих делах на нелепые предписания; промышленники, ведшие неустанную борьбу с цехами, ревливо оберегавшими свои привилегии, или с алчными и вмешивающимися во все чиновниками; школьные учителя, ученые, более образованные чиновники, тщетно боровшиеся с невежественным и надменным духовенством или глупыми и сумасбродными начальниками. Короче, не было ни одного довольного класса, потому что мелкие уступки, которые правительство вынуждено было время от времени делать, оно делало не за свой счет, — казна не позволяла этого, — а за счет высшей аристократии и духовенства. Что же касается крупных банкиров и владельцев государственных ценных бумаг, то последние итальянские события, возраставшая оппозиция венгерского сейма, необычный дух недовольства и требование реформ, проявлявшиеся повсеместно в империи, не могли способствовать тому, чтобы укрепить в них веру в прочность и кредитоспособность Австрийской империи.

Таким образом, и Австрия медленно, но верно шла к крупным переменам, когда вдруг во Франции разразились события, сразу разнуздавшие надвигавшуюся бурю и опровергшие уверения старого Франца, что здание абсолютизма продержится до конца дней его и Меттерниха.

V. [ВОССТАНИЕ В ВЕНЕ.]

Лондон, октябрь 1851 г.

24 февраля 1848 г. Луи-Филипп был изгнан из Парижа, и во Франции провозглашена была республика. 13 марта население Вены сломило власть князя Меттерниха и заставило его позорно бежать из страны. 18 марта берлинцы поднялись с оружием в руках и после упорной восемнадцатичасовой битвы получили то удовлетворение, что заставили короля сдаться. Одновременно произошли взрывы более или менее насильственного характера, но все с одинаковым успехом, в столицах более мелких германских государств. Германский народ если и не совершил своей первой революции, то, по крайней мере, решительно вступил на революционный путь.

Мы не можем здесь входить в подробности этих различных восстаний; ограничимся выяснением их характера и того положения, какое занимали по отношению к ним различные классы населения.

Венская революция была совершена, можно сказать, почти единодушно всем населением. Буржуазия (за исключением банкиров и биржевиков), мелкая буржуазия, рабочие, — все, как один человек, восстали против правительства, проклинаемого всеми, — правительства, ненавидимого столь единодушно, что небольшое меньшинство дворянства и денежной аристократии, поддерживавшее его, поторопилось ступешеваться при первом нападении. Меттерних держал буржуазию в состоянии такого политического невежества, что получавшиеся из Парижа известия о воцарении анархии, социализма, террора и о надвигающейся борьбе между классом капиталистов и рабочим классом были ей совершенно непонятны. В своей политической невинности она либо не придавала никакого значения этим известиям, либо же считала их злокозненными выдумками Меттерниха с целью запугать ее и принудить к покорности. К тому же, она никогда не видела, чтобы рабочие действовали как класс или выступали за свои особые классовые интересы. Из своего прошлого опыта она не вынесла никакого представления о возможности каких-либо распрей между классами, столь дружно соединившимися

теперь для низвержения ненавистного всем правительства. Она видела, что рабочие согласны с нею по всем пунктам: относительно конституции, суда присяжных, свободы печати и пр. Таким образом, она, по крайней мере в марте 1848 г., отдалась движению и душой, и телом, а, с другой стороны, движение сразу выдвинуло ее, по крайней мере в теории, в качестве господствующего класса в государстве.

Но такова судьба всех революций, что союз различных классов, который в известной мере составляет необходимое условие всякой революции, не может долго длиться. Как только одержана победа над общим врагом, победители разделяются на различные лагеря и обращают свое оружие друг против друга. Это-то быстрое и бурное развитие классового антагонизма и делает революцию в старых и сложных общественных организмах столь могущественным фактором общественного и политического прогресса; это-то непрестанное, быстрое вырастание новых партий, сменяющих друг друга у власти, и заставляет нацию во время этих бурных потрясений проходить в пять лет больше, чем, при обыкновенных обстоятельствах, в течение целого столетия.

Революция в Вене теоретически сделала буржуазию господствующим классом. Другими словами, если бы завоеванные у правительства уступки были проведены в жизнь и продержались некоторое время, то господство буржуазии неизбежно утвердилось бы. Но на деле господство этого класса далеко не установилось. Правда, благодаря учреждению национальной гвардии, давшему оружие в руки буржуазии и мелких ремесленников, буржуазия получила и силу, и значение; правда, учреждением «Комитета безопасности», чего-то вроде революционного неответственного правительства, в котором преобладала буржуазия, последняя была поставлена во главе власти. Но в то же время отчасти был вооружен также и рабочий класс; он и студенты вынесли огонь битвы повсюду, где пришлось сражаться, и студенты, числом до 4 000, хорошо вооруженные и дисциплинированные значительно лучше национальной гвардии, составляли настоящее ядро революционных сил и отнюдь не желали быть простым орудием в руках Комитета безопасности. Хотя они и признали его и даже были наиболее восторженными его сторонниками, но все же составляли независимый и довольно буйный отряд, собиравшийся в «ауле»,¹ занимавший промежуточное положение между буржуазией и рабочим классом, мешавший непрестанной агитацией восстановлению прежней безмятежной обыденщины и очень часто навязывавший

¹ [Университетский актовый зал.]

свои решения Комитету безопасности. С другой стороны, рабочих, почти совершенно лишенных работы, пришлось занять общественными работами, и деньги для этой цели, разумеется, приходилось черпать из кошелька налогоплательщиков или из кассы города Вены. Все это не могло быть очень заманчивым для венских промышленников. На промышленных предприятиях, рассчитанных на потребление богатей и аристократических семей обширной страны, производство, понятно, было совершенно остановлено революцией, бегством аристократии и двора; торговля была в застое, а непрерывная агитация и возбуждение, поддерживавшиеся студентами и рабочими, конечно не способствовали «восстановлению доверия». Таким образом, очень скоро явилось известное охлаждение между буржуазией, с одной стороны, и беспокойным студенчеством и рабочими — с другой; и если это охлаждение долгое время не доходило до открытой вражды, то потому лишь, что министерство и, в особенности, двор, в своем нетерпении восстановить старый порядок, постоянно оправдывали подозрения и бурную деятельность более революционных партий и постоянно вызывали, даже в глазах буржуазии, призрак старого меттерниховского деспотизма. Так, 15-го и 26 мая снова произошли восстания всех классов в Вене, потому что правительство попыталось ограничить некоторые завоеванные свободы или подкопаться под них, и каждый раз союз между национальной гвардией, или вооруженной буржуазией, студенчеством и рабочими на время снова закреплялся.

Что касается других классов населения, то аристократия и денежные дельцы скрылись, а крестьянство повсюду деятельно занималось искоренением феодализма до последних остатков. Благодаря итальянской войне и тому, что внимание двора было поглощено Веной и венгерцами, крестьянству была предоставлена полная свобода действий, и оно в деле своего освобождения достигло в Австрии больших результатов, чем в какой-либо другой части Германии. Австрийскому рейхстагу вскоре пришлось лишь утвердить то, что в действительности уже было проведено крестьянами, и как бы далеко ни пошли реставрационные попытки правительства князя Шварценберга, ему никогда не удастся восстановить феодальное рабство крестьян. Если Австрия в настоящий момент сравнительно спокойна и даже крепка, то это объясняется главным образом тем, что огромное большинство народа, крестьяне, действительно выиграли от революции. Восстановленное правительство может отменить еще многое, но эти осязательные и существенные выгоды, завоеванные крестьянством, остаются нетронутыми.

VI. [ВОССТАНИЕ В БЕРЛИНЕ.]

Лондон, октябрь 1851 г.

Вторым центром революционного движения был Берлин, и после сказанного в предыдущих статьях не трудно догадаться, что там оно далеко не пользовалось той единодушной поддержкой почти всех классов, какую встретило в Вене. В Пруссии буржуазия уже была вовлечена в активную борьбу с правительством. Разрыв был вызван «Соединенным ландтагом». Буржуазная революция надвигалась, и эта революция, быть может, была бы на первых шагах столь же единодушна, как в Вене, не случись февральской революции в Париже. Событие это ускорило весь ход вещей, и в то же время оно разыгралось под знаменем, совершенно отличным от того, под которым прусская буржуазия готовилась вызвать на бой свое правительство.

Февральская революция во Франции ниспровергла ту форму правления, которую прусская буржуазия собиралась дать своей стране. Февральская революция выступила, как революция рабочего класса, против буржуазии; она провозгласила крушение буржуазного строя и освобождение рабочих. А прусской буржуазии в последнее время было совершенно довольно агитации рабочего класса у себя дома. После того как первый страх, вызванный силезскими бунтами, прошел, она пыталась обратить эту агитацию себе на пользу, но всегда сохраняла спасительный ужас пред революционным социализмом и коммунизмом. Поэтому, когда она увидела во главе парижского правительства людей, которых считала самыми опасными врагами собственности, порядка, религии, семьи и других богов современного буржуа, ее революционный пыл сразу значительно остыл. Буржуазия знала, что надо пользоваться моментом и что без помощи рабочих масс она будет разбита, но у нее не хватало мужества. Таким образом, она поддержала правительство при первых частичных вспышках в провинции и пыталась успокоить берлинское население, которое в продолжение пяти дней собиралось толпами перед королевским дворцом обсуждать новости и требовать перемены

правительства. И когда король, после известия о падении Меттерниха, сделал, наконец, несколько мелких уступок, буржуазия сочла революцию законченной и отправилась благодарить его величество за исполнение всех желаний народа. Но в это время произошло нападение войска на толпу, затем — баррикады, сражение и — поражение королевской власти. Тогда все переменялось: рабочие, которых буржуазия стремилась держать на заднем плане, выступили на передний план, выдержали сражение, победили и сразу осознали свою силу. Ограничения в области избирательного права, свободы печати, права быть присяжным заседателем, права собраний — ограничения, которые были бы весьма приятны буржуазии, потому что касались бы лишь классов, стоящих ниже ее, теперь стали уже невозможны. Грозил опасность повторения парижских сцен «анархии». Пред этой опасностью все прежние распри исчезли. Против победоносных рабочих, хотя они еще не предъявляли никаких специальных требований для себя, соединились друзья и долголетние враги, и на самых баррикадах Берлина был заключен союз между буржуазией и защитниками ниспровергнутого строя. Надо было сделать необходимые уступки, но не больше, чем сколько было неизбежно; надо было образовать министерство из вождей оппозиции в Соединенном ландтаге, и в награду за услуги в деле спасения короны оно должно было получить поддержку всех устоев старого правительства — феодальной аристократии, бюрократии, армии. Таковы были условия, на которых господа Кампгаузен и Ганземан взялись составить кабинет.

Страх новых министров перед поднявшимися массами был столь силен, что в их глазах все средства были хороши, лишь бы они вели к укреплению потрясенных основ власти. Эти растерявшиеся бедняги полагали, что всякая опасность восстановления старого строя исчезла, и пользовались всей старой государственной машиной для восстановления «порядка». Не был уволен ни один чиновник, ни один офицер; не было произведено ни малейшего изменения в старой бюрократической системе государственного управления. Эти дорого обошедшиеся конституционные и ответственные министры даже вернули на прежние места тех чиновников, которых народ в пылу революции прогнал за их прежние подвиги бюрократического произвола. Ничего не переменялось в Пруссии, кроме личностей министров; не тронули даже персонала различных министерств, и всем конституционным искателям мест, составлявшим хор вновь испеченных правителей и ждавшим своей доли во власти и должностях, рекомендовалось подождать, пока восстановление порядка не позволит

произвести перемены в служебном персонале, которые пока еще небезопасно было предпринимать.

Король, весьма сильно приунывший после восстания 18 марта, очень скоро заметил, что он столь же необходим этим «либеральным» министрам, как и они ему. Трон был пощажён восстанием; он был последней преградой для «анархии»; либеральная буржуазия и ее вожди, теперь ставшие министрами, имели поэтому всяческий интерес поддерживать самые лучшие отношения с короной. Король и окружавшая его реакционная камарилья не замедлили понять это и пользовались этим обстоятельством, чтобы удержать министерство даже от тех мелких реформ, которые оно время от времени замышляло.

Первой заботой министерства было придать вид законности последним насильственным переменам. Был созван, несмотря на общенародную оппозицию, Соединенный ландтаг, чтобы голосовать, в качестве законного конституционного органа народа, новый избирательный закон для выборов в собрание, которое должно было договориться с короной насчет новой конституции. Выборы должны были быть косвенными, а именно масса избирателей должна была избрать выборщиков, которые уже сами избрали бы депутатов. Несмотря на всю оппозицию, система двойных выборов прошла. Затем у Соединенного ландтага попросили заем в 25 миллионов долларов, против которого высказалась народная партия, но который также был разрешен.

Это поведение министерства вызвало быстрое развитие народной, или, как она себя теперь называла, демократической партии. Эта партия, предводительствуемая классом мелких промышленников и торговцев и собравшая под своим знаменем в начале революции значительное большинство рабочих, требовала прямого и всеобщего избирательного права, как во Франции, однопалатного законодательного собрания и полного и открытого признания революции 18 марта как основы новой правительственной системы. Более умеренная часть ее удовлетворялась бы этой «демократизированной» монархией; более передовая требовала, как конечной цели, установления республики. Обе признавали германское Национальное собрание во Франкфурте высшей властью в стране, тогда как конституционалисты и реакционеры делали вид, что им внушает ужас суверенитет этого учреждения, которое они выставляли крайне революционным.

Независимое движение рабочего класса было на время прервано революцией. Непосредственные нужды и условия движения не позволяли выдвигать на первый план какие-либо специфические требования

пролетарской партии. И действительно, пока не была расчищена почва для самостоятельных действий рабочих, пока прямое и всеобщее избирательное право не было еще установлено, пока тридцать шесть крупных и мелких государств продолжали раздирать Германию на бесчисленные клочки, — что иное могла делать пролетарская партия, как не следить за имевшим для нее первостепенную важность парижским движением и не бороться сообща с мелкой буржуазией за достижение тех прав, которые позволили бы ей впоследствии повести самостоятельную борьбу за свои интересы?

Лишь по трем пунктам пролетарская партия существенно отличалась в своей политической деятельности от мелкобуржуазного класса, или, собственно, так называемой демократической партии. Во-первых, она иначе судила о французском движении: демократы нападали, а пролетарские революционеры защищали крайнюю партию в Париже; во-вторых, она провозглашала необходимость установления германской республики, единой и неделимой, между тем как самые крайние из демократов осмеливались только вздыхать о федеральной республике; в-третьих, она по всякому поводу проявляла революционную смелость и готовность к действиям, каких никогда не будет у партии, которою руководят мелкие буржуа и которая состоит главным образом из мелкой буржуазии.

Пролетарской или действительно революционной партии удалось лишь крайне медленно освободить рабочую массу из-под влияния демократов, в хвосте которых она плелась в начале революции. Но в свое время нерешительность, слабость и трусость демократических вождей довершили дело, и теперь можно сказать, что один из главных результатов потрясений последних лет состоит в том, что везде, где рабочий класс сосредоточен в сколько-нибудь значительной массе, он совершенно свободен от влияния демократов, которые вовлекли его в бесконечный ряд ошибок и неудач в течение 1848 и 1849 гг. Но не будем забегать вперед, — события этих двух лет дадут нам массу случаев видеть господ демократов за работой.

Прусское крестьянство, подобно австрийскому, но с меньшей энергией, так как в общем феодализм давил на него не так жестоко, воспользовалось революцией, чтобы сразу освободиться от всех феодальных пут. Но буржуазия, по указанным выше основаниям, сразу обратилась против него, своего старейшего и наиболее необходимого союзника; демократы, наравне с буржуазией напуганные так называемыми нападениями на частную собственность, также не оказали ему поддержки; и после трехмесячной свободы, после кровавых битв и военных экзекуций, особенно в Силезии, феодализм был снова вос-

становлен руками еще вчера антифеодальной буржуазии. Более позорного факта нельзя привести в ее осуждение. Никогда в истории ни одна партия не совершала подобной измены в отношении своего лучшего союзника, в отношении самой себя, и какое бы унижение и наказание ни готовились этой буржуазной партии, одним этим актом она заслужила их вполне.

VII. [ФРАНКФУРТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.]

Лондон, январь 1852 г.

Читатель, вероятно, припомнит, что в шести предыдущих статьях мы проследили революционное движение в Германии до двух больших побед народа — 13 марта в Вене и 18 марта в Берлине. Мы видели, что как в Австрии, так и в Пруссии установлено было конституционное правление и руководящим началом всей будущей политики провозглашены были либеральные принципы, или принципы буржуазии. Единственной заметной разницей между двумя главными центрами действия было то, что в Пруссии либеральная буржуазия, в лице двух богатых коммерсантов, Кампгаузена и Ганземана, прямо завладела браздами правления, между тем как в Австрии, где буржуазия политически была гораздо менее подготовлена, к власти пришла либеральная бюрократия, заявлявшая, что она правит за буржуазию. Мы видели далее, как партии и общественные классы, ранее объединенные в оппозиции старому правительству, разошлись после победы или даже во время борьбы и как та самая либеральная буржуазия, которая одна выиграла от победы, тотчас обратилась против своих вчерашних союзников, стала во враждебное отношение к более передовым классам и партиям и заключила союз с побежденными феодальными и бюрократическими слоями. Действительно, уже с самого начала революционной драмы было очевидно, что буржуазия сможет устоять против побежденных, но не уничтоженных феодальной и бюрократической партий лишь в том случае, если она будет опираться на демократическую и крайнюю партии, и что, с другой стороны, ей нужна поддержка феодального дворянства и бюрократии против напора этих более передовых масс. Было, таким образом, ясно, что буржуазия в Австрии и Пруссии не располагает достаточной силой, чтобы удержать за собою власть и перестроить учреждения страны сообразно своим собственным нуждам и понятиям. Либерально-буржуазное министерство было только промежуточной станцией, от которой страна должна была, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства, либо вступить в дальнейшую стадию — еди-

ной республики, либо вернуться к старому клерикально-феодальному и бюрократическому режиму. Во всяком случае настоящая решительная борьба была еще впереди; мартовские события были только началом сражения.

Так как Австрия и Пруссия являются двумя руководящими государствами в Германии, то всякая крупная победа революции в Вене или Берлине имела бы решающее значение для всей Германии. И действительно, мартовские события в этих двух городах определили ход дел в Германии. Было бы поэтому излишне останавливаться на движениях, происходивших в мелких государствах, и можно было бы ограничиться исключительно австрийскими и прусскими делами, если бы наличие этих мелких государств не вызвала к жизни учреждения, одно существование которого уже было разительнейшим доказательством ненормального положения Германии и недоконченности последней революции, — учреждения столь уродливого, столь смехотворного по самому положению своему и в то же время столь преисполненного собственной важности, что история, вероятно, никогда не выдвинет ничего подобного. Мы говорим о так называемом германском Национальном собрании во Франкфурте-на-Майне.

После побед народа в Вене и Берлине разумелось само собой, что будет созвано представительное собрание для всей Германии. Избрали депутатов, которые и съехались во Франкфурте, бок о бок со старым Союзным сеймом. Народ ждал от Национального собрания, что оно решит все спорные вопросы и станет действовать в качестве верховной законодательной власти для всей Германии. Однако созвавший собрание Союзный сейм совсем не определил его полномочий. Никто не знал, будут ли его постановления иметь силу закона, или же они будут подлежать санкции Союзного сейма либо отдельных правительств. При такой запутанности положения собранию, обладай оно хоть малейшей энергией, следовало немедленно распустить Союзный сейм, — в Германии не было более непопулярного учреждения, — и взамен его выбрать союзное правительство из своей собственной среды. Оно должно было объявить себя единственным законным выразителем суверенной воли германского народа и тем придать силу закона всем своим постановлениям. Оно должно было прежде всего организовать вооруженную силу, достаточную для подавления всякой оппозиции со стороны правительств. И все это было легко, очень легко сделать в этот первый период революции. Но это значило ждать слишком многого от собрания, большинство которого составляли либеральные адвокаты и доктринеры-профессора, —

собрания, которое, претендуя быть вместилищем цвета германского разума и науки, в действительности было лишь сценой, где старые и изжившие себя политиканы выставляли напоказ всей Германии свое шутовство и неспособность ни к мысли, ни к действию. Это собрание старых баб, с первого дня своего существования, пуще всяких реакционных заговоров всех германских правительств вместе взятых страшилось малейшего народного движения. Его заседания происходили под присмотром Союзного сейма, — оно почти выпрашивало санкции Союзного сейма для своих решений, ибо первые постановления его должны были быть обнародованы этим ненавистным учреждением. Вместо того чтобы утвердить свой суверенитет, оно старательно избегало обсуждения столь опасного вопроса. Вместо того чтобы окружить себя народной силой, оно просто переходило к очередным делам по поводу всех грубых нарушений своих прав со стороны правительств. Под самым носом у него Майнц был объявлен на осадном положении, жители его обезоружены, — и собрание не пикнуло. Позже оно избрало эрцгерцога австрийского Йоганна блюстителем империи и объявило свои постановления имеющими силу закона. Но эрцгерцог был возведен в свой новый сан лишь после получения согласия всех правительств, и не собранием, а Союзным сеймом; что же касается объявления постановлений собрания имеющими силу закона, то этот пункт никогда не был признан крупными правительствами, и само собрание не настаивало на нем; поэтому он остался открытым. Таким образом, перед нами странное зрелище собрания, претендующего быть единственным законным представителем великого и суверенного народа, но не обладающего ни желанием, ни силой добиться признания своих требований. Прения этого учреждения, остававшиеся без всяких практических результатов, не имели даже никакой теоретической ценности, ибо они пережевывали самые избитые общие места устаревших философских и юридических учений; каждое суждение, произнесенное или, лучше сказать, прошамканное в этом собрании, уже раньше тысячу раз высказывалось в печати — и в тысячу раз лучше.

Таким образом, эта новая мнимая центральная власть Германии оставила все в прежнем виде. Она не только не осуществила давножданного единства Германии, но не низложила даже ни одного, хотя бы самого мелкого, из правивших ею государей, не скрепила теснее союза разрозненных областей, не сделала ни шага к уничтожению таможенных преград, отделявших Ганновер от Пруссии и Пруссию от Австрии, не предприняла ни малейшей попытки к отмене несносных пошлин, повсюду стеснявших в Пруссии судоходство

по рекам. Но чем меньше собрание делало, тем больше оно хватало. Оно создало германский флот — на бумаге; оно аннексировало Польшу и Шлезвиг; оно позволило немецкой Австрии вести войну с Италией и помешало итальянцам преследовать австрийцев при отступлении их в Германию; оно трижды и четырежды прокричало ура французской республике и приняло венгерские посольства, которые, наверное, вернулись домой с гораздо более смутными представлениями о Германии, чем с какими прибыли.

Это собрание в начале революции было пугалом всех германских правительств. Они ждали от него самого диктаторского и революционного образа действий — именно ввиду той неопределенности, в какой считали необходимым оставить пределы его компетенции. С целью ослабить влияние этого страшного учреждения, правительства прибегали к самым сложным интригам. Однако у них было больше счастья, нежели ума, потому что собрание делало дело правительств лучше, чем они сами могли бы это делать. Главным проявлением этих интриг был созыв местных законодательных собраний, причем не только меньшие государства собрали свои палаты, но и Пруссия и Австрия созвали учредительные собрания. В них, как во Франкфуртской палате представителей, либеральная буржуазия и ее союзники, либеральные чиновники и юристы, составляли большинство, и дела приняли почти тот же оборот. Была, впрочем, та разница, что германское Национальное собрание было парламентом воображаемой страны, ибо оно уклонилось от задачи образовать единую Германию, хотя это и было первым условием его собственного существования; что обсуждало оно воображаемые и никогда не подлежавшие выполнению меры воображаемого правительства своего собственного изобретения и единогласно принимало резолюции, на которые никто не обращал внимания. Учредительные же собрания Австрии и Пруссии были, как-никак, действительными парламентами, низвергавшими и создававшими действительные министерства и диктовавшими, — по крайней мере, одно время, — свои решения государям, с которыми они вели борьбу. Они тоже были трусливы и не обладали широким пониманием революционных действий; и они предали народ и вернули власть феодально-бюрократическому и военному деспотизму. Но они, по крайней мере, были вынуждены обсуждать практические вопросы непосредственной важности и жить на земле вместе с другими людьми, тогда как франкфуртские пустомели нигде не испытывали такого блаженства, как витая в «воздушном царстве грез». Поэтому заседания Берлинского и Венского учредительных собраний составляют важную часть истории германской революции, словоизвержения же

франкфуртских скоморохов могут интересоваться разве коллекционеров литературных и антикварных редкостей.

Германский народ, глубоко чувствуя необходимость покончить с несносным территориальным разделением, разбивавшим и уничтожавшим коллективную силу нации, одно время видел по крайней мере во Франкфуртском национальном собрании начало новой эры. Но ребяческое поведение этой коллекции претенциозных умников скоро расхолодило народный энтузиазм. Постыдные прения в связи с перемирием в Мальме (сентябрь 1848 г.) вызвали взрыв народного негодования против учреждения, от которого ждали простора для национальной деятельности и которое, вместо того, руководимое беспримерной трусостью, лишь вернуло прежнюю устойчивость основам, на которых построена нынешняя контр-революционная система.

VIII—IX. [ПОЛЯКИ, ЧЕХИ И НЕМЦЫ. — ПАНСЛАВИЗМ. ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТИНСКАЯ ВОЙНА.]

Лондон, февраль 1852 г.

Из установленных в предыдущих статьях фактов было очевидно, что если в Германии за мартовской революцией 1848 г. не последует новой революции, то неизбежно будет восстановлен дореволюционный порядок. Но природа исторического явления, на которое мы стараемся бросить некоторый свет, настолько сложна, что нельзя ясно понять последующих событий, если не принять во внимание того, что можно назвать международными отношениями германской революции. А эти международные отношения были столь же запутаны, как и внутреннее положение.

Вся восточная половина Германии до Эльбы, Заалы и Богемского леса была, как известно, отвоевана в течение последнего тысячелетия у захвативших ее племен славянского происхождения. Большая часть этой области уже несколько веков тому назад была германизована до полного исчезновения всякой славянской народности и языка, и население ее можно во всех отношениях считать немецким, если исключить островки славян, в общем менее ста тысяч человек (кашубы в Померании, венды, или сорбы, в Лужиции). Не то — вдоль границ бывшей Польши и в странах с чешским языком — Богемии и Моравии. Здесь в каждом округе перемешаны две народности, причем в городах в общем более или менее преобладает немецкий элемент, в деревнях — славянский, но и в них он, однако, постепенно разлагается и вытесняется безостановочным поступательным движением немцев.

Причина такого положения вещей следующая: со времен Карла Великого немцы постоянно направляли свои главные усилия на завоевание, колонизацию или, по крайней мере, на приобщение к цивилизации востока Европы. Завоевания феодального дворянства между Эльбой и Одером и феодальные колонии военных рыцарских орденов в Пруссии и Ливонии лишь положили основание для более широкой

и более успешной системы германизации при помощи нарастающей торгово-промышленной буржуазии, социальное и политическое значение которой в Германии, как и в остальной Западной Европе, все больше выросло начиная с XV века. Славяне и, в частности, западные славяне (поляки и чехи) являются в сущности народами земледельческими; торговля и промышленность никогда не были в большой чести у них. Вследствие этого с ростом населения и возникновением городов в этих областях производство всех промышленных товаров попало в руки немецких иммигрантов, а обмен этих товаров на земледельческие продукты стал исключительной монополией евреев, которые если и принадлежат к какой-нибудь национальности, то в этих местах скорее немцы, чем славяне. То же самое происходило, хотя и в более слабой степени, на всем востоке Европы. До настоящего времени ремесленники, мелкие торговцы, мелкие промышленники в Петербурге, Пеште, Яссах и даже Константинополе — немцы; ростовщики, кабатчики, разносчики, — очень важная фигура в этих редко населенных странах, — евреи, говорящие на страшно испорченном немецком языке. Значение немецкого элемента в славянских пограничных округах, поднимавшееся, таким образом, с ростом городов, торговли и промышленности, еще более увеличилось, когда оказалось необходимым ввозить из Германии почти все элементы умственной культуры; вслед за немецким купцом и ремесленником селились на славянской земле немецкий пастор, немецкий школьный учитель, немецкий *savant* [ученый]. И, наконец, железная поступь завоевательных армий или осторожная, хорошо рассчитанная игра дипломатии не только сопутствовали, а очень часто опережали медленный, но верный ход денационализации путем социального развития. Так, значительная часть западной Пруссии и Познани была со времени первого раздела Польши онемечена при помощи продажи и отвода государственных земель немецким колонистам, поощрения немецких капиталистов к основанию промышленных предприятий и пр., а зачастую и крайне деспотических мер против польского населения.

За последние семьдесят лет, таким образом, совершенно изменилась пограничная линия между немецкой и польской народностью. Так как революция 1848 г. сразу вызвала со стороны всех угнетенных народов требование независимого существования и права самим распоряжаться своими делами, совершенно естественно, что и поляки потребовали восстановления своей родины в границах старой польской республики до 1772 года. Правда, граница эта даже в то время не была уже действительным рубежом между немецкой и польской на-

родностями, и поступательное движение германизации отодвигало ее с каждым годом. Но немцы проявляли тогда такой энтузиазм к восстановлению Польши, что должны были быть готовы к тому, что в качестве первого доказательства искренности их симпатий от них потребуют отказа от их доли захваченной территории. Однако следовало ли отдать целые области с населением преимущественно немецким, крупные города, уже совершенно немецкие, народу, который не дал ни одного доказательства своей способности выйти из феодального состояния, основанного на рабстве земледельческого населения? Вопрос был довольно сложен. Единственным возможным решением была война с Россией. Разграничение восставших наций могло бы быть проведено лишь после того, как будет установлена безопасность границы с общим врагом. Поляки, расширив свою территорию на восток, стали бы податливее и рассудительнее на западе, и Рига и Митава показались бы им, в конце концов, столь же важными, как Данциг и Эльбинг. Поэтому передовая партия в Германии, считая войну с Россией необходимой для поддержания движения на континенте и полагая, что восстановление независимости хотя бы части Польши неизбежно приведет к этой войне, поддерживала поляков, тогда как правящая буржуазная партия ясно предвидела свое падение в случае национальной войны с Россией, которая поставила бы у кормила правления людей более смелых и энергичных, и поэтому, прикрываясь энтузиазмом к расширению германской национальности, объявляла прусскую Польшу, главный очаг польской революционной агитации, нераздельной частью будущей германской империи. Обещания, данные полякам в первые дни возбуждения, были постыдно нарушены. Польские отряды, собранные с санкции правительства, были рассеяны и истреблены прусской артиллерией, и уже в апреле 1848 г., всего шесть недель спустя после берлинской революции, польское движение было сокрушено и между поляками и немцами ожила старая национальная вражда. Эту огромную и неопределимую услугу русскому самодержавию оказали либеральные купцы-министры Кампгаузен и Ганземан. Нужно добавить, что эта польская кампания повела к реорганизации и возвращению уверенности той самой прусской армии, которая позже низложила либеральную партию и подавила движение, вызвать которое гг. Кампгаузену и Ганземану стоило таких трудов. «Чем согрешили, тем и наказаны». Такова судьба всех выскочек 1848 и 1849 гг., от Ледрю-Роллена до Шангарнье и от Кампгаузена до Гайнау.

Национальный вопрос дал также толчок к борьбе в Богемии. Эта страна, населенная двумя миллионами немцев и тремя миллионами

славян-чехов, имела крупные исторические воспоминания, почти сплошь связанные с прошлым господством чехов. Но со времени гуситских войн XV века значение этой ветви славянской семьи все падало. Область с чешским языком подверглась разделу: одна часть образовала чешское королевство, другая — моравское княжество, третья, карпатская горная область, населенная словаками, вошла в состав Венгрии. Моравы и словаки давно утратили всякие следы национального сознания и национального уклада, хотя и сохранили свой язык. Богемия с трех сторон из четырех окружена была совершенно немецкими странами. Немецкие элементы сделали большие успехи на ее собственной территории; даже в Праге, ее столице, сбе национальности почти равны были по численности, а капиталы, торговля, промышленность и духовная культура находились повсюду в руках у немцев. Главный вождь чешской народности профессор Палацкий — сам свихнувшийся с ума ученый немец, даже не умеющий говорить по-чешски правильно и без иностранного акцента. Но, как часто бывает, умирающая чешская народность, умирающая судя по всем известным фактам истории последних 400 лет, в 1848 г. сделала последнее усилие вернуть себе прежнюю жизнеспособность, — усилие, крушение которого, независимо от всяких революционных соображений, должно было доказать, что впредь Богемия может существовать только как составная часть Германии, хотя часть ее населения, пожалуй, еще несколько веков будет*говорить на не-немецком языке.

* * *

Богемия и Хорватия (другой из разъединенных членов славянской семьи, где венгерцы играли ту же роль, какую в Богемии играли немцы) были родиной того, что на европейском континенте называется «панславизмом». Ни Богемия, ни Хорватия не были достаточно сильны для самостоятельного национального существования. Обе эти народности, постепенно подрываемые действием исторических причин, неизбежно ведущих к поглощению их более энергичными расами, могли ждать для себя восстановления хоть какой-нибудь независимости только от союза с другими славянскими народами. Было двадцать два миллиона поляков, сорок пять миллионов русских, восемь миллионов сербов и болгар, — почему бы восьмидесяти миллионам славян не образовать могучей конфедерации и не оттеснить или не истребить вторгшихся в святую славянскую землю турок, венгров, а главное — ненавистных, но необходимых немцев, германцев? И вот в сочинениях нескольких славянских дилетантов

исторической науки родилось нелепое, антиисторическое течение, которое ставило себе целью подчинить цивилизованный Запад варварскому Востоку, город — деревне, торговлю, промышленность, образование — первобытному земледелию славянских крепостных. Но за этой смешной теорией стояла ужасная реальность *Российской империи*, — той империи, которая каждым своим движением обнаруживала претензию считать всю Европу достоянием славянского племени и, в частности, единственной энергичной части его — русских, — империи, которая с двумя такими столицами, как Петербург и Москва, еще не отыскала своего центра тяжести, пока *город царя* (Константинополь по-русски называется Царьградом), в котором каждый русский крестьянин видит настоящее средоточие своей религии и нации, не станет резиденцией русского императора, — империи, которая в последние полтора столетия лет не теряла, а с каждой войной все расширяла свою территорию. В Средней Европе хорошо известны те интриги, которыми русская дипломатия поддерживала вновь изобретенный панславизм, — учение, как нельзя лучше отвечавшее ее целям. Богемские и хорватские панслависты, частью умышленно, частью бессознательно, действовали, таким образом, в прямых интересах России; они предали дело революции за призрак национальности, которая в лучшем случае разделила бы судьбу польской национальности под русским господством. К чести поляков следует, однако, сказать, что они никогда не попадались серьезно на панславистскую удочку, и если несколько аристократов стали ярыми панславистами, то лишь потому, что знали, что от подчинения России они потеряют меньше, чем от восстания своих крепостных крестьян.

Чехи и хорваты созвали в Праге общеславянский съезд для приготовления всеобщего славянского союза. Этот съезд и без вмешательства австрийских войск потерпел бы решительное крушение. Отдельные славянские наречия так же различаются между собой, как языки английский, немецкий и шведский, и когда открылись прения, не нашлось общего славянского языка, на котором ораторы могли бы понимать друг друга. Прибегли к французскому, но он оказался одинаково непонятным большинству, и бедные славянские энтузиасты, единственным общим чувством которых была ненависть к немцам, принуждены были, в конце концов, объясняться на ненавистном немецком языке — единственном языке, понятном для всех. Но тут в Праге собрался другой славянский конгресс из галицийских улан, хорватских и словацких гренадер, чешских артиллеристов и кирасир, и этот действительный, вооруженный конгресс под командой

Виндишгреца менее чем в двадцать четыре часа прогнал основателей воображаемой славянской державы из города и рассеял их на все четыре стороны.

Чешские, моравские, далматские депутаты и часть польских (аристократы) австрийского Учредительного собрания вели в нем систематическую войну с немецкими элементами. Немцы и часть поляков (обедневшая шляхта) были в этом собрании главными сторонниками революционного прогресса. Многие славянские депутаты, которые были в оппозиции к ним, были недовольны тем, что этим они ясно выявляли реакционный характер всего своего движения, но в то же время они унизились до того, что вели интриги и конспирировали с тем самым австрийским правительством, которое разогнало их пражский съезд. И они получили награду за свое позорное поведение. Поддержав правительство во время октябрьского восстания 1848 г. — события, окончательно обеспечившего за славянами большинство в рейхстаге, — этот теперь почти исключительно славянский рейхстаг был разогнан австрийскими солдатами, совсем как пражский съезд, и панславистам пригрозили тюрьмой, если они вздумают пикнуть. Добились они лишь того, что славянская народность теперь всюду подрывается австрийской централизацией, — и обязаны они этим лишь собственному фанатизму и слепоте.

Если бы пограничная линия между Венгрией и Германией вызвала какие-нибудь разногласия, — конечно, и между ними возгорелась бы борьба. Но, к счастью, для такой борьбы не было поводов, и так как интересы обоих народов были тесно связаны, то они боролись против одних и тех же врагов — австрийского правительства и панславистского фанатизма. Доброе согласие ни на минуту не нарушалось. Но итальянская революция втянула Германию — или, по крайней мере, часть ее — в гибельную для обеих сторон войну, и мы должны отметить, в доказательство того, до какой степени меттерниховской системе удалось задержать развитие общественного сознания, что в течение первых шести месяцев 1848 г. те самые люди, которые в Вене строили баррикады, шли потом, полные энтузиазма, в дравшуюся с итальянскими патриотами армию. Однако это прискорбное умопомрачение продолжалось недолго.

И, наконец, была еще война с Данией из-за Шлезвиг-Гольштинии. Эти области, по национальности, языку и симпатиям бесспорно немецкие, необходимы Германии также по военным, морским и торговым основаниям. Население их в последние три года упорно боролось против датского вторжения. За это население были и государственные договоры. Мартовская революция поставила его в откры-

тое столкновение с датчанами, и Германия поддерживала его. Но в то время как в Польше, Италии, Богемии и, позднее, в Венгрии военные операции велись крайне энергично, в этой единственно популярной, единственно сколько-нибудь революционной войне была принята система бесцельных маршей и контр-маршей, и было допущено вмешательство иностранной дипломатии, благодаря чему после многих героических битв война закончилась жалким фиаско. Германское правительство предавало в течение войны революционную шлезвиг-гольштинскую армию на каждом шагу и умышленно позволяло датчанам отрезывать ее, когда она бывала рассеяна или расколота. Таково же было отношение и к германскому корпусу волонтеров.

И в то время как германское имя не стяжало ничего, кроме общей ненависти к себе, германские конституционные и либеральные правительства потирали руки от удовольствия. Им удалось подавить польское и чешское движение. Они всюду оживили старую национальную вражду, которая до той поры мешала взаимному пониманию и согласному действию немцев, поляков и итальянцев. Они приучили народ к зрелищам гражданской войны и военного усмирения. Прусская армия вновь обрела уверенность в себе в Польше, австрийская — в Праге, и в то время, как сверхпатриотизм («die patriotische Ueberkraft», по выражению Гейне) революционной, но близорукой молодежи толкал ее в Шлезвиг и Ломбардию, где она гибла под вражеской картечью, регулярные армии, эта подлинная вооруженная сила как для Пруссии, так и для Австрии, были поставлены в положение, при котором они могли снискивать симпатии общества победами над иностранцами. Но повторяем: лишь только эти армии, укрепленные либералами для действия против передовой партии, вновь получили уверенность в себе и восстановили у себя до некоторой степени дисциплину, они обернулись против либералов и вернули власть людям старого порядка. Когда Радецкий получил в лагере при Адидже первые приказы от венских «ответственных министров», он воскликнул: «Кто эти министры? Не они — австрийское правительство! Теперь Австрия только в моем лагере; я и моя армия — вот Австрия, и когда мы побьем итальянцев, мы вновь завоюем империю для императора!» И старик Радецкий был прав. Но безмозглые «ответственные» министры в Вене не обратили внимания на его слова.

Х. [ПАРИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ. — ФРАНКФУРТСКОЕ СОБРАНИЕ.]

Лондон, февраль 1852 г.

Уже в начале апреля 1848 г. революционный поток был остановлен на всем континенте Европы союзом, который был заключен тотчас после первой победы классами общества, выигравшими от этой победы, с побежденными классами. Во Франции мелкая буржуазия и республиканская часть крупной буржуазии соединились с монархической буржуазией против рабочих; в Германии и Италии победоносная буржуазия ревностно искала поддержки у феодального дворянства, бюрократии и армии против народных масс и мелкой буржуазии. Очень скоро соединившиеся консервативная и контр-революционная партии снова получили перевес. В Англии несвоевременная и плохо подготовленная народная демонстрация (10 апреля) привела к полному и решительному поражению народную партию. Во Франции два подобных движения (16 апреля и 15 мая) одинаково потерпели поражение. В Италии Король-Бомба 15 мая одним ударом восстановил свою власть. В Германии упрочились различные новые буржуазные правительства и учредительные собрания, и если знаменательный день 15 мая в Вене дал победу народу, то событие это имело лишь второстепенное значение и может рассматриваться как последняя успешная вспышка народной энергии. В Венгрии движение, повидимому, направилось в спокойное русло совершенной легальности, а польское движение было, как мы видели в предыдущей статье, подавлено прусскими штыками в его зародыше. Но еще не выяснилось, в каком направлении будут дальше развиваться события, и каждое новое отступление революционных партий различных стран побуждало их только теснее смыкать свои ряды для решительных действий.

Решительные действия надвигались. Их театром могла быть только Франция, потому что, пока Англия не принимала участия в революционной борьбе, а Германия оставалась разъединенной, Франция была, благодаря своей национальной независимости, ци-

визации и централизации, единственной страной, которая могла дать могучий, потрясающий толчок окружающим странам. Поэтому, когда, 23 июня 1848 г. в Париже началась кровавая битва; когда с каждой вестью, переданной по почте или телеграфу, Европа все яснее и яснее видела, что борьба велась между массой рабочих, с одной стороны, и всеми остальными классами парижского населения, опирающимися на армию, — с другой; когда битва продолжалась несколько дней с беспрецедентным в истории новейших гражданских войн ожесточением, но без видимого перевеса на той или другой стороне, — всем стало очевидно, что это — великий решительный бой и что если восстание завершится победой, оно зальет весь континент новым революционным шквалом; если же оно будет подавлено, оно приведет к восстановлению, — на время, по крайней мере, — контр-революционного режима.

Парижские рабочие были побеждены, перебиты, разгромлены до такой степени, что до сих пор не оправались от удара. И тотчас же по всей Европе новые и старые консерваторы и контр-революционеры подняли голову с наглостью, показывавшей, как хорошо они понимали значение этого события. Печать повсюду подверглась преследованиям, право собраний и союзов было ограничено, каждым мелким событием в каждом мелком провинциальном городке правительства пользовались, чтобы разоружить народ, объявить осадное положение, поупражнять войска в маневрах и новых приемах борьбы, каким научил Кавеньяк. Кроме того, впервые с февраля уверенность в непобедимости народного восстания в большом городе оказалась подорванной. Честь армий была восстановлена; к войскам, до сих пор всегда терпевшим поражения в сколько-нибудь важных уличных боях, вернулась уверенность в своей пригодности и для этого рода сражений.

Этим поражением парижских *ouvriers* [рабочих] можно датировать первые положительные шаги и определенные планы старой германской феодально-бюрократической партии отделаться от своих временных союзников, от буржуазии, и восстановить в Германии то положение, которое в ней существовало до мартовских событий. Армия снова стала решающей силой в государстве, и принадлежала армия не буржуазии, а себе самой. Даже в Пруссии, где до 1848 г. среди части офицеров низших рангов наблюдалось значительное расположение к конституционному образу правления, расстройство, внесенное революцией в ряды армии, вскоре вернуло лояльность этим резонирующим молодым людям; как только рядовые солдаты стали держать себя несколько вольнее с офицерами, для последних сразу стала очевидной необходимость дисциплины и слепого

повиновения. Тогда побежденное дворянство и бюрократия поняли, что им нужно было делать. Армию, более объединенную чем когда-либо, гордую победами в мелких восстаниях и в иностранной войне, завидующую крупным успехам, только что одержанным французскими солдатами, — эту армию нужно было только постоянно держать в мелких схватках с народом, — и, как только представится решительный момент, сокрушить революционеров одним ударом и положить конец чаяниям буржуазных парламентаристов. И подходящий момент для такого решительного удара довольно скоро представился.

Обойдем молчанием порою забавные, но в большинстве случаев скучные, парламентские прения и местные столкновения, занимавшие в Германии различные партии летом. Достаточно сказать, что защитники интересов буржуазии, несмотря на многочисленные парламентские победы, из которых ни одна не дала какого-либо практического результата, в большинстве чувствовали, что их положение между крайними партиями с каждым днем становится все более и более шатким и что поэтому им то приходится искать союза с реакционерами, то заискивать пред более демократическими группами. Это постоянное шатание окончательно уронило их престиж в общественном мнении, и, ввиду того оборота, какой приняли дела, от презрения, которое они навлекли на себя, выигрывали главным образом бюрократы и феодалы.

К осени отношения разных партий между собою стали крайне напряженными и до того критическими, что решительное столкновение было неизбежно. Первые стычки демократических и революционных масс с армией произошли во Франкфурте. При всей своей незначительности они были важны в том отношении, что войска при этом впервые получили сколько-нибудь заметный перевес над восстанием, и это имело большое моральное значение. Пруссия, по очень прозрачным основаниям, позволила призрачному правительству, учрежденному Франкфуртским национальным собранием, заключить с Данией перемирие, которое не только предало мстительности датчан шлезвигских немцев, но было полным отрицанием более или менее революционных принципов, которые, по общему мнению, лежали в основании датской войны. Перемирие это большинством двух или трех голосов было отвергнуто Франкфуртским собранием. За этим голосованием последовал показательный министерский кризис, а три дня спустя собрание одумалось, фактически отменило свое решение и признало перемирие. Это позорное поведение вызвало негодование народа. Были воздвигнуты баррикады, но во Франкфурт уже было стянуто достаточно войск, и после шестичасового боя восстание было

подавлено. Подобные же, но менее значительные вспышки произошли в связи с этим событием в других частях Германии (Бадене, Кельне), но также были подавлены.

Эти предварительные столкновения дали контр-революционной партии то крупное преимущество, что теперь единственное правительство, всецело обязанное своим существованием, хотя бы с виду только, народному избранию, — имперское правительство во Франкфурте, равно как и Национальное собрание, — вынуждено было прибегнуть к штыкам против заявившей о себе народной воли. Они были скомпрометированы, и как ни мало было уважение, на которое они могли претендовать раньше, но это отречение от собственного происхождения, зависимость от враждебных народу правительств и их войск сделали отныне блюстителя империи, его министров и депутатов совершенными ничтожествами. Мы скоро увидим, с каким презрением сперва Австрия, затем Пруссия, а позже и мелкие государства относились к каждому приказу, каждому требованию, каждой депутации от этого собрания импотентных мечтателей.

Мы подходим теперь к большому германскому отклику на французские июньские битвы, к событию, которое было столь же решающим для Германии, как восстание парижских рабочих для Франции; мы имеем в виду революцию и последовавший затем штурм Вены в октябре 1848 г. Но эта борьба столь важна, а объяснение различных обстоятельств, непосредственно повлиявших на ее исход, потребует столько места на столбцах «Трибуны», что мы посвятим ей особую статью.

XI. [ВЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ.]

Лондон, март 1852 г.

Мы подошли к решительному событию, сыгравшему в Германии ту же контр-революционную роль, какую июньское восстание сыграло в Париже, и сразу перетянувшему чашку весов в сторону контр-революционной партии, — к венскому восстанию в октябре 1848 г.

Мы видели, каково было положение различных классов в Вене после победы 12 марта. Мы видели также, как движение в немецкой Австрии переплелось и столкнулось с событиями в не-немецких ее областях. Остается только вкратце рассмотреть причины, поведшие к этому последнему и самому грозному взрыву в немецкой Австрии.

Высшая аристократия и финансовая буржуазия, составлявшие главные неофициальные опоры меттерниховского правительства, и после мартовских событий удержали господствующее влияние на правительство не только благодаря своим связям при дворе, в армии и среди бюрократии, но и еще более благодаря страху пред «анархией», быстро охватившему всю буржуазию. Очень скоро эти слои отважились на несколько опытов в виде закона о печати, невероятно аристократической конституции и избирательного закона, основанного на старом делении на «сословия». Так называемое конституционное министерство, состоявшее из робких и неспособных полулиберальных бюрократов, 14 мая решилось даже на прямое нападение на революционные организации масс, распустив Центральный комитет делегатов национальной гвардии и академического легиона, который был образован специально для того, чтобы наблюдать за правительством и собирать против него в случае нужды народные силы. Но этот акт лишь вызвал восстание 15 мая, которое заставило правительство признать Комитет, отменить конституцию и избирательный закон и дать полномочие на составление нового основного закона избранному всеобщей подачей голосов учредительному рейхстагу. Все это было подтверждено на следующий день императорской прокламацией. Но реакционная партия, имевшая своих представителей и в министерстве, скоро побудила «либеральных» коллег предпринять новое напа-

дение на народные завоевания. Академический легион, опора движения, центр постоянной агитации, именно в силу этого стал несносен более умеренным венским бюргерам; 26-го он был распущен министерским декретом. Если бы этот удар был нанесен только с помощью национальной гвардии, он, быть может, удался бы, но правительство, не доверяя и ей, выдвинуло вперед войска, и национальная гвардия сразу сделала поворот кругом, соединилась с академическим легионом и таким образом расстроила министерский план.

Между тем 16 мая император и двор оставили Вену и бежали в Инсбрук. Там, окруженная набожными тирольцами, лояльность которых снова укрепилась благодаря опасности вторжения в их страну сардинско-ломбардской армии, и ободряемая близостью войск Радецкого, находившихся на выстрел от Инсбрука, — там контр-революционная партия нашла убежище, где она, укрытая от посторонних взоров, незаметно и безопасно могла собирать свои разрозненные силы, где она могла оправиться и откуда могла снова опутать страну сетью своих интриг. Были снова завязаны сношения с Радецким, Елачичем, Виндишгрецем, а также с надежными людьми, занимавшими административные посты в различных провинциях, начались интриги со славянскими вождями, — и контр-революционная камарилья приобретала в свое распоряжение реальную силу, между тем как бессильные министры теряли в Вене свою кратковременную и слабую популярность в непрестанных столкновениях с революционными массами и в прениях о предстоящем учредительном рейхстаге. Отсюда вытекала политика, временно предоставлявшая столичное революционное движение самому себе, — политика, которая в централизованной и однородной стране, как Франция, сделала бы всемогущей партию движения, — в Австрии же, этом разнородном политическом конгломерате, была одним из вернейших средств к восстановлению силы реакционеров.

Венская буржуазия, которая убеждена была, что после трех следовавших друг за другом поражений и при наличии учредительного рейхстага, основанного на всеобщем избирательном праве, двор стал противником не опасным, все больше и больше поддавалась чувству усталости и апатии и своему постоянному стремлению к порядку и спокойствию, которое повсюду охватывало этот класс после сильных потрясений и связанного с ними расстройств торговли. Промышленность австрийской столицы занята почти исключительно производством предметов роскоши, спрос на которые со времени революции и бегства двора был по необходимости невелик. Призывы к восстановлению нормальной системы правления и

к возвращению двора, что должно было повести за собою новый промышленный подъем, — эти призывы стали теперь всеобщими у буржуазии. Открытие в июне заседаний учредительного рейхстага было встречено с радостью, как конец революционной эры; точно так же отнеслись и к возвращению двора, который, после побед Радецкого в Италии и после прихода к власти реакционного министерства Добльгофа, считал себя достаточно сильным, чтобы игнорировать народную бурю, и пребывание которого в Вене нужно было для завершения интриг со славянским большинством рейхстага.

В то время как учредительный рейхстаг обсуждал закон об освобождении крестьян от крепостной зависимости и принудительного труда в пользу дворянства, двор выполнил мастерской удар. 19 августа император был приглашен на смотр национальной гвардии; императорская фамилия, придворные, генералы соперничали друг с другом в лести вооруженным бюргерам, которые были упоены гордостью, видя такое публичное признание в них важного государственного учреждения. И тотчас вслед за этим был обнародован за подписью господина Шварцера, единственного популярного министра, приказ, лишавший безработных правительственного пособия, которое им до тех пор выдавалось. Провокация удалась. Рабочие устроили демонстрацию; буржуазная национальная гвардия одобрила приказ своего министра, и она была спущена на «анархистов», яростно напала 23 августа на безоружных, не оказывавших сопротивления рабочих и убила значительное число из них. Единство и мощь революционных сил были таким образом сломлены; классовая борьба между буржуазией и пролетариатом и в Вене привела к кровопролитию, и контр-революционная камарилья видела, что близится день, когда можно будет нанести революции решительный удар.

Венгерские дела очень скоро предоставили контр-революции повод открыто провозгласить начала, на которых она намеревалась действовать. 5 октября был опубликован в «Венской газете» императорский указ, — указ, не подписанный ни одним из ответственных министров по делам Венгрии, — о роспуске венгерского сейма и назначении гражданским и военным губернатором Венгрии хорватского бана Елачича, вождя южно-славянской реакции, находившегося в войне с законными венгерскими властями. В то же время войскам в Вене был отдан приказ выступить и идти на соединение с армией, которая должна была добиваться признания Елачича. Однако маска была сброшена чересчур открыто; все в Вене сознавали, что война против Венгрии была войной против принципа конституционного правления, принципа, который был погран в самом указе по-

пыткой императора издавать постановления, коим присваивалась законная сила без скрепы ответственного министра. Народ, академический легион, национальная гвардия поднялись массами и воспрепятствовали отправке войск. Часть гренадер перешла на сторону народа. Произошла короткая схватка между народными массами и войсками. Военный министр Латур был умерщвлен народом, и к вечеру последний одержал победу. Между тем бан Елачич, разбитый Перцелем [Perczel] при Штульвейсенбурге, укрылся вблизи Вены на австро-германской территории. Венские войска, получившие приказ идти ему на помощь, теперь заняли по отношению к нему открыто враждебную и оборонительную позицию, и император с двором бежали в Ольмюц, расположенный на полуславянской территории.

Но в Ольмюце двор очутился в совершенно ином положении, чем в Инсбруке. Теперь он мог непосредственно вступить в открытую борьбу с революцией. Он был окружен славянскими депутатами Конституанты, которые стекались со всех частей монархии. В их глазах предстоявшая борьба была борьбой за восстановление славянства, за истребление захватчиков славянской земли — немцев и мадьяр.

Виндишгрец, покоритель Праги, ныне командовавший армией, сосредоточенной вокруг Вены, сразу сделался героем славянства, и его армия быстро пополнялась отовсюду. Из Богемии, Моравии, Штирии, Верхней Австрии полки за полками двигались по дорогам, ведущим к Вене, на соединение с войсками Елачича и бывшим гарнизоном столицы. Свыше шестидесяти тысяч человек собралось таким образом к концу октября, и скоро они начали окружать столицу со всех сторон, пока 30 октября не подошли достаточно близко, чтобы предпринять решительную атаку.

Тем временем в Вене господствовали смущение и растерянность. Буржуазией тотчас после победы снова овладело старое недоверие к «анархическому» рабочему классу, а рабочие, помня отношение к себе за шесть недель до того со стороны вооруженных торговцев и непостоянство и шаткость политики всей буржуазии вообще, не хотели доверить ей защиту города и требовали себе оружия и права создать свою военную организацию. Академический легион, жаждавший ринуться в бой против императорского деспотизма, был совершенно неспособен понять характер отчуждения между двумя классами или разобраться в том, чего требовало положение. Смута царила в общественном мнении, смута царила и в руководящих кругах. Остатки немецких депутатов рейхстага, несколько славян, игравших роль шпионов для своих друзей в Ольмюце, и, сверх того, несколько более революционных польских депутатов непрерывно

заседали, но, вместо того чтобы принять решительные меры, они теряли время в пустых прениях о возможности сопротивляться императорской армии, не выходя из границ конституционных условностей. Комитет безопасности, составленный из делегатов почти всех демократических организаций в Вене, правда, решил сопротивляться, но господствующее большинство составляли в нем бюргеры и мелкие лавочники, которые не давали ему принять сколько-нибудь решительных и энергичных мер. Совет академического легиона принимал героические резолюции, но нисколько не был способен взять на себя инициативу. Рабочие, окруженные недоверием, безоружные, неорганизованные, едва вышедшие из духовного рабства *ancien régime* [старого порядка], едва проснувшиеся — не для осознания, а лишь для инстинктивного восприятия своего социального положения и соответствующей ему политики, — могли только заявлять о себе шумными демонстрациями, и нельзя было ожидать, чтобы они справились с трудностью положения. Но они готовы были — как вообще в течение революции в Германии — биться до конца, лишь только они получают в руки оружие.

Таково было положение дел в Вене. Извне — преобразованная австрийская армия, гордая победами Радецкого в Италии; 60—70 000 солдат, хорошо вооруженных, хорошо обученных, и если не под хорошей командой, то все же имевших командиров. Внутри — смута, разлад между классами, дезорганизация. Из национальной гвардии часть решила совсем не драться, часть оставалась в нерешительности, и только самая малая часть была готова к действию. Пролетарская масса, сильная численностью, но без вождей, без всякого политического воспитания, столь же легко поддававшаяся почти беспричинной панике, как и приступам неистовства, жертва всяких ложных слухов, несомненно готовая биться, но безоружная, по крайней мере вначале, и недостаточно вооруженная и слабо обученная, когда ее, наконец, повели в бой; беспомощный рейхстаг, обсуждавший теоретические тонкости, когда крыша над головами его членов уже загоралась; наконец, руководящий комитет без страсти и без энергии, — все изменилось со времени мартовских и майских дней, когда в контр-революционном лагере царила смута и единственной организованной силой была сила, созданная революцией. Едва ли можно было сомневаться в исходе битвы, и если еще могли оставаться какие бы то ни было сомнения, то они были окончательно рассеяны событиями 30 и 31 октября и 1 ноября.

ХП. [ШТУРМ ВЕНЫ. — ОБМАН ВЕНЫ.]

Лондон, март 1852 г.

Когда соединенные войска Виндишгреца начали, наконец, наступление на Вену, силы, которыми она располагала для своей обороны, были крайне незначительны. Из национальной гвардии только часть можно было поставить в окопы. Правда, под конец наскоро сформировали пролетарскую гвардию, но так как к этой наиболее многочисленной, наиболее отважной и наиболее энергичной части населения обратились слишком поздно, то она оказалась слишком недостаточно обученной употреблению оружия и начаткам дисциплины, чтобы иметь возможность успешно сопротивляться. Таким образом, академический легион, заключающий от трех до четырех тысяч храброй и восторженной молодежи, хорошо обученной и до известной степени дисциплинированной, был, с военной точки зрения, единственной силой, способной успешно действовать. Но что значил этот легион вместе с небольшой надежной частью национальной гвардии и беспорядочной массой вооруженных рабочих в сравнении с гораздо более многочисленными регулярными войсками Виндишгреца, если даже не считать разбойничьих орд Елачича, орд, которые уже в силу своих жизненных навыков были особенно полезны, когда приходилось брать дом за домом, переулок за переулком! И что, кроме нескольких старых негодных орудий, плохо прилаженных к лафетам и плохо нацеливаемых, могли противопоставить инсургенты многочисленной и меткой артиллерии, из которой Виндишгрец сделал такое бессовестное употребление!

Чем ближе подступала опасность, тем больше возрастало смятение в Вене. Рейхстаг до последней минуты немог собраться с духом, чтобы призвать на помощь венгерскую армию Перцеля, стоявшую лагерем в нескольких верстах от столицы. Комитет принимал противоречивые постановления, поддаваясь наравне с вооруженными народными массами влиянию сменявших друг друга противоречивых слухов. Все сходилось только на одном — на уважении к собственности, и в господствовавшей в тот момент обстановке оно доходило

почти до смешного. Что же касается разработки окончательного плана обороны, то в этом отношении было сделано очень мало. Если кто-либо мог спасти Вену, так это Бем, но Бем, почти неизвестный чужеземец, славянин по происхождению, отказался от этой задачи под давлением всеобщего недоверия. Если бы он этого не сделал, его, пожалуй, могли бы повесить, как изменника. Мессенгаузер, командир инсургентов, скорее беллетрист, чем хотя бы посредственный офицер, совершенно не годился для своей роли, и все же за восемь месяцев революционной борьбы народная партия не выдвинула и не привлекла к себе более способного человека, чем он.

При таких условиях начался бой. Венцы, при совершенно недостаточных средствах обороны и полном отсутствии военной выучки и организации в их рядах, оказали самое героическое сопротивление. Во многих местах приказы Бема, когда он был командиром, «защищать пост до последнего человека» выполнялись буквально. Но сила одолела. Баррикада за баррикадой сметалась императорской артиллерией в длинных и широких аллеях, образующих главные улицы пригородов, и к вечеру второго дня боя кроаты заняли ряд домов на откосах старого города. Слабая и беспорядочная атака венгерской армии потерпела полную неудачу, и во время перемирия, когда некоторые кварталы старого города сдались, а другие колебались, когда остатки академического легиона сооружали новые окопы, вошли императорские войска, и среди общего смятения старый город был взят.

Непосредственные последствия этой победы, зверства и казни по приговорам военных судов, неслыханные жестокости и гнусности, совершенные брошенными на Вену славянскими ордами, слишком хорошо известны, чтобы их нужно было здесь описывать. Дальнейший результат — совершенно новый оборот, данный германским делам поражением революции в Вене, — мы лучше отметим позже. Остается разобрать два пункта, относящиеся к штурму Вены. Население столицы имело двух союзников — венгерцев и германский народ. Где были они в часы испытания?

Мы видели, что венцы, со всем благородством только что ставшего свободным народа, восстали за дело, которое хотя и было в конечном счете их делом, но прежде всего и главным образом касалось венгерцев. Чем допустить отправку австрийских войск против Венгрии, венцы предпочли вынести сами первый и наиболее страшный удар. И в то время как они таким образом благородно вступились за своих союзников, венгерцы, одержав верх над Елачичем, отбросили его к Вене и своей победой усилили рать, готовившуюся

напасть на этот город. При таких обстоятельствах было очевидным долгом венгерцев поддержать без промедления и всеми силами, которыми они располагали, не венский рейхстаг, не Комитет безопасности или какой-либо другой руководящий орган, а *венскую революцию*. И даже если бы Венгрия забыла, что Вена выдержала за нее первую битву, то ради собственной безопасности она не должна была забывать, что Вена была единственным внешним оплотом венгерской независимости и что после падения Вены ничто не помешает императорским войскам пойти на нее самое. Конечно, мы очень хорошо знаем, что венгерцы могли сослаться и ссылались, в оправдание своей бездеятельности во время осады и штурма Вены, на неудовлетворительное состояние их собственных сил, на отказ рейхстага или какого-либо официального органа в Вене призвать их, на необходимость держаться конституционной почвы и избегать осложнений с германской центральной властью. Однако, что касается неудовлетворительного состояния венгерской армии, не подлежит сомнению, что в первые дни после венской революции и прихода Елачича решающее значение играл не недостаток в регулярных войсках, так как австрийские регулярные войска далеко еще не закончили своей концентрации. Энергичного преследования Елачича тотчас после первой победы, хотя бы только с одним ландштурмом, который дрался при Штульвейсенбурге, было бы достаточно, чтобы установить сообщение с венцами и замедлить на шесть месяцев концентрацию австрийской армии. В войне, особенно в революционной войне, быстрота действия, пока не достигнуто какое-нибудь решительное преимущество над противником, есть первое правило, и мы должны подчеркнуть что даже с *чисто военной точки зрения* Перцель не должен был останавливаться, пока не было бы достигнуто соединение с венцами. Конечно, был некоторый риск, но кто же выигрывал когда-либо битву без всякого риска? И разве население Вены ничем не рисковало, навлекая на себя, на четыреста тысяч человек, войска, которые должны были идти на покорение двенадцати миллионов венгерцев? Выжидание до тех пор, пока австрийцы не соединились, и слабая демонстрация при Швехате, кончившаяся, как она того и заслуживала, бесславным поражением, были военной оплошностью, связанной, конечно, с большим риском, чем смелый марш к Вене сквозь разрозненные банды Елачича.

Однако такой поход венгерцев, без разрешения какого-нибудь официального органа, был бы, как говорили, вторжением на германскую территорию, вызвал бы осложнения с центральной властью во Франкфурте, а, главное, шел бы вразрез с легальной и

конституционной политикой, составлявшей силу венгерского дела. Но ведь официальные органы в Вене были нулями! Разве рейхстаг, разве демократические комитеты восстали за Венгрию, а не венский народ — и один только народ — с оружием в руках вынес огонь первой битвы за венгерскую независимость? Важно было поддержать не тот или другой официальный орган в Вене, — все они могли быть и были бы очень скоро сметены ходом революционного развития, — делало о торжестве самой революции, о непрерывном развитии народного движения, ибо только революция могла спасти Венгрию от вторжения. Какую форму примет это революционное движение впоследствии, было делом венцев, а не венгерцев, пока Вена и вообще немецкая Австрия продолжали быть их союзниками против общего врага. Но, спрашивается, не проявляются ли в этом упорном отстаивании венгерским правительством некоторой легальной санкции первые ясные симптомы того стремления прикрываться довольно сомнительной легальностью, которое, если не спасло Венгрию, то, по крайней мере, производило впоследствии надлежащий эффект на английские буржуазные аудитории?

Что касается ссылок на возможность столкновения с центральной германской властью во Франкфурте, то они не выдерживают никакой критики. Франкфуртские власти были *de facto* свергнуты победой контр-революции в Вене; они были бы свергнуты и в том случае, если бы революция нашла достаточную поддержку для поражения своих врагов. И, наконец, тот важный аргумент, что Венгрия не могла сойти с легальной и конституционной почвы, быть может, очень хорош для английских фритредеров, но отнюдь не может считаться достаточным пред судом истории. Предположим, что венское население держалось бы «легальных и конституционных средств» 13 марта и 6 октября, — что случилось бы тогда с «легальным и конституционным» движением и всеми славными битвами, которые впервые обратили внимание цивилизованного мира на Венгрию? Та самая легальная и конституционная почва, которой, по их уверениям, венгерцы держались в 1848 и 1849 гг., была завоевана для них крайне нелегальным и неконституционным восстанием венского населения 13 марта. В нашу задачу не входит анализировать здесь революционную историю Венгрии, но мы все же считаем уместным отметить, что чисто легальные средства сопротивления совершенно бесполезны, когда имеешь дело с врагом, который презирает такую щепетильность. И если бы не эти постоянные притязания на легальность, которые Гергей использовал против правительства, повинновение армии Гергею своему генералу и позорная катастрофа

при Вилагоше были бы невозможны. И когда венгерцы для спасения своей чести перешли, наконец, Лейту в конце октября 1848 г., не было ли это столь же незаконно, как непосредственное и решительное нападение?

Известно, что мы не питаем никакого враждебного чувства к Венгрии. Мы были на ее стороне во время ее борьбы. Мы имеем право сказать, что наша газета, «Новая рейнская газета», сделала больше всякой другой для популяризации дела Венгрии в Германии, выясняя сущность борьбы между мадьярской и славянской расами и освещая венгерскую войну в ряде статей, значение которых засвидетельствовано тем, что они плагиировались почти всеми писавшими впоследствии об этом предмете, не исключая венгерцев и «очевидцев». Мы и теперь видим в Венгрии естественного и необходимого союзника Германии при всяком будущем континентальном перевороте. Но мы были достаточно строги к своим соотечественникам, чтобы иметь право свободно высказываться о наших соседях. Помимо того, необходимо относиться к фактам с беспристрастием историка, и здесь мы должны признать, что в этом частном случае великодушное мужество венского населения было не только много благороднее, но и гораздо дальновиднее осторожного благоразумия венгерского правительства. И да будет нам далее, в качестве немца, позволено сказать, что мы не променяли бы на все пышные победы и славные битвы венгерской кампании этого стихийного, изолированного восстания и героического сопротивления наших венских соотечественников, давших Венгрии время организовать армию, которая могла совершить такие великие дела.

Вторым союзником Вены был германский народ. Но он повсюду был занят той же борьбой, что и венцы. Франкфурт, Баден, Кельн только что потерпели поражение и были обезоружены. В Берлине и Бреславле народ и армия были ожесточены друг против друга, и каждый день ожидали боя. Такое положение было и во всех областных центрах движения. Везде надвигались вопросы, которые могли быть решены только силой оружия. Теперь впервые тяжело сказались печальные последствия старого расчленения и децентрализации Германии. Различные вопросы были в существенном одинаковы в каждом ее государстве, каждой области, каждом городе, но проявлялись они повсюду в различной форме, по различным поводам, и острота их постановки была различна. И в результате везде сознавали решающую важность венских событий, но нигде нельзя было предпринять ничего серьезного, хотя бы с какой-либо надеждой помочь Вене или сделать диверсию в ее пользу. Помочь могли только парламент и

центральная власть во Франкфурте. К ним взывали отовсюду. Но что сделали они?

Франкфуртский парламент и ублюдок, который он произвел на свет от кровосмешения со старым Союзным сеймом, — так называемая центральная власть, воспользовались венским движением, чтобы выявить свое собственное полное ничтожество. Это презренное собрание, как мы видели, давно уже потеряло свою девственность и, при всей своей молодости, уже поседело во всех уловках псевдо-дипломатической проституции. От грез и иллюзий власти, от германского возрождения и единства, которыми оно было проникнуто вначале, не оставалось ничего, кроме шумихи тевтонских хлестких фраз, повторявшихся на каждом шагу, и твердой веры каждого депутата в собственную важность и в доверчивость публики. Первоначальная наивность была отброшена; представители германского народа стали людьми практическими, а это сводилось к тому, что они вбили себе в голову, что чем меньше они делают и чем больше болтают, тем безопаснее их положение как вершителей судеб Германии. Не то, чтобы они считали излишними свои дела, — совсем напротив. Но они рассудили, что все действительно важные вопросы являются запретным плодом для них, что им лучше всего их не касаться, и, подобно собранию византийских ученых Восточной римской империи, с важностью и настойчивостью, достойной постигшей их, наконец, участи, обсуждали теоретические догматы, давно уже разрешенные во всем цивилизованном мире, или микроскопические практические вопросы, никогда не приводившие ни к какому практическому результату.

Таким образом, собрание, представлявшее собою как бы ланкастерскую школу для взаимного обучения его членов и имевшее, следовательно, для них самих весьма важное значение, было убеждено, что делает даже больше, чем германский народ в праве от него ожидать, и считало изменником отечеству всякого, кто имел дерзость требовать от него какого-нибудь решения.

Когда вспыхнуло венское восстание, последовала тьма запросов, прений, предложений и поправок по этому поводу, и, разумеется, это не привело ни к чему. Нужно было, чтобы вмешалась центральная власть. Она послала в Вену двух комиссаров, экс-либерала Велькера и Мосле. Странствования Дон-Кихота и Санчо-Пансы представляют собою настоящую одиссею по сравнению с героическими подвигами и чудесными приключениями этих двух странствующих рыцарей германского единства. В Вену они не дерзнули отправиться, Виндишгрец на них грубо накричал, идиот-император им удивлялся, а министр Стадион их нагло мистифицировал. Их депеши и донесения

составляют, пожалуй, единственное, что останется в германской литературе от франкфуртских протоколов: это — подлинный, совершенно готовый сатирический роман, вечный памятник позора для Франкфуртского собрания и его правительства.

Левая часть собрания также послала в Вену для поддержания там своего авторитета двух комиссаров, Фребеля и Роберта Блюма. Блюм, при приближении опасности, справедливо рассудил, что предстоит великая битва германской революции, и не колеблясь решил поставить на карту свою голову. Фребель, наоборот, считал долгом сохранить себя для важных обязанностей своего поста во Франкфурте. Блюм считался одним из лучших ораторов Франкфуртского собрания и, наверное, был самым популярным депутатом. Красноречие его не соответствовало бы требованиям опытного парламентского собрания; он слишком любил поверхностную декламацию немецкого свободомыслящего проповедника, и его доводам не хватало ни философской глубины, ни знакомства с фактами. В политике он принадлежал к «умеренной демократии», направлению довольно неопределенному, но, именно ввиду отсутствия у него определенных принципов, весьма почитаемому. Но при всем том Роберт Блюм был по природе совершенный плебей, хотя и несколько отшлифованный, и в решительные моменты его плебейское чутье и плебейская энергия брали верх над неопределенностью и проистекавшей от нее нерешительностью его политических убеждений и недостаточностью познаний. В такие моменты он поднимался гораздо выше обычного уровня своих способностей.

В Вене он сразу увидел, что там, а не в претендовавших на красноречие прениях во Франкфурте, решится судьба его страны. Он тотчас же принял решение, оставил всякую мысль об отступлении, стал одним из командиров революционных сил и отдался делу с чрезвычайным хладнокровием и решительностью. Он на значительное время задержал падение города и обезопасил одну из частей его от нападения, сжегши Таборский мост через Дунай. Всем известно, как после штурма он был арестован, судим военным судом и расстрелян. Он умер героем. И Франкфуртское собрание, повергнутое в ужас, снесло это кровавое оскорбление внешне очень спокойно. Была принята резолюция, которая мягкостью и дипломатической пристойностью выражений была скорее оскорблением могилы мученика, чем заклеймением Австрии. Но от этого презренного собрания нельзя было ожидать, чтобы оно приняло близко к сердцу: убийство одного из своих членов, к тому же вождя левой.

ХIII. [ПРУССКОЕ СОБРАНИЕ. — НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.]

Лондон, март 1852 г.

1 ноября Вена пала, а 9-го роспуск Учредительного собрания в Берлине показал, насколько это событие подняло дух и силу контр-революционной партии во всей Германии.

На событиях лета 1848 г. в Пруссии долго останавливаться не приходится. Учредительное собрание, или, точнее, «собрание, избранное для выработки конституции по соглашению с короной», большинство в котором составляли представители интересов буржуазии, давно утратило всякое общественное уважение, поддаваясь, из страха перед более энергичными элементами населения, всем интригам двора. Собрание подтвердило или, вернее, восстановило ненавистные феодальные привилегии и тем предало свободу и интересы крестьян. Оно было неспособно ни выработать конституцию, ни сколько-нибудь улучшить общие законы. Оно занималось почти исключительно тонкими теоретическими различиями, пустыми формальностями и вопросами конституционного этикета. Собрание в действительности было больше школой парламентского *sa-voir vivre* [уменья вести себя] для его членов, чем учреждением, которым народ мог сколько-нибудь интересоваться. Сверх того, обе стороны в нем имели одинаковое число голосов, и большинство почти всегда определялось поведением центра, колебания которого справа налево и *vice versa* [обратно] низвергли сперва министерство Кампгаузена, потом министерство Ауэрсвальда и Ганземана. Но в то время как либералы в собрании, как и повсюду, упустили все благоприятные для них возможности, двор вновь собрал свои силы среди дворянства и более невежественной части сельского населения, а также в армии и среди бюрократии. После падения Ганземана было образовано министерство бюрократов и военных, все завязанных реакционеров, которое, однако, делало вид, что подчиняется требованиям парламента. И собрание, действуя по уютному принципу «важны дела, а не люди», было одурачено до такой степени, что аплодировало министерству, не замечая концентрации и организа-

ции контр-революционных сил, которые это министерство вело довольно открыто. Наконец, после того как падение Вены подало сигнал, король уволил министров и заместил их «людьми действия» под предводительством нынешнего премьера Мантейфеля. Тогда сонное собрание вдруг увидело опасность. Оно выразило недоверие кабинету, который сразу ответил распоряжением о переводе собрания из Берлина, где оно, в случае столкновения, могло рассчитывать на поддержку народных масс, в Бранденбург, мелкий провинциальный город, находившийся вполне во власти правительства. Однако собрание объявило, что оно не может быть ни отсрочено, ни перемещено, ни распущено без своего собственного согласия. Тем временем в Берлин вступил генерал Врангель во главе сорокатысячного войска. На совещании муниципальных властей и офицеров национальной гвардии было решено не оказывать сопротивления. И вот теперь, после того как собрание и выбравшая его либеральная буржуазия позволили объединенной реакционной партии занять все важные позиции и лишить их почти всех средств защиты, началась великая комедия «пассивного и законного сопротивления», которая, по их замыслу, должна была явиться славным подражанием примеру Гемпдена и первым действиям американцев в войне за независимость.

Берлин был объявлен на осадном положении — и Берлин остался спокойным. Национальная гвардия была распущена правительством — и сдала оружие с величайшей пунктуальностью. Собрание в течение двух недель переносило свои заседания с одного места на другое, прогоняемое отовсюду военной силой, — и члены собрания умоляли граждан сохранять спокойствие. Наконец, когда правительство объявило собрание распущенным, оно приняло резолюцию, объявлявшую сбор налогов незаконным, и члены его рассеялись по стране для организации движения в пользу отказа от уплаты налогов. Но тут они узрели, что горько ошиблись в выборе средств. После нескольких недель агитации, на которую правительство ответило суровыми мерами против непокорных, все оставили мысль об отказе от уплаты налогов в угоду мертвому собранию, не имевшему даже мужества защищаться.

Было ли в начале ноября 1848 г. уже поздно попытаться оказать вооруженное сопротивление, или же часть армии, встретив серьезное сопротивление, перешла бы на сторону собрания и, таким образом, решила бы дело в его пользу, это — вопрос, который, может быть, никогда не будет разрешен. Но в революции, как на войне, всегда необходимо смело противостоять противнику, и тот, кто наступает,

всегда имеет преимущество; в революции, как на войне, в высшей степени необходимо рисковать в решительный момент всем, как бы неравны ни были силы. История не знает ни одной успешной революции, которая не подтверждала бы этой аксиомы. Для прусской революции решительный момент наступил в ноябре 1848 г. Собрание, стоявшее официально во главе всего революционного дела, не обнаружало стойкости, — оно отступало пред каждым движением неприятеля. Еще меньше шло оно в наступление, — оно предпочитало даже не защищаться. И когда наступил решительный момент, когда Врангель во главе сорокатысячного войска подошел к воротам Берлина, то, вместо того чтобы найти все улицы загороженными баррикадами, все окна — обращенными в амбразуры, как ожидал он и его офицеры, — он нашел ворота открытыми, улицы — загроможденными только мирными берлинскими бюргерами, радующимися шутке, которую они сыграли с ним, отдавшись связанными по рукам и по ногам удивленным солдатам. Правда, собрание и народ могли быть побиты, если бы они сопротивлялись; Берлин мог подвергнуться бомбардировке, и сотни людей, быть может, погибли бы, не помешав окончательной победе королевской партии. Но это не было резонно сразу сложить оружие. Поражение после доброго боя — факт не меньшего революционного значения, чем легко одержанная победа. Парижское поражение в июне 1848 г. и венское в октябре, наверное, гораздо более революционизировали умы народа в этих двух городах, чем победы в феврале и марте. Собрание и народ в Берлине, вероятно, разделили бы судьбу этих двух вышеназванных городов, но они пали бы со славой и оставили бы по себе в душе уцелевших жажду мести, которая в революционные времена является одним из сильнейших побуждений к энергичному и страстному действию. Понятное дело, что во всякой борьбе поднимающий перчатку рискует быть побитым; но есть ли это основание признать себя побитым и подчиниться ярму, не обнажив меча?

В революции тот, кто занимает решающую позицию и сдает ее, не заставив врага померяться с ним силами и изведать его мощь, всегда заслуживает, чтобы к нему относились, как к изменнику.

Тот самый указ прусского короля, которым распускалось учредительное собрание, обнаружил новую конституцию, основанную на проекте, выработанном комиссией собрания, но расширявшую права короны в одних случаях и делавшую сомнительными права парламента в других; она устанавливала две палаты, которые должны были вскоре собраться для пересмотра и утверждения конституции.

Едва ли надо спрашивать, где было германское Национальное

собрание во время «легальной и мирной» борьбы прусских конституционалистов. Оно, как обычно во Франкфурте, занималось тем, что принимало очень мягкие резолюции, порицавшие поведение прусского правительства, и восторгалось «импозантным зрелищем пассивного, законного и единодушного сопротивления целого народа грубой силе». Центральное правительство послало в Берлин комиссаров для посредничества между министерством и собранием. Но их постигла та же участь, что их предшественников в Ольмюце: их учтиво выпроводили. Левая Национального собрания, т. е. так называемая радикальная партия, также послала комиссаров. Но они, убедившись в полной беспомощности Берлинского собрания и признав свою собственную полную беспомощность, вернулись во Франкфурт, чтобы донести о ходе дел и засвидетельствовать удивительно мирное поведение берлинского населения. Мало того. Когда Вассерман, один из комиссаров центрального правительства, донес, что последние строгие меры прусских министров были приняты не без основания, потому что в последнее время на улицах Берлина замечались некоторые личности опасного вида, какие всегда появляются перед анархическими волнениями (и которых с тех пор прозвали «бассермановскими личностями»), эти достойные депутаты левой и энергичные представители революционного дела встали и клятвенно заверили, что этого не было!

Таким образом, за два месяца Франкфуртское собрание воочию доказало свое полное бессилие. Не могло быть более ясного доказательства, что это учреждение совершенно не соответствовало возложенной на него задаче, более того, — что оно не имело и отдаленнейшего представления о том, в чем состояла его задача. Тот факт, что как в Вене, так и в Берлине судьба революции была решена и самые важные и жизненные вопросы покончены так, как будто бы Франкфуртского собрания и не существовало, — один этот факт достаточно доказывает, что данное учреждение было просто клубом для прений, состоявшим из болванов, позволявшим правительствам пользоваться ими как парламентскими куклами для забавы лавочников и мелких ремесленников мелких государств и мелких городов, пока считалось нужным занимать чем-нибудь их внимание. Как долго это считалось нужным, — скоро увидим. Но достойно внимания, что среди всех «маститых» людей этого собрания не нашлось ни одного, кто имел бы хотя малейшее представление о той роли, которую их заставляют играть, и что даже до настоящего времени все бывшие члены франкфуртского клуба неизменно обладают только им свойственными органами восприятия истории.

XIV. [ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА. — СОБРАНИЕ И ПАЛАТА.]

Лондон, апрель 1852 г.

Первые месяцы 1849 г. австрийское и прусское правительства употребили на упрочение успехов, достигнутых в октябре и ноябре 1848 г. Австрийский рейхстаг после взятия Вены влачил чисто номинальное существование в мелком провинциальном городе Кремсире в Моравии. Там славянские депутаты, которые вместе со своими избирателями особенно помогли австрийскому правительству оправиться от состояния прострации, были примерно наказаны за свою измену делу европейской революции. Как только правительство вернуло себе силу, оно стало обращаться с рейхстагом и его славянским большинством крайне презрительно, и когда первые успехи императорских войск возвестили о близком окончании венгерской войны, рейхстаг, 4 марта, был распущен, а депутаты разогнаны военной силой. Тогда славяне, наконец, увидели, что их провели, и стали кричать: «Поедем во Франкфурт и будем там оказывать оппозицию, которая невозможна здесь!» Но было слишком поздно, и самый факт, что им не оставалось иного выбора, как либо сидеть смиренно на месте, либо же присоединиться к бессильному Франкфуртскому собранию, — один этот факт достаточно свидетельствовал об их полной беспомощности.

Так кончились пока, и очень вероятно — навсегда, попытки славян Германии вернуть себе независимое национальное существование. Разбросанные остатки многочисленных племен, национальная и политическая жизнеспособность которых давно угасла и которые, в силу этого, вынуждены были почти тысячу лет итти на буксире за более сильным народом, их завоевателем, подобно валлийцам в Англии, баскам в Испании, нижне-бретонцам во Франции и, в не столь давнее время, испанским и французским креолам в частях Северной Америки, занятых позднее англо-американской расой, — эти умирающие народности, — чехи, каринтыне, далматы и пр., — попытались воспользоваться всеобщей смутой 1848 г., чтобы вернуть себе свой политический status quo 800 года после Р. X. Тысяче-

летняя история должна была им показать, что такое возвращение вспять невозможно, что если вся область к востоку от Эльбы и Заалы некогда была занята рядом родственных друг другу славянских племен, то этот факт только доказывает историческую тенденцию и в то же время физическую и умственную мощь германского народа, подчинившего, поглотившего и ассимилировавшего своих древних восточных соседей. Эта тенденция к поглощению со стороны немцев всегда была и остается до сих пор одним из могущественнейших средств распространения западно-европейской цивилизации на востоке Европы. Она прекратится только тогда, когда германизация дойдет до границ крупных сплоченных наций, способных к самостоятельной национальной жизни, как венгерцы и, в некоторой степени, поляки. И, следовательно, естественной и неизбежной судьбой вымирающих славянских народностей было покориться завершению этого процесса их разложения и поглощения более сильными соседями. Конечно, это было нелестной перспективой для национального самолюбия панславистских мечтателей, которым удалось возбудить своей агитацией чехов и южных славян. Но могут ли они рассчитывать, что история отступит на тысячу лет назад в угоду нескольким хилым племенам, которые везде на занимаемой ими территории перемешаны с немцами или окружены ими, которые почти с незапамятных времен не пользовались для культурных целей другим языком, кроме немецкого, и которым недостает самых главных условий национального существования — численности и сплошной территории? Вот почему панславистское движение, за которым в славянских областях Германии и Венгрии всюду скрывалось стремление к восстановлению независимости всех этих бесчисленных мелких племен, столкнулось с европейскими революционными движениями, и славяне, хотя и утверждали, что борются за свободу, неизменно оказывались (за исключением демократической части поляков) на стороне деспотизма и реакции. Так было в Германии, так было в Венгрии, так было местами даже в Турции. Изменники народному делу, защитники и главная опора австрийской правительственной шайки, они сделались отверженцами в глазах всех охваченных революционным движением народов. И хотя народные массы нигде не участвовали в мелких национальных спорах, поднятых панславистскими вождями, уже по одному тому, что эти массы были слишком невежественны, однако никогда не будет забыто, что в Праге, полунемецком городе, толпы славянских фанатиков бурно восклицали не раз: «Лучше русский кнут, чем немецкая свобода!» После их скороисчерпавшихся усилий 1848 г. и урока, данного им австрийским

правительством, неправдоподобно, чтобы они сделали новую попытку при наступлении благоприятных обстоятельств. Но если они снова попробуют под подобными предложениями вступить в союз с контр-революционными силами, — долг Германии ясен. Ни одна страна, охваченная революцией и вовлеченная во внешнюю войну, не потерпит существования Вандей в самом сердце своем.

Что касается конституции, обнародованной императором одновременно с роспуском рейхстага, то к ней возвращаться незачем, так как фактически она никогда не применялась и теперь отменена совсем. Абсолютизм был восстановлен в Австрии во всех отношениях с 4 марта 1849 г.

В Пруссии палаты собрались в феврале для рассмотрения и утверждения данной королем новой конституции. Они заседали около шести недель, смиренные и покорные правительству, но все еще не до такой степени, как того желали король и его министры. Поэтому они при первом подходящем случае были распущены.

Таким образом, как Австрия, так и Пруссия на время отделались от терний парламентского строя. Правительства сосредоточивали всю власть в своих руках и могли применять ее всюду, где им нужно было: Австрия — в Венгрии и Италии, Пруссия — в Германии. Что касается Пруссии, то она готовилась также к борьбе за восстановление «порядка» в мелких государствах.

Теперь, когда контр-революция одержала верх в двух главных центрах действия в Германии, — в Вене и Берлине, борьба оставалась еще не решенной только в более мелких государствах, хотя и там весы все больше и больше склонялись против интересов революции. Эти мелкие государства, как сказано, нашли общий центр во Франкфуртском национальном собрании. Хотя реакционный дух этого так называемого Национального собрания давно был явен, так что жители Франкфурта даже поднимались против него с оружием в руках, все же оно по своему происхождению было до известной степени революционным. Оно занимало ненормальное, революционное положение в январе. Хотя его сфера компетенции никогда не была определена, оно все же, в конце концов, приняло решение, — не признанное, однако, ни одним из более крупных государств, — что его постановления имеют силу закона. Неудивительно поэтому, что когда при таких обстоятельствах конституционно-монархическая партия увидела себя сбитой с позиции оправившимися сторонниками абсолютизма, либеральная, монархическая буржуазия почти всей Германии возложила свои последние надежды на большинство Национального собрания, между тем как мелкая бур-

жуазия, ядро демократической партии, под давлением растущих невзгод собралась вокруг меньшинства, которое составляло действительно последнюю компактную парламентскую фалангу демократии. В свою очередь, правительства крупных государств, и, в особенности, прусское министерство, все явственнее видели несовместимость этого, им не подчиненного выборного учреждения с восстановленным монархическим строем, и если они не настаивали на его немедленном роспуске, то только потому, что еще не наступило время для этого и что Пруссия рассчитывала сперва воспользоваться им для своих собственных честолюбивых целей

Между тем, бедное собрание само приходило все в большее и большее смятение. С его депутациями и комиссарами обходились крайне пренебрежительно как в Вене, так и в Берлине; один из его членов, несмотря на свою парламентскую неприкосновенность, был казнен в Вене как обыкновенный бунтовщик. Приказы собрания нигде не выполнялись. Если крупные государства обращали на них внимание, то это проявлялось только в том, что они протестовали против них в нотах, оспаривая право собрания издавать законы и постановления, обязательные для правительств. Представительница собрания — центральная исполнительная власть — впуталась в дипломатические дразги почти со всеми кабинетами в Германии, и, несмотря на все усилия, ни собранию, ни центральной власти не удалось добиться от Пруссии и Австрии, чтобы они выявили свои намерения, планы и требования. Наконец, собрание стало ясно понимать хоть то, что оно упустило всю власть из своих рук, что само оно целиком в руках Австрии и Пруссии и что если оно хочет составить федеральную конституцию для всей Германии, то должно взяться за дело тотчас же — и весьма серьезно. И многие из колеблющихся членов его также ясно видели, что были целиком обмануты правительствами. Но что могли они сделать теперь в этом беспомощном положении? Спасти их мог бы разве быстрый и решительный переход на сторону народа. Но успех даже и такого шага был более чем сомнителен. Да и где в этой беспомощной толпе нерешительных, близоруких, тщеславных людишек, которые, даже когда непрерывный шум противоречивых слухов и дипломатических нот совершенно оглушал их, искали единственного утешения и поддержки в постоянно повторяемом уверении, что они — лучшие, мудрейшие, величайшие люди в стране и что они одни могут спасти Германию, — где, говорим мы, было искать среди этих бедных людишек, которых один год парламентской жизни превратил в совершенных идиотов, деятелей, способных принимать быстрые и смелые

решения, не говоря уже об энергичных и согласованных действиях?

Наконец, австрийское правительство сбросило маску. В конституции 4 марта оно провозгласило Австрию нераздельной монархией, с общими финансами, общей системой таможенных пошлин, общим войском, стирая этим всякое различие между немецкими и не-немецкими областями. Это провозглашение было сделано вопреки всем постановлениям и параграфам подготовлявшейся федеральной конституции, уже проведенным Франкфуртским собранием. Оно было вызовом, брошенным Австрией, и бедному собранию не оставалось иного исхода, как принять его. Так оно и сделало с большим треском, к которому Австрия, в сознании своей силы и крайнего ничтожества собрания, отнеслась весьма спокойно. И это милое представительство германского народа, как оно себя именovalo, в отместку за обиду не нашло ничего лучшего, как отдаться со связанными руками и ногами прусскому правительству.

Как это ни невероятно, они преклонили колени перед теми самыми министрами, которых осудили как неконституционных и враждебных народу и отставки которых тщетно добивались. Подробности этих позорных переговоров и дальнейшие трагикомические события мы изложим в следующей статье.

XV. [ТОРЖЕСТВО ПРУССИИ.]

Лондон, июль 1852 г.

Мы подходим теперь к последней главе истории германской революции — к столкновению Национального собрания с правительствами различных германских государств, особенно Пруссии, восстанию в южной и западной Германии и окончательному подавлению его Пруссией.

Мы уже видели франкфуртское Национальное собрание за работой. Мы видели, как оно получало пинки от Австрии, как его оскорбляла Пруссия, как ему не повиновались мелкие государства, как его обманывало его собственное центральное «правительство», которое, в свою очередь, обманывали все вместе и каждый в отдельности властители страны. Но, наконец, дела стали принимать угрожающий для этого слабого, колеблющегося, безжизненного законодательного учреждения характер. Оно вынуждено было признать, что «осуществлению высокой идеи германского единства грозит опасность», что означало не больше, не меньше как то, что Франкфуртское собрание и все, что оно сделало и готовилось сделать, по всем вероятностям пойдет прахом. И вот оно принялось весьма серьезно за работу, чтобы возможно скорее закончить свое великое творение — «имперскую конституцию». Но тут встретилось одно затруднение. Кто будет составлять исполнительную власть? Исполнительный совет? Нет, это значило бы, — думало собрание в своей мудрости, — сделать Германию республикой. Президент? Это означало бы то же самое. Значит, надо восстановить старый императорский сан. Но так как, конечно, один из государей будет императором, то кто именно должен им быть? Конечно, не какой-нибудь из *dii minorum gentium* [богов мелких племен], от Рейс-Шлейц-Грейц-Лобенштейн-Эберсдорфа до Баварии, — ни Австрия, ни Пруссия не потерпели бы того. Императором мог стать только австрийский или прусский государь. Но кто именно из них двух? Несомненно, что при более благоприятных обстоятельствах августейшее собрание заседало бы поднесь, обсуждая эту важную дилемму, и все

же не способно было бы прийти к какому-нибудь решению, если бы австрийское правительство не разрубило гордиев узел и не избавило собрание от хлопот.

Австрия очень хорошо знала, что с того момента, когда она снова явится перед Европой сильной и великой державой, усмирив все свои провинции, закон политического тяготения вовлечет остальную Германию в ее орбиту и без того авторитета, который дала бы ей императорская корона, пожалованная Франкфуртским собранием. Австрия была гораздо сильнее, гораздо свободнее в своих движениях, с тех пор как сбросила немощную корону Германской империи, — корону, связывавшую ее собственную независимую политику, несколько не увеличивая ее силы ни внутри, ни вне Германии. В случае же, если бы Австрия не удержала своей власти над Италией и Венгрией, она бы растворилась, уничтожилась в Германии и никогда не была бы в состоянии вновь завладеть короной, выпавшей из ее рук, когда она была в полном обладании своей силой. Поэтому Австрия сразу высказалась против всякого воскрешения империи и требовала просто восстановления Союзного сейма, единственного центрального правительства Германии, известного трактатам 1815 г. и признанного ими. И 4 марта 1849 г. Австрия ввела конституцию, смысл которой заключался не в чем ином, как в провозглашении ее неделимой, централизованной и независимой монархией, отдельной даже от той Германии, которую Франкфуртское собрание должно было реорганизовать.

Это открытое объявление войны не оставляло франкфуртским мудрецам иного выхода, кроме исключения Австрии из Германии и создания из остальной части страны чего-то вроде новой византийской империи, «малой Германии», ободранная императорская мантия которой должна была облечь плечи прусского короля. Это было, как читатель припомнит, воскрешение старого проекта, предлагавшегося шесть-семь лет тому назад партией южно-германских и средне-германских либеральных доктринеров, увидевших теперь божие благословение в унижительных обстоятельствах, под влиянием которых их старое измышление вновь выдвинуто было как новейший «шахматный» ход к спасению отечества.

В феврале и марте 1849 г. собрание покончило с обсуждением имперской конституции, равно как декларации гражданских прав и имперского избирательного закона, — однако не без вынужденных уступок самого противоречивого характера по очень многим пунктам то консервативной или, лучше сказать, реакционной партии, то более передовым фракциям собрания. Действительно, было очевидно,

что руководящая роль, ранее принадлежавшая правой и правому центру (консерваторам и реакционерам), постепенно, хотя и медленно, переходила к левой или демократической стороне собрания. Довольно двусмысленное положение австрийских депутатов в собрании, которое исключило их страну из состава Германии и в котором им, однако, приходилось заседать и подавать голоса, благоприятствовало перемещению центра тяжести. И таким образом уже к концу февраля левый центр и левая, благодаря австрийским головам, были, вообще говоря, в большинстве, хотя в иные дни консервативная часть австрийцев, голосуя вдруг по капризу вместе с правой, склоняла весы в другую сторону. Этими внезапными *soubresauts* (скачками) она хотела навлечь презрение на собрание, что было, впрочем, совершенно ненужно, потому что масса населения уже давно убедилась в крайней пустоте и тщете всего, что исходило из Франкфурта. Легко представить себе, что за конституция составлялась при таких неожиданных скачках.

Левая в собрании, — эта краса и гордость революционной Германии, какую она себя считала, — совершенно опьянела от нескольких жалких побед, которые она одержала по доброй или, скорее, злой воле группы австрийских политиканов, действовавших по наущению и в интересах австрийского деспотизма. Всякий раз, когда некое подобие их туманных принципов получало санкцию Франкфуртского собрания, демократы кричали, что они спасли страну и народ. Эти бедные слабоумные люди были в течение своей вообще безвестной жизни так мало приучены к чему-нибудь похожему на успех, что действительно верили, будто их жалкие поправки, проведенные большинством в два-три голоса, изменят лицо Европы. С первых же шагов своей законодательной карьеры они больше всех других партий собрания впитали в себя яд той неизлечимой болезни, — *парламентского кретинизма*, — которая переполняет свои несчастные жертвы спесивым убеждением, что весь мир, его история и его будущность управляются и определяются большинством голосов в том представительном учреждении, которое имеет честь считать их среди своих членов, и что все, происходящее вне их палаты, — войны, революции, постройка железных дорог, колонизация целых новых континентов, открытие калифорнийского золота, прорывание центрально-американского канала, русские армии и все прочее, что может иметь какое-нибудь притязание влиять на судьбы человечества, — ничто в сравнении с неисчислимыми последствиями, связанными с важным вопросом, — каков бы он ни был, — занимающим в данное время внимание их почтенной палаты. Благодаря тому, что

демократической партии, таким образом, удалось провести некоторые свои панации в «имперскую конституцию», она теперь взяла на себя обязательство защищать ее, хотя во всех существенных пунктах конституция эта резко противоречила ее собственным часто провозглашавшимся ею принципам, а под конец, когда это убудочное творение было покинуто его главными авторами и завещано ей, она приняла наследие и отстаивала эту *монархическую* конституцию даже против всякого, кто затем защищал ее собственные *республиканские* принципы.

Нужно, однако, признать, что противоречие тут было только кажущееся. Неопределенный, противоречивый, незрелый характер имперской конституции был верным отражением незрелых, смутных, противоречивых политических идей этих господ демократов. Если бы их собственные изречения и писания — поскольку они умели писать — не достаточно доказывали это, то об этом свидетельствовали бы их действия, ибо среди мыслящих людей принято судить о человеке не по словам, а по делам его, не по тому, чем он претендует быть, а по тому, что он делает и что представляет собою в действительности. А дела этих героев германской демократии достаточно громко говорят о них, как мы еще увидим дальше. Как бы то ни было, имперская конституция, со всеми своими придатками и украшениями, была, наконец, принята, и 28 марта прусский король 290 головами, при 248 воздержавшихся и 200 отсутствовавших, был избран императором Германии (без Австрии). Ирония истории исполнилась. Имперский фарс, проделанный на улицах удивленного Берлина три дня спустя после революции 18 марта Фридрихом-Вильгельмом IV, находившимся в том состоянии, которое в другом месте подвело бы его под действие закона штата Мэна против спиртных напитков, — этот отталкивающий фарс спустя ровно год был освящен мнимым представительным собранием всей Германии. Таков был результат германской революции!

XVI. [СОБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВА.]

Лондон, июль 1852 г.

Избрав прусского короля императором Германии (без Австрии), Франкфуртское национальное собрание отправило к нему в Берлин депутацию с предложением короны и затем отсрочило свои заседания. 3 апреля Фридрих-Вильгельм принял депутацию. Он сказал ей, что, признавая за собой право на предпочтение, оказанное ему голосованием народных представителей, он, однако, не может принять императорской короны, пока не уверен в том, что остальные государи признают его власть и имперскую конституцию, предоставляющую ему верховные права. Дело германских правительств, — прибавил он, — рассмотреть, такова ли эта конституция, чтобы они могли утвердить ее. Но во всяком случае, будет ли он императором или нет, он всегда готов, — заключил он, — обнажить меч против внешнего или внутреннего врага. Мы увидим, что он сдержал обещание ошеломляющим для Национального собрания образом.

После тщательного дипломатического исследования франкфуртские мудрецы пришли, в конце концов, к заключению, что такой ответ равнялся отказу от короны. Поэтому они постановили (12 апреля), что имперская конституция есть закон страны и должна соблюдаться. И так как они не знали, что им дальше делать, то избрали комитет тридцати для выработки средств, каким образом провести конституцию в жизнь.

Это решение послужило сигналом к разыгравшемуся конфликту между Франкфуртским собранием и германскими правительствами. Буржуазия и, в особенности, мелкая буржуазия сразу высказались за новую франкфуртскую конституцию. Они не могли долгие ждать момента, который должен был «завершить революцию». В Австрии и Пруссии революция на время была закончена вмешательством военной силы. Упомянутые классы предпочли бы менее насильственный способ действия, но у них не было выбора. Дело было сделано — и нужно было с этим примириться, — решение это они сразу приняли и выполняли самым героическим образом. В более мелких

государствах, где все шло сравнительно гладко, буржуазия уже давно опустилась до мишурной, но безрезультатной, потому что бессильной, парламентской агитации, столь соответствовавшей ее природе. Поэтому, присматриваясь к различным государствам Германии в отдельности, можно было думать, что они достигли уже новой, окончательной формы, которая даст им возможность идти впредь по пути мирного конституционного развития. Оставался открытым лишь один вопрос — о новой политической организации Германского союза. И этот вопрос, единственный, который еще казался чреватым опасностями, считалось необходимым решить без замедления. Этим объясняется давление, которое буржуазия оказывала на Франкфуртское собрание с целью побудить его как можно скорее изготовить конституцию. Этим же объясняется и решимость высшей и низшей буржуазии принять и поддерживать эту конституцию, какова бы она ни была, чтобы без промедления создать устойчивый порядок вещей. Таким образом, агитация в пользу имперской конституции возникла из реакционного настроения и распространялась среди тех классов, которые давно уже были утомлены революцией.

Но при этом нужно принять во внимание еще другое обстоятельство. Первые и основные принципы будущей германской конституции были приняты в первые месяцы весны и лета 1848 года, когда народный пыл еще не остыл. Принятые тогда постановления были *для того времени* совсем реакционны, но теперь, после противозаконных действий австрийского и прусского правительств, казались крайне либеральными и даже демократичными. Изменилась мера, которою мерили. Франкфуртское собрание не могло бы без морального самоубийства вычеркнуть эти раз голосованные параграфы и переделать имперскую конституцию так, как диктовали с мечом в руках австрийское и прусское правительства. Сверх того, большинство в собрании переместилось, как мы видели, и влияние либеральной и демократической партии усилилось. Таким образом, имперская конституция не только отличалась своим, с виду исключительно демократическим, происхождением, но, при всех своих противоречиях, была все же самой либеральной конституцией во всей Германии. Величайшим ее недостатком было то, что она была лишь листком бумаги, за которым не стояло никакой силы, которая могла бы провести в жизнь ее положения.

При таких обстоятельствах было естественно, что так называемая демократическая партия, т. е. масса мелкой буржуазии, цеплялась за имперскую конституцию. Этот класс всегда был более передовым в своих требованиях, чем либеральная конституционно-

монархическая буржуазия. Он обнаружил большую отвагу, очень часто грозил вооруженным сопротивлением, был щедр на обещания пожертвовать кровью и жизнью в борьбе за свободу. Но он дал уже достаточно доказательств, что в час опасности его нигде не сыщешь, что он чувствует себя всего лучше на следующий день после решительного поражения, когда все погибло, и он имеет, по крайней мере, утешение знать, что дело так или иначе кончено. В то время как присоединение крупных банкиров, фабрикантов и купцов к франкфуртской конституции носило весьма сдержанный характер и больше походило на простое одобрение, класс, стоящий непосредственно ниже их, — наши храбрые демократические мелкие буржуа, — выступал очень напыщенно и по обычаю заверял, что скорее истечет кровью, чем допустит крушение имперской конституции.

Поддерживаемая этими двумя партиями, — буржуазными сторонниками конституционной монархии и более или менее демократическими мелкими буржуа, — агитация за непосредственное введение имперской конституции быстро приобретала почву и нашла самое сильное свое выражение в парламентах отдельных государств. Палаты прусская, ганноверская, баденская, вюртембергская высказались в пользу имперской конституции. Борьба между правительствами и Франкфуртским собранием приняла угрожающий вид.

Однако правительства действовали быстро. Прусские палаты были распущены, — с нарушением конституции, — потому что они должны были рассмотреть и утвердить прусскую конституцию. В Берлине произошли волнения, умышленно спровоцированные правительством, и на следующий день, 28 апреля, прусское министерство разослало циркулярную ноту, в которой имперская конституция выставлялась крайне анархическим и революционным документом и германские правительства приглашались переделать и очистить ее. Таким образом, Пруссия категорически не признала верховную учредительную власть, которую франкфуртские мудрецы всегда хвастались, но которую никогда не могли упрочить за собою. Был созван конгресс государей, — некоторое возрождение старого Союзного сейма, — для обсуждения вопроса о конституции, которая уже объявлена была законом. В то же время Пруссия сосредоточивала войска в Крейцнахе, на расстоянии трехдневного марша от Франкфурта, и приглашала малые государства последовать ее примеру и распустить свои палаты, как только они примкнут к Франкфуртскому собранию. Ганновер и Саксония поспешили последовать этому совету.

Было очевидно, что уже нельзя избежать решения возникшего конфликта силою оружия. Враждебные замыслы правительств и

волнение среди народа с каждым днем проявлялись во все более резкой форме. Повсюду демократические граждане старались воздействовать на военных, а в южной Германии это делалось с большим успехом. Огромные массовые собрания собирались повсюду и принимали резолюции о поддержке имперской конституции и Национального собрания, если понадобится, силою оружия. В Кельне состоялось с той же целью собрание членов всех муниципальных советов Рейнской Пруссии. В Пфальце, Берге, Фульде, Нюрнберге, Оденвальде крестьянство сходилось массами и с большим воодушевлением обсуждало создавшееся положение. В то же время во Франции Учредительное собрание было распущено, и новые выборы готовились в атмосфере сильного возбуждения, а на восточной границе Германии венгерцы за один месяц рядом блестящих побед отбросили вторгшихся австрийцев с Тиссы до Лейты, и каждый день ожидали, что они штурмом возьмут Вену. Таким образом, воображение народа было напряжено до крайней степени, вызывающая политика правительств с каждым днем становилась яснее, столкновения избежать было невозможно, и только трусливое слабоумие могло утешать себя тем, что конфликт может завершиться мирно. Но это трусливое слабоумие было в широкой мере представлено во Франкфуртском собрании.

XVII. [ВОССТАНИЕ.]

Лондон, август 1852 г.

Неизбежное столкновение между Франкфуртским национальным собранием и правительствами германских государств, наконец, прорвалось открытыми враждебными действиями в первых числах мая 1849 г. Австрийские депутаты, отозванные своим правительством, уже покинули собрание и возвратились домой, за исключением нескольких членов левой или демократической партии. Большая масса консервативных депутатов, зная, какой оборот должны были принять дела, отстранилась даже раньше, чем была отозвана своими правительствами. Таким образом, даже независимо от причин, которые, как мы показали в предыдущих статьях, способствовали усилению влияния левой, одного оставления своих постов членами правой было достаточно, чтобы превратить прежнее меньшинство в собрании в большинство. Члены нового большинства, которым раньше и не снилось такое счастье, пользовались своим положением на скамьях оппозиции для насмешек над слабостью, нерешительностью, неспособностью прежнего большинства и над его имперским правителем. Теперь *им* вдруг пришлось занять место этого большинства. Теперь *они* должны были показать, что они могут сделать. Разумеется, *их* деятельность будет энергичной, решительной. *Они*, цвет Германии, скоро поставят на ноги старческого блюстителя империи и его колеблющихся министров, а если бы это оказалось невозможным, они — в этом не может быть и сомнения — в силу суверенных прав народа низложат это бессильное правительство и заменят его энергичной, неумолимой исполнительной властью, которая обеспечит спасение Германии... Бедняги! *Их* правление, — если можно называть правителями тех, кому никто не повинуется, — было еще смешнее правления их предшественников.

Новое большинство заявило, что, несмотря на все препятствия, имперская конституция должна быть *немедленно* введена в действие, что 15 июля народ должен избрать депутатов в новый рейхстаг, который должен собраться 15 августа во Франкфурте. Это было

открытое объявление войны правительствам, не признавшим имперской конституции, главнейшими из которых были правительства Пруссии, Австрии и Баварии, насчитывающих свыше трех четвертей населения Германии. И эти правительства поспешили принять вызов. Пруссия и Бавария также отозвали депутатов, посланных от их территорий во Франкфурт, и ускорили свои военные приготовления против Национального собрания. С другой стороны, демонстрации демократической партии (вне парламента) в пользу имперской конституции и Национального собрания приняли более бурный и резкий характер, а рабочие массы, руководимые людьми самой крайней партии, готовы были взяться за оружие в пользу дела, которое, хотя и не было собственно их делом, но, по крайней мере, давало им возможность, в случае успеха, несколько приблизить осуществление своих целей, очистив Германию от ее старых монархических загромождений. Таким образом, повсюду народ и правительства ожесточенно стояли друг против друга. Взрыв был неизбежен, — мина была заряжена, не доставало только искры. Роспуск палат в Саксонии, призыв запасных солдат в Пруссии, открытое сопротивление правительств имперской конституции послужили этой искрой. Она вспыхнула, — и вся страна тотчас же была охвачена пламенем. В Дрездене 4 мая народ победоносно завладел городом и прогнал короля, а окрестные местности прислали подкрепление восставшим. В Рейнской Пруссии и Вестфалии запасные отказались выступить, овладели арсеналами и вооружились на защиту имперской конституции. В Пфальце народ арестовал баварских правительственных чиновников, захватил казначейство и учредил Комитет обороны, который поставил всю область под защиту Национального собрания. В Вюртемберге народ заставил короля признать имперскую конституцию, а в Бадене армия, соединившись с народом, заставила великого герцога бежать и учредила временное правительство. В остальных частях Германии народ ждал только решительного сигнала от Национального собрания, чтобы взяться за оружие и предоставить себя в его распоряжение.

Положение Национального собрания было гораздо благоприятнее, чем можно было ожидать после его бесславной деятельности. Западная половина Германии взялась за оружие на его защиту. Войска всюду колебались. В мелких государствах они, несомненно, сочувствовали движению. Австрия была повергнута в прах победоносным шествием венгерцев, и Россия, резервная сила германских правительств, напрягала все свои возможности, чтобы поддержать Австрию против венгерской армии.

Оставалось лишь справиться с Пруссией, и при наличии в этой стране революционных симпатий наверное были шансы достичь этой цели. Все зависело, таким образом, от поведения собрания.

В наше время восстание есть такое же искусство, как война или всякое другое искусство, и подчиняется определенным правилам, пренебрежение которыми приводит к гибели пренебрегшую ими партию. Эти правила, логически вытекающие из характера партий и обстоятельств, с которыми в данном случае приходится иметь дело, настолько просты и ясны, что короткий опыт 1848 г. достаточно хорошо научил им немцев. Во-первых, не нужно затевать восстания, если нет решимости считаться со всеми его последствиями. Восстание есть вычисление с крайне неопределенными величинами, которые могут меняться каждый день. Враждебные вам силы имеют все преимущества организации, дисциплины и обычного авторитета. Если нельзя противопоставить им достаточно крепкую силу, повстанцы терпят поражение и гибнут. Во-вторых, раз восстание начато, нужно действовать с величайшей решимостью и идти в наступление. Оборонительное положение есть смерть всякого вооруженного восстания, — и оно гибнет, не померявшись силами с врагом. Нужно ударить на врага, пока его силы разрознены, и готовить новые победы, как бы малы они ни были, но чтобы они одерживались изо дня в день. Нужно удержать моральный перевес, который дал первый успех, и перетянуть на свою сторону те колеблющиеся элементы, которые всегда поддаются более сильному импульсу и всегда смотрят, к кому безопаснее пристать. Нужно заставить врага отступить, прежде чем он соберет против вас свои силы. Словом, как сказал Дантон, величайший из известных до настоящего времени мастеров революционной политики: *de l'audace, de l'audace, encore de l'audace!* (смелость, смелость и смелость!)

Что же надо было сделать Франкфуртскому национальному собранию, чтобы избежать грозившей ему верной гибели? Прежде всего вполне уяснить себе положение и убедиться, что нет иного исхода, кроме безусловной сдачи на волю правительств или же обращения, без всяких колебаний, к вооруженному восстанию. Во-вторых, открыто признать все уже вспыхнувшие восстания и призвать народ к оружию на защиту народного представительства, объявив низложенными всех государей, министров и пр., которые осмелятся противиться державному народу, представляемому его полномочными избранниками. В-третьих, немедленно низложить блюстителя империи, создать крепкую, деятельную, не отступающую ни перед чем исполнительную власть, призвать восставшие войска во Франкфурт для

охраны этой власти, давая тем одновременно законный повод для распространения восстания, сплотить воедино все находящиеся в его распоряжении силы, — коротко говоря, быстро и без колебаний воспользоваться всеми пригодными средствами для укрепления положения и ослабления врагов.

Добродетельные демократы Франкфуртского собрания сделали прямо противоположное всему этому. Мало того, что они дали событиям идти своим ходом, — эти достойные господа еще дошли до того, что душили своим противодействием все подготовлявшиеся инсургентские движения. Так поступил, например, господин Карл Фогт в Нюрнберге. Они допустили подавление восстаний в Саксонии, Рейнской Пруссии, Вестфалии, не оказав им иной помощи, кроме надгробного сентиментального протеста против бессмысленной жестокости прусского правительства.

Они вели втихомолку дипломатические сношения с южно-германскими инсургентами, но не дерзнули поддержать их открытым признанием. Они знали, что блюститель империи — заодно с правительствами, и, однако, взывали к *нему*, чтобы он принял меры против интриг этих правительств, хотя он никогда ни во что не вмешивался. Имперские министры, старые консерваторы, смеялись над этим беспомощным собранием в каждом заседании, и собрание терпело это. И когда Вильгельм Вольф, силезский депутат и один из редакторов «Новой рейнской газеты», предложил собранию низложить блюстителя империи, который, как он справедливо сказал, был лишь первым и величайшим предателем империи, он был заглушен единодушным добродетельным негодованием этих демократов-революционеров! Короче, они болтали, протестовали, вопили, но не имели ни храбрости, ни ума, чтобы действовать. Между тем войска враждебных правительств подступали ближе и ближе, а ими самими поставленный носитель исполнительной власти, блюститель империи, деятельно готовился вместе с германскими властителями сокрушить собрание. Так рассеялись последние следы уважения к этому презренному собранию. Инсургенты, поднявшиеся на его защиту, перестали заботиться о нем, и когда, наконец, оно умерло, никто не заметил его бесславного исчезновения.

ХVIII. [МЕЛКАЯ БУРЖУАЗИЯ.]

[Без даты.]

В предыдущей статье мы показали, как борьба между германскими правительствами и Франкфуртским собранием приняла, наконец, настолько резкий характер, что в первых числах мая в значительной части Германии вспыхнуло открытое восстание — сперва в Дрездене, затем в Баварском Пфальце, отчасти в Рейнской Пруссии и, наконец, в Бадене.

Во всех этих восстаниях *действительно боевые силы* инсургентов, силы, первые взявшие за оружие и давшие битву войскам, состояли из *городских рабочих*. Часть более бедного сельского населения, батраки и мелкие крестьяне, обычно присоединялись к ним после начала столкновения. Большинство молодежи всех классов, стоящих ниже капиталистического класса, находилось, временно по крайней мере, в рядах инсургентов, но эта довольно беспорядочная масса молодежи скоро поредела, как только дела приняли несколько серьезный оборот. В частности, студенты, эти «представители интеллекта», как они любят себя величать, первые покидали знамена, если их не удерживала приманка офицерского звания, для которого они, конечно, очень редко имели надлежащую квалификацию.

Рабочий класс принял участие в этом восстании, как принял бы участие во всяком другом восстании, которое либо сулило бы устранение некоторых препятствий на его пути к политическому господству и социальной революции, либо, по крайней мере, могло бы толкнуть более влиятельные, но менее храбрые классы на более решительный и более революционный образ действий. Рабочий класс взялся за оружие с полным сознанием того, что по своим непосредственным целям эта борьба не имела в виду его интересов. Но он следовал единственно правильной для него тактике: не позволять ни одному классу, поднявшемуся на его плечах (как буржуазия в 1848 г.), упрочить свое классовое господство без предоставления рабочим, по крайней мере, возможности бороться за их собственные интересы, и во всяком случае доводить дело до кризиса, который либо безвозвратно толкнул

бы страну на революционный путь, либо, по возможности, восстановил бы дореволюционное положение, чтобы сделать неизбежной новую революцию. В обоих случаях рабочий класс представлял бы действительные и хорошо понятые интересы всей нации, ускоряя, насколько возможно, ход революции, через которую неизбежно должны будут пройти теперь старые общества цивилизованной Европы, прежде чем какое-либо из них будет в состоянии снова думать о более спокойном и регулярном развитии своих сил.

Что касается присоединившихся к восстанию крестьян, то они бросились в объятия революционной партии частью из-за сравнительно слишком тяжкого бремени налогов, частью из-за тяготевших на них феодальных повинностей.

Не имея собственной инициативы, они тащились за другими классами, вовлеченными в восстание, колеблясь между рабочими, с одной стороны, и мелкой буржуазией — с другой. Собственное социальное положение каждого крестьянина в отдельности определяло почти во всех случаях, на какую сторону они склонялись. Сельские рабочие вообще поддерживали городских мастеровых, мелкие крестьяне склонны были идти рука об руку с мелкой буржуазией.

Этот класс мелкой буржуазии, большое значение и влияние которой мы неоднократно отмечали уже, можно считать руководящим классом в майском восстании 1849 г. Так как на этот раз ни один из крупных германских городов не был центром движения, то мелкой буржуазии, всегда преобладающей в средних и мелких городах, удалось взять руководство движением в свои руки. Сверх того, как мы видели, в борьбе за имперскую конституцию и права германского парламента были поставлены на карту интересы именно этого класса. Большинство во временных правительствах, учрежденных во всех восставших округах, составляли представители именно этой части населения, и по тому, что ими было совершено, можно судить, на что способна германская мелкая буржуазия, — лишь на то, как мы сейчас увидим, чтобы погубить всякое вверяющееся ей движение.

Мелкая буржуазия, великая в хвастовстве, совершенно неспособна к действию и очень боится всякого риска. Под влиянием мелочного характера ее торговых дел и ее кредитных операций ее собственный характер отмечен недостатком энергии и предприимчивости. Поэтому можно было ожидать, что подобными же качествами будет отмечена и ее политическая деятельность. Соответственно с этим мелкая буржуазия поощряла восстание громкими словами, хвастаясь своими будущими подвигами. Она спешила завладеть властью, как только восстание, — в значительной мере против ее воли, — вспых-

нуло, и воспользовалась этой властью лишь для того, чтобы свести на-нет результаты восстания. Когда вооруженное столкновение привело к серьезному кризису, мелкие буржуа с ужасом увидели, в какое опасное положение они попали. Они страшились народа, который принял их хвастливые призывы к оружию всерьез, страшились власти, попавшей в их руки, и превыше всего страшились ужасных последствий для себя самих, для своего общественного положения, для своего достоинства от политики, в которую они теперь должны были рипуться. Разве от них не ждали, что они будут рисковать, как они обычно выражались, «жизнью и состоянием» для дела восстания? Разве они не были вынуждены занимать официальные посты в восстании, так что в случае поражения им грозила потеря их капиталов? А разве они не были уверены, что в случае победы их тотчас же отстранят от власти и им придется присутствовать при том, как вся их политика будет разрушаться победоносными пролетариями, составлявшими главное ядро их боевых сил? Среди опасностей, грозивших ей со всех сторон, мелкая буржуазия умела пользоваться своей властью, чтобы только дать событиям идти своим ходом, вследствие чего терялись и те малые шансы на успех, какие еще могли оставаться, и тем самым погубить восстание. Ее политика, — или, скорее, отсутствие политики, — всюду была одинакова, и поэтому восстания в мае 1849 г. во всех частях Германии шли по одному шаблону.

В Дрездене битва длилась четыре дня на улицах города. Дрезденские мелкие буржуа, «бюргерская гвардия», не только не дрались, но часто помогали войскам против инсургентов. Последние состояли почти сплошь из рабочих окрестных промышленных округов. Они нашли способного и хладнокровного командира — русского эмигранта Михаила Бакунина, который впоследствии был взят в плен и ныне заключен в Мункачских казематах, в Венгрии. Вмешательство многочисленных прусских войск сокрушило это восстание.

В Рейнской Пруссии дело доходило лишь до небольших боев. Все крупные города там являются крепостями с господствующими над городом цитаделями, так что инсургенты могли только затевать стычки. Как только было стянуто достаточно войск, вооруженному сопротивлению был положен конец.

Напротив, с Пфальцем и Баденом в руки инсургентов достались богатая плодородная провинция и целое государство.

Деньги, оружие, солдаты, военные запасы — все было под руками. Солдаты регулярной армии сами примкнули к инсургентам; в Бадене они были даже в первых рядах. Инсургенты в Саксонии и Рейнской Пруссии принесли себя в жертву, чтобы дать время организовать

южно-германскому движению. Никогда местное областное восстание не находилось в более благоприятном положении. В Париже ожидалась революция; венгерцы были под воротами Вены; во всех среднегерманских государствах не только народ, но даже войска сильно сочувствовали восстанию и ждали только удобной минуты, чтобы открыто присоединиться к нему. И, однако, движение, попав под начало мелкой буржуазии, было сразу погублено ею. Мелкобуржуазные правители, в частности в Бадене с Brentано во главе, никогда не забывали, что, узурпируя место и прерогативы «законного» государя великого герцога, они совершают государственную измену. Они сидели в министерских креслах с сознанием своей преступности в сердцах. Чего можно было ожидать от этих трусов? Они не только предотвратили восстание его собственному децентрализованному и потому безуспешному стихийному течению, но даже сделали все, что было в их власти, чтоб лишить движение размаха, обессилить, уничтожить его. И они достигли этого ревностной поддержкой глубокомысленных политиков, «демократических» героев мелкой буржуазии, думавших, что «спасают отечество», позволяя водить себя за нос несколькими людям более крепкого закала, вроде Brentано.

Что касается военной стороны дела, то никогда военные операции не велись небрежнее и бессмысленнее, чем под командой баденского главнокомандующего Зигеля, бывшего поручика регулярной армии. Во всем царил хаос, каждый удобный случай упускался, драгоценные минуты тратились на измышление колоссальных, но неосуществимых проектов, и когда, наконец, талантливый поляк Мерославский принял командование, армия была уже дезорганизована, разбита, в унынии, плохо вооружена, имея перед собою четверо сильнейшего неприятеля, и Мерославский мог только выдержать славную, но неуспешную битву при Вагхейзеле, умно выполнив отступление, дать последнюю безнадежную битву под стенами Рап-татта и сложить командование. Как во всякой инсurreкционной войне, где армии состоят попеременно из хорошо обученных солдат и новобранцев, много героизма и много несолдатской, часто необъяснимой паники было проявлено революционной армией. Но, при всем своем несовершенстве, она имела, по крайней мере, то утешение, что четверо большая сила считалась недостаточной для ее поражения и что стотысячное регулярное войско в борьбе против двадцати тысяч инсургентов относилось к ним с таким уважением, как если бы на их месте была старая наполеоновская гвардия.

В мае восстание вспыхнуло. К середине июля оно было совершенно подавлено, — и первая германская революция кончилась.

ХІХ. [КОНЕЦ ВОССТАНИЯ.]

Лондон, 24 сентября 1852 г.

Между тем как юг и запад Германии были в открытом восстании и правительства — от начала враждебных действий в Дрездене до рапштаттской капитуляции — употребили несколько более десяти недель на подавление этого последнего взрыва первой германской революции, — Национальное собрание сошло с политической сцены без того, чтобы кто-либо заметил его исчезновение.

Мы оставили это досточтимое учреждение во Франкфурте в замешательстве от дерзких нападков правительств на его достоинство, от бессилия и изменнической нерадивости созданной им самой центральной власти, от восстания мелкой буржуазии на его защиту и восстания рабочего класса — с более революционными конечными целями. Крайнее уныние и отчаяние овладели его членами; события сразу приняли такой определенный и решительный оборот, что в несколько дней иллюзии этих ученых законодателей насчет их действительной власти и влияния совершенно рушились. Консерваторы, по данному правительствами знаку, уже вышли из учреждения, которое могло дольше существовать лишь вопреки воле существующих властей. Либералы, объятые крайним смятением, также отказались от своих полномочий. Господа депутаты дезертировали сотнями. С восьмисот — девятисот число их столь быстро упало, что уже сто пятьдесят, а спустя несколько дней даже только сто депутатов составляли достаточный кворум. И даже их трудно было собирать, хотя осталась вся демократическая партия.

Было достаточно ясно, какой образ действий должны были усвоить оставшиеся члены парламента. Им нужно было только открыто и решительно стать на сторону восстания, дать ему таким образом ту некоторую силу, какую могла ему придать законность, и получить в то же время вооруженную силу для собственной защиты. Им нужно было предложить центральной власти немедленно приостановить враждебные действия, и если бы, как можно было предвидеть, последняя не пожелала или не в состоянии была это выполнить, —

низложить ее и поставить на ее место более энергичное правительство. Если бы войска инсургентов нельзя было вызвать во Франкфурт (что было очень легко сделать вначале, когда правительства еще не приготовились и колебались), собранию нужно было тотчас же перебраться в самый центр восстания. Будь все это сделано сразу и без колебаний, не позже середины или конца мая, как собрание, так и инсургенты еще имели бы шансы на успех.

Но такого решительного образа действий нельзя было ожидать от представителей германского мещанства. Эти мечтательные государственные мужи не совсем еще освободились от своих иллюзий. Те члены парламента, которые потеряли фатальную веру в его силу и неприкосновенность, уже успели бежать. Оставшимся демократам нелегко было отказаться от грез о власти и величии, которыми они тешили себя в течение двенадцати месяцев. Верные своему прежнему поведению, они отступили перед решительными мерами, пока не осталось вовсе шансов на успех и даже шансов пасть с честью. Чтобы проявить призрачную, напыщенную деловитость, явное бессилие которой, при их обширных претензиях, могло возбуждать лишь жалость и насмешки, они продолжали направлять резолюции, адреса и требования блюстителю империи, даже не обращавшему на них никакого внимания, и министрам, которые были в открытом союзе с врагами. И когда, наконец, Вильгельм Вольф, депутат от Штригау, один из редакторов «Новой рейнской газеты», единственный революционер во всем собрании, сказал им, что если они действительно думают то, что они говорят, то лучше бросить болтовню и немедленно объявить блюстителя империи, главного изменника отечеству, низложенным, — все долго сдерживаемое добродетельное негодование этих парламентских джентльменов вырвалось наружу с энергией, какой они никогда не проявляли, когда правительство наносило им одно оскорбление за другим.

Конечно, предложение Вольфа было первым разумным словом, сказанным в стенах церкви св. Павла, — потому что он требовал именно то, что нужно было делать, и его искренняя речь, так прямо ставившая вопрос, не могла не оскорбить сборище сантиментальных людей, которые были решительны только в своей нерешительности и которые, будучи слишком трусливы, чтобы действовать, раз навсегда вбили себе в голову, что, ничего не делая, они делают именно то, что нужно делать. Каждое слово, освещавшее подобно молнии их безрассудные, но умышленно туманные намерения, каждый намек на какой-нибудь выход из лабиринта, в котором они упорно хотели возможно дольше оставаться, всякое ясное понимание действитель-

ного положения дел были, разумеется, преступлением против величия этого суверенного собрания.

Вскоре после того как позицию господ депутатов во Франкфурте стало невозможно дольше удерживать, несмотря на резолюции, протесты, запросы, заявления, они перебрались, но не в восставшие области, — это было бы слишком решительным шагом, — а в Штуттгарт, где вюртембергское правительство придерживалось как бы выжидательного нейтралитета. Там, наконец, они объявили блюстителя империи преступившим свои права и избрали из собственной среды регентство из пяти человек. Это регентство тотчас издало приказ о созыве ополчения, который действительно разослан был в надлежащей форме всем правительствам Германии. Им-то, врагам собрания, приказано было собирать силы на его защиту!

Затем создали, — конечно, на бумаге, — армию для защиты Национального собрания. Дивизии, бригады, полки, батареи, — все было расписано и сформировано. Не было только реальности, ибо эта армия, конечно, не появилась на свет.

Еще один план сам собою напрашивался собранию. Со всех концов демократическое население присылало депутации, отдавая себя в распоряжение парламента и побуждая его к решительным действиям. Зная виды вюртембергского правительства, народ умолял Национальное собрание заставить это правительство открыто и решительно стать на сторону восставших соседей. Но нет! Национальное собрание, перебравшись в Штуттгарт, отдало себя тем самым всецело в руки вюртембергского правительства. Члены собрания знали это и подавили агитацию среди народа. Этим они теряли последние остатки влияния, которое еще сохранили. Они добились позора, который заслужили: вюртембергское правительство, побуждаемое Пруссией и блюстителем империи, положило конец демократической комедии, закрыв 18 июля 1849 г. зал, где собирался парламент, и предписав членам его оставить страну.

Тогда они отправились в Баден, в лагерь инсургентов; но теперь они там уже не нужны были. Никто их не замечал. Однако регентство от имени суверенного германского народа продолжало свои усилия к спасению отечества. Оно пробовало добиться своего признания иностранными державами, выдавая паспорта каждому желающему. Оно издавало прокламации и посылало комиссаров призвать к восстанию те самые вюртембергские области, активную помощь которых оно отвергло, когда еще было время. Разумеется, их призывы теперь не встречали отклика. Перед нами сейчас подлинный доклад, посланный регентству одним из этих комиссаров, Реслером,

депутатом от Эльса; содержание его довольно характерно. Он помечен: Штуттгарт, 30 июня 1849 г. Описав приключения полудюжины комиссаров в безуспешных стараниях добыть денег, он приводит ряд извинений в том, что еще не отправился на свой пост, и затем пускается в тяжеловесные рассуждения о возможных разногласиях между Пруссией, Австрией, Баварией и Вюртембергом и их возможных последствиях. Разобрав досконально этот вопрос, он приходит, однако, к заключению, что шансов на успех нет больше никаких. Затем он предлагает организовать группы надежных людей для устройства постоянных сношений и системы наблюдения за мероприятиями вюртембергских министров и передвижением войск. Это письмо не попало по адресу, потому что, когда оно писалось, «регентство» уже целиком перешло в «заграничный отдел», т. е. в Швейцарию. И пока бедный господин Реслер ломал голову над намерениями страшного министерства шестистепенного королевства, сто тысяч прусских, баварских и гессенских солдат уже решились все дело в последней битве под стенами Раштатта.

Так исчез германский парламент, а с ним — первое и последнее создание революции. Его созыв был первым свидетельством, что действительно в январе *была* революция, и его существование продолжалось до тех пор, пока она, эта первая германская революция, не пришла к концу. Выбранный, под влиянием капиталистического класса, разьединенным, разбросанным сельским населением, в большей части своей едва очнувшимся от феодального оцепенения, парламент этот привел к тому, что собраны были вместе на политической арене все популярные имена 1820 — 1848 гг. и — погублены. Там собрались все знаменитости буржуазного либерализма. Буржуазия ждала чудес, — она добилась позора для себя и своих представителей. Промышленный и торговый класс капиталистов испытал в Германии более жестокое поражение, чем в какой-либо иной стране. Сперва он был побежден, сокрушен, отстранен от власти в каждом отдельном государстве Германии, а затем разбит на-голову, опозорен и осмеян в центральном германском парламенте. Политический либерализм, господство буржуазии, при монархической ли, или же республиканской форме правления, стал навсегда невозможен в Германии.

В последний период своего существования германский парламент привел к тому, что навсегда опозорена была та группа, которая с марта 1848 г. руководила официальной оппозицией, т. е. демократы, представлявшие интересы мелкой буржуазии и отчасти мелких сельских хозяев. Этому классу в мае и июне 1849 г. представлялась возможность показать свою способность образовать прочное правитель-

ство в Германии. Мы видели, как он потерпел неудачу, не столько под давлением неблагоприятных обстоятельств, сколько по своей постоянной трусости при всех критических событиях с самого начала революции, обнаружив в своей политике ту же близорукость, робость, нерешительность, которыми отмечены его коммерческие операции. В мае 1849 г. он потерял, благодаря такому поведению, доверие действительной боевой силы всех европейских восстаний — рабочего класса. Но все же у него оставались шансы. Германский парламент после ухода реакционеров и либералов принадлежал исключительно ему. Сельское население было на его стороне. Две трети армии более мелких государств, одна треть прусской армии, большинство прусского ландвера (резервной армии или милиции) готовы были присоединиться к нему, если бы он только действовал решительно и с той отвагой, которая дается ясным пониманием положения. Но руководившие этим классом политики были не более прозорливы, чем следовавшая за ними мелкобуржуазная рать. Они оказались даже более закоснелыми, более привязанными к умышленно поддерживавшимся иллюзиям, более легковверными, более неспособными смело смотреть действительности в глаза, чем либералы. Их политическое значение опустилось ниже точки замерзания. Но так как они не осуществили своих заезженных принципов, то они были, при очень благоприятных обстоятельствах, способны ожить на минуту, если бы у них не была отнята эта последняя надежда, как она отнята была у их французских товарищей, «чистых демократов», государственным переворотом Луи-Наполеона.

Поражение южно-германского восстания и рассеяние германского парламента приводят историю первой германской революции к концу. Нам остается бросить прощальный взгляд на победоносных членов контр-революционного союза. Это мы сделаем в следующей статье.

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

СТАТЬИ ИЗ «НОВОЙ РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЫ»

(ИЮНЬ — НАЧАЛО НОЯБРЯ 1848 г.)

«ФРАНКФУРТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ФРАНКФУРТСКОЕ СОБРАНИЕ.

Кельн, 31 мая.

Вот уже две недели, как в Германии существует учредительное национальное собрание, избранное всем германским народом.

Германский народ завоевал свой суверенитет на улицах почти всех больших и малых городов страны и особенно на баррикадах Вены и Берлина. Этот свой суверенитет он осуществил на выборах в Национальное собрание.

Первым актом Национального собрания должно было быть громкое и публичное провозглашение суверенитета германского народа.

Вторым его актом должна была быть выработка германской конституции на основе народного суверенитета и устранение из фактически существовавшего в Германии порядка всего, что противоречило принципу народного суверенитета.

В продолжение всей сессии оно должно было принимать необходимые меры для подавления всех происков реакции, для укрепления революционной почвы, на которой оно стоит, для ограждения от всех покушений основного завоевания революции — народного суверенитета.

И вот германское Национальное собрание имело уже с дюжину заседаний, но из всего этого ровно ничего не сделало. Зато оно обеспечило благополучие Германии следующими великими деяниями.

Национальное собрание признало, что ему необходимо иметь регламент, так как оно знало, что там, где соберутся два или три немца, им необходимо нужен регламент, в противном случае в ход будут пущены стулья. Какой-то школьный учитель предусмотрел уже этот случай и набросал вчерне для высокого собрания особый регламент. Вносится предложение временно принять это школьное упражнение; большинство депутатов незнакомо с ним, но собрание без всякого обсуждения принимает его, ибо что случилось бы с представителями Германии без регламента? *Fiat reglamentum partout et toujours!* (Да будет регламент везде и всегда!)

Господин Раво из Кельна вносит совершенно бесхитрое

предложение по поводу отдельных конфликтов между Франкфуртским и Берлинским собраниями. Но собрание обсуждает окончательный регламент, и хотя предложение Раво неотложно, но еще более спешным является регламент. *Pereat mundus, fiat reglamentum!* (Пусть погибнет весь мир, да живет регламент!) Но мудрость выборных мещан не может при этом отказаться от некоторого рассмотрения предложения Раво, и мало-по-малу, покуда еще обсуждается вопрос о том, поставить ли раньше на повестку регламент или же предложение Раво, к последнему поспевают уже до двух дюжин поправок. Обмениваются мнениями по этому поводу, рассуждают, увязают в дебатах, шумят, проводят зря время и откладывают голосование с 18 на 22 мая. 22 мая возобновляется обсуждение вопроса; градом сыплются новые поправки, изменения, и после длинных речей и многократной бестолочи выносится постановление вернуть обратно в отделы поставленный уже в порядок дня вопрос. Таким образом, время прелюбопытно проходит, и депутаты идут обедать. 23 мая сначала спорят по поводу протокола; затем принимают снова бесчисленные предложения и намереваются уже перейти к порядку дня, а именно к излюбленному регламенту, когда Циц из Майнца поднимает вопрос о грубых насилиях прусской солдатчины и о деспотических выходках прусского коменданта в Майнце. Налицо была бесспорная, удавшаяся вылазка реакции, — случай, специально подходивший под компетенцию собрания. Следовало призвать к ответу заносчивого солдата, который осмелился на глазах Национального собрания угрожать Майнцу бомбардировкой; нужно было оградить безоружных майнцских граждан в их собственных жилищах от насилий навязанной им и натравленной на них солдатчины. Но г. Бассерман, этот баденский водолей,¹ объявил все это пустяками; надо предоставить Майнц своей участи, впереди всего интересы целого — здесь заседает Национальное собрание и обсуждает регламент в интересах всей Германии; в самом деле, что такое по сравнению с этим бомбардировка Майнца? *Pereat Maguntia, fiat reglamentum!* (Пусть погибнет Майнц, да здравствует регламент!) Но собрание проявляет свое мягкосердечие, избирает комиссию, которая должна отправиться в Майнц и на месте расследовать дело, а тут как раз снова приспело время закрыть заседание и отправиться обедать.

24 мая мы теряем нить парламентских занятий. Регламент, по видимому, закончен или затерялся где-то; во всяком случае, мы

¹ [Здесь игра на созвучии: Вассерман — Вассерман (водолей).]

больше ничего о нем не слышим. Но зато на нас обрушивается настоящий град благонамеренных предложений, в которых многочисленные представители суверенного народа проявляют упорство своего ограниченного всеподданнейшего разума. Затем пошли предложения, петиции, протесты и т. п., и, наконец, национальный поток помоев нашел себе выход в бесчисленных и пространнейших речах на всевозможные темы. Все-таки нельзя обойти молчанием, что при этом были избраны четыре комиссии.

Наконец, г. Шлеффель попросил слова. Трое германских граждан, гг. Эсселен, Пельц и Левенштейн, получили приказ в тот же день до четырех часов пополудни оставить Франкфурт. Премудрая и попечительная полиция утверждала, что названные лица своими речами в рабочем союзе навлекли на себя неудовольствие всех граждан и потому подлежат высылке! И это позволяет себе полиция после того, как германское право гражданства было прокламировано предпарламентом, после того, как оно было признано в самом проекте конституции, выработанном семнадцатью «доверенными лицами» — «hommes de confiance de la diète».

Дело не терпит отлагательства. Г-н Шлеффель просит слова по этому вопросу; ему отказывают; он требует слова по вопросу о спешности, на что он по регламенту имеет право, и на этот раз раздалось в ответ: *Fiat politia, pereat reglamentum!* (Да здравствует полиция, пусть погибнет регламент!) И понятно почему, — наступил час отправляться по домам обедать.

25 мая снова, как спелые колосья под проливным дождем, склонились многомудрые головы депутатов под градом хлынувших массой предложений. Еще раз два депутата попытались поднять вопрос о высылке, но и им было отказано в слове, даже по вопросу о спешности. Некоторые выступления, в частности одно со стороны поляков, представляли гораздо больше интереса, чем все вместе взятые предложения депутатов. Тут получила, наконец, слово отправленная в Майнц комиссия. Она сообщила, что лишь на другой день сможет представить отчет; впрочем, она, как полагается, явилась слишком поздно; восемь тысяч прусских штыков восстановили порядок путем разоружения тысячи двухсот гражданских ополченцев, и пока что можно перейти к порядку дня. Так и поступили, — тотчас же перешли к порядку дня, а именно к предложению Раво. Так как это предложение во Франкфурте все еще не было закончено обсуждением, а в Берлине давно уже стало бесцельным вследствие рескрипта Ауэрсвальда, то Национальное собрание решило отложить вопрос до завтрашнего дня и пойти обедать.

26 мая снова поступили мириады предложений, а тут еще майнцская комиссия представила свой окончательный и весьма нерешительный отчет. Докладчиком выступил экс-демократ и *pro tempore* министр г. Гергенган. Он предложил крайне умеренную резолюцию, но Национальное собрание после продолжительных прений нашло даже это смиренное предложение слишком сильным; оно постановило отдать майнцских граждан на милость пруссаков, находившихся под командой некоего Гюзера и, «в ожидании, что правительства выполнят свою обязанность», перешло к порядку дня. Этот порядок дня опять-таки состоял в том, что господа депутаты отправились обедать.

27 мая, после долгих предварительных словопрений по поводу протокола, перешли, наконец, к обсуждению предложения г. Раво. Проговорили до половины третьего и отправились... обедать; но на этот раз было устроено вечернее заседание, и наконец-то довели дело до конца. Так как вследствие чрезмерной медлительности Национального собрания г. Ауэрсвальд сделал лишним предложение г. Раво, то последний присоединился к поправке г. Вернера, которая не разрешала вопроса о народном суверенитете ни в утвердительном, ни в отрицательном смысле.

Мы не располагаем дальнейшими сведениями о Национальном собрании, но мы имеем все основания полагать, что после этого решения оно закрыло заседание и отправилось обедать. Если собрание так рано отправилось обедать, то этим оно обязано замечанию Роберта Блюма: «Господа, если вы сегодня заканчиваете порядок дня, то, пожалуй, весь порядок этого собрания мог бы быть сокращен особым образом!»

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ.

Кельн, 1 июня.

Обычные требования, предъявляемые ко всякому новому органу общественного мнения, это — восторженное отношение к партии, принципы которой он исповедует, безусловная уверенность в ее мощи, постоянная готовность защищать принципы ссылкой на фактическую силу или прикрашивать фактическую слабость блеском принципов. Этим требованиям мы удовлетворять не будем. Мы не будем стараться прикрашивать перенесенные поражения обманчивыми иллюзиями.

Демократическая партия испытала поражения. Принципы, которые она провозгласила в момент своей победы, поставлены под сомнение; почва, которую она действительно завоевала, шаг за шагом отвоевывается у нее, она уже многое утратила, и скоро встанет вопрос о том, что еще осталось у нее.

Нам представляется важным, чтобы демократическая партия осознала свое положение. Спросят, почему нас занимает положение партии, почему мы вместо этого не думаем о задачах демократического движения, о народном благополучии, о счастье всех без различия!

Таково право борьбы, так она обычно протекает, и благополучие нового времени может быть результатом только *борьбы* партий, а не многоумных компромиссов и лицемерного сотрудничества при различии взглядов, интересов и целей.

Мы требуем от демократической партии, чтобы она осознала свое положение. Требование это порождено опытом последних месяцев. Демократическая партия слишком поддавалась опьянению первых побед. Опьяневшая от радости по поводу того, что, наконец, она может громогласно и не стесняясь высказывать свои принципы, она вообразила, что достаточно ей провозгласить что-нибудь, чтобы быть уверенной в немедленном осуществлении этого. Она и не пошла дальше такого провозглашения после своей первой победы и непосредственно последовавших за нею уступок. Но в то время как

она щедро распространяла свои воззрения и зачисляла в ряды своих братьев всякого, кто не сразу решался обнаружить свои разногласия с нею, — те, кому была оставлена или вручена власть, действовали. И деятельность их не была ничтожна. Не особенно подчеркивая свои принципы, которые они выдвигали лишь постольку, поскольку они направлены были против старого, низвергнутого революцией порядка, они заботливо сдерживали движение в тех случаях, когда предлогом для этого могли служить интересы вновь создающегося правового строя и установление внешнего порядка. Они делали друзьям старого строя призрачные уступки, чтобы тем увереннее полагаться на них при осуществлении своих планов, а затем постепенно проводили в жизнь общие линии своей собственной политической системы. Таким путем им удалось занять среднее положение между демократической партией и сторонниками абсолютизма, с одной стороны наступая, с другой — оттесняя назад, будучи в одно и то же время прогрессивными — против абсолютизма и реакционными — против демократии.

Это партия аккуратной и умеренной буржуазии, которой народная партия в своем первоначальном опьянении дала перехитрить себя, пока у нее, наконец, не открылись глаза, когда ее презрительно оттолкнули, когда ее стали обличать в подстрекательстве и приписывать ей всевозможные вредные стремления, пока она не убедилась в том, что, в сущности, она ничего не добилась кроме того, что господа из буржуазии считали совместимым с их правильно понятыми интересами. Поставленная недемократическим избирательным законом в противоречие сама с собою, потерпев поражение на выборах, она имеет теперь против себя двойное представительство, причем трудно сказать, какое из них решительнее противодействует ее требованиям. Благодаря этому рассеялся, конечно, как дым, ее энтузиазм, и вместо него наступило трезвое сознание того, что утвердилось господство могущественной реакции, и притом, странным образом, еще до того, как произошли какие-либо революционные выступления.

Как ни очевидно все это, все же было бы опасно, если бы демократическая партия, под впечатлением первых, отчасти вызванных ею самых поражений, поддавалась чувству разочарования и вернулась к тому злосчастному, к сожалению, столь привычному для немецкого характера идеализму, под влиянием которого принципы, не могущие немедленно быть осуществленными в жизни, откладываются на отдаленное будущее, а пока что отдаются на невинную обработку «мыслителям».

Мы должны открыто предостеречь от тех лицемерных друзей, которые, правда, заявляют, что согласны с принципами, но сомневаются в их осуществимости, потому что мир еще не созрел для них, которые даже не намерены способствовать его созреванию, а, наоборот, предпочитают на этой дурной земле разделять общую участь всего дурного. Если это—скрытые республиканцы, которых так сильно боится придворный советник Гервинус, то мы от всего сердца присоединяемся к нему, — эти люди опасны.

ПРОГРАММА РАДИКАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ФРАНКФУРТСКОЙ ЛЕВОЙ.

Кельн, 6 июня.

Мы сообщили вчера нашим читателям «мотивированный манифест радикально-демократической партии во франкфуртском Национальном учредительном собрании». В рубрике известий из Франкфурта-на-Майне читатели найдут сегодня манифест левых. На первый взгляд оба манифеста различаются между собой разве только формально, поскольку у радикально-демократической партии неповоротливый, а у левых ловкий редактор. Между тем при ближайшем рассмотрении обнаруживаются некоторые существенные пункты различия. Радикальный манифест требует производства выборов в Национальное собрание «без ценза и путем прямой подачи голосов», манифест левых — путем «свободной всеобщей подачи голосов». Свободное всеобщее голосование исключает ценз, но отнюдь не исключает не прямых способов избрания. И к чему вообще это неопределенное двусмысленное выражение?

И еще раз мы встречаемся с этой большой широтой и растяжимостью требований левых в противоположность требованиям радикальной партии. Левая требует «исполнительной центральной власти, на определенный срок избираемой Национальным собранием и перед ним ответственной». Но она оставляет не разрешенным вопрос, должна ли эта центральная власть избираться из среды Национального собрания, как того определено требует радикальный манифест.

Манифест левых требует, наконец, немедленного установления, провозглашения и обеспечения основных прав германского народа против всех возможных покушений со стороны отдельных правительств. Радикальный же манифест не довольствуется этим. Он заявляет: «Национальное собрание должно объединить в себе теперь же все государственные власти всей страны и сейчас же претворить в действительность все те различные виды власти и формы политической жизни, которые оно призвано установить, а также направлять внутреннюю и внешнюю политику всего государства».

Оба манифеста согласны в том, что они одинаково стремятся предоставить «выработку конституции Германии исключительно Национальному собранию» и совершенно исключают участие правительств в этой выработке. Оба согласны в том, что они, «при условии ненарушимости провозглашенных Национальным собранием народных прав», предоставляют отдельным государствам выбор конституции, будь то конституционная монархия или республика. Наконец, оба манифеста согласны в том, что Германия должна быть превращена в союзное или федеративное государство.

Радикальный манифест выражает, по крайней мере, революционную природу Национального собрания. Он требует соответственной революционной деятельности. Самое существование Национального учредительного собрания не служит ли доказательством того, что не существует больше никакой конституции? Но раз нет больше никакой конституции, то нет больше никакого правительства. А раз нет никакого правительства, — собрание должно само управлять. Первым признаком его жизни должен был быть декрет из четырех слов: «Союзный совет распускается навсегда».

Национальное учредительное собрание прежде всего должно быть активным, революционно-активным собранием, — Франкфуртское же собрание занимается парламентскими школьными упражнениями и предоставляет действовать правительствам. Допустим, что этому ученому совету удалось после самого зрелого размышления измыслить самый совершенный порядок дня и самую совершенную конституцию, — что пользы в превосходнейшем порядке дня и в превосходнейшей конституции, когда тем временем правительства поставили в порядок дня штыки?

Германское Национальное собрание, независимо от того, что оно вышло из не-прямых выборов, страдает особенной германской болезнью. Оно заседает во Франкфурте-на-Майне, а Франкфурт-на-Майне есть только идеальный центр, отвечавший прежнему идеальному, т. е. воображаемому только, единству Германии. Франкфурт-на-Майне не является также крупным городом с большим революционным населением, которое стояло бы за Национальным собранием, частью защищая, частью толкая его вперед. В первый раз в мировой истории Национальное учредительное собрание великой нации заседает в маленьком городе. Это — наследие прежнего германского развития. В то время как французское и английское национальные собрания стояли на огнедышащей почве Парижа и Лондона, германское Национальное собрание должно было почитать себя счастливым, когда нашло нейтральную почву, где оно

могло с полным спокойствием и невозмутимостью духа размышлять о наилучшем порядке дня и о наилучшей конституции. И все же состояние Германии в ту минуту давало ему возможность преодолеть крайне неблагоприятную внешнюю ситуацию. Ему следовало только повсеместно диктаторски выступить против реакционных посягательств уцелевших правительств, и оно завоевало бы себе такую силу в народном сознании, о которую разлетелись бы все штыки и приклады. Вместо этого оно на своих собственных глазах отдало Майнц на произвол военщины, а немцев из других частей Германии — в жертву злостным придиркам франкфуртских мещан. Оно наскучило немецкому народу, вместо того, чтобы увлечь его за собою или быть увлеченным народным движением. Для него, правда, существует публика, которая порой еще взирает с благодушным юмором на потешные движения вновь воскресшего призрака святого римско-германского рейхстага, но для Национального собрания не существует народа, который нашел бы в его жизни отзвук собственной жизни. Национальное собрание не только не было центральным органом революционного движения, — оно до сих пор не было даже его эхом.

Если Национальное собрание и создаст из своих недр центральную власть, то при настоящем его составе и после того, как оно упустило благоприятный момент, от такого временного правительства можно было бы ожидать мало утешительного. Если оно не образует никакой центральной власти, оно тем самым подпишет свою собственную отставку и при малейшем революционном дуновении будет колебаться во все стороны.

Программа левой, как и радикальной стороны имеет ту заслугу, что она сознала эту необходимость. Обе программы заявляют вместе с Гейне:

Ведь если обдумать вопрос хорошо,—
Государя нам вовсе не нужно.

Трудность вопроса: «кто должен быть государем», наличие одинаково веских оснований как в пользу наследственного, так и в пользу избираемого государя принудят и консервативное большинство Национального собрания разрубить гордые узел отказом вообще избирать государя. Непонятно, как эта так называемая радикально-демократическая партия могла провозгласить в качестве окончательной конституции Германии федерацию конституционных монархий, княжеств и республик, — составленное из столь различных элементов союзное государство с республиканским прави-

тельством во главе, — ибо ведь принятое левыми центральное выборное правительство ничего большего из себя и не представляет.

Никаких сомнений: в ближайшее время избранное Национальным собранием центральное правительство Германии должно возникнуть рядом с фактически существующими правительствами. Но одновременно с его возникновением начинается уже борьба с отдельными правительствами, и в этой борьбе либо общее правительство погибнет вместе с единством Германии, либо исчезнут отдельные правительства вместе с их конституционными князьями и карликовыми республиками.

Мы не выставляем утопического требования, чтобы была а priori провозглашена единая неделимая германская республика, но мы требуем от так называемой радикально-демократической партии, чтобы она не смешала исходного пункта борьбы и революционного движения с их конечной целью. Германское единство и германская конституция могут явиться лишь как результат движения, в котором к радикальному решению будут толкать столько же внутренние конфликты, сколько и война с Востоком. Окончательное конституирование не может быть декретировано; оно совпадает с движением, которое нам предстоит проделать. Поэтому дело идет вовсе не об осуществлении того или иного мнения, той или иной политической идеи; дело идет о проникновении в ход развития. Национальному собранию надо делать лишь ближайшие, практически осуществимые шаги.

Нет ничего путаннее, чем странная идея редактора демократического манифеста заимствовать у северо-американского федеративного государства образец для германской конституции. И после этого он еще уверяет нас в том, что «каждый человек рад избавиться от собственной путаницы».

Соединенные Штаты Северной Америки, не говоря уже о том, что все они отличаются одинаковым политическим устройством, занимают поверхность, размерами равную всей цивилизованной Европе. Только во всеевропейской федерации могли бы Соединенные Штаты найти аналогию. Но для того, чтобы Германия могла федерироваться с другими странами, сама она должна прежде всего стать единой страной. В Германии борьба централизации с федеративным началом есть борьба между современной культурой и феодализмом. Германия впала в состояние обуржуазившегося феодализма как раз в тот момент, когда на Западе образовались великие монархии, но она была также исключена из мирового рынка в тот самый момент, когда последний открылся для Западной Европы.

Германия нищала, в то время как Западная Европа обогащалась. Она застряла в деревенском быту, в то время как Западная Европа урбанизовалась. Если бы даже Россия не стучалась в ворота Германии, национально-экономические отношения внутри нее уже сами по себе побуждали бы ее к строжайшей централизации. Даже с чисто буржуазной точки зрения безусловное единство Германии является первым условием, чтобы спасти ее от нынешней нищеты и создать национальное богатство. И как разрешить современные социальные задачи на территории, расщепленной на 36 маленьких государств?

Редактору демократической программы нет, впрочем, нужды вдаваться в подчиненные материально-экономические отношения. Он придерживается в своей мотивировке понятия федерации. Федерация есть соединение свободных и равных. Следовательно, Германия должна быть федеративным государством. Но могут ли, однако, немцы федерироваться в одно большое государство, не погрешив против понятия соединения свободных и равных?

ЗАКРЫТИЕ КЛУБОВ В ШТУТТГАРТЕ И ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ.

Кельн, 19 июня.

Такова, добрый немец, оказалась опять твоя судьба! Ты думаешь, что ты сделал революцию? Заблуждение! Ты думаешь, что ты покончил с полицейским государством? Заблуждение! Ты думаешь, что теперь тебе уже обеспечены право свободного объединения, свобода печати, вооружение народа и прочие высокие слова, которые летели к тебе через мартовские баррикады? Заблуждение; чистейшее заблуждение!

Когда прошел приятный хмель,
Очнулся ты в недоуменьи.

В недоуменьи перед твоими косвенно избранными так называемыми национальными собраниями, перед возобновившимися высылками немецких граждан из немецких городов, перед тиранией сабли в Майнце, Трире, Аахене, Маннгейме, Ульме, Праге, перед арестами и политическими процессами в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Бреславле и т. д.

Но одно оставалось у тебя, добрый немец, — твои клубы! Ты мог ходить в клубы и открыто жаловаться там на политическое мошенничество последних месяцев; ты мог изливать свое тоскующее сердце перед единомышленниками и находить утешение в словах единомышленных, изнывающих под тем же гнетом патриотов!

Но теперь и этому пришел конец. Клубы несовместимы с существованием «порядка». Для «восстановления доверия» действительно необходимо положить конец зажигательной деятельности клубов.

Вчера мы рассказали о том, как *вюртембергское* правительство прямо *запретило* с помощью королевского указа окружной клуб в Штуттгарте. Теперь уж не дают себе даже труда привлекать клубных руководителей к суду, а просто возвращаются к старым полицейским мерам. Более того: гг. Гарпрехт, Дювернуа и Мауклер, подписавшие названный указ, идут еще дальше: они грозят административными карами за нарушение указа, — карами, доходящими

до одного года тюремного заключения; они издают уголовные законы, и к тому же исключительные уголовные законы, помимо палат, просто «в силу § 89 конституции»!

Не лучше обстоят дела в *Бадене*. Мы можем сообщить сегодня о запрещении демократического студенческого общества в Гейдельберге. Здесь право ассоциаций не оспаривается в общем так открыто, здесь его оспаривают только у *студентов*, ссылаясь на старый, давно отмененный исключительный закон Союзного сейма; студентам грозят наказаниями, которые предусматриваются потерявшими силу законами.

Надо теперь ждать, что в ближайшем будущем будут закрыты клубы и у нас.

Но чтобы дать правительствам возможность совершенно спокойно принимать подобные меры, не вызывая негодования общественного мнения, для этого у нас есть Национальное собрание во Франкфурте. Это собрание пройдет, конечно, мимо подобных полицейских репрессий с такой же легкостью, с какой оно прошло мимо майнской революции.

И поэтому не в надежде добиться чего-нибудь у Франкфуртского собрания, а лишь для того, чтобы еще раз принудить его большинство объявить перед всей Германией о своем союзе с реакцией, мы призываем депутатов крайней левой во Франкфурте внести предложение о привлечении к судебной ответственности виновников названных мероприятий, а именно: гг. Гарпрехта, Дювернуа, Мауклера и Мати, за нарушение основных прав немецкого народа.

ФРАНКФУРТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.

(РУГЕ.)

Кельн, 12 июня.

Второй оттенок далек от уныния «благонамеренных» и вместе с тем старается избегать резких провокаций крайней левой. Франц Раво, обладающий умением представлять своими предложениями левую и своими добровольными поправками помогать центру «приходить к соглашению», может быть причислен к этой фракции. Ее самым искусным и пользующимся наибольшим успехом оратором является Роберт Блюм, которого следует считать вождем всей левой. Его речь импонирует холодным спокойствием, спокойствием, не покидающим его и в те моменты, когда он с величайшей силой выражения бросает в правых свои уничтожающие обвинения. Когда при обсуждении майнцских событий левые поддерживали предложение об отозвании прусского гарнизона, описывая вызывающее поведение прусских солдат, а правые возражали против него, обрушиваясь с обвинениями против майнцских граждан, Блюм выступил в защиту предложения левых, коротко заметив, что дело идет совсем не о праве или неправомерности, а о необходимости пока что развести обе враждующие стороны. Он выражается резко и сильно, но всегда знает, как далеко можно зайти, и сохраняет свое холодное спокойствие, как бы ни прерывали его. Недавно председатель прервал его замечанием, что одно из его утверждений преувеличено; Блюм обернулся и сказал: «Г-н председатель, на этот счет мы с вами расходимся в мнениях».

На крайней левой мы находим пеструю смесь самых различных элементов. Кто мог бы ожидать, что к этим «крайним» принадлежит также Арнольд Руге, холодный белокурый мыслитель? Правда, мы еще не видели на трибуне этого великого человека, который, по меткому выражению Гейне, перевел Гегеля на померанский язык, но нам предстоит еще дожидаться от него великих дел, чего-то еще небывалого.

В своем избирательном манифесте к бреславльцам мыслящий созерцатель мира выразил задачу нашего века вообще и депутатскую

задачу Руге — в особенности в глубоко продуманном лозунге: «Займемся редактированием разума событий!» И действительно, мы уже дважды видели, как в момент превращения прений в бурную схватку партий редактор «разума событий» с многообещающей живостью устремлялся на трибуну, хотя оба раза медленно и задумчиво отходил затем от ведущих на нее ступеней. Пусть же успокоится нетерпеливо ожидающий народ! Его избавление, перевод «разума событий», стоит уже у ступеней трибуны в франкфуртской церкви св. Павла! И если, пожалуй, редактор «разума событий», как

Атта-Троль тенденциозный,
Хоть плохой плясун, но с строим
Лучших чувств в груди косматой,

то, во всяком случае, он, хоть и

Не талант, — зато характер.

Господин Иордан из Берлина, до сих пор принадлежавший к крайней левой, видит себя в настоящее время в угрожаемом положении. Когда г. Иордан выступил кандидатом в неизвестном бранденбургском округе, он был избран в виду его обещания выступать за конституционную монархию. Его избиратели потребовали теперь от него рассеять их «тревогу» и выполнить свое обещание. Как поступит г. Иордан? Будет ли он отныне оправдывать «доверие» своих избирателей или же сложит свои депутатские полномочия? Возможно, что он найдет выход в том, что не сделает ни того, ни другого.

«Ядро» крайней левой, — господа Циц, Капп, Титус, Рюль, Фогт, Петер (экс-заместитель Геккера), Брентано и остальные депутаты, еще ожидаемые из Бадена, — составляет оппозицию, имеющую значение. Из числа тех, кто, в случае прихода меньшинства к власти, сумел бы приступить к решительным действиям и организации, Шлеффель, пожалуй, стоит на первом месте.

В исходе бывших до сих пор голосований нельзя было не заметить влияния человека, которого большинство избрало своим председателем. «Благородный Гагерн» обязан этим «высоким отличием» только смерти своего брата, который пал в борьбе за государей против передовых борцов германской республики; избрание его могло и должно было служить для большинства лишь демонстрацией. Способ, каким до сих пор почтенный Гагерн руководил прениями, доказал, что он, по крайней мере, не является неблагонадежным. При обсуждении майнцского инцидента, когда вопрос шел о том, имеет ли

право прусский генерал в гессенском городе, являющемся по случайному совпадению также и союзной крепостью, приостанавливать действие гарантированной местным правительством свободы печати и вооружения граждан и из-за столкновений отдельных лиц, к тому же спровоцированных им самим, грозить всему народу убийствами и огнем, — «благородный Гагерн», который, в качестве гессенского министра, опасался, вероятно, быть скомпрометированным в этом вопросе, до такой степени пожертвовал своею честью «внепартийного председателя» ради министра-соучастника, что прервал депутата Цица личным оскорблением. В этом случае, как и в двух других, он, в интересах своего благонамеренного большинства, извратил постановку вопроса, дав первенство не более широкому, а более узкому предложению и этим заставив меньшинство отдать свои голоса по крайней мере более узкому предложению из опасения, что более широкое может быть провалено голосами центра. За это почтенный Гагерн заслужил благодарность благонамеренных филистеров, которые выразили ему свои чувства блеском факелов и музыкой рожков перед его домом и с восхищением восприняли его елейное поучение. Подобно старой лягушке, чувствующей погоду, он иной раз склонялся и на сторону левых, а именно в тех случаях, когда вносимое предложение не имело большого значения и когда центр, вероятно, должен был голосовать с левыми. Центр, а также и левая каждый раз награждали такой благоразумный образ действий заслуженными аплодисментами, ибо

такой образ действий

Очень радуется каждого честного человека [Mann],
Бидермана, Бассермана, Эйзенмана.

«Благородный Гагерн» является, таким образом, героем дня; узы блаженного взаимопонимания связывают его с собранием; он достоин собрания, как и собрание достойно его.

Остается надеяться, что дни франкфуртского Национального собрания закончатся тихо и безболезненно.

**УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ В БЕРЛИНЕ
И МИНИСТЕРСТВО КАМШГАУЗЕНА**

ДЕКЛАРАЦИЯ КАМПГАУЗЕНА В ЗАСЕДАНИИ 30 МАЯ.

Кельн, 2 июня.

Post et non propter, т. е. г. *Кампгаузен* сделался министром-президентом не *благодаря* мартовской революции, а *после* мартовской революции. Об этом последующем значении своего министерства г. Кампгаузен торжественно, с той, так сказать, строгой деловой сухостью, которая прикрывает отсутствие души, поведал 30 мая 1848 г. в Берлине собранию, созванному по соглашению между ним и первичными избирателями.

«Образовавшееся 29 марта государственное министерство, — говорит *мыслящий друг истории*, — составилось вскоре *после* события, значения которого оно не отрицало и не отрицает».

Заявление г. Кампгаузена, что до 29 марта им не было составлено министерство, найдет свое подтверждение в последних месячных комплектах «Прусской государственной газеты». И с уверенностью можно признать, что большое «значение», и особенно для г. Кампгаузена, имеет та дата, которая представляет, по крайней мере, хронологический исходный пункт его вознесения. Какое утешение для умерших баррикадных борцов, что их холодные трупы фигурируют в качестве вех, в качестве указателей пути к министерству 29 марта. *Quelle gloire!* (Какая слава!)

Словом, после мартовской революции образовалось министерство Кампгаузена. Это министерство Кампгаузена признает «высокое значение» мартовской революции, по крайней мере оно *не отрицает* это значение. Сама революция — мелочь, но ее *значение!* Она ведь *означает* как раз министерство Кампгаузена, по крайней мере, *post festum*.

«Это событие» — образование министерства Кампгаузена или мартовская революция? — «принадлежит к числу существеннейших содействующих причин преобразования нашего *внутреннего* государственного устройства».

Это должно означать, что мартовская революция представляет «существенную содействующую причину» образования министерства 29 марта, т. е. министерства Кампгаузена. Или он просто хотел

сказать: прусская мартовская революция революционизировала Пруссию? Во всяком случае, от «мыслящего друга истории» можно было ожидать такой торжественной тавтологии.

«Мы стоим у начала последнего (а именно — преобразования наших внутренних государственных отношений), и путь, лежащий *перед* нами, далек — это признает и правительство».

Словом, министерство Кампгаузена признает, что *перед* ним лежит еще длинный путь, т. е. оно рассчитывает на *длительное* существование. Коротко искусство, т. е. революция, и долга жизнь, т. е. следующее за нею министерство. Оно даже слишком признает само себя. Или слова Кампгаузена следует толковать иначе? Но, конечно, вряд ли можно приписывать «мыслящему другу истории» тривиальное заявление, что народы, стоящие у начала новой исторической эпохи, стоят у начала, и что путь, лежащий *перед* каждой эпохой, столь же длинен, как и *будущее*.

Такова *первая* часть нудной, серьезной, церемонной, основательной и обдуманной речи министра-президента Кампгаузена. Ее можно изложить в трех фразах. *После* мартовской революции — министерство Кампгаузена. Высокое значение министерства Кампгаузена. Длинный путь, лежащий перед министерством Кампгаузена!

Перейдем теперь ко *второй* части.

«Но мы понимали положение отнюдь не таким образом, — поучает г. Кампгаузен, — будто благодаря этому событию (мартовской революции) произошел полный переворот, будто опрокинут весь наш государственный строй, будто все существующее утратило правовую основу, будто все учреждения и отношения должны получить новое правовое основание. Наоборот. В момент своего образования министерство единодушно решило признать вопросом своего существования, чтобы созванный тогда Соединенный ландтаг собрался действительно и не взирая на поступившие против его созыва петиции, чтобы переход к новой конституции совершился на основании существующей конституции и указываемых ею для этого законных путей, не обрывая нитей, связывающих старое с новым. Этот бесспорно правильный путь не был покинут, Соединенному ландтагу был представлен избирательный закон, опубликованный по соглашению с ним. Впоследствии делались попытки побудить правительство изменить этот закон собственной властью, а именно систему косвенных выборов превратить в систему прямых выборов. Правительство не согласилось на это. Правительство не осуществляло диктатуру, оно и не могло осуществлять ее, оно *не хотело* осуществлять ее. В том именно виде, в каком избирательный закон получил законную санк-

цию, он фактически и введен в действие. На основании этого избирательного закона избраны выборщики, избраны депутаты. На основании этого избирательного закона вы находитесь здесь с полномочием договориться с короной относительно конституции, которой, надо надеяться, предстоит длительное существование».

Королевство за доктрину! *Доктрину* за королевство!

Сперва появляется «событие», — стыдливое обозначение для *революции*. А затем появляется доктрина и извращает «событие».

Незаконное «событие» делает г. Кампгаузена *ответственным* министром-президентом, существом, которое не имело совсем никакого места, никакого смысла при старой, действующей конституции. Посредством *salto mortale* мы перескочили через старое и удачно находим ответственного министра, а ответственный министр еще удачнее находит теорию. С первым проявлением жизни *ответственного министра-президента* абсолютная монархия умерла, погибла. Среди павших вместе с монархией находился в первой линии блаженной памяти «Соединенный ландтаг» — эта отвратительная смесь готической сказки и современной лжи. «Соединенный ландтаг» был «любезным и верным», был «ослом» абсолютной монархии. Подобно тому как немецкая республика может отпраздновать свое пришествие, только переступив через труп г. Венедя, так и ответственное министерство может появиться, только перешагнув через труп «любезного и верного» Соединенного ландтага. И вот ответственный министр старается вырыть забытый труп или вызывает *призрак* любезно-верного «Соединенного», который кажется действительно существующим, но маячит, злополучно болтаясь в воздухе, и выкидывает странные антраша, так как не имеет уже *почвы* под ногами, ибо старая *почва права и доверия* поглощена «событием» землетрясения. Волшебник открывает призраку, что он вызвал его для того, чтобы ликвидировать его наследие и иметь возможность выступать в качестве его лойяльного наследника. Нельзя достаточно высоко оценить эту вежливую манеру, потому что в обычной жизни умерших не заставляют после смерти писать завещания. Крайне польщенный призрак, как священный болванчик, кивает по поводу всего, что приказывает волшебник, отвечает глубокий поклон при уходе и исчезает. Закон о косвенных выборах представляет собою его посмертное завещание.

Доктринерский фокус, посредством которого г. Кампгаузен «на основании существующей конституции и указываемых ею для этого законных путей совершил переход к новой конституции», проделывается, следовательно, таким образом.

Незаконное событие делает г. Кампгаузена, с точки зрения «существующей конституции», с точки зрения «старого», *незаконной* личностью, ответственным министром-президентом, *конституционным министром*. Конституционный министр незаконно превращает *противоконституционный, сословный, любезно-верный «Соединенный»* в *учредительное* собрание. Любезно-верный «Соединенный» незаконно издает закон о косвенных выборах. Закон о косвенных выборах создает берлинскую палату, а берлинская палата создает конституцию, конституция же создает на вечные времена все последующие палаты.

Так от гуся получается яйцо, а из яйца — гусь. Но из спасающего Капитолий гоготания народ скоро узнает, что золотые яйца Леды, которые он положил во время революции, украдены. Даже депутат *Мильде*, этот ковыляющий позади Аполлон, не является, повидимому, сыном Леды.

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ.

Кельн, 3 июня.

Времена меняются, и мы вместе с ними. По поводу этой поговорки наши господа министры Кампгаузен и Ганземан могут кое-что порассказать. Тогда, когда они сидели еще как скромные депутаты на школьных партах ландтага, как должны были они угождать правительственным комиссарам и маршалам! Как держал их в ежовых рукавицах во втором классе, в рейнском провинциальном ландтаге, его светлость строгий классный наставник Зольмс-Лих. И даже когда их перевели в первый класс, в Соединенный ландтаг, им разрешалось, правда, делать некоторые упражнения в красноречии, но ведь и там заносил над ними их школьный учитель, господин Адольф фон-Рохов, высочайше врученную ему палку! Как униженно должны были они выносить дерзости какого-нибудь Бодельшвинга, как благоговейно должны были удивляться косноязычной речи какого-нибудь Бойена, какое ограниченное верноподданническое разумение вмнялось им в обязанность по отношению к грубому невежеству какого-нибудь Дюэсберга!

Теперь все переменялось. 18 марта положило конец всему политическому учительству, и ученики ландтага признали себя зрелыми. Г-н Кампгаузен и г. Ганземан сделались министрами и с упоением сознали все свое величие в качестве «необходимых людей».

Насколько они считали себя «необходимыми», сколь надменными стали они после освобождения от школы, должен был почувствовать каждый, приходивший с ними в соприкосновение.

Они начали тотчас же с того, что временно опять восстановили старую школьную комнату — Соединенный ландтаг. Здесь должен был быть проделан по всей предписанной форме великий акт перехода из бюрократической гимназии в конституционный университет, торжественная выдача прусскому народу аттестата зрелости.

В многочисленных наказах и петициях народ заявил, что он ничего не желает знать о Соединенном ландтаге. Г-н Кампгаузен (см., например, заседание Учредительного собрания от 30 мая)

ответил, что созыв ландтага есть вопрос жизни для министерства, и этим все было закончено.

Ландтаг собрался, — отчаявшееся в мире, в боге, даже в самом себе, жалкое, побитое собрание. Ему дали понять, что оно должно лишь принять новый избирательный закон, но г. Кампгаузен потребовал от него не только бумажного закона и не прямых выборов, но и двадцать пять миллионов звонкой монетой. Курии пришли в замешательство, запутались в вопросах своей компетенции, бормотали какие-то бессвязные возражения-оговорки. Но и тут ничего не поможет: так решено в совете г. Кампгаузена, и если деньги не будут отпущены, если откажут ему в «вотуме доверия», он, г. Кампгаузен, отправится в Кельн, предоставив прусскую монархию собственной участи. При мысли об том у господ из ландтага выступил на лбу холодный пот, всякое сопротивление было сломлено, и с кисло-сладким смешком было вотировано доверие. С первого взгляда видно, где и как были вотированы эти 25 миллионов, имеющие курс только в воздушном царстве мечты.

Голосуются не прямые выборы. Против этого поднимается буря адресов, петиций, депутатий. Господа министры отвечают: министерство остается или падает вместе с непрямыми выборами. После этого все стихает, и обе стороны могут ложиться спать.

Собирается согласительное собрание. Г-н Кампгаузен надумал разрешить ответный адрес на свою тронную речь. Предложение должен внести депутат Дункер. Прения развертываются. Довольно оживленно высказываются против адреса. Г-ну Ганзemannу наскучила вечная растерянная болтовня беспомощного собрания, которая становится для его парламентского такта нестерпимой, и он коротко заявляет: можно все это сократить, — или пусть вырабатывают адрес, и тогда все будет хорошо; или пусть никакого адреса не вырабатывают, и тогда министерство уходит. Однако дискуссия продолжается, и, наконец, г. Кампгаузен сам всходит на трибуну, чтобы подтвердить, что вопрос об адресе есть вопрос жизни для министерства. Когда и это не помогает, снова выступает г. Ауэрсвальд и в третий раз клятвенно заверяет, что судьба министерства неразрывно связана с судьбой адреса. После этого собрание было уже в достаточной мере убеждено и, естественно, голосовало за адрес.

Так наши «ответственные» министры в какие-нибудь два месяца приобрели тот опыт и уверенный тон в руководстве представительным собранием, какие г. Дюшатель, значения которого умалять, конечно, не приходится, приобрел лишь после многих лет интимного общения с предпоследней французской палатой депутатов. И г. Дюша-

тель имел в последнее время обыкновение заявлять, когда левая надоедала ему своими длинными тирадами: «Палата свободна, она может голосовать за или против; но если она будет голосовать против, мы уходим». И трусливое большинство, для которого г. Дюшатель являлся «необходимейшим» человеком на свете, сбивалось в кучу, как стадо баранов под грозой вокруг своего находящегося в опасности вожака. Г-н Дюшатель был легкомысленный француз и продолжал эту игру до тех пор, пока она не стала невыносимой для его сограждан. Г-н Кампгаузен — рассудительно-дельный и уравновешенный немец, и он будет знать, как далеко можно идти.

Конечно, когда так хорошо знают своих людей, как г. Кампгаузен своих «соглашателей», становится легко экономить и время, и доводы. Ставя по каждому пункту вопрос о доверии, нетрудно изрядно подрезать язык оппозиции. Поэтому подобный метод как нельзя более пристал решительным государственным мужам, которые раз навсегда познали, чего они хотят, и которым несносной становится всякая бесцельная болтовня, — словом, для мужей типа Дюшателя и Ганземана. Но для героев дебатов, которые любят «в больших прениях высказываться и обмениваться взглядами как о прошедшем и настоящем, так и о будущем» (Кампгаузен, заседание от 31 мая), для людей, которые стоят на почве принципов и проникают в сущность текущих событий острым взглядом философов, для более высоких умов, как Гизо и Кампгаузен, это маленькое земное средство, как убедится в своей практике председатель совета, совсем непригодно. Пусть он предоставит его своему Дюшателью-Ганземану и держится в более высоких сферах, в которых мы так охотно его наблюдаем.

РЕВОЛЮЦИЯ, А НЕ ЭПИЗОД.

Кельн, 3 июня.

Как известно, французскому Национальному собранию 1789 г. предшествовало собрание нотаблей, собрание, которое состояло из представителей сословий, подобно прусскому Соединенному ландтагу. В декрете, которым министр Неккер созвал Национальное собрание, он сослался на высказанное нотаблями пожелание о созыве Генеральных штатов. Министр Неккер имел, таким образом, большое преимущество перед министром Кампгаузенем. Ему не пришлось дожидаться штурма бастилий и падения абсолютной монархии, чтобы затем по-доктринерски связывать старое с новым, усердно создавая иллюзию, будто Франция пришла к новому Учредительному собранию, опираясь на старый порядок. У него были и другие преимущества. Он был министром Франции, а не Лотарингии и Эльзаса, тогда как г. Кампгаузен — министр Пруссии, а не Германии. И все-таки, несмотря на все эти козыри, министру Неккеру не удалось свести революционное движение к спокойной реформе. Тяжкую болезнь нельзя было исцелить розовым маслом. И уж тем более не удастся г. Кампгаузену изменить характер движения при помощи искусственной теории, проводящей прямую линию между его министерством и старыми порядками прусской монархии. Мартовскую революцию, германское революционное движение вообще не превратишь никакими уловками в ряд более или менее значительных *эпизодов*. Были Луи-Филипп избран в короли французов потому, что он был Бурбоном? Или он был избран *несмотря на то*, что был Бурбоном? Всем памятливы споры, разгоревшиеся вокруг этого вопроса после июльской революции. Но что доказывал самый этот вопрос? Что под вопрос была поставлена революция, что интересы революции не были интересами пришедшего к власти класса и его политических представителей.

Таков же смысл заявления г. Кампгаузена, что его министерство возникло не *из* мартовской революции, а *после* мартовской революции.

РЕАКЦИЯ.

(Comité de sûreté générale.)

Кельн, 5 июня.

Берлин, подобно Парижу в 1793 г., имеет теперь свой комитет общественной безопасности. С той только разницей, что парижский комитет был революционен, а берлинский—реакционен. Дело в том, что, согласно опубликованному в Берлине сообщению, «власти, на которые возложено поддержание спокойствия», признали необходимым «объединиться для общего сотрудничества». Они поэтому назначили комитет безопасности, который помещается на Обервалльштрассе. Это новое учреждение составлено следующим образом: 1) председатель—директор министерства внутренних дел Путткамер; 2) комендант и бывший командующий гражданским ополчением Ашоф; 3) полицмейстер Минутоли; 4) прокурор Темме; 5) бюргермейстер Наунин и два городских советника; 6) старшина городских гласных и три городских гласных; 7) пять офицеров и два рядовых гражданского ополчения. Этот комитет будет «в курсе всего того, что нарушает или грозит нарушить общественное спокойствие, и будет подвергать факты всестороннему и основательному обсуждению. Не прибегая к старым и непригодным средствам и формам и избегая излишней переписки, он будет сговариваться относительно соответствующих шагов и через посредство различных органов управления будет добиваться быстрого и энергичного проведения необходимых мероприятий. Только путем такого сотрудничества могут быть внесены быстрота и твердость, в соединении с необходимой предусмотрительностью, в ведение дел, часто весьма затруднительное в условиях нынешнего времени. В особенности же гражданское ополчение, взявшее на себя охрану города, получит возможность *в случае необходимости придавать надлежащий вес постановлениям властей, принятым после совещания с нею.* С полным доверием к сочувствию и сотрудничеству всех жителей и, в особенности, почтенного (!) сословия ремесленников и (!) рабочих приступают депутаты, *не связанные никакими партийными взглядами и стремлениями,* к своему трудному делу и надеются выполнять его.

главным образом, мирным путем посредничества к общему благу всех».

Этот елейный, вкрадчивый, смиренно-просительный язык заставляет уже предугадывать, что здесь образуется центр реакционной деятельности, направленный против революционного народа Берлина. Состав этого комитета ставит это вне сомнения. Тут, прежде всего, г. Путткамер, тот самый, который в качестве начальника полиции прославился своими высылками. Совсем как при бюрократической монархии: ни одного важного правительственного органа без *одного*, по крайней мере, Путткамера. Затем — г. Ашоф, который из-за своей капральской грубости и реакционных интриг стал так ненавистен гражданскому ополчению, что оно вынесло постановление об его удалении. И он действительно подал в отставку. Затем — г. Минутולי, в 1846 г. спасший в Познани отечество тем, что открыл заговор поляков, а недавно грозивший выслать наборщиков, когда они бастовали в связи с требованием о повышении заработной платы. Далее — представители двух ставших крайне реакционными органов: магистрата и городской думы, и, наконец, среди офицеров гражданского ополчения — главный реакционер, майор Блессон. Мы надеемся, что берлинский народ никоим образом не даст опекать себя этому самозванно образовавшемуся реакционному комитету.

Впрочем, комитет этот уже начал свою реакционную деятельность, призвав отказаться от назначенного на вчера (воскресенье) народного шествия к могиле мартовских жертв, так как это — демонстрация, а демонстрации вообще вредны.

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ.

Кельн, 6 июня.

Согласительные дебаты и т. д. идут в Берлине самым отрядным образом. Вносится одно предложение за другим, большая их часть даже по пяти-шести раз, чтобы они не затерялись на длинном пути по отделениям и комиссиям. Предварительные вопросы, попутные вопросы, промежуточные вопросы, дополнительные вопросы и главные вопросы в изобилии ставятся при всяком удобном случае. По поводу каждого из этих больших и малых вопросов регулярно завязывается непринужденный разговор «с места» с председателем, министрами и т. д., давая желанный отдых среди утомительной работы «больших дебатов». Особенно любят высказывать свое мнение в таких приятных беседах те безыменные соглашатели, которых стенограф обыкновенно обозначает как «голос». Впрочем, эти «голоса» так горды своим правом голоса, что подчас, как это случилось 2 июня, *«голосуют одновременно и за, и против»*. Но затем среди этой идиллии вспыхивает со всей напряженностью трагедии большая словесная борьба, — борьба, которая ведется не только с трибуны, но в которой принимает участие также и хор соглашателей, прибегающих к стуку, шуму, взаимному перекрикиванию и т. п. Драма, разумеется, заканчивается всякий раз победой добродетельной правой и почти всегда решается призывом консервативной массы к голосованию.

В заседании 2 июня г. *Юнг* сделал запрос министру иностранных дел по поводу договора с Россией. Известно, что уже в 1842 г. общественное мнение заставило отказаться от этого договора и что он был восстановлен при реакции 1844 года. Известно, как русское правительство засекает до смерти или отправляет в Сибирь лиц, ему выданных. Известно, какой желанный предлог дает договор о выдаче уголовных преступников и бродяг к тому, чтобы предавать в руки русских властей политических беглецов.

Г-н *Арним*, министр иностранных дел, ответил следующим образом:

«Никто, наверное, не станет возражать что-либо против выдачи

дезертиров, потому что, по общему правилу, дружественные государства всегда выдают их друг другу».

Мы принимаем к сведению, что Россия и Германия, по мнению нашего министра, являются «дружественными государствами». И в самом деле, многочисленные войска, которые Россия стягивает у Буга и Немана, не имеют другой цели, как возможно скорее освободить «дружественную» Германию от ужасов революции.

«Решение о выдаче преступников выносится, впрочем, судами, так что даны все гарантии того, что обвиняемые не окажутся выданными до заключения судебного следствия».

Г-н Арним старается внушить собранию, будто прусские суды ведут следствие по поводу обвинений, возводимых на преступников. Наоборот! Русские или русско-польские судебные власти посылают прусским властям постановление, объявляющее данного беглеца привлеченным к судебной ответственности. Прусскому суду надлежит только установить подлинность этого документа, и если этот вопрос решается в утвердительном смысле, суд должен вынести постановление о выдаче; «так что даны все гарантии того», что русскому правительству достаточно лишь кивнуть своим судьям, чтобы получить в свои руки закованным в прусские цепи любого беглеца, покуда он еще не обвиняется по политическому делу.

«Само собою разумеется, что собственные подданные не подлежат выдаче».

«Собственные подданные», господин феодальный барон фон Арним, уже потому не могут подлежать выдаче, что в Германии не существует больше никаких «подданных», с тех пор как народ стал настолько свободен, что эмансипировал себя на баррикадах.

«Собственные подданные»! Мы, выбирающие собрания, предпринимающие королям и императорам суверенные законы, мы — «подданные» его величества короля прусского?

«Собственные подданные»! Если бы у собрания была хоть искра революционной гордости, которой оно обязано своим существованием, оно одним криком негодования сбросило бы раболепного министра и с трибуны, и с министерского поста. Но оно спокойно пропустило клеймящее повором выражение. Не послышалось ни малейшего протеста.

Г-н *Рефельд* интерпеллировал г. Ганземана по поводу возобновленных Государственным банком закупок шерсти, а также преимуществ, предоставляемых английским покупателям по сравнению с немецкими купцами в форме учета. Шерстяная промышленность, испытывавшая угнетение благодаря общему кризису, рассчи-

тывала получить, по крайней мере, небольшую выгоду от закупок шерсти по весьма низким ценам настоящего года. Но тут на сцену появляется Государственный банк и вздувает цены своими колоссальными закупками. Одновременно с этим банк предлагает английским покупателям значительно облегчить закупку учетом надежных векселей на Лондон, — мероприятие, которое тоже способно, ввиду привлечения новых покупателей, привести к повышению цен и дает значительное преимущество иностранным покупателям по сравнению с отечественными.

Государственный банк является наследием абсолютной монархии, которой он служил для разного рода целей. В течение двадцати лет он лишил всякого значения закон 1820 г. о государственных долгах и весьма неприятным образом вмешивался в торговлю и промышленность.

Затронутый г. *Рефельдом* вопрос, в сущности, имеет мало интереса для демократии. Речь здесь идет о получении на несколько тысяч талеров больше или меньше прибыли производителями шерсти, с одной стороны, и шерстяными фабрикантами — с другой.

Производители шерсти почти исключительно — крупные землевладельцы — феодалы бранденбургские, прусские, силезские, познанские.

Шерстяные фабриканты по большей части — крупные капиталисты, представители верхов буржуазии.

В вопросе о цене на шерсть дело идет, таким образом, не об общих интересах, а о том, кто кого будет стричь — высшее земельное дворянство высшую буржуазию или высшая буржуазия — высшее земельное дворянство.

Г-н Ганзман, посланный в Берлин в качестве представителя крупной буржуазии, господствующей ныне партии, предает ее земельному дворянству, побежденной партии.

Для нас, демократов, значение имеет лишь то, что г. Ганзман становится на сторону побежденной партии, что он поддерживает не просто консервативный класс, а класс *реакционный*. Признаемся, что от буржуа Ганзмана мы этого не ожидали.

Г-н Ганзман заверил сперва, что он вовсе не является другом Государственного банка, а затем добавил к этому, что нельзя сразу прекратить деятельность закупочного отдела Государственного банка и закрыть его фабрики. Что касается закупок шерсти, то существуют договоры, в силу которых закупка в этом году определенного количества шерсти составляет... обязательство Государственного банка. Я полагаю, что, если вообще такого рода закупки

не наносят ущерба частному обороту, то это именно в настоящем году... Ибо в противном случае цены оказались бы слишком низки.

Из всей речи видно, что г. Ганзема, произнося ее, чувствует себя не по себе. Он дал склонить себя к тому, чтобы сделать одолжение Арнимам, Шафготчам и Итценплитчам, и вынужден теперь защищать свой необдуманый шаг доводами современной политической экономии, столь беспощадной по отношению к дворянству. Он сам отлично сознает, что издевается над собранием.

«Нельзя сразу прекратить деятельность закупочного отдела Государственного банка и закрыть его фабрики». Следовательно, Государственный банк покупает шерсть и полным ходом ведет работу на своих фабриках. Если нельзя сразу «закрыть» фабрики Государственного банка, то, разумеется, невозможно и приостановить закупки шерсти. А следовательно, Государственный банк будет поставлять на рынок свои шерстяные изделия, будет еще больше перегружать и без того насыщенный рынок, еще больше понижать и без того низкие цены. Одним словом, для того, чтобы добывать деньги за их шерсть бранденбургским и др. юнкерам-помещикам, он будет еще больше обострять нынешний торговый кризис и отнимать у шерстяных фабрикантов еще остающихся у них покупателей.

Что касается вопроса об английских векселях, то г. Ганзема произносит блестящую тираду по поводу громадных выгод, которые имеет страна от того, что английские гинеи притекают в карманы бранденбургских юнкеров. Мы не станем, конечно, серьезно останавливаться на этом. Мы только не понимаем, как г. Ганзема уловчился сохранить при этом серьезную мину.

В этом же заседании обсуждался еще вопрос о назначении комиссии по поводу Познани. Об этом завтра.

ВОПРОС ОБ АДРЕСЕ.

Кельн, 6 июня.

В *берлинском согласительном заседании* 2 июня г. *Рейтер* внес предложение назначить комиссию для выяснения причин гражданской войны в Познани.

Г-н *Паризиус* требует, чтобы предложение это немедленно подверглось обсуждению. Председатель уже собирается произвести по этому поводу голосование, когда г. *Кампгаузен* вспоминает, что предложение г. *Паризиуса* совсем еще не обсуждалось: «Я должен также напомнить, что принятие данного (рейтеровского) предложения означало бы принятие *важного политического принципа*, который, однако, имеет право (!) претендовать на предварительное рассмотрение в отделах».

Нам в высшей степени интересно узнать заключающийся в предложении Рейтера «важный принцип», который г. Кампгаузен пока держит еще про себя.

И покуда мы в этом отношении должны терпеливо ждать, завязывается благодушная беседа между председательствующим (г. *Эссером*, товарищем председателя) и многочисленными «голосами» на тему о том, допустимы или нет прения по поводу предложения Паризиуса. При этом г. Эссер опирается на доводы вроде следующего, странно звучащие в устах председателя *soi-disant* Национального собрания: «Я полагал, что допустимо обсуждение всего, что постановляет собрание».

«Я полагал!» Человек полагает, а г. Кампгаузен располагает, составляя регламенты, в которых никто ничего не понимает, и заставляя свое собрание временно принимать их.

На этот раз г. Кампгаузен был милостив. Ему нужны были прения. Без прений, может быть, прошли бы предложение Паризиуса, предложение Рейтера, т. е. был бы вынесен косвенный вотум недоверия по отношению к нему. И — что еще хуже, — что случилось бы без прений с его «важным политическим принципом»?

Итак, занялись обсуждением.

Г-н *Паризиус* желает, чтобы главное предложение немедленно подверглось обсуждению, ибо только тогда не будет потеряно время, и комиссия сможет представить свой доклад еще до прений по поводу адреса. В противном случае при обсуждении адреса придется высказаться о Познани без всякого знакомства с фактами.

Г-н *Мейзебах* выступает против, однако еще довольно мягко.

Но вслед за ним поднимается г. *Ритц*, горящий нетерпением покончить с мятежным предложением Рейтера. Он — королевско-прусский правительственный советник и не может потерпеть, чтобы собрания, хотя бы это были даже согласительные собрания, вмешивались в его специальную область. Он знает лишь одно правительственное установление, имеющее право это делать, а именно — обер-президиум. По его мнению, ничто не может идти мимо соответствующих инстанций. «Каким образом, — восклицает он, — хотите вы, господа, послать в Познань комиссию? Разве вы хотите *превратиться в орган управления или судебный орган*? Господа, из предложения я не вижу, чего вы хотите. Намерены ли вы требовать документы у командующего генерала (какая наглость!), или у судебных властей (ужасно!), или даже у властей административных? (При одной лишь мысли об этом рассудок отказывается служить правительственному советнику.) Намерены ли вы поручить импровизированной комиссии (не сдавшей, пожалуй, ни одного экзамена) ведение расследования всего того, *относительно чего никто еще не обладает отчетливым представлением*? (Г-н Ритц назначает, вероятно, комиссии только для выяснения того, о чем все и каждый имеют отчетливое представление.) Столь важное дело, *в котором вы притязаете на права, вам не принадлежащие...*» (Протесты.)

Что сказать об этом правительственном советнике старого стиля, об этом безукоризненном сыне зеленого стола? Он напоминает того провинциала на картинке Шама, который приезжает после февральской революции в Париж, видит на стенах афиши с надписью: *République française*, и идет к обер-прокурору, чтобы донести на подстрекателей против правительства короля. Бедняга проспал события.

Г-н Ритц тоже заспался. Громовые слова «комиссия по делу Познани» грубо будят его, и, еще не совсем очнувшись от сна, он в изумлении восклицает: неужели вы хотите присвоить себе права, вам не принадлежащие?

Г-н *Дункер* находит следственную комиссию излишней, «так как комиссия по поводу адреса должна потребовать необходимые объяснения от министерства». Как будто комиссия не для того

именно существует, чтобы сравнить «объяснения» министерства с фактическими данными.

Г-н *Блем* говорил о срочности предложения. Дело должно быть покончено до обсуждения адреса. Говорят об импровизированных комиссиях. Г-н Ганземан вчера тоже импровизировал вопрос о доверии, и, однако, он подвергся голосованию.

Г-н *Ганземан*, который во время всех этих скучных прений обдумывал, наверное, свой новый финансовый план, упоминанием своего имени был грубо оторван от своих звонких грез. Он, очевидно, совсем не знал, о чем идет речь. Но имя его было названо, и он должен был выступить. В памяти у него остались лишь две исходные точки: речь его начальника Кампгаузена и речь г. *Ритца*. Из них он составил, после нескольких пустых фраз по вопросу об адресе, следующий мастерской образец красноречия: «Как раз то обстоятельство, что еще не известно, за что возьмется комиссия, пошлет ли она членов из своей среды в великое герцогство, займется ли она тем или другим, — *как раз это доказывает большую важность данного вопроса (!)*. И сразу решать его здесь значит *импровизированно решать один из важнейших политических вопросов*. Я не думаю, что собрание направится по этому пути, я питаю доверие к нему, полагая, что оно благоразумно» и т. д.

Как должен г. Ганземан презирать все собрание, чтобы подсовывать ему такие умозаключения! Мы назначим комиссию, которая, может быть, отправится в Познань, а, может быть, и нет. Именно потому, что мы не знаем, должна ли она остаться в Берлине или отправиться в Познань, *большое значение* имеет вопрос о том, следует ли вообще назначить комиссию. И так как он имеет большое значение, он — один из *важнейших политических* вопросов!

Но в чем состоит этот вопрос и что представляет собою важнейший политический вопрос, это г. Ганземан пока еще держит про себя, подобно тому, как это делает г. Кампгаузен с своим «важным политическим принципом». Еще раз вооружимся терпением!

Впечатление, произведенное логикой Ганземана, столь убийственно, что все сейчас же начинают кричать о прекращении прений. Тогда разыгрывается следующая сцена:

Г-н *Юнг* требует слова против прекращения прений.

Председатель: Мне кажется недопустимым предоставить для этого слово.

Г-н *Юнг*: Везде принято предоставлять слово против прекращения прений.

Г-н *Темме* прочел § 2 временного регламента, согласно которому Юнг прав, а председатель не прав.

Г-н *Юнг* (получает слово): Я против закрытия прений, так как министр имел последнее слово. Слово министра имеет величайшее значение, так как оно привлекает на одну сторону большую партию, а большая партия неохотно дезавуирует министра...

Длительные всеобщие возгласы: Ого! Ого! Страшный шум раздается со скамей правых.

Г-н комиссар юстиции *Мориц* (с места): Предлагаю призвать Юнга к порядку, он *вдался в личности против всего собрания* (!).

Другой голос со стороны «правых»: Я тоже предлагаю это и протестую против...

Шум все больше усиливается. *Юнг* выбивается из сил, но не может перекричать этот шум. Он требует от председателя сохранить за ним слово.

Председатель: Так как собрание высказалось, моя роль кончена (!).

Г-н *Юнг*: Собрание не высказалось; вы должны сперва провести формальное голосование.

Г-н *Юнг* вынужден уступить. Шум не стихает, пока он не покидает трибуну.

Председатель: Последний оратор, повидимому (!), высказался против прекращения прений. Остается узнать, не хочет ли кто-нибудь говорить за прекращение.

Г-н *Рейтер*: Прения о прекращении или не-прекращении отняли у нас уже 15 минут, не лучше ли оставить их?

Вслед за тем оратор снова распространяется насчет настоятельной необходимости предложенной комиссии. Это заставляет г. Ганземана выступить вторично и, наконец, пролить свет на свой «важный политический вопрос».

Г-н *Ганземан*: Господа! Дело идет об одном из *величайших политических вопросов*, а именно о том, имеет ли собрание охоту вступить на путь, который *может привести его к серьезным столкновениям!*

Наконец-то! Как последовательный Дюшатель, г. Ганземан снова объявил вопрос *кабинетным вопросом*. Все вопросы имеют для него лишь одно значение, а именно, что они — кабинетные вопросы, а кабинетный вопрос для него, разумеется, является «величайшим политическим вопросом»!

Г-н *Кампаузен* на этот раз, пожалуй, недоволен таким простым и пресекающим методом. Он берет слово.

«Следует заметить, что собрание могло бы уже быть осведомлено (относительно Познани), если бы депутату было угодно предъ-

явить *запрос* (но ведь хотели самолично удостовериться!). Это было бы наиболее *скорым* способом получить разъяснение (но какое?). Я заканчиваю заявлением, что суть данного предложения сводится исключительно к тому, что собрание должно решить, *должны ли мы для тех или других целей создавать следственные комиссии*; что вопрос этот должен быть *зрело обдуман и выяснен*, — с этим я вполне согласен, я не согласен лишь с тем, чтобы он здесь так внезапно был поставлен на обсуждение».

Итак, вот он «важный политический принцип», — вопрос о том, имеет ли согласительное собрание право образовать следственные комиссии или же оно намерено само отказать себе в этом праве!

Французские и английские палаты издавна создавали такого рода следственные комиссии (*select committees, enquêtes, parliamentary inquiry*), и приличные министры никогда ничего против этого не имели. Без таких комиссий министерская ответственность превращается в пустую фразу. А г. Кампгаузен оспаривает у соглашателей это право!

Довольно. Произносить речи легко, но голосовать трудно. Приходят к концу, хотя и голосовать, возникают бесчисленные затруднения, сомнения, тонкости и угрызения совести. Но избавим от всего этого наших читателей. После продолжительных разговоров предложение Паризиуса отвергается, а предложение Рейтера передается в отделы. Мир праху его!

СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ.

Кельн, 8 июня.

Новая демаркационная линия г. фон-Пфуля в Познани представляет новое ограбление Польши. Она сводит «подлежащую реорганизации» часть к менее чем трети всего великого герцогства и присоединяет гораздо большую часть Великой Польши к германскому Союзу. Только в узкой полосе вдоль русской границы должны пользоваться признанием польский язык и национальность. Она состоит из округов Врешен и Плешен и частей округов Могильно, Вонгровец, Гнезен, Шрода, Шримм, Костен, Фрауштадт, Кребен, Кротошин, Адельнау и Шильдберг. Другая половина этих округов, а также целые округа Бук, Познань, Оборник, Замтер, Бирнбаум, Мезериц, Бомст, Чарников, Ходцисен, Вирзиц, Бромберг, Шубин, Иноврацлав декретом г. фон-Пфуля превращены без всяких церемоний в немецкую землю. И, однако, не подлежит никакому сомнению, что даже в этой «немецкой союзной области» большинство жителей говорит еще по-польски.

Старая демаркационная линия давала полякам в виде границы, по крайней мере, Варту. Новая линия сокращает подлежащую реорганизации часть снова на одну четверть. Поводом к этому служит, с одной стороны, «желание» военного министра исключить из реорганизации окрестность крепости Познань радиусом в 3—4 мили, а с другой — требование различных городов, как, например, Острова и т. д., о присоединении к Германии.

Что касается желаний военного министра, то оно вполне естественно. Сперва захватывают город и крепость Познань, которая расположена на десять миль в глубь польских земель, затем, чтобы закрепить за собою пользование похищенным, признают желательным захват новой зоны в три мили. Зона эта, в свою очередь, вызывает необходимость мелких округлений, и таким путем получается наилучший повод продвигать немецкую границу все дальше по направлению к русской Польше.

С стремлением «немецких» городов к присоединению дело об-

стоит следующим образом. Во всей Польше немцы и евреи составляют основное ядро занимающейся ремеслами и торговлей буржуазии; это потомки переселенцев, которые большую часть бежали со своей родины из-за религиозных преследований. Они основали на польской территории города и в течение столетий делили судьбы польского государства. Эти немцы и евреи — ничтожное меньшинство населения — пытаются использовать положение страны в данный момент, чтобы добиться господства. Они ссылаются на свою принадлежность к *немцам*, но они столь же мало немцы, как и американские немцы. При присоединении их к Германии подавляются язык и национальность более чем половины польского населения Познани, и притом как раз той части провинции, где национальное восстание проявилось с величайшей напряженностью и энергией, — округов Бук, Замтер, Познань, Оборник.

Господин фон-Пфуль заявляет, что он будет считать новую границу окончательной, как только министерство ее ратифицирует. Он не говорит ни о согласительном собрании, ни о германском Национальном собрании, которые все же должны сказать свое слово в тех случаях, когда дело идет об определении границ Германии. Но пусть министерство, пусть соглашатели, пусть Франкфуртское собрание ратифицируют постановление г. фон-Пфуля, — демаркационная линия не может быть «окончательной» до тех пор, пока ее не ратифицировали еще две другие силы: германский народ и польский народ.

ЩИТ ДИНАСТИИ.

Кельн, 9 июня.

Как сообщают немецкие газеты, г-н Кампгаузен излил 6-го текущего месяца свое переполненное сердце перед своими соглашателями. Он произнес «не столько блестящую, сколько *исходившую из самых глубин сердца* речь, которая заставляет вспомнить о словах Павла: «Пусть говорил бы я языками человеческими и ангельскими, но если бы я не был исполнен любви, я был бы металлом звенящим!» Речь его была богата тем священным трепетом, который мы называем любовью, — она вдохновляюще обращалась к вдохновленным, не было конца знакам одобрения..., и понадобилась продолжительная пауза, чтобы впитать в себя и переварить все ее впечатление.

Но кто был героем вылившейся из глубин сердца любвеобильной речи? Что послужило темой, столь воодушевившей г. Кампгаузена, что он вдохновляюще говорил вдохновленным? Кто Эней этой Энеиды 6 марта?

Кто иной, как не *принц Прусский?*

Стоит только прочесть в стенографическом отчете, как поэтически настроенный председатель совета министров описывает странствия современного сына Анхиза; как он в день,

...когда пала священная Троя,
Пал и Приам, погиб и народ копыеносца Приама,

как он после падения юнкерской Трои, после долгих странствований по морям и на суше, пристал, наконец, к берегу современного Карфагена и был встречен королевой Дидоной; как ему более повезло, чем Энею I, потому что нашелся такой человек, как Кампгаузен, который в известной мере восстановил Трою и вновь открыл священную «почву права»: как Кампгаузен вернул, наконец, своего Энея к его пенатам и как теперь радость снова царит в троянских чертогах. Нужно прочесть все это и бесчисленные поэтические украшения, чтобы почувствовать, что значит, когда вдохновляющий оратор говорит перед вдохновленной аудиторией.

Впрочем, весь этот эпос служит г. Кампгаузену лишь предлогом для дифирамба самому себе и своему собственному министерству. «Да, — восклицает он, — мы думали, что дух конституционного устройства требует, чтобы *мы* встали на место высокой особы, чтобы *мы* поставили себя в качестве лиц, против которых должны направляться все нападки... Так и случилось. Мы встали щитом перед династией, все опасности и нападения направили на себя!»

Какой комплимент «высокой особе», какой комплимент «династии»! Без г. Кампгаузена и его шести паладинов династия погибла. Какой сильной, какой «укоренившейся в народе» династией должен г. Кампгаузен считать дом Гогенцоллернов, чтобы так говорить! Право, для династии было бы лучше, если бы г. Кампгаузен говорил не так «вдохновляюще перед вдохновленными», если бы он был не столь «богат тем священным трепетом, который мы называем любовью», или если бы он предоставил говорить только своему Ганземану!

«Однако же, господа, я говорю это не с высокомерной гордостью, а со смирением, вытекающим из сознания, что высокая задача, поставленная вам и нам, может быть разрешена только при условии, если дух *кротости* и *примирения* спустится на это собрание, если мы найдем на-ряду с вашей справедливостью и вашу снисходительность!»

Г-н Кампгаузен прав, выпрашивая кротость и снисходительность у собрания, которое само так нуждается в кротости и снисходительности публики!

КЕЛЬН В ОПАСНОСТИ.

Кельн, 10 июня.

Наступил чудесный праздник Троицы, зазеленели поля, зацвели деревья, и сколько ни есть людей, смешивающих дательный падеж с винительным, они начали готовиться к тому, чтобы в *один* день излить святой дух реакции на все города и веси.

Момент выбран удачно. В Неаполе гвардейским лейтенантам и швейцарским наемникам удалось утопить молодую свободу в крови народа. Во Франции капиталистическое собрание заносит над республикой дубину драконовских законов и назначает комендантом Венсеннского замка генерала Перро, приказавшего 23 февраля у дома Гизо открыть стрельбу. В Англии и Ирландии массами бросают в тюрьму чартистов и борцов за отделение Ирландии и разгоняют с помощью драгун безоружные митинги. Во Франкфурте Национальное собрание само назначило теперь триумвират, предложенный блаженной памяти Союзным сеймом и отвергнутый комиссией пятидесяти. В Берлине правая побеждает — удар за ударом — благодаря численному превосходству и барабанному бою, и принц Прусский своим вступлением в «собственность всей нации» объявляет революцию не существующей.

В рейнском Гессене концентрируются войска; вокруг Франкфурта расположились герои, которые борьбой против республиканских дружин заслужили в Зеекрейсе свои шпоры; Берлин осажден, Бреславль осажден, а как обстоят дела в Рейнской провинции, об этом мы сейчас поговорим.

Реакция подготавливает сильный удар.

В то время как сражаются в Шлезвиге, в то время как Россия посылает угрожающие ноты и стягивает триста тысяч солдат под Варшавой, Рейнская Пруссия наводняется войсками, хотя буржуа парижской палаты уже снова провозглашают «мир во что бы то ни стало!».

В Рейнской Пруссии, Майнце и Люксембурге стоят (по словам «Немецкой газеты») четырнадцать пехотных полков *в полном составе*

(13¹, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40), т. е. *целая треть* всей прусской линейной и гвардейской пехоты (45 полков). Часть этих полков вполне на военном положении, а остальные усилены добавлением третьей части резервов. Кроме того три уланских, два гусарских и один драгунский полк, причем в ближайшее время ожидается еще кирасирский полк. Сверх того большая часть 7-й и 8-й артиллерийских бригад, из состава которых по крайней мере половина уже мобилизована (т. е. доведена с 19 до 121 лошади на пехотную батарею или с двух до восьми запряжек с орудиями). Для Люксембурга и Майнца образована сверх того третья рота. Войска эти стоят большой дугой от Кельна и Бонна через Кобленц и Трир к французской и люксембургской границе. Все крепости вооружены, рвы снабжены палисадами, деревья вырублены частью целиком, частью на линии орудийного огня.

А каково положение здесь, в Кельне?

Кельнские форты полностью вооружены, установлены платформы, прорезаны бойницы, орудия уже находятся здесь и устанавливаются наверху. Над этим работают каждый день с 6 часов утра до 6 вечера. Орудия, по слухам, вывозятся из города по ночам, *с обвернутыми колесами*, чтобы избежать всякого шума.

Вооружение окружной стены началось с Байенской башни и доведено уже до бастиона № 6, т. е. до половины стены. На отделение 1-е поднято уже 20 орудий.

На бастионе № 2 (Северинские ворота) орудия стоят над воротами. Достаточно повернуть их, чтобы обстрелять город.

Лучшее доказательство того, что эти вооружения лишь по видимости направлены против внешнего врага, а на самом деле — *против самого Кельна*, состоит в том, что здесь везде оставлены деревья на гласисе. На тот случай, если войска должны будут покинуть город и броситься в форты, пушки городской стены будут таким путем бесполезными против фортов, между тем как мортирам, гаубицам и 24-фунтовым орудиям фортов решительно ничто не мешает бросать через деревья бомбы и гранаты в город. Форты находятся от окружной стены на расстоянии всего 1 400 шагов и это позволяет фортам бросать бомбы, попадающие почти на 4 000 шагов, в любую часть города.

Теперь о мероприятиях, *направленных непосредственно против города*.

¹ Не совсем верно. 13-й полк стоит частично, 15-й целиком в Вестфалии, но может прибыть сюда по железной дороге в несколько часов.

Цейхгауз, находящийся напротив здания правительственных установлений, очищен. Ружья прекрасно упакованы, так что это не бросается в глаза, и доставлены в форты.

В *ружейных ящиках* в город доставлены артиллерийские снаряды и сложены вдоль окружной стены в военных складах, не доступных для бомб.

В тот момент, когда мы пишем эти строки, артиллерии раздаются ружья со штыками, хотя известно, что артиллерия в Пруссии не обучена обращению с ними.

Пехота уже частично размещена в фортах. Весь Кельн знает, что ей третьего дня роздано по 5 000 боевых патронов на роту.

На случай столкновения с народом дана такая диспозиция.

По первому тревожному сигналу 7-я (крепостная) артиллерийская рота удаляется в форты.

Батарея № 37 затем тоже выдвигается перед городом. Эта батарея уже вполне приведена в «боевую готовность».

5-я и 8-я артиллерийские роты остаются под рукой в городе. Эти роты имеют по 20 зарядов в каждом зарядном ящике.

Гусары направляются в Кельн из Дейтца.

Пехота занимает Сенной рынок, Петушинные и Почетные ворота, чтобы прикрывать отход всех войск из города, и вслед за тем тоже бросается в форты.

При этом высшие офицеры делают все возможное, чтобы внушить войскам старопрусскую ненависть к новому порядку вещей. При нынешнем расцвете реакции нет ничего легче, как под предлогом речи против смутьянов и республиканцев изощряться в отвратительнейших нападках на революционеров и на конституционную монархию.

А между тем Кельн никогда не был спокойнее, чем как раз в последнее время. Если не считать незначительного сборища перед домом президента окружного правления и драки на Сенном рынке, за последние четыре недели не произошло ничего такого, что потребовало бы даже только вызова гражданского ополчения. Таким образом, все описанные мероприятия *совершенно ничем не вызваны.*

Повторяем: после этих совершенно необъяснимых иным образом мероприятий, после стягивания войск вокруг Берлина и Бреслава, подтвержденного нам в письмах, после наводнения столь ненавистной реакционерам Рейнской провинции солдатами мы не можем сомневаться насчет того, что реакция подготавливает общий эпильный удар.

Начало, повидимому, назначено здесь в Кельне на *Духов день.*

Старательно распространяются слухи, что в этот день «разразится». Постараются вызвать небольшой скандал, чтобы затем сейчас же пустить в ход войска, пригрозить городу обстрелом, разрушить гражданское ополчение, запрятать в тюрьму главных избирателей,—словом, расправиться с нами по майнцскому и трирскому образцу.

Мы серьезно предостерегаем кельнских рабочих от ловушки, которую ставит им реакция. Мы настоятельно просим их *не давать* старопрусской партии *ни малейшего повода* к тому, чтобы подчинить Кельн деспотизму военных законов. Мы просим *особенно спокойно провести оба дня праздника* и этим расстроить реакционерам весь их план.

Стоит нам дать реакции повод напасть на нас, чтобы мы погибли, чтобы с нами произошло то же, что и с жителями Майнца.

Если мы вынудим ее напасть на нас и если она действительно решится на нападение, то кельнцам представится случай доказать, что они ни на минуту не станут колебаться пожертвовать своей кровью и жизнью за завоевания 18 марта.

Post-scriptum. Только что изданы следующие приказы.

Для *обоих дней праздника отменяется пароль* (в то время как обычно он объявляется с особой торжественностью). Войска остаются *в казармах*, где офицерам сообщается пароль.

Крепостные и ремесленные роты артиллерии, а равно и пехотный гарнизон фортвов получают, начиная с сегодняшнего дня, кроме обычной порции хлеба, ежедневно на четыре дня вперед порции хлеба, *так что они всегда имеют запас продовольствия на 8 дней*.

Артиллерия уже сегодня вечером в 7 ч. производит учение с *ружьями*.

БЕРЛИНСКИЕ ДЕБАТЫ О РЕВОЛЮЦИИ.

I.

Кельн, 13 июня.

Согласительное собрание высказалось, наконец, решительно. Оно отвергло революцию и признало теорию соглашения.

Суть дела, по которому должно было высказаться собрание, такова.

18 марта король обещал конституцию, ввел свободу печати е налогами и в ряде предложений высказался в том смысле, что единство Германии должно быть осуществлено путем растворения ее в Пруссии.

Таковы были уступки 18 марта, сведенные к их истинному содержанию. То обстоятельство, что берлинцы удовлетворились этим, что они манифестировали перед дворцом для изъявления королю благодарности за уступки, — уже одно это доказывает нагляднейшим образом необходимость революции 18 марта. Не только государство, но и *граждане* государства должны были быть революционизированы. Лишь в кровавой освободительной борьбе подданный мог совлечь с себя ветхого Адама.

Известное «недоразумение» вызвало революцию. Впрочем, недоразумение действительно имело место. Нападение солдат, 16-часовой бой, необходимость для народа добиться отступления войск, — все это служит достаточным доказательством того, что народ совершенно *не понял* уступок 18 марта.

Результатами революции были: на одной стороне вооружение народа, право союзов, фактически завоеванный суверенитет народа; на другой — сохранение монархии и министерство Кампгаузена-Ганземана, т. е. правительство представителей крупной буржуазии.

Таким образом, революция имела два ряда последствий, которые необходимо должны были разойтись в разные стороны. Народ победил, он завоевал себе действительно демократические свободы, но непосредственное господство перешло не в его руки, а в руки крупной буржуазии.

Одним словом, революция не была завершена. Народ допустил образование министерства крупных буржуа, а крупные буржуа выявили тотчас же свои тенденции тем, что предложили союз старопрусскому дворянству и бюрократии. Арним, Каниц, Шверин вступили в министерство.

Крупная буржуазия, искони антиреволюционная, из страха перед народом, т. е. перед рабочими и демократическим бюргерством, заключила оборонительный и наступательный союз с реакцией.

Объединенные реакционные партии начали свою борьбу против демократии с того, что *поставили под вопрос самое революцию*. Отрицалась победа народа, сфабрикован был пресловутый список «семнадцати убитых солдат», чернили всячески баррикадных борцов. Но и этого мало. Министерство разрешило действительно созвать Соединенный ландтаг, созданный до революции, и *post festum* инсценировать законный переход от абсолютизма к конституции. Тем самым без обиняков отрицалась революция. Затем правительство изобрело теорию соглашения и тем самым снова отреклось от революции и заодно от народного суверенитета.

Таким образом, революция действительно была поставлена под вопрос, и ее можно было поставить под вопрос, потому что она была лишь полу-революцией, лишь началом длительного революционного движения.

Мы не можем здесь входить в разбор того, почему и насколько настоящее господство крупной буржуазии в Пруссии является необходимой переходной ступенью к демократии и почему крупная буржуазия после восшествия своего на престол сейчас же переметнулась на сторону реакции. Мы констатируем пока лишь самый факт.

Согласительное собрание должно было высказаться теперь, признает оно или не признает революцию.

Но признать при данных условиях революцию значило признать демократическую сторону революции в противовес крупной буржуазии, которая хотела эту сторону революции аннулировать.

Признать революцию означало в данный момент признать *половинчатость* революции и тем самым демократическое движение, которое направлено против некоторых результатов революции. Это значило признать, что Германия находится в состоянии революционного движения, в котором министерство Кампгаузена, теория соглашения, косвенные выборы, господство крупных капиталистов и проявления деятельности самого собрания хотя и могут стать неотвратимыми промежуточными этапами, но ни в коем случае — не конечными результатами.

Дебаты о признании революции велись в палате обеими сторонами с большим размахом и большим интересом, но с удивительно малым остроумием. Редко приходится читать нечто более безотрадное, чем эти расплывчатые, поминутно прерываемые шумом или параграфами регламента дебаты. Вместо великой страстности партийной борьбы — холодное спокойствие духа, поминутно грозящее перейти в тон благодушного собеседования; вместо режущей остроты аргументации — пространное и запутанное пустословие о разных мелочах; вместо метких возражений — скучное морализирование о существе и природе нравственности.

Левая также не особенно отличилась в этих дебатах. Большинство ее ораторов повторяло друг друга; никто не осмелился решительно поставить вопрос во всей его ясности и полноте и выступить открыто революционно. Они все время боялись кого-нибудь оттолкнуть, оскорбить, отпугнуть. Если бы борцы 18 марта проявили в борьбе не больше энергии и страсти, чем господа из левой в дебатах о революции, плохо бы обстояли дела в Германии.

II.

Кельн, 14 июня.

Депутат *Берендс* из Берлина открывает прения, внося следующее предложение.

«Признав революцию, собрание объявляет, что борцы 18-го и 19 марта хорошо послужили отечеству».

Вполне уместна была форма предложения — заимствованная у великой французской революции древне-римская лаконическая формулировка.

Тем неуместнее была манера, с какою г. *Берендс* обосновал свое предложение. Он говорил не революционно, а примиряюще. Он должен был выражать гнев оскорбленных баррикадных борцов перед собранием реакционеров, а вместо этого он спокойно и сухо поучал, как будто все еще чувствовал себя в роли учителя берлинского общества ремесленников. Ему нужно было защищать совсем простое, совсем ясное дело, а между тем его речь запутана и сбивчива до невероятия.

Господин *Берендс* начинает так:

«Господа! Признание революции совершенно естественно (!). Само наше собрание представляет собою красноречивое признание великого движения, охватившего все цивилизованные страны Европы. Данное собрание вышло из этой революции, его существование, таким образом, представляет фактически признание революции».

Во-первых, дело идет совсем не о том, что вообще признать как факт «великое движение, охватившее все цивилизованные страны Европы», — это было бы излишне и ничего не говорило бы. Нет, дело идет о том, чтобы признать настоящей революцией берлинскую уличную борьбу, которую изображают как простой мятеж.

Во-вторых, Берлинское собрание, конечно, с одной стороны представляет «признание революции», поскольку — не будь берлинской уличной борьбы — не было бы никакой «согласованной» конституции, в лучшем случае получилась бы конституция пожалованная. Но благодаря способу своего созыва, благодаря мандату, данному

ему Соединенным ландтагом и министерством, собрание в такой же мере стало *отрицанием* революции.

Собрание, стоящее на почве революции, не ведет переговоров, оно декретирует.

В-третьих, собрание уже своим голосованием по поводу адреса признало теорию соглашения, оно уже отреклось от революции своим голосованием против шествия на могилу павших борцов. Оно отреклось от революции, поскольку вообще продолжало «заседать» одновременно с Франкфуртским собранием.

Таким образом, предложение г. Берендса фактически было уже дважды отвергнуто. Тем более оно должно было провалиться на этот раз, когда собрание должно было высказаться открыто.

Так как собрание было реакционно, так как вполне выяснилось, что народу больше нечего ждать от него, то левые были заинтересованы в том, чтобы меньшинство в пользу предложения оказалось возможно более ничтожным и включало в себя только самых решительных членов.

А потому г-ну Берендсу совсем не было нужды церемониться. Он должен был выступить возможно более решительно, возможно более революционно. Вместо того чтобы цепляться за иллюзию, будто собрание является учредительным собранием и хочет быть таковым, будто собрание *стоит* на почве революции, он должен был заявить ему, что оно косвенно уже отреклось от революции, и вызвать его сделать это теперь открыто.

Однако не только он, но и вообще ни один из ораторов левой не последовал этой политике, единственно приличествующей демократической партии. Они отдались во власть иллюзии, будто они могут своими речами увлечь собрание и убедить его сделать революционный шаг. Они пошли поэтому на уступки, сглаживали острые углы, говорили о примирении и этим *сами* отrekliсь от революции.

И вот г. Берендс, излагая свои холодные мысли деревянным языком, продолжает распространяться по поводу революции вообще и берлинской революции в частности.

Развивая свои соображения, он доходит до возражения, что революция была излишня, так как король уже раньше согласился на все. Он отвечает:

«Конечно, его величество король на *многое* согласился... но удовлетворило ли народ это согласие? Разве нам была дана гарантия, что это обещание действительно воплотится в жизнь? Я *полагаю*, гарантия эта... была получена только после борьбы!.. Установлено,

что подобного рода государственное преобразование может родиться и пустить прочные корни только среди великих взрывов борьбы. Одна важная уступка не была еще сделана 18 марта: это — вооружение народа... Только после того как народ вооружился, он почувствовал себя вне опасности от возможности недоразумений... Борьба, *следовательно* (!), есть, конечно, *своего рода естественное явление* (!), но явление неизбежное..., — катастрофа, в которой становится действительностью, осуществляется преобразование жизни государства».

Из этого длинного, путанного, испещренного повторениями рассуждения совершенно ясно видно, что г. Берендсу совсем непонятны постулаты и необходимость революции. Из ее результатов он знает только «гарантию» обещаний 18 марта и «вооружение народа»; их необходимость он конструирует философским путем, высоким стилем еще раз описывая «гарантию», и кончает заверением, что никакая революция не может быть осуществлена без революции.

Революция была необходима, т. е. она была необходима, повидимому, лишь для достижения того, чего мы теперь достигли. Необходимость революции стоит в прямом отношении к ее результатам. Но так как г. Берендсу результаты эти неясны, то он, естественно, вынужден прибегать к многоречивым заверениям, чтобы сконструировать ее необходимость.

Каковы были результаты революции? Отнюдь не «гарантия» обещаний 18 марта, а, напротив, ниспровержение этих обещаний.

18-го была обещана монархия, в которой дворянство, бюрократия, военщина и попы сохраняют в своих руках власть, но позволяют крупной буржуазии контроль посредством *октроированной* конституции и свободы печати, но с залогами. Для народа — германские знамена, германский флот, германская союзная воинская повинность вместо прусских.

Революция опрокинула все силы абсолютной монархии — дворянство, бюрократов, военщину и попов. Она привела к власти исключительно крупную буржуазию. Она дала народу оружие свободы печати без залогов, право союзов и, по крайней мере отчасти, также и материальное оружие — винтовки.

Но это еще не главный результат. Народ, сражавшийся и победивший на баррикадах, совсем не тот народ, который 18 марта проходил процессией перед дворцом, чтобы атаками драгун быть просвещенным насчет значения полученных уступок. Он способен на совсем иное, он совершенно иначе относится к правительству. Важнейшее завоевание революции, это — *сама революция*.

«Как берлинец, я могу с полным правом сказать, что мы испытали *прискорбное чувство* (и ничего больше!)... видя, что поносятся эта борьба... Я напомню слова г. министра-президента, который... доказывал, что на великом народе и на всех народных представителях лежит задача с *умеренностью* действовать в *духе примирения*. *К этой умеренности я призываю*, предлагая вам, в качестве представителя Берлина, признание 18-го и 19 марта. Народ Берлина за все время после революции, без сомнения, держался, в общем, честно и с достоинством. Возможно, что имели место отдельные эксцессы... И потому я *полагаю*, что *уместно*, чтобы собрание заявило» и т. д., и т. д.

К этому трусливому, отрекающемуся от революции заключению нам остается лишь добавить, что после такой мотивировки предложение заслуживало быть проваленным.

III.

Кельн, 14 июня.

Первая поправка, противопоставленная предложению Берендса, обязана своим недолговечным существованием депутату *Бремеру*. Это было расплывчатое, благомыслящее заявление, в котором: 1) признавалась революция, 2) признавалась теория соглашения, 3) признавались все те, кто принимал участие в происшедшем перевороте, и 4) признавалась великая истина, что

Ни конь, ни всадник не достигнут
Вершины, где стоят князья,

благодаря чему сама революция снова получила истинно прусский вид. Бравый учитель *Бремер* хотел удовлетворить все партии, а они все решительно ничего не хотят знать о нем. Его поправка была устранена без прений, и г. Бремер ступешевался со всем смирением разочарованного друга людей.

На трибуну всходит г. *Шульце* из Делича. Г-н Шульце тоже поклонник революции, но поклонник не столько баррикадных борцов, сколько людей следующего утра, поклонник не «борцов», а так называемого «народа». Он высказывает пожелание, чтобы «поведение народа *после* борьбы» было особо признано. Его восхищение не знало границ, когда он услышал об умеренности и рассудительности народа, когда ему не противостояли уже никакие противники... (!), о серьезности, примирительном настроении народа..., об его отношении к династии... Мы видели, что народ отлично сумел в эти моменты *прямо посмотреть в глаза самой истории!*

Г-н Шульце восторгается не столько революционной деятельностью народа *во время* борьбы, сколько его отнюдь не революционной бездеятельностью *после* борьбы.

Признание великодушия народа после революции может означать только одно из двух. Или оно означает оскорбление народа, потому что было бы оскорблением народа вменять ему в заслугу, что *после* победы он не совершает низостей. Или же оно означает

признание того, что народ заснул после победы оружия и этим дает реакции возможность снова поднять голову.

«Соединяя то и другое», г. Шульце высказал свое «удивление, граничащее с восторгом», по поводу того, что народ, во-первых, вел себя прилично, а, во-вторых, дал реакции возможность оправиться.

«Поведение народа» выразилось в том, что он, полный воодушевления, занимался «заглядыванием прямо в глаза самой истории» в то время, когда он должен был творить историю; в том, что из-за своего «поведения», своей «умеренности», своего «благоразумия», своей «глубокой серьезности» и «неугасимой жертвенности» он не сумел помешать тому, чтобы министры уворовали кусок за куском завоеванную свободу; в том, что он объявил революцию законченной, вместо того чтобы продолжать ее. Как совсем по-иному повели себя венцы, которые удар за ударом поражали реакцию и завоевали теперь *учредительный* рейхстаг вместо согласительного!

Г-н *Шульце* (из Делича) признает, следовательно, революцию под условием ее непризнания. И этим он заслужил оглушительное bravo.

После непродолжительного разговора по поводу регламента на трибуну всходит сам г. *Кампгаузен*. Он замечает, что, согласно предложению Берендса, «*собрание должно высказаться по поводу одной идеи, высказать свое суждение*». Революция для г. Кампгаузена только «идея». Он «предоставляет» поэтому собранию решить, намерено ли оно сделать это. По поводу самого вопроса, по его мнению, «не существует, пожалуй, сколько-нибудь серьезного расхождения», в соответствии с общеизвестным фактом, что, когда два немца спорят, они всегда в сущности согласны друг с другом.

«Если имеется в виду повторить, что... наступил период, который *должен иметь следствием* (значит, еще не имел) величайшие преобразования, то никто не может быть согласен с этим больше меня. Если же, напротив, хотят сказать, что государство и государственная власть утратили свою правовую основу, что *произошло насильственное ниспровержение существующей власти...*, то в таком случае я протестую против подобного толкования».

До сих пор г. Кампгаузен видел свою главную заслугу в том, что он снова связывает порванную нить законности; теперь он утверждает, что нить эта никогда вовсе не порывалась. Пусть факты говорят совсем другое, — догмат о непрерывной законной преемственности власти от Бодельшвинга до Кампгаузена может не обращать внимания на факты.

«Если намекнуть на то, что мы находимся в начальной стадии

событий, как мы их знаем из истории английской революции в XVII столетии, французской революции — в XVIII столетии, событий, заканчивающихся тем, что власть переходит в руки диктатора», то г. Кампгаузен тоже вынужден протестовать.

Наш «мыслящий друг истории» не мог, разумеется, упустить удобный случай высказать по поводу берлинской революции те размышления, которые немецкий бюргер тем больше любит выслушивать, чем чаще он заглядывал в Роттека. Берлинская революция уже потому не могла быть революцией, что в противном случае принуждена была бы породить Кромвеля или Наполеона, против чего протестует г. Кампгаузен.

В заключение г. Кампгаузен позволяет своим соглашателям «высказать свои чувства симпатии жертвам рокового столкновения», но замечает, что здесь «существенное и большое значение имеет способ выражения», и считает, что вопрос должен быть передан в комиссию.

После нового инцидента по поводу регламента выступает, наконец, оратор, умеющий трогать сердца, так как он смотрит в корень вещей. Это — его преподобие г. пастор *Мюллер* из Волау, который высказывается за дополнение Шульце. Господин пастор не намерен *задерживать собрание* и хочет только затронуть *один весьма существенный пункт*.

С этой целью г. пастор ставит перед собранием такой вопрос: «Данное предложение привело нас в сферу нравственности, и если мы возьмем его не с его *поверхностной стороны* (как это умудряются брать дело с его поверхностной стороны?), а в его *глубине* (бывает пустая глубина, как и пустая широта), то мы не сможем не признать, что, как бы ни тяжела была такая точка зрения, в данном случае дело идет не больше и не меньше, как о моральном признании восстания; *и поэтому я спрашиваю: морально восстание или нет?*»

Дело не в имеющем политическое значение партийном вопросе, а в чем-то бесконечно более важном: в теологически-философски-моральной проблеме. Собранию надлежит столкнуться с короной не относительно конституции, а относительно системы моральной философии. «Морально восстание или нет?» Все дело в этом. И какой ответ дал г. пастор притаившему дыхание собранию?

«Но я не думаю, что мы находимся в таком положении, что должны разрешить здесь этот высокий нравственный принцип!»

Господин пастор углубился в суть вопроса для того, чтобы заявить, что не может найти в нем никакой сути.

«Он был предметом размышления многих *глубокомысленных* людей, и все же они не пришли ни к какому определенному решению. Мы столь же мало достигнем необходимой ясности в ходе кратких прений».

Собрание точно поражено громом. Господин пастор ставит перед ним с резкой отчетливостью и со всей серьезностью, какой требует предмет, определенную нравственную проблему; он ставит ее перед ним, чтобы сейчас же вслед за тем объявить, что проблема эта неразрешима. В этом затруднительном положении соглашатели должны были почувствовать, что они действительно стоят уже «на почве революции».

Но, в сущности, это был лишь простой душеспасительный маневр г. пастора, чтобы привести собрание к раскаянию. У него есть в запасе капля бальзама для сокрушенных:

«Я полагаю, что существует еще третья точка зрения, которая здесь должна быть принята во внимание: жертвы 18 марта *действовали в состоянии, которое не позволяет принимать моральное суждение*»!!

Баррикадные борцы были невменяемы.

«Но если вы спросите меня, считаю ли я, что они имели *нравственное право*, то я отвечу решительно: да!»

Мы спрашиваем: если слово божие из провинции добывается избрания в Берлин только для того, чтобы докучать публике своей морализирующей казуистикой, *морально* это или *не морально*?!

Депутат *Гоффер* в своем качестве померанского крестьянина протестует против всего. «В самом деле, кто были солдаты? Разве это не наши братья и сыновья? Подумайте хорошенько о том, какое получится впечатление, если отец у берега моря (по-вендски: ро поге, т. е. Померания) услышит, как относятся здесь к его сыну!»

Войска могут вести себя, как хотят, они могут допускать, чтобы их превращали в орудие гнуснейшего предательства,—все равно, это наши бывшие померанские парни, а потому трижды ура в их честь!

Депутат *Шульце* из Ванцлебена: «Господа, берлинцы должны получить признание. Их мужество было безгранично. Они не только подавили боязнь перед пушками. Что значит страх быть пораженным *картечью*, если в противовес этому подумать об опасности подвергнуться в качестве *участника уличных беспорядков* суровому, может быть позорящему наказанию! *Мужество*, нужное для того, чтобы принять участие в *такой* борьбе, столь возвышенно, что перед ним *совершенно меркнет* мужество человека, открыто стоящего под пушечной пальбой!»

Таким образом, немцы не совершили революции до 1848 г. потому, что боялись полицейского комиссара.

Выступает министр *Шверин*, чтобы заявить, что он выйдет в отставку, если будет принято предложение Берендса.

Эльснер и *Рейхенбах* говорят против поправки Шульце.

Диршке замечает, что революцию следует признать, так как «борьба нравственной свободы еще не доведена до конца» и так как собрание тоже призвано к жизни «нравственной свободой» и т. д.

Якоби требует «полного признания революции со всеми ее последствиями». Его речь была наилучшая за все заседание.

Наконец, мы имеем удовольствие видеть, как, после стольких разговоров о нравственности, после такой большой порции скуки, нерешительности и примирительного настроения, на трибуну поднимается наш *Ганзман*. Наконец-то, теперь мы услышим нечто решительное, нечто вполне определенное... Но нет, г. Ганзман тоже выступает сегодня мягко, примиряюще. У него для этого свои основания, он ничего не делает, не имея для этого своих оснований. Он видит, что собрание колеблется, что исход голосования ненадежен, что подходящая поправка еще не придумана. Он требует отсрочки прений.

Поэтому он изо всех сил старается говорить коротко. Факт на лицо, — он неоспорим. Только одни называют его революцией, а другие — «крупным фактом». Мы не должны забывать, что у нас не было *революции*, как в Париже и еще ранее в Англии, — что у нас имело место *соглашение* между короной и народом (своеобразное соглашение при помощи картечи и ружейных пуль!) Но именно потому, что мы (министры) в некотором смысле не делаем никаких возражений *по существу дела*, а с другой стороны — необходимо найти такую формулу, которая сделала бы возможным сохранить ту основу, на которой стоит правительство, — нужно, чтобы продолжение прений было отложено, дабы министры могли посоветоваться между собою.

Подумать только, чего стоило нашему Ганзману сделать такой поворот и признать, что «основа», на которой стоит правительство, столь зыбка, что достаточно какой-нибудь «формулы», чтобы его низвергнуть! Утешить могло его только удовольствие снова поставить *вопрос о доверии*.

Прения были поэтому отложены.

IV.

Кельн, 14 июня.

Прения опять начинаются с продолжительных споров по поводу регламента. После прекращения их выступает г. *Захария*. Он предлагает поправку, которая должна вывести собрание из затруднительного положения. Найдено великое министерское слово. Оно гласит:

«Принимая во внимание, что высокое значение великих мартовских событий, которым мы благодаря королевскому согласию (которое само было «мартовским событием», хотя и не «великим») обязаны нынешним государственно-правовым положением, бесспорно является (!!) также заслугой борцов за него (а именно, за королевское согласие), и сверх того, принимая во внимание, что собрание усматривает свою задачу не в том, чтобы высказывать суждения (собрание должно заявить, что оно не имеет никакого суждения), а в том, чтобы *выработать по соглашению с короной конституцию*, — собрание переходит к очередным делам».

Это путаное, бессодержательное, во все стороны раскланивающееся предложение, относительно которого г. *Захария* льстит себя надеждой, что «всякий, даже г. Берендс, найдет в нем *все, что только он мог иметь в виду*, если он с добрыми намерениями вносил свое предложение», эта кислосладкая похлебка, — таково то «выражение», на «основе» которого «стоит» и может стоять министерство Кампгаузена.

Господин пастор *Сидов* из Берлина, ободренный успехом своего коллеги Мюллера, тоже всходит на кафедру. Нравственный вопрос вертится у него в голове. То, чего не мог решить Мюллер, сможет решить он.

«Господа, позвольте мне *сразу же* (после того, как он проповедывал уже полчаса) сказать здесь то, к чему меня побуждает чувство долга: если прения продолжаются, то в таком случае, по моему мнению, никто не должен молчать, пока не выполнит долга своей совести. (Браво!)

«Разрешите мне личное замечание. *Мое мнение* о революции таково (к делу! к делу!), что там, где происходит революция, она является лишь симптомом вины обеих сторон — как правящих, так и управляемых. Это (эта плоскость, этот самый дешевый способ отделаться от вопроса) представляет *высший нравственный взгляд* на дело, и (!) не станем превосходить *христиански-нравственный приговор* нации». (А для чего же эти господа, по их мнению, сидят здесь?) (Волнение. Крики: к порядку!)

«Но, господа, — продолжает неустрашимый защитник высшего нравственного взгляда и непревосхищенного христиански-нравственного приговора нации, — я не разделяю того мнения, что не может быть таких моментов, когда с элементарной неизбежностью выступает на сцену политическая самооборона (!) народа, и тогда, по моему мнению, *отдельная личность вполне нравственным образом может принять в ней участие* (благодаря казуистике мы спасены!). Конечно, *возможно и безнравственным образом*, — в таком случае это предоставляется его совести»!!

Баррикадные борцы должны предстать не перед так называемым национальным собранием, а перед попом в исповедальне. Это решает дело.

Г-н пастор *Сидов* заявляет еще, что он обладает «мужеством», распространяется о народном суверенитете с точки зрения высшего нравственного взгляда, еще трижды прерывается нетерпеливым шумом и удаляется на свое место с радостным сознанием, что выполнил долг своей совести. Мир знает теперь, какого мнения держится пастор Сидов и какого мнения он не разделяет.

Господин *Пленнис* говорит, что всю затею надо бросить. Ведь революция, обескровленная таким количеством поправок и дополнительных поправок, принятая с такими прениями и спорами, не имеет уже никакой ценности. Г. Пленнис прав. Но он не мог хуже удружить собранию, чем обращая внимание на это обстоятельство, на это доказательство трусости столь многих членов обеих сторон.

Г-н *Рейхенипергер* из Трира: «Мы здесь не для того, чтобы строить теории и *декретировать историю*, мы должны, по возможности, *делать историю*».

Отнюдь нет! Принятием мотивированного перехода к очередным делам собрание постановляет, что оно, напротив, существует для того, чтобы *аннулировать исторические события*. Впрочем, и это тоже способ «делать историю».

«Я напому изречение Верньо, что революция склонна пожирать своих собственных детей».

Увы, нет! Скорее она близка к тому, чтобы быть пожранной своими собственными детьми!

Г-н *Ридель* открыл, что под предложением Берендса *следует понимать не только то, что просто говорят слова*, но что оно скрывает принципиальный спор. И этой жертвой «высшего нравственного взгляда» является тайный архивный советник и профессор!

На сцену выступает еще один почтенный господин пастор. Это г. *Ионас*, берлинский дамский проповедник. Он, кажется, в самом деле принимает по ошибке собрание за аудиторию, состоящую из женщин образованных сословий. Со всей претенциозной широковежательностью настоящего ученика Шлейермахера он преподносит бесконечный ряд самых плоских общих мест по поводу столь важного различия между революцией и реформацией. Еще до того, как он закончил введение к своей проповеди, его трижды прервали; наконец, он разразился великой истиной:

«Революция, это — нечто такое, что прямо противоречит нашему современному религиозному и нравственному сознанию. Революция, это — деяние, которое, конечно, считалось великим и славным у древних греков и римлян, но в христианском мире... (Резкие возгласы. Общий шум. Эссер, Юнг, Эльснер, председатель и бесчисленные голоса вмешиваются в прения. Под конец популярному церковному оратору удается возобновить свою речь.)

«Во всяком случае я не признаю за собранием права голосовать по поводу религиозных и моральных принципов; по поводу таких принципов не может голосовать никакое собрание (а консистория, а синод?). Желать декретировать или заявлять, что революция представляет собою высокий нравственный образец или что-нибудь другое (значит, вообще что-нибудь), представляется мне равносильным тому, как если бы собрание хотело постановить, что существует бог или что бога не существует или что существует много богов».

Итак, дамский проповедник благополучно снова перевел вопрос в область «высшего нравственного взгляда», и теперь он естественно подлечит компетенции лишь протестантских соборов, синодских фабрикантов катехизиса.

Слава богу! После всего этого нравственного чада выступает, наконец, наш *Ганзман*. Имея дело с этим практическим умом, мы чувствуем себя в полной безопасности от «высшего нравственного взгляда». Г-н *Ганзман* устраняет всякую нравственную точку зрения одним неучтивым замечанием: «Располагаем ли мы, спрашиваю я вас, достаточным свободным временем, чтобы пускаться в подобные принципиальные споры?»

Г-н Ганземан вспоминает, что вчера один депутат говорил о рабочих, не имеющих хлеба. Г-н Ганземан использует это замечание для искусного хода. Он говорит о нужде рабочего класса, высказывает сожаление по поводу его нищеты и спрашивает: «В чем причина всеобщей нужды? Я думаю... каждый испытывает такое чувство, что у нас нет уверенности в прочности всего существующего, пока еще не упорядочено наше государственно-правовое положение».

Г-н Ганземан говорит в данном случае из глубины души. Доверие должно быть восстановлено! — восклицает он, — и лучшее средство для восстановления доверия, это — отречение от революции. И затем оратор министерства, которое «не видит никакой реакции», распространяется, рисуя возбуждающую ужас картину на тему о важности дружественного расположения реакции. «Заклинаю вас содействовать согласию и единению *всех классов* (наноса оскорбление классам, совершившим революцию); заклинаю вас содействовать единению между народом и войском; подумайте о том, что на войске покоятся наши надежды на упрочение нашей независимости (в Пруссии, где каждый житель — солдат!); подумайте о том, в каких тяжелых условиях мы находимся, — мне нет необходимости подробнее излагать вам это: *внимательный читатель газет* (а ими являются, конечно, все присутствующие здесь господа) *согласится*, что эти условия трудны, *в высшей степени трудны*. Я не считаю уместным в такой момент делать заявление, которое внесет в страну *раздор*... Поэтому, господа, постарайтесь *примирить* партии, не поднимайте вопросов, которыми вы *провоцируете противников*, тогда *это, без сомнения, произойдет*. Принятие данного предложения может иметь *самые печальные последствия*».

Как смеялись, должно быть, реакционеры, видя столь решительного обычно Ганземана нагоняющим страх не только на собрание, но и на самого себя!

Эта апелляция к страху крупных буржуа, адвокатов и школьных учителей палаты оказала большее действие, чем все чувствительные фразы о «высшем нравственном взгляде». Дело было решено; д'Эстер ринулся еще в бой, чтобы парализовать произведенное впечатление, но напрасно: прения были прекращены, и 196 голосов против 177 приняли мотивированный переход к очередным делам, предложенный Захарияэ.

Собрание этим само осудило себя, показав, что не имеет собственного суждения.

СОГЛАСИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 15 ИЮНЯ.

Кельн, 17 июня.

Мы говорили вам несколько дней тому назад: вы отрицаете существование революции. Второй революцией она докажет свое бытие.

События 14 июня представляют лишь первую зарницу этой второй революции, и министерство Кампгаузена находится уже в полном разложении. Согласительное заседание вынесло вотум доверия берлинскому народу, поставив себя под его охрану. Это — запоздалое признание мартовских борцов. Собрание взяло дело конституции из рук министров и пытается «столкнуться» с народом, назначив комиссию для рассмотрения всех петиций и адресов, касающихся конституции. Это — запоздалая отмена его заявления о некомпетентности. Собрание обещает начать свою конституционную работу крупным делом: уничтожением основного фундамента старого здания — существующих в деревне феодальных отношений. Это обет, данный в ночь 4 августа.

Одним словом: согласительное заседание 15 июня отреклось от своего собственного прошлого, как 9 июня оно отреклось от прошлого народа. Оно пережило свое 21 марта.

Но Бастилия еще не взята.

А между тем с Востока приближается апостол революции, неудержимо, безостановочно. Он стоит уже перед воротами Торна. Это царь. *Царь спасет германскую революцию тем, что централизует ее.*

СОГЛАСИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 ИЮНЯ.

Кельн, 19 июня.

«Ничему не научились и ничего не позабыли», — эти слова так же хорошо применимы к министерству Кампгаузена, как и к Бурбонам.

14 июня народ, возмущенный отрицанием революции соглашателями, ворвался в цейхгауз. Он хотел получить какую-нибудь гарантию против собрания и узнал, что лучшая гарантия — оружие. Цейхгауз был взят штурмом, народ сам вооружился.

Штурм цейхгауза, — событие без непосредственных результатов, на пол-дороге остановившаяся революция, — оказал, однако, свое влияние; во-первых, напуганное собрание отменило свое вчерашнее решение и заявило, что ставит себя под защиту берлинского населения; во-вторых, оно отреклось от министерства в одном «вопросе жизни» и большинством 46 голосов провалило кампгаузенский проект конституции; в-третьих, министерство сразу же развалилось: министры Каниц, Шверин и Ауэрсвальд вышли в отставку; из них до сего времени лишь Каниц замещен Шреккенштейном, а г. Кампгаузен 17 июня лишь испросил у собрания трехдневный срок для пополнения своего рассыпавшегося кабинета.

Все это было следствием штурма цейхгауза.

И в то же время, когда *результаты* самовооружения народа сказались столь разительно, правительство осмелилось рассматривать самый факт вооружения как преступное действие.

В то самое время, как собрание и министерство признали восстание, над участниками последнего было наряжено следствие, к ним применили старо-прусские законы, стали позорить их в собрании, изображая их обыкновенными ворами!

В тот самый день, как дрожащее собрание поставило себя под защиту борцов, бравших штурмом цейхгауз, приказы господ *Грисгейма* (комиссара военного министерства) и *Темме* (прокурора) объявили этих борцов «разбойниками» и «грабителями». «Либеральный» г. Темме, которого революция вернула из изгнания, начал

строгое следствие против продолжателей революции. Были арестованы *Корн*, *Левензон* и *Урбан*. По всему Берлину обыски следовали за обысками. Капитан *Нацмер*, проявивший достаточно благоразумия и такта, чтобы немедленно же понять необходимость своего отступления от цейхгауза, человек, своим мирным отступлением спасший Пруссию от новой революции и министров от величайших опасностей, — этот человек был предан военному суду, к нему были применены статьи, осуждавшие его на смерть.

Соглашатели, в свою очередь, оправившись от своего страха. В заседании от 17 июня они отреклись от борцов цейхгауза так же, как 9 июня отреклись от баррикадных борцов. В этом заседании от 17 июня произошло следующее.

Г-н Кампгаузен заявил собранию, что изложит ему теперь все обстоятельства дела, дабы оно решило, надлежит ли возбуждать следствие против министерства по поводу штурма цейхгауза.

Без сомнения, для обвинения министров было известное основание, но не потому, правда, что они стерпели штурм цейхгауза, а потому, что они *вызвали* его тем, что отняли у народа одно из значительнейших последствий революции — вооружение народа.

После г. Кампгаузена выступает комиссар военного министерства, г. Грисгейм. Он дает пространное описание находящегося в цейхгаузе оружия, а именно: ружей «совершенно новой конструкции, исключительной тайны Пруссии», оружия «исторического значения» и всяких прочих достопримечательностей. Он описывает охрану цейхгауза: наверху 250 солдат, внизу гражданская милиция. Он ссылается на то, что получение и рассылка оружия из цейхгауза, как главного арсенала всего прусского государства, почти не были прерваны мартовской революцией.

После всех этих предварительных замечаний, которыми он хотел снискать симпатии соглашателей к такому крайне интересному учреждению, как цейхгауз, г. Грисгейм перешел, наконец, к событиям 14 июня.

Внимание народа постоянно-де обращали на цейхгауз и на рассылку оружия; ему внушили, что оружие принадлежит ему.

Бесспорно, оружие принадлежит народу, во-первых, как национальное достояние и, во-вторых, как часть завоеванного и гарантированного вооружения народа.

Г-н Грисгейм «может с определенностью заверить, что первые выстрелы раздались из рядов народа по гражданскому ополчению». Это утверждение точь-в-точь напоминает легенду о «семнадцати убитых солдатах» в мартовские дни.

Г-н Грисгейм рассказывает далее, как народ ворвался в цейхгауз, как гражданская милиция отступила и как тогда было *раукрадено* «1 000 ружей новейшего образца, что является незаменимой потерей!» Капитана Нацмера уговорили отступить, т. е. совершить *нарушение долга*, и действительно войска отступили.

Тут г. комиссар военного министерства переходит к тому месту своего отчета, которое заставляет обливаться кровью его старо-прусское сердце: народ осквернил святыню старой Пруссии. Послушайте только:

«Но вот в верхних помещениях цейхгауза начались *форменные гнусности*. *Крали, грабили, опустошали*. Новое оружие сбрасывалось сверху вниз и разбивалось, древности, представляющие собой незаменимую ценность, ружья, украшенные серебром и слоновой костью, искусные, трудно восстановимые артиллерийские модели были разгромлены, *народной кровью добытые трофеи и знамена, с которыми связана честь нации, были разорваны и загажены!*» (Всеобщее негодование, крики со всех сторон: пфуй, пфуй!)

Это негодование старого вояки по поводу народного легкомыслия производит воистину комическое впечатление. Народ допустил «форменную гнусность» по отношению к старым шишакам, ополченским пикам и прочему гремящему хламу «незаменимой ценности»! Он сбрасывал вниз «новое оружие»! Какая гнусность для поседевшего на службе обер-лейтенанта, который должен был только в цейхгаузе благоговейно созерцать «новое оружие», в то время как его полк проделывал артикулы с самыми устарелыми ружьями! Народ разгромил модели пушек! Не требует ли г. Грисгейм, чтобы народ во время революции надевал лайковые перчатки? Но самое ужасное еще впереди, — трофеи старой Пруссии были поруганы и разорваны!

Г-н Грисгейм повествует нам тут о факте, который свидетельствует о совершенно правильном революционном такте, проявленном 14 июня берлинским народом. Растоптав ногами захваченные под Лейпцигом и Ватерлоо знамена, народ Берлина тем самым отрекся от освободительной войны. Первое, что должны сделать немцы в своей революции, это порвать со всем своим позорным прошлым.

Но старо-прусское собрание соглашателей естественно должно было кричать «пфуй! пфуй!» по поводу акта, в котором народ революционно выступил не только против своих угнетателей, но и против блестящих иллюзий своего собственного прошлого.

При всем напыщенном возмущении подобным бесчинством, г. Грисгейм не забывает отметить, что вся история «стоила государству 50 000 талеров и многим батальонам — оружия». Он продолжает:

«Поводом к нападению на цейхгауз вовсе не было стремление к вооружению народа. Разграбленное оружие распродано было впоследствии за жалкие гроши».

По г. Грисгейму штурм цейхгауза был просто-напросто делом шайки воров, которые украли ружья, чтобы продать их за водку. Но почему «грабители» разгромили именно цейхгауз, а не богатые лавки ювелиров и менял, об этом комиссар военного министерства умолчал.

«По отношению к несчастному (!) капитану проявлено было живое участие за то именно, что он нарушил свой долг, только бы, как говорят, не пролить кровь граждан; больше того, это деяние изобразили как заслуживающее признательности и благодарности; сегодня его посетила даже депутация, которая требует, чтобы это деяние было признано заслуживающим благодарности всего отечества. (Возмущение.) Это были депутаты различных клубов под председательством асессора Шрамма. (Возмущение правых и крики: пфуй!) Между тем совершенно бесспорно, капитан нарушил первый и важнейший долг солдата — он оставил свой пост вопреки определенно данной ему инструкции не покидать поста без особого приказа. Ему внушили, что своим отступлением он спасет трон, что все войска покинули город и что король бежал в Потсдам. (Возмущение.) *Он поступил подобно коменданту, который в 1806 году тоже просто-напросто сдал вверенную ему крепость, вместо того, чтобы защищать ее.* Что касается возражений, будто своим отступлением он помешал пролитию крови граждан, то оно отпадает само собой; ни один волос не упал бы ни с чьей головы, так как он сдал пост в ту самую минуту, когда на помощь ему подошла остальная часть батальона». (Крики браво на правых скамьях, шиканье на левых.)

Г-н Грисгейм опять-таки забыл, что благоразумие капитана Нацмера спасло Берлин от новой вооруженной борьбы, министров — от величайшей опасности, монархию — от крушения. И тут г. Грисгейм снова оказывается типичным обер-лейтенантом, который в поведении Нацмера не видит ничего другого, как нарушение субординации, трусливое оставление поста и измену по известному старо-прусскому образцу 1806 г. Человек, которому монархия обязана своим спасением, должен быть приговорен к смерти. Прекрасный пример для всей армии!

А как вело себя собрание во время рассказа г. Грисгейма?

Оно было эхом его возмущения. Левая протестовала под конец шиканием. Берлинская левая ведет себя вообще все трусливее, все

двузначеннее. Эти господа, которые использовали народ на выборах, — где были они в ночь на 14 июня, когда народ просто по беспомощности своей упустил завоеванные выгоды и когда ему не доставало только вождя, чтобы сделать свою победу полной? Где были господа Берендс, Юнг, Эльснер, Штейн, Рейхенбах? Они оставались дома или обивали пороги у министров с безобидными представлениями. И это еще не все! Они не осмелились даже защитить народ от клеветы и оскорблений правительственного комиссара. Ни один оратор не выступил. Ни один не пожелал взять на себя ответственность за выступление народа, давшее им первую победу. Они отважились только на *шканье*! Какой героизм!

ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ.

Кельн, 17 июня.

Новая познанская кровавая баня готовится в Богемии. Австрийская военщина утопила в чешской крови возможность мирного сожительства чехов и немцев.

Князь Виндишгрец выставил на Вышеграде и Градшине¹ пушки против Праги. Концентрируются войска, и готовится нападение на Славянский конгресс и чехов.

Народ узнает об этих приготовлениях. Он стекается ко дворцу князя и требует оружия. Ему в этом отказывают. Возбуждение усиливается, вооруженные и невооруженные массы растут. Тут раздается выстрел из гостиницы, расположенной против дворца коменданта, и княгиня Виндишгрец падает смертельно раненая. Тут же на месте отдается приказ к атаке, гренадеры наступают и оттесняют народ. Но повсюду вырастают баррикады и сдерживают войско. Выкатываются пушки, и баррикады сносятся картечью. Кровь течет потоками. Борьба длится всю ночь с 12-го на 13-е и еще в течение всего 13 июня. Наконец, солдатам удается овладеть широкими улицами и оттеснить народ в более узкие части города, где нельзя пускать в ход артиллерию.

Таковы наши последние известия. К этому прибавляют, что многих членов Славянского конгресса под сильным конвоем выслали из города. Таким образом, войска, по крайней мере частично, победили.

Чем бы, однако, ни окончилось восстание, — истребительная война немцев против чехов остается теперь единственным возможным выходом.

Немцам приходится в своей революции искупать грехи всего своего прошлого. Они искупили их в Италии. В Познани они опять навлекли на себя проклятие всей Польши. А теперь пришел черед

¹ [Градшин — старинный замок, возвышающийся над Прагой. Вышеград — цитадель на берегу Молдавы.]

Богемии. Французы, даже там, куда они приходили как враги, умели снискать себе признание и симпатии. Немцы же нигде не признаются и нигде не встречают симпатии. Даже там, где они выступают великодушными апостолами свободы, их отталкивают с горькой насмешкой.

И по заслугам. Нация, позволившая превратить себя на протяжении всей своей истории в орудие угнетения всех других наций, — такая нация должна раньше доказать на деле свою действительную революционность. Она должна это доказать не только двумя-тремя половинчатыми революциями, которые не имеют никаких иных результатов, кроме сохранения под другими личинами старой нерешительности, слабости и отсутствия единства, — революциями, во время которых Радецкий остается в Милане, Коломб и Штейнэкер — в Познани, Виндишгрец — в Праге, Гюзер — в Майнце, как будто ничего не случилось.

Революционная Германия должна была, особенно в отношении соседних народов, отречься от всего своего прошлого. Вместе со своей собственной свободой она должна была провозгласить свободу тех народов, которые доселе ею угнетались. А что *сделала* революционная Германия? Она совершенно подтвердила и освятила старое угнетение Италии, Польши, а затем и Богемии при помощи немецкой военщины. Кауниц и Меттерних совершенно оправданы.

И после этого немцы требуют, чтобы чехи им доверяли! И после этого осуждают чехов за то, что они не желают присоединиться к нации, которая, освобождаясь сама, в то же время угнетает и оскорбляет другие нации! Осуждают их за то, что они отказались избрать депутатов в такое представительное собрание, как наше незадачливое, трусливое, за свой собственный суверенитет дрожащее франкфуртское Национальное собрание! Вменяют им в вину, что они отреклись от импотентного австрийского правительства, которое со своей беспомощностью и парализованностью, кажется, для того только и существует, чтобы не предупредить или, по крайней мере, организовать распад Австрии, а только констатировать его, — от правительства, которое само слишком слабо для того, чтобы освободить Прагу от пушек и солдат какого-нибудь Виндишгреца!

Но больше всего заслуживают сожаления сами храбрые чехи. Победят они или будут разбиты, их гибель неотвратима. Благодаря четырехвековому угнетению со стороны немцев, которое продолжается теперь в уличных боях в Праге, чехи толкаются в объятия русских. В той великой борьбе между Востоком и Западом

Европы, которая вспыхнет в самое короткое время, — быть может, через несколько недель, — несчастная судьба поставит чехов на сторону русских, на сторону деспотизма против революции. Революция победит, и чехи будут первыми, которые будут ею подавлены.

Вину за это поражение чехов опять-таки несут немцы. Ибо немцы предали их русским.

ПОПРАВКА ШТУППА.

Кельн, 20 июня.

Г-н *Штупп* из Кельна внес к закону о неприкосновенности депутатов поправку, которая не подвергалась обсуждению в согласительном собрании, но, пожалуй, не лишена интереса для его кельнских сограждан. Мы не хотим отнять у них удовольствие насладиться этим произведением законодательного искусства.

Поправка депутата Штуппа.

§ 1. Ни один член собрания не может быть каким бы то ни было образом привлечен к ответственности за свои голосования или за высказанные им, в качестве депутата, слова и мнения.

Поправка: «Вычеркнуть слово «слова» в третьей строке».

Мотивировка: «Достаточно, чтобы депутат имел право свободно высказывать свое мнение. Под выражение «слова» могут быть подведены также оскорбления чести, которые дают оскорбленному право на гражданский иск. Защита депутатов от такого рода жалоб кажется мне идущей вразрез с авторитетом и честью собрания».

Достаточно, чтобы депутат совсем не высказывал никакого мнения, а только стучал по пюпитру и голосовал. В самом деле, зачем не вычеркнуть также и «мнения»? Ведь мнения должны быть выражены «словами» и могут быть выражены даже «оскорбительными для чести» словами; к тому же под выражение «мнения» могут быть «подведены» также оскорбительные для чести мнения?

§ 2. Ни один член собрания за все время существования последнего не может быть привлечен к ответственности или арестован без согласия собрания за какое-либо действие, подлежащее каре, исключая случаев, когда он подвергается задержанию в момент совершения преступления или в течение 24 часов после него. «Такое же согласие необходимо при аресте за долги».

Поправка: «Вычеркнуть заключительную фразу: «Такое же согласие необходимо при аресте за долги».

Мотивировка: «Здесь содержится вмешательство в частные права граждан, санкционирование которого мне представляется

опасным. Как сильно ни заинтересовано может быть собрание в том, чтобы иметь в своей среде того или иного депутата, я все же считаю, что уважение к *частным правам* имеет еще большее значение.

«В особенности же следует подумать о том, что этот закон мы принимаем не для будущего, т. е. не для членов какой-либо будущей палаты, а *для нас* самих. Если предположить, что среди нас есть члены, могущие опасаться ареста за долги, то на наших избирателей, без сомнения, произвело бы скверное впечатление, если бы мы пожелали, при помощи нами самими принятого закона, оградить себя от *правомерного* преследования со стороны наших кредиторов».

Или, скорее, наоборот! На г. Штуппа производит скверное впечатление, что избиратели послали «в нашу среду» членов, которые могут быть арестованы за долги. Какое счастье для *Мирабо* и *Фокса*, что они жили не под действием законодательства Штуппа. Одно единственное затруднение заставляет г. Штуппа поколебаться на один момент, а именно — «заинтересованность собрания в том, чтобы иметь в своей среде того или иного депутата». *Заинтересованность народа* — впрочем, кто станет говорить о ней? — речь идет лишь об интересах «замкнутой корпорации», желающей иметь данное лицо в своей среде, тогда как кредитор желает видеть его в арестном доме. Столкновение двух серьезных интересов! Господин Штупп мог бы дать своей поправке более точную формулировку: лица, обремененные долгами, могут быть избираемы в народные представители только с дозволения соответствующих кредиторов. В любой момент они могут быть отозваны своими кредиторами. А в последней инстанции собрание и правительство подчинены высочайшему решению *государственных кредиторов*.

Вторая поправка к § 2:

«Ни один член собрания без согласия последнего не может во время его заседаний подвергаться по поводу выполнения своих депутатских полномочий аресту или преследованию за какое-либо наказуемое действие, исключая ареста на месте преступления».

Мотивировка: «Слово «собрание» взято в первую очередь в смысле корпорации, а потому выражение «существование последнего» представляется неподходящим, и я предлагаю: «во время его заседаний».

«Вместо «действие, подлежащее каре», представляется более подходящим выражение: «наказуемое действие».

«Я держусь того мнения, что мы не должны исключить *гражданские жалобы* по поводу наказуемых действий, потому что в против-

ном случае мы позволили бы себе нарушение *частных прав*. Поэтому и предлагается добавить «по поводу выполнения своих депутатских полномочий». Если останется добавление «или в течение 24 часов после него и т. д.», то судья сможет арестовать любого депутата в течение 24 часов после какого-либо проступка.

Законопроект обеспечивает неприкосновенность депутатов во время существования собрания, поправка г. Штуппа — «во время его заседаний», т. е. в течение 6, самое большое — 12 часов в сутки. И какая остроумная мотивировка. Можно говорить о *продолжительности заседания*, а не о *продолжительности существования корпорации*.

По поводу выполнения депутатских полномочий г. Штупп не хочет допускать ни преследования, ни ареста депутатов без согласия собрания. Он, следовательно, вторгается в область *уголовного права*. Но в *порядке гражданской жалобы!* Лишь бы не вторжение в область гражданского права! Да здравствует гражданское право! То, что не подобает государству, должно подобать частному лицу! Гражданская жалоба выше всего! Гражданская жалоба представляет *idée fixe* г. Штуппа. Гражданское право, это — Моисей и пророки! Клянитесь гражданским правом, в особенности — гражданским иском! Уважайте святая святых!

Нет никакого вторжения частного права в право публичное, но бывают «опасные» вторжения публичного права в частное право. Для чего вообще нужна еще конституция, раз мы обладаем гражданским кодексом, гражданскими судами и адвокатами?

§ 3. Всякое уголовное преследование против члена собрания и всякий арест прекращаются на время заседаний, если этого требует собрание.

К § 3 — поправка, следующим образом изменяющая формулировку:

«Всякое уголовное преследование против члена собрания и всякий арест, состоявшийся вследствие него, если только он не последовал в силу *определения судьи*, должны быть прекращены, поскольку собрание постановит это».

Мотивировка: «Наверное, не имеется в виду выпускать из арестного дома таких депутатов, которые уже приговорены судебным постановлением к тюремному заключению».

«Если эта поправка пройдет, то она относится и к тем, кто находится под арестом за долги».

Разве собрание может питать изменническое намерение парализовать «силу судебного постановления» или даже призвать в свою

среди человека, находящегося из-за долгов «под арестом»? Господин Штупп трепещет перед таким покушением на гражданский иск и на силу судебного постановления. Все вопросы народного суверенитета нашли теперь свое разрешение. Г. Штупп провозгласил суверенитет *гражданского иска и гражданского права*. Как жестоко отрывать такого человека от граждански-правовой практики и кидать в *подчиненную сферу* законодательной власти! Суверенный народ совершил это «опасное» вторжение в область «частного права». Г-н Штупп вчиняет поэтому гражданский иск против народного суверенитета и публичного права.

А император Николай может спокойно повернуть назад. При самом переходе через прусскую границу ему навстречу выйдет депутат Штупп, держа в одной руке «гражданский иск», а в другой — «судебное постановление». Ибо, — объясняет он с надлежащей торжественностью, — война, что такое война? Опасное вторжение в частное право! Опасное вторжение в частное право!

НОВАЯ ПОЛИТИКА В ПОЗНАНИ.

Кельн, 20 июня.

Опять новый поворот в познанском вопросе! После стадии возвышенных обещаний и восторженных прокламаций, после стадии Виллисена наступила стадия Пфуля с прапнелью, наложением клейм и бритыми головами, стадия кровавой бани и русского варварства. После стадии Пфуля теперь наступает новая стадия примирения!

Майор *Ольберг*, начальник генерального штаба в Познани и главный участник резни и клеймений, неожиданно, не по своей воле переведен в другое место. Генерал *Коломб* тоже не по своему желанию переводится из Познани в Кенигсберг. Генерал *Пфуль* (фон-Гелленштейн) вызван в Берлин, а обер-президент Бейрман уже прибыл туда.

Таким образом, Познань совершенно покинута рыцарями, имевшими в гербе адский камень (Höllenstein) и размахивавшими бритвой, хабрецами, из надежного прикрытия расстреливавшими прапнелью на расстоянии в 1 000 и 1 200 шагов беззащитных крестьян с косами. Немецко-еврейские полякосты трепещут; как раньше поляки, так теперь они видят себя преданными правительством.

У министерства Кампгаузена внезапно упала повязка с глаз. Опасность русского вторжения показывает ему теперь, какую громадную ошибку оно сделало, предоставив поляков ярости бюрократии и померанского ландвера. Теперь оно хотело бы любой ценой вновь снискать симпатии поляков, — теперь, когда уже слишком поздно!

Итак, вся кровавая — на истребление — война против поляков, со всеми жестокостями и варварством, которые вечным позором останутся на германском имени, справедливая смертельная ненависть поляков к нам, неизбежный теперь русско-польский союз против Германии, союз, благодаря которому враги революции усилены храбрым 20-миллионным народом, — все это произошло и было сделано только для того, чтобы г. Кампгаузен, в конце концов, имел случай пробормотать свое *pater, resscavi* (отец, я согрешил).

Неужели г. Кампгаузен думает, что теперь, когда он нуждается в поляках, он может сладкими речами и уступками вновь приобрести их симпатии, затопленные в крови? Неужели он думает, что заклеянные руки станут когда-либо сражаться за него, обритые лбы станут ради него подставлять себя под русские сабли? Неужели он в самом деле думает, что сможет когда-либо повести тех, кто уцелел от прусской прапнели, против русской картечи?

И неужели г. Кампгаузен думает, что он может еще оставаться в правительстве после того, как он сам столь недвусмысленно признал свою неспособность?

ПАДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КАМПГАУЗЕНА.

Кельн, 22 июня.

Как ярко солнце ни свети,
А все ж оно должно зайти.

И солнце, окрашенное горячей польской кровью в день 30 марта, тоже зашло.

Министерство Кампгаузена облачило контр-революцию в свой буржуазно-либеральный наряд. Контр-революция чувствует себя достаточно сильной, чтобы сбросить с себя эту стеснительную маску. Любое нежизнеспособное министерство левого центра может, пожалуй, на несколько дней сменить министерство 30 марта. Но подлинным его преемником является министерство принца Прусского. Кампгаузену принадлежит честь даровать абсолютистско-феодальной партии ее естественного вождя и себе самому — преемника.

К чему дольше баловать буржуазных опекунов? Разве русские войска не стоят на восточной границе, а прусские на западной? Разве поляки при помощи шрапнели и картечи не отданы в жертву русской пропаганде? Разве не были приняты все меры, чтобы повторить пражскую бомбардировку во всех почти рейнских городах? И разве в датской и польской войнах, во многих мелких конфликтах между войсками и народом, армия не имела достаточно времени, чтобы превратиться в разнузданную солдатчину? Разве буржуазия не устала от революции? И не встает ли посреди моря скала — Англия, на которой контр-революция созиждет свою церковь?

Министерство Кампгаузена пытается еще снискать последние гроши популярности, оживить общественные симпатии своими уверениями, что оно, обманутое, сходит с государственных подмостков. И, конечно, перед нами обманутый обманщик. Служа крупной буржуазии, оно должно было обманывать народ насчет демократических плодов революции; в борьбе с демократией оно должно было вступить в союз с аристократической партией и стать орудием ее контр-революционных вождедений.

Аристократическая партия достаточно окрепла, чтобы иметь возможность выбросить за борт своего покровителя. Г-н Кампаузен посеял реакцию в духе крупной буржуазии, а пожал ее в духе феодальной партии. Таково было доброе намерение нашего героя, и такова была его злая участь. Грош популярности для обманутого в ожиданиях героя.

Грош популярности! —

Как ярко солнце ни свети,
А все ж оно должно зайти.

Однако на востоке оно снова всходит.

**ИЮНЬСКАЯ БОЙНЯ В ПАРИЖЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ГЕРМАНИЮ**

ИЗВЕСТИЯ ИЗ ПАРИЖА.

Кельн, 26 июня.

I.

Известия, только что полученные из Парижа, занимают так много места, что мы вынуждены отказаться пока от их обсуждения.

Поэтому всего два слова к нашим читателям. *Отставка Ледрю-Роллена и Ламартина*, как и их министров, *военная диктатура Кавеньяка* перенесена из Алжира в Париж, *Марраст* — гражданский диктатор, *Париж залит кровью*, *восстание разрастается в грандиозную революцию пролетариата против буржуазии*, — таковы последние известия из Парижа. *Гигантской июньской революции* мало трех дней, как *июльской и февральской революциям*, но *победа народа* более несомненна, чем когда-либо. *Французская буржуазия осмелилась на то, на что не решались французские короли; она сама бросила свой жребий на весь истории. Этим вторым актом французской революции начинается европейская трагедия.*

II.

Парижские рабочие *подавлены* превосходными силами врагов своих, но *не поддались им*. Они *разбиты*, но их враги — *побеждены*. Минутное торжество грубой силы куплено крушением всех обольщений и иллюзий февральской революции, разложением всей старореспубликанской партии, расколом французской нации на две нации — нацию собственников и нацию рабочих. Трехцветная республика отныне носит *один цвет*, цвет побежденных, *цвет крови*. Она стала *красной республикой*.

Ни одного республиканского вождя с именем на стороне народа, ни из «Réforme», ни из «National». Без всяких других вождей, без других средств, кроме мятежа, народ сопротивлялся объединенной буржуазии и военнице дольше, чем французская династия, вооруженная всем военным аппаратом, сопротивлялась какой-нибудь фракции буржуазии, объединявшейся с народом. И как бы для того, чтобы народ отделался от последних иллюзий и совершенно порвал с прошлым, случилось так, что обычная поэтическая прикраса французских восстаний в лице исполненных энтузиазма представителей буржуазной молодежи, питомцев Политехнической школы, так называемые треуголки, на этот раз была на стороне угнетателей. Студенты медицинского факультета отказывали в помощи науки раненым плебеям. Наука не существует для плебея, который совершил неслыханное, небывалое преступление — попытался бороться за свое собственное существование, вместо того чтобы проливать кровь за Луи-Филиппа или за г. Марраста.

Последний официальный пережиток февральской революции, — Исполнительная комиссия, — разлетелся, как призрак, перед серьезностью события; световые шары Ламартина превратились в зажигательные ракеты Кавеньяка.

«Fraternité», братство противоположных классов, из которых один эксплуатирует другой, это братство, возвещенное в феврале, огромными буквами начертанное на лбу Парижа, на каждой тюрьме, на каждой казарме, где оно? Его истинным, неподдельным, прозаическим выражением является *гражданская война*, гражданская

война в своем самом страшном облики, война труда и капитала. Это братство пылало пред всеми окнами Парижа вечером 25 июня, когда Париж буржуазии устроил иллюминацию в то время, как Париж пролетариата сгорал в огне, истекал кровью, испускал стоны.

Братство продолжалось до того момента, покуда интересы буржуазии совпадали с интересами пролетариата. Педанты старых революционных преданий 1793 г.; социалистические доктринеры, которые просили для народа милостыню у буржуазии и которым дозволено было читать длинные проповеди, компрометировать себя, пока им не удастся убаюкать пролетарского льва; республиканцы, домогавшиеся всего старого буржуазного порядка только без коронованного главы; династические оппозиционеры, которым случай преподнес вместо смены министерства крушение династии; легитимисты, стремившиеся не сбросить ливрею, а только изменить ее покрой, — вот союзники, с которыми народ совершил свой февраль. То, что народ инстинктивно ненавидел в *Луи-Филиппе*, был не сам Луи-Филипп, а коронованное господство класса, капитал на троне. Но великодушный, как всегда, он считал, что уничтожил своего врага, свергнув лишь врага своего врага — общего врага.

Февральская революция была прекрасная революция, революция всеобщих симпатий, ибо противоречия, которые вспыхнули в ней против королевской власти, еще дремали согласно, рядышком, в *неразвернушемся* виде, ибо социальная борьба, составлявшая их подкладку, вела пока лишь призрачное существование, существование фразы, слова. *Июньская революция*, напротив, революция *отвратительная*, отталкивающая, потому что на место фразы выступило дело, потому что республика обнажила голову чудовища, сбив с него замаскировывавшую и скрывавшую его корону.

Порядок! — таков был боевой клич Гизо. *Порядок!* — вопил гизотист Себастиани, когда Варшава стала русской. *Порядок!* — вопит Кавеньяк — это грубое эхо французского Национального собрания и республиканской буржуазии. *Порядок!* — гремит его карточка, разрывая тело пролетариата.

Ни одна из бесчисленных революций французской буржуазии, начиная с 1789 года, не была покушением на *порядок*, так как все они оставляли в неприкосновенности классовое господство, рабство рабочих и *буржуазный порядок*, как бы часто ни менялась политическая форма этого господства и этого рабства. Июнь покусился на этот *порядок*. Горе июню!

При *временном правительстве* было признаком хорошего тона, больше того — необходимостью, внушать великодушным рабочим

(это была одновременно политика и мечта), тем самым рабочим, которые, как это значилось в тысячах официально отпечатанных плакатов, *«пожертвовали уже в пользу республики три месяца нужды»*, что февральская революция сделана в их собственных интересах и что в февральской революции дело якобы идет прежде всего об интересах рабочих. Со времени открытия Национального собрания все стало более прозаическими. Дело шло уже только о том, чтобы, как выразился министр Трела, вернуть труд к прежним условиям. И так, рабочие дрались в феврале затем, чтобы быть ввергнутыми в пучину промышленного кризиса.

Усилия Национального собрания сводятся к тому, чтобы сделать февраль как бы не бывшим, по крайней мере для рабочих, и отбросить их к старым отношениям. Но даже этого не случилось, так как столь же мало во власти какого-нибудь собрания, как и короля, приказать промышленному кризису универсального характера: *до сих пор — и ни шагу дальше!* Само Национальное собрание в своем грубом рвении покончить с досадной февральской фразеологией не провело даже тех мероприятий, которые были возможны на почве старых отношений. Парижских рабочих от 17 до 25 лет оно либо заставляло поступать в армию, либо выбрасывало на улицу; иностранных рабочих оно высылало из Парижа в Солонь даже без уплаты им причитающихся при увольнении со службы и расчете денег; взрослым парижанам оно обеспечило временно милостыню в организованных на военный манер мастерских, под условием отказа от участия в каких бы то ни было народных собраниях, т.-е. под условием, что они перестанут быть республиканцами. Но недостаточно было ни сантиментальной риторики после февраля, ни жестокого законодательства после 15 мая. Надо было решить вопрос на деле, на практике. Что ж вы, каналы, *для себя* или *для нас* сделали февральскую революцию? Буржуазия поставила вопрос таким образом, что в июне на него должен был последовать ответ картечью и баррикадами.

И все-таки на все Национальное собрание, как выразился 25 июня один из народных представителей, напал столбняк. Депутаты были огорошены, когда вопрос и ответ затопили кровью мостовые Парижа; огорошены — одни потому, что иллюзии их рассеялись, как дым, другие — потому, что не могли в толк взять, как это народ *отважился* самостоятельно отстаивать *свои самые кровные интересы*. Чтобы уразуметь это странное явление, измышляли разные небылицы вроде русского золота, английского золота, бонапартовского орла, королевских лилий и амулетов всякого рода. Однако обе части Национального собрания почувствовали, что их

отделяет от народа непроходимая пропасть. Никто не осмелился поднять свой голос в защиту народа.

Как только столбняк прошел, поднялся вихрь бешенства. Большинство с полным правом освистало жалких утопистов и лицемеров, которые повторяли звучавшие анахронизмом громкие фразы о «fraternité», о братстве. Дело шло именно об уничтожении этой громкой фразы и иллюзий, которые заключены в этом многозначительном лозунге. Когда легитимист Ларошжаклен, этот рыцарь-утопист, рвал и метал против позора и возглашал: «Vae victis! Горе побежденным!» — большинство собрания предалось пляске св. Витта, как если бы его укусил тарантул. Оно кричало: «Горе рабочим!», чтобы скрыть, что «побежденным» является не кто иной, как оно само. Либо оно, либо республика должны были теперь погибнуть. И поэтому оно судорожно выло: «Да здравствует республика!»

Глубокая пропасть, разверзшаяся перед нами, должна ли нас, демократов, ввести в заблуждение, заставить думать, что борьба за государственные формы бесцельна, иллюзорна, ничемна?

Только слабые, трусливые умы могут ставить этот вопрос. Столкновения, возникающие из самых условий буржуазного общества, нужно пребороть, их нельзя изжить фантазерством. Лучшая форма государства — та, в которой общественные противоречия не затушевываются, не сковываются насильственно, следовательно только искусственно, только по видимости. Лучшая форма государства — та, в которой эти противоречия сталкиваются в свободной борьбе и тем самым находят свое разрешение.

Нас спросят, неужели у нас не найдется ни одной слезы, ни одного вздоха, ни одного слова для жертв народной ярости, для национальной гвардии, для легкой гвардии, для республиканской гвардии, для линейных войск?

Государство позаботится об их вдовах и сиротах, декреты превознесут их, торжественные погребальные процессии предадут земле их останки, официальная пресса провозгласит их бессмертными, европейская реакция будет славить их от запада до востока.

Но плебеи истерзаны голодом, оплеваны прессой, покинуты врачами, устами *честных* ославлены ворами, поджигателями и каторжниками; их жены и дети повергнуты в еще более безграничную нищету; их лучшие, уцелевшие от разгрома представители сосланы за море... Вокруг их грозно-мрачного чела обвить лавровый венок есть *привилегия*, есть право демократической печати.

ХОД ДВИЖЕНИЯ В ПАРИЖЕ.

I.

[Без даты.]

Постепенно становится возможным разобраться в событиях июньской революции. Сообщения поступают в более полном виде, получается возможность отделить факты от слухов и от лжи. Характер восстания вырисовывается яснее. Чем более удастся схватить внутреннюю связь событий четырех июньских дней, тем большее изумление вызывают огромные размеры восстания, героическая храбрость, быстро импровизированная организация и единодушие инсургентов.

План военных действий рабочих, составленный, как говорят, Керсози, другом Распайля и бывшим офицером, сводился к следующему.

Инсургенты должны были двинуться концентрически четырьмя колоннами на ратушу.

Первая колонна, операционной базой которой были предместья Монмартр, Ла-Шапель и Ла-Виллет, должна была двинуться от застав Пуассоньер, Рошешуар, Сен-Дени и Ла-Виллет на юг, занять бульвары и подойти к ратуше через улицы Монторгейль, Сен-Дени и Сен-Мартен.

Вторая колонна, базой которой были населенные почти исключительно рабочими и прикрытые каналом Сен-Мартэн предместья Тампль и Сент-Антуан, должна была двинуться туда же по улицам Тампль и Сент-Антуан и по набережным северного берега Сены, а также по всем параллельным улицам лежащего между ними квартала.

Третья колонна, с базой в предместье Сен-Марсо, должна была двинуться по улице Сен-Виктор и по набережным южного берега Сены на остров Ситэ (l'île de la Cité).

Четвертая колонна, опиравшаяся на предместье Сен-Жак и на район Медицинской школы, должна была двинуться по улице Сен-Жак также на Ситэ. Отсюда обе колонны, соединившись, должны

были двинуться через правый берег Сены и взять ратушу с тылу и с флангов.

План, как мы видим, вполне правильно опирался на населенные исключительно рабочими части города, которые окружают полукругом всю восточную половину Парижа и расширяются по мере приближения к восточной части города. Предполагалось сперва очистить от всех врагов восточную часть Парижа и лишь потом двинуться по обоим берегам Сены на западную часть и ее центры, Тюильри и Национальное собрание.

Эти колонны должен был поддерживать ряд летучих отрядов, которые должны были самостоятельно действовать между ними, воздвигать баррикады, занимать малые улицы и поддерживать связь между колоннами.

На случай отступления операционные базы были сильно укреплены и превращены, по всем правилам военного искусства, в сильные крепости. Такие укрепления воздвигнуты были в Кло-Сен-Лазар, в предместье и в квартале Сент-Антуан и в предместье Сен-Жак.

Единственная ошибка этого плана состояла в том, что он в первой стадии операций оставил без всякого внимания западную часть Парижа. Там расположено по обеим сторонам улицы Сент-Оноре, у зданий рынка и Палэ Насиональ,¹ несколько чрезвычайно удобных для повстанческих действий кварталов, имеющих очень узкие и кривые переулки и населенных преимущественно рабочими. Было чрезвычайно важно заложить там пятый очаг восстания и этим, с одной стороны, отрезать ратушу, а с другой — связать с этим выдающимся аванпостом значительные боевые силы. Успех восстания зависел от того, удастся ли с возможной быстротой продвинуться в центр Парижа и обеспечить захват ратуши. Мы не знаем, в какой мере для Керсози было невозможно организовать в этом квартале повстанческие действия. Но факт тот, что ни одно восстание не имело успеха, если оно с самого же начала не завладевало этим центром Парижа, примыкающим к Тюильри. Напомним лишь о восстании во время похорон генерала Ламарка, которое также успело продвинуться вплоть до улицы Монторгейль, но затем было оттеснено.

Инсургенты стали действовать, следуя своему плану. Они немедленно стали отделять свою территорию, рабочий Париж, от Парижа буржуазии двумя рядами баррикад: баррикадами ворот Сен-Дени и баррикадами на Ситэ. Из первых баррикад они были выбиты,

¹ [Бывший Палэ-Рояль.]

вторые же им удалось удержать. Первый день, 23 июня, был лишь прологом. План инсургентов вырисовался вполне отчетливо (как вполне правильно поняла его с самого начала «Новая рейнская газета», № 26, экстренное прибавление), а именно после первых аванпостных стычек, имевших место еще утром. Бульвар Сен-Мартен, пересекающий операционную линию первой колонны, стал ареной кровопролитных боев, которые закончились там победой «Порядка», обусловленной отчасти характером местности.

Доступы к Ситэ были отрезаны справа летучим отрядом, занявшим улицу Планш-Мибрэ, слева — третьей и четвертой колоннами, занявшими и укрепившими три южных моста Ситэ. Там также развернулся чрезвычайно ожесточенный бой. «Порядку» удалось овладеть мостом Сен-Мишель и продвинуться вперед вплоть до улицы Сен-Жак. Он рассчитывал к вечеру подавить восстание.

Если план инсургентов вырисовался уже отчетливо, то в еще большей степени это можно сказать относительно плана «Порядка». Его план сводился к тому, чтобы всеми средствами раздавить восстание. Об этом намерении он заявил инсургентам пушечными ядрами и картечью.

Однако правительство полагало, что имеет дело с неорганизованной бандой обычных, действующих без всякого плана, мятежников. Очистив к вечеру главные улицы, оно заявило, что восстание подавлено, и чрезвычайно небрежно заняло завоеванные части города войсками.

Инсургенты сумели великолепно использовать эту небрежность, начав после аванпостных боев 23 июня генеральное сражение. Вообще удивительно, как быстро усвоили себе рабочие операционный план, как планомерно они друг друга поддерживали, как искусно они сумели использовать пересеченную местность. Это осталось бы совершенно непонятным, если бы рабочие не были организованы почти на военный лад уже в Национальных мастерских и не были разбиты на роты, так что им оставалось только приспособить уже существовавшую организацию к начавшимся боевым действиям, чтобы тотчас же образовать совершенно правильно расчлененную армию.

Утром 24 июня не только потерянная территория была целиком возвращена, но занята и новая территория. Правда, линия бульваров вплоть до бульвара Тампль оставалась занятой правительственными войсками, а вместе с тем осталась отрезанной от центра и первая колонна. Зато вторая колонна из квартала Сент-Антуан продвинулась далеко вперед и почти окружила ратушу. Она поме-

стила свой главный штаб в церкви Сен-Жерве, в 300 шагах от ратуши, захватила монастырь Сен-Мери, продвинулась далеко за ратушу и вместе с колоннами Ситэ почти совершенно отрезала ее. Оставался открытым только один доступ: набережная правого берега. На юге было снова занято предместье Сен-Жак, восстановлена была связь с Ситэ, последняя была укреплена, и был подготовлен переход на правый берег.

Конечно, в этот момент нельзя было более терять ни минуты; над революционным центром Парижа нависла грозная опасность, и если бы не были приняты самые решительные меры, он неизбежно должен был бы пасть.

II.

Перепуганное Национальное собрание назначило диктатором Кавеньяка, который со времен Алжира привык к «энергичным» расправам.

Тотчас же вдоль широкой Школьной набережной к ратуше двинулось десять батальонов. Они отрезали от правого берега инсургентов, утвердившихся на острове Ситэ, обезопасили ратушу и даже сделали возможными атаки на окружавшие ее баррикады.

Улица Планш-Мибрэ и ее продолжение, улица Сен-Мартен, были очищены, и кавалерия прочно держала их в своих руках. Лежащий напротив мост Нотр-Дам, который ведет на Ситэ, был выметен снарядами тяжелых орудий, и Кавеньяк двинулся прямо на Ситэ, чтобы произвести там «энергичную» расправу. Опорный пункт инсургентов, Belle Jardinière, сперва был обстрелян артиллерийскими снарядами, а затем подожжен ракетами; улица Ситэ также была захвачена при помощи пушечного обстрела; три моста, ведущие на левый берег, были взяты штурмом, и инсургенты были решительно отеснены на левом берегу. В то же время стоявшие на Грэвской площади и на набережных 14 батальонов освободили осажденную ратушу, и церковь Сен-Жерве из главной квартиры была превращена в затерянный форпост повстанцев.

Улица Сен-Жак попала не только под артиллерийский обстрел со стороны Ситэ, но и под угрозу флангового удара с левого берега. Генерал Дамем пробился вдоль Люксембурга к Сорбонне, захватил Латинский квартал и выслал свои колонны против Пантеона. Площадь Пантеона была превращена в сильнейшую крепость. Улица Сен-Жак уже давно была взята, а «Порядок» все еще имел там перед собою недоступную твердыню. Орудийный огонь и штыковые атаки не давали никаких результатов, и лишь переутомление, недостаток в снаряжении и угрозы поджога со стороны буржуазии принудили окруженных со всех сторон 1 500 рабочих сдаться. В то же время, после долгой и мужественной обороны, в руках «Порядка» оказалась площадь Мобер, и инсургенты, выбитые из своих наиболее укрепленных позиций, принуждены были очистить весь левый берег Сены.

Одновременно с этим было использовано расположение войск и отрядов национальной гвардии на бульварах правого берега, чтобы действовать по обоим направлениям. Ламорисьер, который командовал этими частями, приказал артиллерийским обстрелом и быстро сменяющимися атаками очистить улицы предместий Сен-Дени и Сен-Мартен, бульвар Тамплль и половину улицы Тамплль. К вечеру он мог похвалиться блестящими успехами; первую колонну он отрезал и наполовину окружил в Кло-Сен-Лазар, вторую оттеснил назад и, продвинувшись вдоль бульваров, вбил между ними клин.

Благодаря чему Кавеньяку удалось все это?

Во-первых, благодаря огромному перевесу над силами инсургентов. 24-го числа в его распоряжении было не только 20 тысяч человек парижского гарнизона, от 20 до 25 тысяч человек легкой гвардии и от 60 до 80 тысяч человек запасной национальной гвардии, но и национальная гвардия всех окрестностей Парижа и некоторых более отдаленных городов (от 20 до 30 тысяч человек) и, сверх того, от 20 до 30 тысяч человек, спешно призванных из соседних гарнизонов. Утром 24-го в его распоряжении было уже много более 100 тысяч человек, а к вечеру число это еще увеличилось в полтора раза. Между тем инсургенты насчитывали, самое большее, 40 — 50 тысяч человек.

Во-вторых, благодаря жестоким приемам, которые он пустил в ход. До тех пор на улицах Парижа лишь один раз стреляли из орудий — в вандемьере 1795 г., когда Наполеон картечью разогнал повстанцев с улицы Сент-Оноре. Но против баррикад, против домов еще ни разу не была пущена в ход артиллерия, а тем более бомбы и зажигательные ракеты. Народ еще не был к этому подготовлен; он оказался совершенно безоружным против таких атак, а единственный способ противодействия — поджоги — претил его благородным чувствам. Народ до сих пор не имел ни малейшего представления о таком алжирском ведении войны на улицах Парижа. Он отступил, и первое же его отступление повлекло за собой его поражение.

25-го числа Кавеньяк двинулся вперед с еще более крупными силами. В руках инсургентов оставался всего один квартал — предместья Сент-Антуан и Тамплль; сверх того у них было еще два выдвинутых форпоста — Кло-Сен-Лазар и часть Сент-Антуанского квартала до моста Дамьетт.

Кавеньяк, который получил новое подкрепление в 20 — 30 тысяч человек с артиллерийскими парками, приказал наступать на изолированные форпосты инсургентов, именно на Кло-Сен-Лазар. Там инсургенты укрепились, как в крепости; после 12-часового

пушечного обстрела и метания гранат Ламорисьеру удалось, в конце концов, выбить инсургентов из их позиций и занять Кло; это ему удалось, однако, лишь после того, как он сделал для себя возможной фланговую атаку со стороны улиц Рошешуар и Пуассоньер, и лишь после одновременного огня по баррикадам — в первый день из 40, во второй — из еще большего количества орудий.

Другая часть его колонны наступала через предместье Сен-Мартен на предместье Тампль, но не достигла больших успехов; третья — спускалась вниз по бульварам к площади Бастилии, но тоже недалеко продвинулась, так как там ряд крайне мощных баррикад сдался лишь после длительного сопротивления жаркой канонаде. Там дома безжалостно разрушались.

Колонна Дювивье, которая наступала от ратуши, непрерывным артиллерийским огнем непрестанно отесняла инсургентов. Церковь Сен-Жерве была взята, улица Сент-Антуан очищена на далекое расстояние от ратуши, и многочисленные колонны, быстро наступавшие по набережной и параллельным ей улицам, взяли мост Дамиетт, через который инсургенты квартала Сент-Антуан опирались на острова Сен-Луи и Ситэ. Квартал Сент-Антуан был отрезан, и инсургентам оставался только путь отступления в предместье, что они и сделали, ведя жаркие бои с колонной, наступавшей вдоль набережной до устья канала Сен-Мартен и оттуда вверх по каналу к бульвару Бурдон. Немногие отрезанные были убиты, совсем немногие — взяты в плен.

В результате этой операции были заняты квартал Сент-Антуан и площадь Бастилии. К вечеру колонне Ламорисьера удалось целиком захватить бульвар Бомарше и соединиться на площади Бастилии с войсками Дювивье.

Занятие моста Дамиетт дало возможность Дювивье вытеснить инсургентов с острова Сен-Луи и прежнего острова Лувье. Он сделал это с особенно жестоким применением алжирского варварства. В многих частях города огонь тяжелых орудий вызвал такие опустошения, как именно на острове Сен-Луи. Но какое им до этого дело? Зато инсургенты были вытеснены или уложены на месте, — и «Порядок» торжествовал победу на залитых кровью развалинах.

На левом берегу Сены оставалось еще захватить один пост. Аустерлицкий мост, который к востоку от канала Сен-Мартен соединяет предместье Сент-Антуан с левым берегом Сены, был сильно забаррикадирован, а на левом берегу, там, где мост примыкает к площади Мобер, перед Ботаническим садом, был снабжен сильным предмостным укреплением. Это предмостное укрепление, последнее

укрепление инсургентов на левом берегу после падения Пантеона и площади Мобер, было занято после жестокого сопротивления.

На следующий день, 26-го, в руках инсургентов остаются только предместье Сент-Антуан и часть предместья Тампль. Оба предместья не совсем удобны для уличных боев. Они состоят из довольно широких и почти прямых улиц, дающих большой простор для артиллерийского обстрела. С западной стороны они хорошо прикрыты каналом Сен-Мартен, с севера же, напротив, совершенно открыты. С этой стороны пять или шесть широких и прямых улиц ведут прямо в сердце предместья Сент-Антуан.

Главные укрепления были сооружены у площади Бастилии и на важнейшей улице всего квартала — на улице Фобур-Сент-Антуан. Там воздвигнуты были баррикады изумительной мощи, одни — из каменных плит мостовой, другие — из бревен. Они образовали угол, обращенный внутрь, частью для того, чтобы ослабить действие артиллерийских ядер, частью чтобы удлинить оборонительный фронт и сделать возможным перекрестный огонь. Брандмауеры в домах были проломлены, и таким образом целые ряды домов были между собою связаны, и инсургенты могли, смотря по обстоятельствам, то открывать сверху ружейный огонь по войскам, то снова укрываться за баррикадами. Мосты и набережные канала, так же как и параллельные с ним улицы, были сильно укреплены. Коротко говоря, оба еще занятые инсургентами предместья напоминали подлинную крепость, в которой войска должны были каждую пядь земли брать с бою.

С утра 26-го бой должен был снова загореться. Однако Кавеньяк не имел особенного желания бросать свои войска в эту сеть баррикад. Он угрожал бомбардировкой. Были подведены мортиры и гаубицы. Завязались переговоры. В это время Кавеньяк приказал начать подкоп под ближайшие дома, — что, вероятно, было возможно лишь в ограниченных пределах вследствие краткости срока и прикрывавшего баррикады с одной стороны канала, — и из уже захваченных домов через проломленные брандмауеры организовать внутренние сообщения с примыкающими домами.

Переговоры были прерваны; бой возобновился. Кавеньяк приказал генералу Перро вести наступление из предместья Тампль, а генералу Ламорисьеру — с площади Бастилии. Из обоих пунктов открыт был сильный артиллерийский огонь по баррикадам. Генерал Перро продвигался довольно быстро, взял остальную часть предместья Тампль, а в некоторых местах дошел даже до предместья Сент-Антуан. Ламорисьер двигался медленнее. Первые баррикады устояли под его огнем, хотя первые дома пригорода были подожжены гранатами

Он еще раз завязал переговоры. С часами в руке ждал он минуты, когда будет иметь удовольствие залить артиллерийским огнем населеннейший квартал Парижа. Тогда часть инсургентов, наконец, капитулировала, между тем как другая, атакованная с флангов, после короткого боя отступила за пределы города.

Это был конец июньских баррикадных боев. За городским рвом происходили еще схватки стрелков, но они не имели уже никакого значения. Бежавшие инсургенты были рассеяны по окрестностям и поодиночке захвачены кавалерией.

Мы дали это чисто военное описание борьбы, чтобы показать нашим читателям, с каким геройским мужеством, с каким единодушием, с какой дисциплиной и с каким военным искусством дрались парижские рабочие. Сорок тысяч рабочих дрались четверо суток с вчетверо превосходившим их противником и были лишь на один волосок от победы. Еще немного — и они укрепились бы в центре Парижа, взяли бы ратушу, установили бы временное правительство и удвоили бы свою численность, пополнившись как из среды населения захваченных частей города, так и из легкой гвардии, которой нужен был тогда только небольшой толчок, чтобы перейти на сторону рабочих.

Немецкие газеты утверждают, что это было решительное сражение между красной и трехцветной республикой, между рабочими и буржуа. Мы убеждены, что это сражение ничего не решило, кроме внутреннего раскола среди победителей. В остальном, даже исходя из чисто военной точки зрения, весь ход событий доказывает, что в недалеком будущем рабочие должны будут победить. Если 40 000 парижских рабочих могли достигнуть такой мощи в борьбе с численно вчетверо превосходившей их силой, то что сможет совершить вся масса парижских рабочих, если она будет действовать единодушно и согласованно!

Керсози схвачен и в настоящий момент, вероятно, уже расстрелян. Буржуа могут его расстрелять, но не могут отнять у него той славы, что *он впервые организовал уличные бои*. Они могут его расстрелять, но никакая сила в мире не сможет помешать тому, что его боевые приемы будут применяться в будущем во всех уличных боях. Они могут его расстрелять, но не могут помешать тому, что он войдет в историю как *первый баррикадный полководец*.

23 — 24 ИЮНЯ В ПАРИЖЕ.

I.

[Без даты.]

Мы находим еще множество новых подробностей относительно боя 23-го. Материал, имеющийся в нашем распоряжении, неисчерпаем; время, однако, позволяет нам сообщать только самое характерное и существенное.

Июньская революция представляет картину ожесточеннейшей борьбы, еще невиданной ни в Париже, ни во всем мире. Среди всех революций, имевших место до настоящего времени, мартовские дни в Милане ознаменованы были самыми жаркими боями. Почти безоружное население в 170 000 человек разбило 20 000 — 30 000-ю армию. Но миланские мартовские дни — детская игра в сравнении с июньскими днями в Париже.

Июньскую революцию отличает от всех бывших доселе революций *полное отсутствие иллюзий и восторженности.*

Народ, как в феврале, не стоит на баррикадах и не поет: «*mourir pour la patrie*» (умереть за отечество). 23 июня рабочие борются за свое существование, и отечество потеряло для них всякое значение. Марсельеза, как и другие воспоминания Великой французской революции, исчезла; народ и буржуазия сознают, что начинающаяся революция значительнее 1789 и 1793 годов.

Июньская революция — революция отчаяния, и она протекает в молчаливом гневе, в мрачном хладнокровии отчаяния. Рабочие знают, что это — борьба не на жизнь, а на смерть, и перед страшной серьезностью этой борьбы умолкает даже веселое французское остроумие.

В истории известны только два момента, подобные той борьбе, которая разыгрывается в настоящее время в Париже: война рабов в Риме и лионское восстание 1834 г. Старый лионский лозунг «жить работая или умереть в борьбе» вновь ожил через 14 лет и теперь сверкает на знаменах.

Июньская революция впервые расколола все общество на два.

враждебных лагеря — на восточный и западный Париж. Единения февральской революции не существует больше, — того поэтического единения, полного ослепительных иллюзий и обольстительного лганья, на которое был такой мастер сладкоречивый предатель Ламартин. Теперь неумолимая серьезная действительность разрушает все уравнильные посулы 25 февраля. Февральские бойцы сражаются теперь друг с другом, и — чего еще никогда не бывало — не существует больше прежнего равнодушия, и каждый человек, способный носить оружие, сражается по эту или по ту сторону баррикады.

Армии, сражающиеся на улицах Парижа, столь же многочисленны, как и армии, сражавшиеся в Лейпцигской битве народов. Уже одно это доказывает громадное значение июньской революции.

Перейдем, однако, к описанию боя.

Если судить по вчерашним сведениям, можно думать, что баррикады строились довольно непланово, но сегодняшние подробные сообщения говорят обратное. Еще никогда защитные сооружения рабочих не были построены так планомерно и с таким холодным расчетом.

Город был разделен на два лагеря. На северо-восточной окраине города, от Монмартра до ворот Сен-Дени и оттуда вдоль улицы Сен-Дени, через остров Ситэ, вдоль улицы Сен-Жак до заставы, шла разделительная линия. Все пространство на восток было занято и укреплено рабочими. Со стороны запада нападала буржуазия, и оттуда же подходили ее подкрепления.

С раннего утра народ молча стал строить баррикады. Они были выше и крепче, чем когда-либо. На баррикаде при входе в Сент-Антуанское предместье развевалось громадное красное знамя.

Бульвар Сен-Дени был также сильно укреплен. Баррикады бульвара, улица Клер и прилегающие дома, превращенные в настоящие крепости, представляли стройную систему защиты. Здесь, как мы уже вчера сообщали, разразился первый серьезный бой. Народ сражался с невиданной храбростью, с презрением к смерти. Сильный отряд национальной гвардии ударил с фланга на баррикады улицы Клер. Большая часть защитников баррикады отступила. Только семь мужчин и две женщины, две молодые прекрасные гризетки, остались на местах. Один из этих семи поднялся на баррикаду со знаменем в руке, остальные начали стрелять. Национальная гвардия отвечала. Знаменосец упал. Тогда прекрасная высокая девушка, гризетка, со вкусом одетая, с обнаженными руками, подхватывает знамя, перелезает через баррикаду и идет по направлению к национальной гвардии. Огонь продолжался, и буржуа национальной гвар-

дши пристрелили девушку в тот момент, когда она вплотную подошла к штыкам. Тотчас же выскочила вторая гризетка, схватила знамя, подняла голову своей подруги и, увидя ее мертвой, стала с бешенством бросать камни в национальную гвардию. И она также пала под выстрелами буржуа.

Перестрелка усиливалась, стреляли из окон, с баррикад. Ряды национальной гвардии редели. Но вот подошло подкрепление, и баррикада была взята штурмом. Из семи защитников баррикады в живых остался только один: его обезоружили и взяли в плен. Львы и биржевые волки второго легиона совершили этот геройский подвиг над семью рабочими и двумя гризетками.

После соединения двух корпусов и взятия баррикады вдруг наступило затишье, полное тревоги, но оно длилось недолго. Храбрая национальная гвардия открывает огонь пачками против безоружной и спокойной толпы людей, занимавшей часть бульвара. Толпа в ужасе разбегается. Но баррикады взяты не были. Только около трех часов, когда подошел Кавеньяк с войсками и кавалерией, был занят, после долгой борьбы, бульвар до ворот Сен-Мартен.

Несколько баррикад было построено в предместьи Пуассоньер и одна из них на углу Аллеи Лафайета, где многие дома служили крепостями для инсургентов. Ими командовал один офицер национальной гвардии. На них наступали 7-й легкий пехотный полк, легкая гвардия (*garde mobile*) и национальная гвардия. Полчаса длился бой. Наконец, войска победили, но лишь после того, как потеряли 100 человек убитыми и ранеными. Это сражение произошло в три часа пополудни.

Против дворца юстиции были построены баррикады, а также на улице Константен, на прилегающих улицах и на мосту Сен-Мишель, на котором развевалось красное знамя. После продолжительной борьбы были взяты и эти баррикады.

Диктатор Кавеньяк расставил свою артиллерию на мосту Парижской богоматери. Отсюда он обстреливал улицы Планш-Мибрэ, Ситэ, легко достигая даже баррикад улицы Сен-Жак.

Последняя улица была перерезана бесчисленными баррикадами, и ее дома были превращены в настоящие крепости. Здесь могла действовать одна артиллерия, и Кавеньяк ни минуты не поколебался пустить ее в ход. Весь день после полудня раздавался грохот пушек. Картечь разрывалась на улицах. В семь часов вечера держалась еще одна только баррикада. Число убитых было очень велико.

На мосту Сен-Мишель и на улице Сент-Андрэ-дез-Ар также стреляли из пушек. В самом конце северо-восточной окраины, на улице

Шато-Ландон, куда ушла одна войсковая часть, пушками была обстрелена также баррикада.

В северо-восточных предместьях перестрелка после полудня все усиливалась. Жители предместий Ла-Виллет, Пантен и др. приходили на помощь восставшим. Баррикады непрерывно вновь воздвигались — и в большом количестве.

На острове Ситэ отряд республиканской гвардии, под предлогом братания с инсургентами, пробрался между двумя баррикадами и открыл стрельбу. Народ с яростью набросился на предателей и истребил их. Спаслось не более 20 человек.

На всех пунктах бой с каждой минутой усиливался. Пока было светло, продолжался артиллерийский обстрел. Позднее перешли на ружейный огонь, который длился до поздней ночи. Еще в 11 часов по всему Парижу раздавался генерал-марш, а в полночь еще слышна была перестрелка в стороне Бастилии. Площадь Бастилии со всеми подступами целиком была во власти инсургентов. Сент-Антуанское предместье, главный центр их сил, было отлично укреплено. На бульварах, от улицы Монмартра до площади Тампля, тесными рядами стояла кавалерия, пехота, национальная гвардия и легкая гвардия.

В 11 часов вечера насчитывалось до 1 000 человек убитых и раненых.

Это был первый день июньской революции, день, не имеющий себе равных в революционных анналах Парижа. Парижские рабочие боролись совсем одни с вооруженной буржуазией, с легкой гвардией, с вновь организованной республиканской гвардией, с линейными войсками всех родов оружия. Они выдержали бой с беспримерным мужеством, которое может сравниться лишь со столь же беспримерной жестокостью противника. Можно снисходительно отнестись к какому-нибудь Гюэру, Радецкому, Виндишгрецу, когда видишь, с каким воодушевлением парижская буржуазия предавалась бойне, устроенной Кавеньяком.

В ночь с 23-го на 24-ое вновь восстановленное 11 июня «Общество прав человека» постановило использовать восстание в интересах *красного знамени* и соответственно с этим решило принять в нем участие. Оно собралось поэтому на заседание, на котором приняты были необходимые меры и были назначены два перманентных комитета.

II.

Всю ночь Париж был на военном положении. Сильные пикеты расположились на бульварах и на площадях.

В 4 часа утра раздался генерал-марш. Во все дома заходили офицеры в сопровождении нескольких солдат национальной гвардии и вызывали чинов отряда, не желавших добровольно к ним присоединиться.

В то же время вновь раздался гром канонады, всего сильнее вокруг моста Сен-Мишель, места стыка инсургентов левого берега с инсургентами Ситэ. Генерал Кавеньяк, с утра облеченный званием диктатора, горит желанием обрушиться всеми своими силами на повстанцев. Накануне артиллерия пускалась в ход только в виде исключения, и стреляли большею частью картечью. Сегодня артиллерийскому обстрелу подвергаются на всех пунктах не только баррикады, но и дома. Стреляют не только картечью, но и снарядами, гранатами и ракетами.

В верхней части предместья Сен-Дени с утра начался сильный бой. Вблизи северной дороги инсургенты заняли строившийся дом и несколько баррикад. Первый легион национальной гвардии пошел в наступление, но безуспешно. Он расстрелял свои заряды и потерял 50 человек убитыми и ранеными. До прихода артиллерии он едва удержал свои позиции (около 10 часов). Дом и баррикады были до основания разрушены канонадой.

Войска снова заняли северную дорогу. Бой в этой местности (называемой Кло-Сен-Лазар, которую «Кельнская газета» превратила в двор Сен-Лазар) еще долго продолжался и велся с большим ожесточением. «Это настоящая бойня», — пишет корреспондент одной бельгийской газеты. У застав Рошешуар и Пуассоньер возвышались сильные баррикады. На аллее Лафайета баррикады были опять восстановлены, но после полудня они были разбиты артиллерией.

На улицах Сен-Мартен, Рамбюто и Гран-Шантье баррикады были также взяты при помощи артиллерии.

Кафе Кюизинье против моста Сен-Мишель разрушено артиллерийским огнем.

Наиболее сильное сражение произошло днем после трех часов на Цветочной набережной. Здесь известный магазин платья «A la belle Jardinière» занят был 600 повстанцами и превращен в крепость. Артиллерия и пехота начали наступление. Угол одной стены обрушился. Кавеньяк, который командовал огнем, предложил инсургентам сдаться, угрожая иначе их всех уничтожить. Инсургенты отказались сдаться. Канонада возобновилась. Наконец пускают зажигательные ракеты и гранаты. Дом разрушен до основания. 80 инсургентов лежат под развалинами.

В предместьи Сен-Жак, около Пантеона, рабочие забаррикадировались со всех сторон. Каждый дом приходилось брать, как в Сарагоссе. Попытки диктатора Кавеньяка взять эти дома приступом были настолько безуспешны, что этот грубый алжирский солдат объявил, что он сожжет инсургентов, которые их заняли, если они не сдадутся. В Ситэ девушки стреляли из окон по солдатам и по гражданской милиции. И там пришлось пустить в ход гаубицы, чтобы добиться какого-нибудь успеха.

Одиннадцатый батальон легкой гвардии, желавший сражаться на стороне инсургентов, был разбит войсками и национальной гвардией. Так, по крайней мере, говорят.

К полудню перевес был решительно на стороне повстанцев. Все предместья — Батиньоль, Монмартр, Ла-Шапель, Ла-Виллет, одним словом — вся наружная окраина Парижа, от Батиньоля до Сены, и большая часть левого берега Сены была в их руках. Они захватили здесь 13 пушек, но, однако, не пустили их в ход. В центре, в Ситэ и в нижней части улицы Сен-Мартен они подступали к городской ратуше, которую защищали сильные отряды войск. Несмотря на это, как Бастид заявил в палате депутатов, городская ратуша в какой-нибудь час могла быть занята инсургентами. Вследствие паники, которую вызвало это известие, было решено назначить диктатуру и объявить осадное положение. Едва получив полномочия, Кавеньяк прибег к мерам крайней жестокости, каких никогда не применяли в цивилизованном городе, на какие не решался даже Радецкий в Милане. Народ опять был слишком великодушен. Если бы он ответил поджогами на ракеты и гаубицы, то к вечеру был бы победителем. Но народ и не думал пользоваться тем же оружием, каким действовали его враги.

Военное снаряжение инсургентов состояло по большей части из нитроклетчатки (Schliessbaumwolle), которую фабриковали в большом количестве в предместьи Сен-Жак и в Марэ. На площади Мобер лили пули.

Правительство непрерывно получало подкрепления. Всю ночь к Парижу подходили войска: национальная гвардия пришла из Понтуаза, Руана, Мелана, Нанта, Амьена, Гавра. Подтянуты были войска из Орлеана, артиллерия и пионеры — из Арраса и Дуэ. Из Орлеана пришел один полк. 24-го утром в городе было получено 500 000 патронов и 12 ящиков со снарядами из Венсенна, но железнодорожные рабочие разобрали путь между Парижем и Сен-Дени, чтобы невозможно было подвозить подкрепления.

Объединенными силами и неслыханной жестокостью удалось, наконец, оттеснить инсургентов после полудня 24-го.

С каким ожесточением сражалась национальная гвардия и как ясно она понимала, что дело идет об ее существовании, видно из того, что не только Кавеньяк, но сама национальная гвардия хотела *предать сожжению* весь квартал Пантеона.

Три пункта назначены были главными квартирами наступавших войск: ворота Сен-Дени, где командовал генерал Ламорисьер, городская ратуша, где находился генерал Дювивье с 14 батальонами, и площадь Сорбонны, откуда генерал Дамем вел наступление на предместье Сен-Жак.

К полудню были заняты подступы площади Мобер, а сама площадь была окружена. В час площадь сдалась. При этом погибло 50 человек из легкой гвардии! В это же время, после сильного и продолжительного обстрела, был взят или, лучше сказать, был сдан Пантеон. 1 500 инсургентов, защищавшихся здесь, сдались, вероятно, вследствие угрозы Кавеньяка и пылавшей гневом буржуазии предать огню весь квартал.

«Защитники порядка» между тем продвигались все дальше по бульварам и занимали баррикады на прилегающих улицах. На улице Тамплъ рабочих оттеснили до угла улицы Лакордери. На улице Бушера еще продолжалось сражение, как и по ту сторону бульвара, в предместьи Тамплъ. На улице Сен-Мартен еще слышались отдельные выстрелы. На углу Св. Евстахия еще держалась одна баррикада.

Около 7 часов вечера к генералу Ламорисьеру подошли два батальона национальной гвардии из Амьена. Их тотчас же послали окружать баррикады за Шато д'О. В это время предместье Сен-Дени было уже очищено и спокойно, как и почти весь левый берег Сены. Инсургентов частично окружили в Марэ и в Сент-Антуанском предместьи. Между тем оба эти квартала отделены бульваром Бомарше и находящимся позади него каналом Сен-Мартен, который был вполне доступен для войск.

Генерал Дамем, командовавший легкой гвардией, был ранен в ногу на улице Эстрапад. Рана не опасна. Депутаты Биксио и Дорнес тоже не так серьезно ранены, как думали раньше.

Рана генерала Бедо также легкая.

К 9 часам предместья Сен-Жак и Сен-Мартен были, в сущности, уже взяты. Бой был необыкновенно жаркий. Там командовал генерал Бреа.

Генерал Дювивье в городской ратуше не имел такой удачи. Однако и там инсургенты были разбиты.

Генерал Ламорисьер, несмотря на упорное сопротивление, очистил до застав предместья Пуассоньер, Сен-Дени, Сен-Мартен. Только в Кло-Сен-Лазар рабочие еще держались; они забаррикадировались в госпитале Луи-Филиппа.

Такие же сообщения сделал председатель в 9¹/₂ ч. вечера Национальному собранию. При этом он несколько раз сам себе противоречил. Он признавал, что в предместьях Сен-Мартен еще длится сильная перестрелка.

К вечеру 24-го положение было таково. Инсургенты еще владели половиной территории, занятой ими утром 23-го. В эту территорию входила восточная часть Парижа, предместья Сен-Мартен и Марэ; Кло-Сен-Лазар и несколько баррикад у Ботанического сада составляли форпосты.

Вся остальная часть Парижа находилась в руках правительства.

Что особенно бросается в глаза в этой отчаянной борьбе, это — ярость, с которой сражались «защитники порядка». Они, которые прежде столь нервно и чувствительно относились к каждой капле «крови граждан» и у которых даже были сантиментальные припадки по поводу смерти муниципального гвардейца, происшедшей 25 февраля, — эти буржуа расстреливали теперь рабочих, как диких зверей. В рядах национальной гвардии, в Национальном собрании ни слова сострадания, ни слова примирения, ни малейшей сантиментальности, но ярко выраженная ненависть, холодная злоба к восставшим рабочим. Буржуазия совершенно сознательно ведет с ними войну на истребление. Победит ли она сейчас, или будет разбита, рабочие затеяют против нее страшную месть. После таких боев, какие происходили в эти три июньские дня, возможен только *terror* — с той или с другой стороны.

Сообщаем еще некоторые сведения о событиях 23-го и 24 июня из письма одного капитана республиканской гвардии. «Я пишу вам мод трескотню мушкетов и под гром пушек. В два часа мы заняли

три баррикады в конце моста у Собора парижской богородицы, затем мы продвинулись к улице Сен-Мартен и прошли ее во всю длину. Выйдя на бульвар, мы увидели, что он оставлен и пуст, как в два часа утра. Мы прошли вверх по предместью до Тампля. Не доходя до казармы, мы остановились. В 200 шагах возвышалась внушительная баррикада, окруженная несколькими другими и защищаемая 2 000 человек. В течение двух часов мы вели с ними переговоры, но безуспешно. К 6 часам прибыла, наконец, артиллерия. Тогда инсургенты открыли огонь.

«Пушки стали отвечать, и до 9 часов рассыпались кирпичи и трескались окна от грохота снарядов. Огонь был ужасающий. Кровь лилась рекой. В то же время разразилась страшная гроза. Всюду, куда ни взглянешь, мостовая красна от крови. Мои люди падали, сраженные пулями инсургентов. Последние защищались, как львы. Мы двадцать раз шли в наступление, двадцать раз нас отбивали. Число убитых громадно, число раненых еще больше. В 9 часов мы взяли баррикады в штыки. Сегодня (24 июня), в три часа утра, мы все еще на ногах. Непрерывно раздаются выстрелы. Центр в Пантеоне. Я в казармах. Мы охраняем *пленных*, которых приводят каждую минуту. Среди них много раненых. Некоторых *тут же пристреливают*. Из моих 112 человек я потерял 53».

«КЕЛЬНСКАЯ ГАЗЕТА» ОБ ИЮНЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Кельн, 30 июня.

Рекомендуем прочесть следующие отрывки из «London Telegraph» и сравнить их с тем, что говорят немецкие либералы и, главным образом, господа Брюггеман-Дюмон и Вольферс о парижской июньской революции. Тогда станет ясно, что английские буржуа имеют, по крайней мере, то преимущество перед *немецкими мещанами*, что они судят о великих событиях, хотя и с буржуазной точки зрения, но все же, как взрослые люди, а не как уличные мальчишки.

В № 122 «Телеграфа» говорится: «От нас ожидают, что мы выскажемся о причинах этого ужасного кровопролития. *Вначале это было настоящее сражение между двумя классами* (можно царство отдать за подобную мысль, — внутренне воскликнет «Кельнская газета» и ее «Вольферс»). Это — восстание рабочих против правительства, созданного ими самими, и против класса, который в настоящее время поддерживает правительство. Труднее объяснить, как непосредственно загорелась борьба, чем отметить ее длительные, существующие и поныне причины. *Февральская революция* совершена была *рабочим классом*, и громко признавалось, что *она совершена была в его интересах*. Это не столько политическая, сколько социальная революция. Масса недовольных рабочих не явилась на свет сразу, одним взмахом, со всеми особенностями воинственных солдат. Их нужда и их недовольство также не были порождены событиями последних четырех месяцев. Еще в понедельник мы цитировали, может быть преувеличенное, заявление Леру, сделанное им в Национальном собрании и не вызвавшее возражений, что во Франции существует 8 миллионов нищих и 4 миллиона рабочих, не имеющих определенного заработка. Он указывал на до-революционное время и жаловался, что со времени революции ничего не предпринято против этого вопиющего зла. Теории социализма и коммунизма, укоренившиеся во Франции и получившие теперь такое большое влияние на общественное мнение, выросли на почве ужасного угнетения, в котором во времена Луи-Филиппа находилось громадное большинство народа.

Основной вопрос, которого нельзя упускать из виду, это — *ужасающее положение народных масс. В нем-то и кроется основная движущая причина февральской революции.*

«В Национальном собрании скоро было решено лишить рабочих тех преимуществ, которые политические деятели революции им так поспешно и легкомысленно наобещали. *Надвигалась грозная реакция социальная и даже политическая.*

«От власти, которую поддерживала большая часть Франции, требовали, чтобы она удалила тех людей, из рук которых она получила свое существование. Сначала этой власти льстили, поддерживали ее, затем разделили, грозили ей голодной смертью, удалили в провинцию, где прервали ее связь с рабочими, и, в конце концов, создали план ее уничтожения. Можно ли после этого удивляться раздражению рабочих? Конечно, никого не могло удивлять то, что они верили, что будут в состоянии произвести вторую, более успешную революцию. И их надежда получить перевес над вооруженными силами правительства, судя по длительности оказывавшегося ими сопротивления, была сильнее, чем многие предполагали. Из этого и из того, что народ не выдвинул из своей среды политических вождей, как и из того факта, что высланные из Парижа рабочие, едва дойдя до застав, тотчас же возвращались обратно, можно заключить, что это *восстание является следствием общего недовольства рабочих, а не делом политических подстрекателей.* Рабочие стоят за то, чтобы их интересы защищало *их собственное правительство.* Теперь, как и в феврале, они взялись за оружие, чтобы бороться с *ужасающей нуждой*, жертвой которой они были так долго.

«*Настоящая борьба является продолжением февральской революции. Она является продолжением прокатившейся по всей Европе борьбы за более справедливое распределение всех производимых ежегодно продуктов.* В Париже эта борьба, вероятно, будет подавлена, потому что сила, которую новая власть унаследовала от старой, очевидно имеет перевес. *Но как бы удачно ни подавляли это движение*, оно снова и снова будет возрождаться, пока правительство либо осуществит более справедливое распределение продуктов производства, либо, за невозможностью это сделать, не откажется от дальнейших попыток в этом направлении и не предоставит регулирование рынка свободной конкуренции. *В действительности борьба ведется за достаточный прожиточный минимум.* Политические деятели, руководившие революцией, лишили даже средний класс средств к существованию. *Средний класс стал более варварским, чем рабочие.* Сильнейшие страсти разгорелись с обеих сторон и пылают

опасным пламенем. *Всякое братское чувство отброшено, и обе стороны объявили друг другу войну не на жизнь, а на смерть.* Бессознательное, хотя и не злонамеренное правительство, которое не имеет, по видимому, никакого представления о своих обязанностях в этом чрезвычайном кризисе, сперва восстанавливало рабочих против среднего класса, а теперь помогает последнему смести с лица земли обманутых, разочарованных, а потом ожесточившихся рабочих.

«Эти замечания по поводу разразившегося великого несчастья не касаются самых основ революции и *необходимости бороться с нуждой и угнетением.* Упрек, скорее, должен быть направлен против тех, кто по своей политической несознательности еще больше ухудшил бедственное положение, унаследованное от Луи-Филиппа».

Так пишет об июньской революции *лондонская буржуазная газета, газета, защищающая принципы Кобдена, Брайта и т. д., газета, которая после «Times» и «Northern Star» («Полярной звезды»), этих, как их называет «Manchester Guardian», двух деспотов английской прессы, является наиболее распространенной газетой в Англии.*

Теперь сравните то, что говорит эта газета, с тем, что пишет в № 181 «Кельнская газета». Эта достопримечательная газета *превращает борьбу двух классов в войну «порядочных» людей с жуликами.* Достойная газета! Как будто эти эпитеты не бросались друг другу попеременно обоими классами. Это та же газета, которая при первых слухах об июньской революции призналась *в своей полной неосведомленности относительно характера восстания;* потом сделала вид, что ей *пишут из Парижа, что там происходит настоящая социальная революция, которая еще не завершена происходящим ее подавлением;* наконец, ободренная разгромом рабочих, увидела в восстании только борьбу *«подавляющего большинства» с «дикой ордой людоедов, разбойников и убийц».*

Чем была римская война рабов? *Войной между порядочными людьми и каннибалами.* Г-н Вольферс напишет римскую историю, а г. Дюмон-Брюггеман будут просвещать рабочих, этих «несчастных», относительно их истинных прав и обязанностей, «будут посвящать их в науку, которая ведет к порядку, которая воспитывает истинных бюргеров!»

Да здравствует наука Дюмон-Брюггеман-Вольферса, их тайная наука! Вот один пример этой *тайной науки:* на протяжении двух номеров под ряд прославленный триумвират рассказывает своим доверчивым слушателям, что Кавеньяк собирался минировать *Сент-Антуанское предместье.* К счастью, Сент-Антуанское предместье несколько больше славного города Кельна. Но ученый триумвират,

который мы рекомендуем Национальному собранию для управления Германией, триумвират *Дюмон-Брюггеман-Вольферс*, преодолевает это затруднение, — он знает, как одной миной взорвать город Кельн! Его представлению о минах, которые должны взорвать Сент-Антуанское предместье, соответствует представление о подземных силах, минирующих современное общество, от которых задрожал Париж в июньские дни, и извергающих кровавую лаву из своего революционного кратера.

Но, добрейший триумвират! Великий *Дюмон-Брюггеман-Вольферс*, прославленный великим в мире реклам! Плакаты Кавеньяка! Мы скромно преклоняем головы пред величайшим историческим кризисом, какой когда-либо сотрясал мир, — перед *классовой борьбой буржуазии и пролетариата*. Мы не создавали этого фактора: мы его констатировали. Мы констатировали, что один из классов *побежден*, как говорит *сам Кавеньяк*. На гробах побежденных мы восклицаем: «горе победителям!» И сам Кавеньяк содрогается перед своей исторической ответственностью! И Национальное собрание обвиняет в трусости каждого своего члена, который не принимает открыто на себя всей потрясающей исторической ответственности. Разве для того мы открывали *немцам* книгу Сивиллы, чтобы они ее сожгли? Когда мы изображаем борьбу чартистов с английской буржуазией, разве мы этим предлагаем немцам стать англичанами?

Но, Германия, неблагодарная Германия, хотя ты и знакома с «Кельнской газетой» и с ее объявлениями, но ты не знаешь величайших своих мужей, твоего *Вольферса*, твоего *Брюггемана*, твоего *Дюмона*! Сколько пролито кровавого пота, сколько усилий мозга потрачено в борьбе классов, в борьбе свободных и рабов, патрициев и плебеев, помещиков и крепостных, капиталистов и рабочих! *Но все это только потому, что еще не было «Кельнской газеты»*. Однако, храбрый триумвират, если современное общество в таком количестве производит «злодеев, людоедов, убийц и разбойников», что восстание их потрясает основы официального общества, то что это за общество! Что за анархия, расположенная в алфавитном порядке! И ты воображаешь снять противоречие, воображаешь поднять и участников, и зрителей страшной драмы, низводя их на роль действующих лиц в мещанской трагедии Коцебу!

Среди *национальных гвардейцев предместий Сент-Антуан, Сен-Жак и Сен-Марсо* нашлось всего 50 человек, которые откликнулись на призыв буржуазных трубачей, — так сообщает парижский «*Mopiteur*» — официальный орган, газета Людовика XVI, Робеспьера, Луи-Филиппа и Марраста-Кавеньяка! Нет ничего проще для *науки*,

которая «воспитывает» из человека *настоящего бюргера!* Три самых больших предместья Парижа, три промышленных предместья, перед произведениями которых бледнеют дакские муслины и бархат Спитальфильда, населены, повидимому, «людоедами», «грабителями», «разбойниками» и «злодеями». Так говорит Вольферс!

А Вольферс, конечно, честный человек! Он поднял достоинство жуликов, приписав им участие в сражениях и геройские подвиги, более геройские, чем подвиги Карла V, Луи-Филиппа, Наполеона, чем подвиги дакских и спитальфильдских ткачей.

Выше мы упоминали о лондонском «Телеграфе». А вчера наши читатели могли ознакомиться с мнением *Эмиля Жирардена*. Рабочий класс, — говорит он, — после того как он дал отсрочку на месяц своему должнику — февральской революции, — теперь кредитором стучался в дверь должника мушкетом, баррикадой, своим собственным телом! Но кто такой Эмиль Жирарден? Не анархист! Упаси боже! Но он *республиканец следующего дня, республиканец завтрашнего дня* (républicain du lendemain), а «Кельнская газета», какой-нибудь Вольферс, какой-нибудь Дюмон, какой-нибудь Брюггеман, это — *все позавчерашние республиканцы, республиканцы до республики, республиканцы кануна* (républicains de la veille). Может ли Жирарден свидетельствовать на-ряду с Дюмоном?

Когда «Кельнская газета» присоединяет к ссылке и повешению *злорадство по поводу ссылки и повешения*, восхищайтесь ее патриотизмом! Ведь ей только нужно доказать всему миру, всему недоверчивому, слепому немецкому миру, что республика сильнее, нежели монархия, что республиканское Национальное собрание с Кавеньяком и Маррастом способно на то, на что неспособна была конституционная палата депутатов с Тьером и Бюжо. Vive la république! Да здравствует республика! — восклицает спартанка, «Кельнская газета», над истекающим кровью, растерзанным, сожженным Парижем. Вот так скрытая республиканка! Поэтому ее подозревают в трусости, в бесхарактерности даже какой-нибудь Гервинус, даже какая-нибудь «Аугсбургская газета!» Непорочная! Кельнская Шарлотта Кордэ!

Заметьте, *ни одна парижская газета*, ни «Moniteur», ни «Journal des Débats», ни даже «Le National» не говорят о *«людоедах», «грабителях», «разбойниках», «убийцах»*. Только одна газета, газета Тьера, человека, безнравственность которого бичевал в «Кельнской газете» Якоб Венедей, газета человека, против которого «Кельнская газета» кричала во всю глотку:

Не видать им его —

Немецкого свободного Рейна, —

только газета Тьера «Le Constitutionnel», из которой черпает бельгийская «Indépendance», и рейнская наука, воплощенная в лице Дюмона-Брюггемана-Вольферса!

Теперь отнеситесь несколько критически к скандальным анекдотам, которыми «Кельнская газета» клеймит угнетенных, — та самая газета, которая *в самом начале борьбы* заявила, что она ничего не знает об ее характере, которая во время борьбы утверждала, что это «*настоящая социальная революция*», а после окончания борьбы заговорила о столкновении жандармов и жуликов.

Они *грабили!* Но что? *Оружие, снаряды, перевязочные средства и необходимые средства к существованию.* На оконных ставнях воры писали «Mort aux voleurs» — *смерть ворам!*

Они *убивали, как людоеды!* Эти людоеды не соглашались добровольно, чтобы *национальные гвардейцы*, наступавшие на баррикады *позади* линейных войск, *разбивали черепа их раненым*, пристреливали выбившихся из сил и женщин. Людоеды, которых *истребляли в войне на истребление*, как ее называет одна буржуазная французская газета. «Они *поджигатели!*» И в то же время *единственный* зажигательный снаряд, который они бросили в восьмом округе в ответ на *законные* зажигательные ракеты Кавеньяка, — только поэтический, вымышленный факел, как утверждает «Moniteur». «Одни, — как говорит Вольферс, — высоко держали знамя Барбеса, Бланки и Соброе, другие приветствовали Наполеона или Генриха V».

А целомудренная «кельнерша» (Kölnerin), которая не носит в своем чреве ни Наполеонидов, ни Бланки, уже на второй день восстания объявила, что «борьба ведется во имя *красной республики*». Зачем же она толкует о *претендентах*? Но она, мы уже сказали, — скрытая республиканка и Робеспьер в юбке, и ей всюду мерещатся претенденты, и нравственность ее содрогается перед претендентами!

«Почти все они были снабжены деньгами, а некоторые даже и значительными суммами».

Их было от 30 000 до 40 000 рабочих, и «почти все они были снабжены деньгами», — это теперь-то, при такой нужде и при таком застое во всех делах! Денег, должно быть, потому было так мало, *что их прятали рабочие!*

С величайшей старательностью парижский «Moniteur» опубликовал все случаи, когда у инсургентов были найдены *деньги*. Таких случаев могли насчитать не больше *двадцати*. Разные газеты и корреспонденты отмечают одни и те же случаи и различно оценивают найденные суммы. «Кельнская газета», известная своим критическим тактом, принимает эти разные рассказы о тех же *двадцати*

случаях как сообщения о различных случаях, да еще прибавляет к ним все циркулирующие слухи и все-таки насчитывает только двести случаев. Это, однако, дает ей право сказать, что почти все 30 000 — 40 000 рабочих имели при себе деньги. До сих пор установлено лишь то, что легитимистские, бонапартистские и, может быть, филиппистские эмиссары были снабжены деньгами; они втесались в среду защитников баррикад или собирались втесаться. Г-н Пайэ, чрезвычайно консервативный член Национального собрания, проведенный пленником двенадцать часов среди инсургентов, заявляет: *«Большинство из них, это — рабочие, доведенные четырехмесячной нуждой до отчаяния, и они говорили: «лучше умереть от пули, чем от голода!»*

«Многие, очень многие из убитых, — уверяет Вольферс, — имели на теле знаки, которыми общество клеймит преступников».

Эту низкую ложь, эту постыдную клевету, эти гнусности клеймят — Ламеннэ, противник инсургентов, сторонник «National'я», в своей газете «Peuple Constituant», и Ларошжаклен, рыцарски настроенный легитимист, в Национальном собрании. Вся эта ложь основана на в высшей степени недостоверном, *не подтвержденном* «Moniteur'ом» известии одного корреспондентского бюро, что было найдено одиннадцать трупов, заклеянных буквами Т. Ф. [Travaux forcés — каторжные работы]. Была ли когда-нибудь революция, при которой не нашли бы таких одиннадцать трупов? И какая революция не могла бы отметить этими знаками в сто раз больше людей?

Заметим, что журналы, воззвания и иллюминации победителей доказывают, что они морили голодом, доводили до отчаяния, резали, расстреливали, заживо замуровывали, ссылали, издевались над мертвыми. А по отношению к побежденным — только анекдоты, рассказанные одним лишь «Constitutionnel», перепечатанные газетой «Indépendance» и переведенные на немецкий язык «Кельнской газетой». Нет большего оскорбления для истины, — говорит Гегель, — как доказывать ее анекдотами. Перед домами в Париже сидят женщины и щиплют корпию для раненых инсургентов. А редакторы «Кельнской газеты» вливают в их раны *серную кислоту*.

Они выдали нас буржуазной *полиции*. Мы же, наоборот, советуем рабочим, этим «несчастливым», «уяснить себе свои истинные права и обязанности, дать себя просветить в области науки, которая ведет к порядку, которая воспитывает истинных бюргеров», при бессмертном триумвирате Дюмон-Брюггеман-Вольферс.

ПАРИЖСКАЯ «RÉFORME» ОБ ИЮньСКОМ ВОССТАНИИ.

[Без даты.]

Когда «Новая рейнская газета», единственная европейская газета, — за исключением английской «Northern Star», — имела мужество и проницательность 29 июня правильно оценить июньскую революцию, ее встретили не опровержениями, а доносами.

Факты подтвердили впоследствии наше мнение даже в глазах самых близоруких людей, которых заинтересованность не лишила совершенно способности видеть.

Осрамилась тогда и французская пресса. Более решительные парижские газеты были задушены. Единственная радикальная газета, дальнейшее существование которой было допущено Кавеньяком, «Réforme», заикаясь, оправдывала благородных июньских борцов и, как милостыни, вымаливала у победителя гуманности для побежденных. На попрошайку, естественно, не обращали внимания. Потребовались сперва полное завершение июньской победы, многомесячная резкая критика со стороны не связанных осадным положением провинциальных газет, бросающееся в глаза возрождение партии Тьера, чтобы привести в себя «Réforme». В связи с проектом крайней левой об амнистии газета указывает в своем номере от 18 октября:

«Когда народ ушел с баррикад, он никого не наказал. Народ! Тогда он был господином, сувереном, победителем. Тогда целовали ему руки и ноги, отдавали честь его блузе, громогласно приветствовали его благородные чувства. И по справедливости. Он был великодушен.

«Теперь его дети и братья находятся в темницах, на галерах, под военным судом. И лишь после того как народ не мог уже больше переносить голод, лишь после того как он, сохраняя спокойствие, присутствовал при том, как целая толпа честолюбцев, подобранных им с улицы, проходит мимо и поднимается в дворцы, после того как он в течение трех долгих месяцев верил республике в кредит, — лишь после этого он однажды, окруженный своими изголодавшимися детьми и своими чахнувшими родителями, потерял голову и бросился в бой.

«Он дорого заплатил за это. Его сыновья пали под ударами пуль, а те, что остались, были разделены на две части: одних предали военному суду, других отправили в изгнание — без расследования, без предоставления права защиты, без приговора! Всякая страна чуждается такого приема, — даже страна кабиллов.

«Никогда за свое двадцатилетнее существование монархия не осмеливалась на что-либо подобное.

«И в этот момент газеты, спекулировавшие на династиях, опьяненные запахом трупов, быстро и смело проявили готовность надругаться над мертвыми (ср. «Кельнскую газету» от 29 июня). Они изрыгали всевозможную, движимую мерзкой злобой клевету, еще до судебного расследования оскверняли честь народа, тащили побежденных — живых и мертвых — в чрезвычайные суды; натравляли на побежденных безумство национальной гвардии и войска, становясь маклерами палача, слугами позорного столба. Рабы безумной жажды мести, эти газеты выдумывали преступления, отравляли наше горе, все утончали свои оскорбления и свою ложь!» (Ср. «Новую рейнскую газету» от 1 июля по поводу французского «Constitutionnel'я», бельгийской «Indépendance» и «Кельнской газеты»).

«Constitutionnel» открыто содержал лавочку, торговавшую чудовищными извращениями и отвратительными ужасами. Эта газета очень хорошо знала, что лжет, но это как раз ей и нужно было для ее торговли и ее политики. Как купец и дипломат одновременно, она торговала «преступлениями» в розницу, как торгуют другими товарами «на аршин». Эта милая спекуляция должна была когда-нибудь кончиться. Возражения полились дождем. И не оказалось больше ни одного имени каторжника в актах военного суда, в бюллетенях о ссылке. Не было больше возможности надругаться над отчаянием. И они замолчали, инкассировав прибыль!

**ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ В ФРАНКФУРТЕ
И УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ В БЕРЛИНЕ**

ПЕРВОЕ ДЕЯНИЕ ГЕРМАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

Кельн, 22 июня.

Германское Национальное собрание, наконец-то, зашевелилось. Оно приняло, наконец, решение, имеющее немедленное практическое значение: оно вмешалось в австрийско-итальянскую войну.

Но как оно вмешалось? Объявило независимость Италии? Отправило в Вену курьера с приказом Радецкому и Вельдену тотчас же отступить за Изонцо? Обратилось с поздравительным адресом к миланскому временному правительству?

Ничего подобного! Оно заявило, что *всякое нападение на Триест будет рассматриваться как повод к войне*. Это значит, что германское Национальное собрание, в сердечном согласии с Союзным сеймом, разрешает австрийцам совершать в Италии величайшие насилия, грабить, убивать, пускать зажигательные ракеты в каждый город, в каждую деревню и потом в полной безопасности отступать в нейтральную германскую союзную область! Оно позволяет австрийцам в любую минуту с германской территории наводнить Ломбардию хорватами и пандурами, но хочет воспретить итальянцам преследовать разбитых австрийцев в их убежищах! Оно разрешает австрийцам из Триеста блокировать Венецию, устья Пьявы, Brentы, Тальяменто, но всякое враждебное действие против Триеста итальянцам строжайше запрещено!

Германское Национальное собрание не могло повести себя более трусливо, нежели оно сделало это принятием своего решения. У него нехватило духа открыто санкционировать итальянскую войну. Еще меньше у него хватило духа воспретить эту войну австрийскому правительству. В этом затруднительном положении оно приняло, — и притом единодушно, без подсчета голосов (*per acclamationem*), чтобы громким криком заглушить свою скрытую тревогу, — решение о Триесте, которое по форме не одобряет и не осуждает войны против итальянской революции, но по существу одобряет ее.

Это решение есть косвенное, и потому для такой сороксемиллионной нации, как германская, *вдвойне постыдно объявление войны Италии.*

Решение Франкфуртского собрания вызовет бурю возмущения во всей Италии. Если итальянцы проявят еще сколько-нибудь упорства и энергии, они ответят бомбардировкой Триеста и походом на Бреннер.

Но Франкфуртское собрание предполагает, а французский народ располагает. Венеция обратилась к Франции за помощью; после франкфуртского постановления французы, разумеется, перейдут через Альпы, и тогда недолго спустя мы увидим их на Рейне.

Один из депутатов упрекнул Франкфуртское собрание в бездействии. Напротив, оно уже столь много поработало, что мы имеем одну войну на севере и другую на юге, а войны на западе и востоке стали неизбежными. Мы очутимся в том счастливом положении, когда придется одновременно воевать с царем и с французской республикой, с реакцией и с революцией. Собрание позаботилось о том, чтобы русские и французские, датские и итальянские солдаты устроили себе свидание в церкви св. Павла во Франкфурте. И еще говорят, что собрание бездействует!

«НОВАЯ БЕРЛИНСКАЯ ГАЗЕТА» О ЧАРТИСТАХ.

Кельн, 23 июня.

«Новая берлинская газета» сообщает нам в своем первом номере всякого рода диковинные вещи из Англии. Прекрасно, когда проявляют оригинальность; в заслугу «Новой берлинской газете» следует поставить, по крайней мере, то, что она английскую жизнь изображает совершенно по-новому. Сперва говорится: «О'Коннор, который, действительно, является, повидимому, человеком неумным и без характера, не пользуется здесь никаким уважением». Не станем решать, обладает ли О'Коннор таким же количеством ума и характера, как «Новая берлинская газета». Отпрыск древне-ирландских королей, вождь великобританского пролетариата, может быть, в этих отношениях остается позади образованной берлинки; но что касается уважения к нему, то, о образованная берлинка, ты, разумеется, права. Как и все революционеры, О'Коннор обладает очень плохой репутацией; он никогда не умел так завоевывать себе уважение всех благочестивых душ, как сумела ты уже своим первым номером.

Затем берлинская газета продолжает: «О'Коннель сказал, что он (т. е. О'Коннор) обладает, правда, энергией, но не логикой». Это опять-таки превосходно. Покойный Дан был честный человек; логика его энергии состояла в том, что он ежегодно выжимал из карманов своих бедных земляков ренту в 30 000 ф. ст.; логика о'конноровской агитации заставила пользующегося дурною славой чартиста лишь продать все свои поместья.

«Джонс, второй вождь чартистов, стоящий на крайнем крыле, которого теперь разыскивают суды и которого нигде нельзя найти, не может даже представить поручителя за себя на сумму в 1000 ф. ст.». Это третья новость высокообразованной берлинки. В этих трех строчках она говорит три нелепости. Во-первых, о поручительстве не может быть совсем и речи, пока суды еще разыскивают Джонса. Во-вторых, Эрнест Джонс уже две недели находится в Ньюгэте, и образованная берлинка, вероятно, была только на чашке чая у

какой-либо другой высокообразованной и осведомленной товарки, когда совсем недавно вся английская буржуазная пресса проявила свою грубую радость по поводу ареста Джонса. В-третьих, Джонс, наконец, нашел все же человека, готового уплатить за него залог в 1000 ф. ст., а именно — вышеупомянутого неумного и бесхарактерного О'Коннора, но суды отвергли его предложение на том основании, что он, в качестве члена парламента, не может давать поручительство.

Берлинка кончает тем, что заставляет чартистов небольших городишек нередко избивать друг друга. Милая берлинка, ты бы хотя разок почитала английскую газету! Ты тогда увидела бы, что чартистам издавна доставляет гораздо больше удовольствия избивать полицию, чем самих себя.

Рекомендуем полную ума и характера «Новую берлинскую газету» особому вниманию наших читателей.

УГРОЗА «ГАЗЕТЫ ГЕРВИНУСА».

Кельн, 24 июня.

«Если авторитет Франкфуртского собрания и его конституционных постановлений сможет удержать Францию в узде, то *спешить нечего*. Пруссия из своих восточных провинций восстановит снова свой авторитет и *при этом, вероятно, вряд ли побоится временной потери своей Рейнской провинции*» («Газета Гервинуса» от 22 июня).

Как дипломатично пишет берлинский корреспондент профессорской газеты! Пруссия восстановит *из своих восточных провинций* свой авторитет». Где восстановит она свой авторитет? В восточных провинциях? Совсем нет, *из восточных провинций*. В Рейнской провинции? Еще меньше того. Потому что при этом *восстановлении* своего авторитета она считается «с временной потерей Рейнской провинции», т. е. с временной *потерей* своего «авторитета» в Рейнской провинции. И она его восстановит в Берлине и Бреславле.

И почему она восстановит утраченный, повидимому, в Берлине и Бреславле авторитет не *при помощи* своей восточной провинции, почему она восстановит его *из* своей восточной провинции?

Россия не составляет восточную провинцию Пруссии; напротив, Пруссия скорее является *западной провинцией* России. Но *из* прусской восточной провинции, рука об руку с бравыми померанцами, русские наводнят *Содом и Гоморру* и вновь восстановят «*авторитет*» Пруссии, т. е. прусской династии, абсолютной королевской власти. «Авторитет» этот был утрачен с того дня, когда абсолютизм принужден был поставить между собой и *своим* народом «*писанный лист бумаги*», запачканный плебейской кровью, когда *двору* пришлось поставить себя под охрану и под надзор берлинских хлебных и шерстяных торговцев.

Итак, друг и спаситель явится с Востока. Зачем же тогда заниматься с этой стороны войсками границу? С Запада надвигается враг, в сторону Запада следует поэтому сосредоточивать военные силы. Наивный берлинский корреспондент «Кельнской газеты» не может постичь геройское мужество *Пфуля*, бравого друга поляков, который

принимает на себя миссию в Петербург, не имея за своей спиной охраны в 100 000 солдат. *Пфюль бесстрашно* едет в Петербург! Пфюль в Петербурге! Пфюль не боится перейти русскую границу, а германская публика болтает о русских военных силах у германской границы! Корреспондент «Кельнской газеты» соболезняет германской публике. Но вернемся к нашей профессорской газете!

Если русские устремятся на помощь прусской династии с Востока, то французы поспешат на помощь германскому народу с Запада. И Франкфуртское собрание может спокойно продолжать прения о наилучшем порядке дня и наилучших «конституционных постановлениях». Корреспондент «Газеты Гервинуса» скрывает это мнение под цветами красноречия, «что Франкфуртское собрание и его конституционные постановления будут держать Францию в узде». Пруссия *утратит* Рейнскую провинцию. Но зачем ей *останавливаться* перед этой потерей? Ведь последняя будет лишь «временной». Германский патриотизм еще раз будет маршировать под русской командой против романского Вавилона и на долгое время восстановит *авторитет Пруссии* также и в Рейнской провинции и во всей Южной Германии. О ты, ангел мести!

Если Пруссия не *останавливается перед временной утратой Рейнской провинции*, то Рейнская провинция еще меньше того останавливается перед «постоянной» утратой прусского господства. Если Пруссия заключает союз с русскими, то немцы заключат союз с французами и вместе с ними поведут войну Запада против Востока, цивилизации против варварства, республики против самодержавия.

Мы желаем единства Германии, но элементы этого единства могут образоваться только в результате распада больших немецких монархий. Только в военной и революционной буре будут они выкованы. А конституционализм исчезает сам собою, как только *события* провозглашают *лозунг: самодержавие или республика*. Но, — кричат нам в возмущении конституционные буржуа, — кто толкнул немцев в объятия русских? Кто другой, как не демократы? Долой демократов! И они правы.

Если бы мы сами ввели у нас русскую систему, мы избавили бы русских от труда вводить ее, а себя — от *военных расходов*.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ.

Кельн, 2 июля.

Натравливать народы друг на друга, использовать один народ для угнетения другого и таким образом обеспечить дальнейшее существование абсолютной деспотической власти, — вот к чему сводилось искусство и деятельность всех существовавших доселе правителей и их дипломатов. Германия особенно отличалась в этом отношении. За последние семьдесят лет, чтобы не углубляться в более отдаленное прошлое, Германия предоставила британцам за их золото своих ландскнехтов против северо-американцев, боровшихся за свою независимость; когда вспыхнула первая французская революция, опять-таки не кто иной, как немцы, дали натравить себя, как дикую свору собак, против французов; в свирепом манифесте герцога Брауншвейгского они грозили срыть Париж до основания, вступили в заговор с эмигрировавшими дворянами против нового порядка во Франции, причем все эти услуги были оплачены Англией под видом субсидий. Когда в продолжение двух последних столетий голландцам пришла раз в голову разумная мысль положить конец безумному хозяйничанью Оранского дома и превратить свою страну в республику, — палачами свободы выступили опять-таки немцы. Швейцария также могла бы порассказать кое-что о соседстве немцев, а Венгрия лишь медленно сможет излечиться от вреда, причиненного ей Австрией, этим германским императорским двором. Вплоть до самой Греции доходили немецкие банды наемников, долженствовавшие поддерживать маленький трон любезного Отто, и в самой Португалии появлялись немецкие полицейские. А конгрессы после 1815 г., походы Австрии на Неаполь, Турин, Романью, арест Ипсиланти, вызванная Германией поработительная война Франции против Испании, дон-Мигуэль, дон-Карлос, поддержанные Германией, реакция в Англии, вооруженная ганноверскими войсками, Бельгия, расчлененная и термидоризованная под немецким влиянием, немцы в самых глубинах России, являющиеся опорой единого самодержца и малых деспотов, — вся Европа, наводненная Кобургами!

Польша, ограбленная, расчлененная при помощи немецкой военной, Краков, предательски ею раздавленный; Ломбардия и Венеция, порабощенные и истощенные при помощи немецкого золота и крови; всякое освободительное движение, прямо или косвенно задушенное во всей Италии штыками, виселицами, тюрьмой, галерами... Перечень грехов Германии гораздо длиннее, лучше прекратим его!

Вина за эти гнусности, с помощью Германии учиненные в других странах, падает не только на правительство, но в большой мере и на самый германский народ. Не будь его ослепления, его рабского духа, его пригодности и готовности играть роль ландскнехтов, «благодушных» палачей и послушных орудий господ «божьей милостью», — немецкое имя не было бы так ненавистно, проклинаемо и презираемо за границей, а порабощенные Германией народы давно пришли бы к нормальному состоянию свободного развития. Теперь, когда немцы стряхнули свое собственное ярмо, должна быть изменена и вся их политика по отношению к другим народам, иначе мы задушим свою собственную юную, еще только почти чаемую свободу в тех самых цепях, которыми мы опутываем чужие народы. Германия станет свободной в той же мере, в какой даст свободу соседним народам.

Наконец-то действительно становится светлее. Ложь и извращение фактов, столь неутомимо распространявшиеся старыми правительственными органами относительно Польши и Италии, попытки искусственно вызвать ненависть, высокопарные речи о том, что дело идет о немецкой чести, о немецком могуществе, — влияние этих магических формул подорвано. Только там, где за этими патристическими арабесками скрываются материальные интересы, только у одной части крупной буржуазии, которая на этом официальном патриотизме обделывает прибыльные дела, — только в этой среде еще торгуют патриотизмом. Это реакционная партия знает и демонстрирует. Масса немецкого среднего класса и рабочего класса понимает или чувствует, что свобода соседних народов является гарантией ее собственной свободы. Но этого понимания, этого чувства недостаточно. Разве война Австрии против независимости Италии, разве война Пруссии против восстановления Польши популярны, и не рассеивают ли они скорее последние иллюзии относительно этих «патристических» крестовых походов? Если немецкая кровь и немецкие деньги не должны более расточаться, против собственных интересов Германии, на подавление других национальностей, то мы должны добиться действительно народного правительства, а старое здание должно быть снесено до самого основания. Лишь при этом условии неопределенная и кровавая политика старой и вновь возобновляемой:

системы уступит место международной политике демократии. Каким образом хотите вы вести демократическую политику во-вне, когда внутри демократия связана по рукам и по ногам? А между тем и по эту, и по ту сторону Альп должно быть предпринято все, чтобы подготовить демократическую систему во всех отношениях. *Итальянцы* не скупятся на заявления, из которых явствуют их дружественные чувства по отношению к Германии. Напомним о манифесте временного миланского правительства к немецкому народу и о многочисленных статьях итальянской прессы, выдержанных в том же духе. У нас перед глазами новое выражение этих настроений — частное письмо редакции издающейся во Флоренции газеты «Alba» к редакции «Новой рейнской газеты». Оно датировано 20 июня и в нем, между прочим, говорится: «...Благодарим вас сердечно за то внимание, которое вы пробуждаете к нашей бедной Италии. Заверяем вас, что все итальянцы прекрасно знают, кто именно посягает на их свободу и борется против нее; они знают, что их смертельным врагом является не могущественный и великодушный немецкий народ, а его деспотическое, неправомерное и грубое правительство. Заверяем вас, что каждый истинный итальянец трепетно ждет того дня, когда он, свободный, сможет протянуть руку немецкому брату; он знает, что как только будут твердо установлены неотъемлемые права немецкого брата, последний сумеет их отстаивать и уважать, как он сумеет внушить уважение к этим правам и всем своим братьям. Мы проникнуты верой в те же принципы, стойкое распространение которых составляет вашу задачу.

«С глубоким уважением остаемся мы вашими преданными друзьями и братьями. *Л. Алилари*».

«Alba» — одна из итальянских газет, твердо отстаивающих демократические принципы.

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ALBA».

Уважаемый господин редактор!

1 июня в городе Кельне начнет выходить, под редакцией Карла Маркса, новая ежедневная газета под названием «Новая рейнская газета». Эта газета будет на нашем севере бороться за те же демократические начала, которые «Alba» представляет в Италии. Не может, следовательно, быть никакого сомнения относительно того, какую позицию «Новая рейнская газета» займет в стоящих между Италией и Австрией спорных вопросах. Мы будем отстаивать дело итальянской независимости, мы будем вести самую ожесточенную борьбу против австрийского деспотизма в Италии, равно как и в Германии и в Польше. Братски протягиваем мы руку итальянскому народу и хотим ему доказать, что немецкий народ отвергает какое бы то ни было участие в деле угнетения, — угнетения, которое и у вас ведется теми же людьми, что и у нас постоянно боролись против свободы. Мы сделаем все возможное, чтобы подготовить союз и доброе согласие между обоими великими и свободными народами, которые благодаря роковому образу правления казались враждебными друг другу. Мы требуем поэтому, чтобы грубая австрийская солдатчина была незамедлительно отозвана и чтобы итальянскому народу дана была возможность проявить свою суверенную волю в деле выбора удобной ему формы правления.

Дабы дать нам возможность следить за итальянскими событиями, а вам дать возможность судить об искренности наших заявлений, предлагаем вам обмен вашей газеты на нашу, с тем чтобы мы вам ежедневно посылали «Новую рейнскую газету», а вы нам посылали ежедневно «Alba».

С братским приветом, главный редактор

Карл Маркс.

ТУРИНСКАЯ «CONCORDIA».

Кельн, 23 июля.

Недавно мы упоминали, что выходящая во Флоренции газета «Alba» братски протянула нам через Альпы свою руку. Можно было ожидать, что другая газета, туринская «Concordia», газета иной окраски, тоже выскажется — в противоположном, но не во враждебном духе. В одном из своих прежних номеров «Concordia» высказала мысль, что «Новая рейнская газета» сочувствует всем партиям, если они только являются *«угнетенными»*. Это мало вразумительное заключение газета делает на основании нашей оценки пражских событий и нашего сочувствия демократической партии в ее выступлениях против реакционного Виндишгреца и К°. Впрочем, может быть, с тех пор туринская газета несколько лучше уяснила себе *чешское* движение.

Все же за последнее время «Concordia» сочла нужным посвятить «Nuova Gazzetta Renana» одну в достаточной мере доктринерскую статью. Она прочла в нашей газете программу созданного в Берлине рабочего конгресса, и восемь пунктов этой программы, подлежащие обсуждению рабочих, доставляют ей большое беспокойство.

Добросовестно переведя всю программу, она следующими словами начинает некоторое подобие критики:

«В этих предложениях много верного и справедливого, но «Concordia» изменила бы себе, если бы не подняла голоса против заблуждений социалистов».

Мы, со своей стороны, выступаем против «заблуждения» «Concordia», которое состоит в том, что она приняла программу, составленную комиссией по созыву рабочего конгресса, которую мы лишь воспроизвели, за нашу *собственную* программу. Мы готовы вступить в дискуссию с «Concordia» по политико-экономическим вопросам, как только ее собственная программа будет представлять из себя нечто большее, чем собрание общеизвестных филантропических фраз и подхваченных налету догматов о свободе торговли.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ И ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В ПРАГЕ.

Кельн, 11 июля.

Несмотря на патриотический шум и завывание почти всей немецкой печати, «Новая рейнская газета» с первого же момента выступила в защиту поляков в Познани, итальянцев в Италии, чехов в Богемии. С первого момента разоблачили мы макиавеллистскую политику, которая во внутренних делах Германии, поколебленной в своих устоях, стремилась парализовать демократическую энергию, отвлечь от себя внимание, отвести в сторону поток революционной лавы, выковать оружие для внутреннего порабощения; с этой целью она вызвала своекорыстную, противную космополитическому характеру немцев племенную ненависть и в этих расовых войнах неслыханной жестокости и беспримерного варварства создала военщину, какой не знала даже Тридцатилетняя война.

В тот самый момент, когда немцы борются со своими правительствами за внутреннюю свободу, их заставляют под командой этих же самых правительств предпринять крестовый поход против свободы Польши, Богемии, Италии. Какая глубина соображения! Какой исторический парадокс! Охваченная революционным брожением, Германия во-вне ищет спасения в войне реставрации, в походе *за* укрепление старой власти, *против* которой она только что устроила революцию. Лишь война с Россией есть война революционной Германии, — война, в которой она может смыть грехи прошлого, окрепнуть и победить своих собственных самодержцев, — война, в которой она, как подобает народу, сбрасывающему с себя оковы долгого покорного рабства, кровью своих сынов купит право на пропаганду цивилизации и освободит себя внутри, освобождая народ во-вне.

Чем ярче общественность осветит последние события, тем сильнее факты подтвердят нашу точку зрения на расовую войну, которую Германия запятнала свою новую эру. В подтверждение нашей точки зрения мы приводим уже запоздалое, правда, сообщение одного немца из Праги.

Прага, 24 июня 1848 г.

«Немецкая всеобщая газета» от 18-го с. м. поместила статью о состоявшемся 18-го с. м. собрании немцев в Ауссиге. На этом собрании были произнесены речи, в которых обнаружилось такое незнакомство с нашими последними событиями и отчасти, говоря мягко, выявилась такая готовность облить нашу независимую печать поворной бранью, что референт считает своей обязанностью, насколько это в настоящее время возможно, разъяснить эти заблуждения и со свойственной истине твердостью выступить против заблуждающихся и злонамеренных лиц. Нельзя не поражаться, когда люди, подобные основателю «Союза защиты немецких интересов на востоке», говорят перед лицом целого собрания: «Пока в Праге длится борьба, не может быть речи о прощении, и если нас ожидает победа, то ее следует в будущем использовать». Какую же победу одержали немцы, какой заговор был подавлен? Разумеется, те, кто доверяет корреспонденту «Немецкой всеобщей газеты», — повидимому, очень поверхностно осведомленному, — или патетическим фразам «маленького пожирателя поляков и французов», или статьям предательского «Франкфуртского журнала», во время баденских событий возбуждавшего немцев против немцев, а теперь немцев против чехов, — тот никогда не уяснит себе здешних отношений. В Германии, повидимому, повсюду господствует мнение, что борьба на улицах Праги велась во имя подавления немецкой части населения и во имя основания славянской республики. О последнем мы не будем говорить, потому что такой взгляд слишком наивен. Что же касается первого, то во время боев на баррикадах не замечалось ни малейшей тени соперничества между национальностями. Немцы и чехи стояли рядом, одинаково готовые защищаться. Я сам неоднократно слышал, что ораторы, говорившие по-чешски, просили перевести сказанное на немецкий язык, что и делалось каждый раз без малейших возражений. Говорят, что взрыв революции произошел на два дня раньше, чем предполагалось. И хотя это заставляет, казалось бы, думать, что была какая-нибудь организация и что, по крайней мере, заготовлены были снаряды, однако в действительности ничего этого не было. Баррикады неожиданно вырастали из земли там, где собиралось 10 — 12 человек. Впрочем, больше баррикад построить не было никакой возможности, так как даже самые маленькие улочки были в трех-четыре местах перерезаны баррикадами. Снарядами делились на улицах, и количество их было очень ограничено. О высшем командовании, вообще о каком бы то ни было командовании, не было и речи. Защитники баррикад держались там, где на них нападали, и стреляли без всякого руководства, без команды, из домов и с баррикад. Каким же образом при таком неорганизованном, никем не руководимом сопротивлении могла возникнуть мысль о заговоре, если бы она не была пущена в официальной версии, в распубликованном расследовании. Само правительство, повидимому, не считает эту версию основательной, ибо из дворца не сообщают ничего, что могло бы разъяснить Праге события кровавых июньских дней. Захваченные члены «Сворности» (Swornost) ¹ почти все уже выпущены на свободу; будут выпущены и остальные пленные, только граф Бокуа, Вилани и некоторые другие остаются еще под арестом. И в один прекрасный день мы, может быть, увидим на стенах Праги плакат, в котором будет сказано, что все было лишь одним недоразумением. Операции командовавшего

¹ [Согласие, объединение].

генерала тоже не указывают на то, что приходилось защищать немцев от чехов. Вместо того чтобы привлечь к себе немецкое население разъяснением событий, взять баррикады и охранять жизнь и собственность «верных» жителей города, — генерал очищает старый город, переходит на левый берег Молдавы и расстреливает вместе и немцев, и чехов, так как бомбы и пули, попадавшие в старый город, не могли отыскивать одних лишь чехов, а поражали одинаково всех, не справляясь с кокардой. Какие же имеются, здраво рассуждая, основания предполагать существование славянского заговора, если до сих пор правительство не желает или не может дать никаких объяснений?

Гражданин д-р Гешен из Лейпцига передал благодарственный адрес князю Виндишгрецу, которому этот генерал не придал, однако, особенного значения, как выражению народных чувств. Гражданин Гешен — один из тех осторожных либералов, которые после февральских дней вдруг сделались либералами. Он — автор адреса с выражением доверия саксонскому министерству относительно избирательного закона, в то время как вся Саксония возмущается этим законом, ибо шестая часть ее населения, и в том числе как раз наиболее одаренные и способные люди, лишена своего основного гражданского права — права голоса на выборах в законодательные учреждения. Он один из тех, кто в «Немецком союзе» определенно высказывался против допущения к участию в выборах в Саксонии немцев не-саксонского происхождения, и — обратите внимание, какое двуличие! — вскоре после того он от лица своего клуба обещал полное содействие тому, чтобы союз проживающих в Саксонии немцев не-саксонцев получил возможность избрать своего представителя во Франкфурт. Коротко говоря, его вполне характеризует один факт: он — основатель «Германского союза». И этот человек посылает благодарственный адрес австрийскому генералу и благодарит его за защиту, оказанную им объединенному немецкому отечеству. Я уже, кажется, упоминал, что, собственно говоря, трудно судить, насколько велики были заслуги князя Виндишгреца пред немецким отечеством. Это покажет лишь результат расследования. Поэтому мы предоставим истории судить о «высоком мужестве», об отважной деятельности», о «твердой выдержке» генерала. Что же касается выражения «низкий убийца» по поводу смерти княгини, мы заметим только, что совершенно не доказано, что пуля предназначалась княгине, которая пользовалась нераздельным уважением всей Праги. Если это действительно было так, то убийца не уйдет от наказания, а горе князя, вероятно, не больше, чем горе той матери, которая видела, как унесли с разможенным черепом ее 19-летнюю дочь — тоже ни в чем не повинное создание. А относительно выражения в адресе «храбрые войска, мужественно сражавшиеся под вашим начальством», я вполне согласен с г. Гешеном; если бы он, подобно мне, видел, с какой воинственной отвагой эти храбрые войска набросились на Целтнерштрассе, в понедельник, в полдень, на беззащитную толпу, он нашел бы свое выражение слишком слабым. Я должен сознаться, как ни тяжело это для моего военного самолюбия, что я, мирно прогуливаясь у собора среди женщин и детей, должен был обратиться в бегство перед лицом 30 — 40 императорско-королевских гренадеров, и притом столь поспешно, что весь мой багаж, т. е. моя шляпа, остался в руках победителей. ибо я нашел излишним ждать, пока сыпавшиеся позади меня удары обрушатся на меня. Однако шесть часов спустя мне привелось видеть, как те же императорско-королевские гренадеры обстреливали в течение получаса картечью и шестидюймовыми снарядами баррикаду на Целтнерштрассе, которую защи-

пало не больше двадцати человек, и все же не взяли ее до тех пор, пока ее защитники не покинули ее около полуночи. До рукопашной дело не доходило, за исключением тех мест, где перевес был на стороне гренадеров. Грабен и Новая аллея, судя по опустошению домов, были очищены, главным образом, артиллерией, и я позволю себе спросить: нужна ли большая храбрость для того, чтобы очистить картечью широкую улицу, которую защищает не больше сотни едва вооруженных людей?

Что же касается последней речи доктора Страдаля из Теплица, в которой он говорит, что «пражские газеты содействовали проведению чужих интересов» (нужно думать — русских интересов), то я заявляю от имени независимой пражской печати, что это — или крайнее незнание фактов, или подлая клевета, вся нелепость которой уже обнаруживалась до сих пор и будет впредь обнаруживаться позицией наших газет. Свободная пражская печать не имеет других стремлений, кроме защиты независимости Богемии и отстаивания прав обеих национальностей. Ей, однако, отлично известно, что немецкая реакция стремится спровоцировать узко-националистические тенденции как в Познани, так и в Италии для того, чтобы *подавить революцию внутри Германии*, отчасти же для того, чтобы подготовить солдатчину к гражданской войне.

«КЕЛЬНСКАЯ ГАЗЕТА» ОБ АНГЛИЙСКИХ ПОРЯДКАХ.

Кельн, 31 июля.

«Где можно найти в Англии хоть след этой ненависти к классу, который во Франции называется буржуазией? Эта ненависть была некогда направлена против аристократии, которая посредством хлебной монополии возложила на промышленность обременительный, несправедливый налог. Буржуа не пользуется в Англии никакими привилегиями, он — детище своего прилежания; во Франции же при Луи-Филиппе он был детищем монополии, привилегии».

Это великое, ученое, правдолюбивое изречение находится в руководящей статье г. Вольфера на столбцах всегда хорошо освещенной «Кельнской газеты».

Воистину замечательно! В Англии существует самый многочисленный, самый сконцентрированный, самый классический пролетариат, ряды которого каждые пять-шесть лет опустошаются гибельнейшим бедствием торговых кризисов, голодом и тифом, косящими каждого десятого, — пролетариат, который в течение половины своей жизни оказывается в промышленности лишним и обреченным на голод; в Англии из десяти человек один является паупером, а из трех пауперов один — невольником в тисках закона о бедных; в Англии на попечение о бедных ежегодно тратится сумма, почти равная всем расходам прусского государства; в Англии нищета и пауперизм открыто провозглашены как необходимый фактор современной промышленной системы и национального богатства, — и все-таки в Англии не найти и следа ненависти к буржуазии. Ни в одной стране мира с массовым пролетариатом противоположность между пролетариатом и буржуазией не достигла такой высоты развития, как в Англии; ни одна страна в мире не знает таких кричащих контрастов между крайней нищетой и колоссальным богатством, и несмотря на это — где же можно найти следы ненависти к буржуазии?

Разумеется! Коалиции рабочих, бывшие до 1825 г. тайными, а с того времени ставшие открытыми, коалиции не на один только день против одного какого-нибудь фабриканта, а коалиции длитель-

этого характера, постоянные, направленные против целых групп фабрикантов, коалиции целых отраслей труда, целых городов, наконец, коалиции бесчисленных рабочих по всей Англии, — все эти коалиции с их бесчисленными боями с фабрикантами, с их забастовками, которые приводят к насилиям, мстительным разрушениям, поджогам, вооруженным нападениям, убийствам, все это, конечно, является доказательством любви пролетариата к буржуазии!

Вся война рабочих против фабрикантов, которая длится вот уже восемьдесят лет, борьба, которая началась с разрушения машин и через коалиции, через отдельные нападения на личность и собственность фабрикантов и немногих преданных фабрикантам рабочих, через более или менее крупные восстания, через инсurreкции 1839 и 1842 гг. развилась в самую сознательную классовую борьбу, какую только видел свет, — вся эта классовая борьба чартистов, организованной партии пролетариата, против организованной государственной власти буржуазии, борьба, которая, правда, не привела еще к таким страшным кровавым коллизиям, как июньская битва в Париже, но будет вестись с гораздо большим упорством, гораздо большими массами и на гораздо большем пространстве, эта социальная гражданская война является, конечно, для «Кельнской газеты» и для ее сотрудника Вольфера сплошным доказательством любви английского пролетариата к господствующей над ним буржуазии.

Как далеко то время, когда было в моде изображать Англию как классическую страну социальных противоречий и борьбы и с оглядкой на Англию превозносить так называемое «неестественное положение» Франции с ее королем-буржуа, с ее буржуазными парламентскими борцами и бравыми рабочими, которые всегда так храбро дерутся за буржуазию! Как далеко то время, когда «Кельнская газета» каждый день тянула эту песню и находила в английских классовых битвах основание для того, чтобы отвратить Германию от протекционистской системы и развивающейся под ее влиянием «неестественной» тепличной промышленности! Но июньские дни все перевернули. От ужасов июньской битвы оцепенели все члены «Кельнской газеты», и миллионы чартистов Лондона, Манчестера, Глазго обратились в ничто перед сорока тысячами парижских инсургентов.

Франция стала классической страной ненависти к буржуазии, а, согласно теперешним утверждениям «Кельнской газеты», была ею с 1830 г. Странно! В то самое время, как английские агитаторы на митингах, в брошюрах, в журналах вот уже с десятков лет не

устают при одобрении всего пролетариата призывать к самой жгучей ненависти к буржуазии, французская рабочая и социалистическая литература неизменно проповедует примирение с буржуазией, основываясь при этом как раз на том, что во Франции классовые противоречия еще далеко не так развиты, как в Англии! И как раз те люди, при одном имени которых «Кельнская газета» трижды осеняет себя крестным знамением, — Луи Блан, Каба, Коссидьер, Ледрю-Роллен, — в течение ряда лет, и до, и после февральской революции, проповедывали мир с буржуазией и делали это большей частью *de la meilleure foi du monde*. «Кельнская газета» могла бы просмотреть все писания названных лиц, она могла бы перелистать «Réforme», «Populaire», даже рабочие газеты последних лет, как «Union», «Ruche populaire», «Fraternité», но достаточно привести и два всем известных произведения: «Историю десяти лет» Луи Блана, особенно конец, и два тома его же «Истории революции».

Но «Кельнская газета» не только упорствует в своем утверждении, что в Англии не существует никакой ненависти «к тому, что во Франции называется буржуазией» (также и в Англии, наш прекрасно осведомленный коллега, ср. «Northern Star» за два года), — она объясняет также, почему это должно быть именно так, а не иначе.

Пиль спас английскую буржуазию от этой ненависти тем, что отменил монополию и установил свободу торговли: «В Англии буржуа не пользуется ни привилегиями, ни монополией, во Франции же он — детище монополии». «Мероприятиям Пили обязана Англия спасением от страшного переворота».

Уничтожив монополию аристократии, Пиль спас буржуазию от грозной ненависти пролетариата, — удивительная логика у «Кельнской газеты»!

«Английский народ, говорим мы, ежедневно все больше убеждается в том, что только от свободы торговли можно ожидать разрешения жизненных вопросов, связанных с его теперешними страданиями и заботами, — разрешения, которое пытались в последнее время найти в потоках крови... Не забудем, что первые идеи свободной торговли исходят от английского народа».

Английский народ! Но «английский народ», начиная с 1839 г., боролся со сторонниками свободной торговли на всех митингах и в печати; во времена величайшего расцвета Лиги борьбы против хлебных пошлин он заставлял их собираться тайно и обуславливать доступ на свои митинги получением особого билета; с самой горькой иронией он сопоставлял практику фритредеров с их прекрасными речами, он совершенно отождествлял буржуа и фритре-

дера. Английский народ был даже принужден время от времени пользоваться кратковременной поддержкой аристократии, монополистов, против буржуазии, например в вопросе о десятичасовом рабочем дне, — и вот этот самый народ, так хорошо умевший гнать фритредеров с трибуны общественных собраний, этот «английский народ» должен выступить в роли провозвестника идеи свободной торговли? Детская наивность «Кельнской газеты», которая не только в своей болтовне повторяет вслед за крупными капиталистами Манчестера и Лидса их иллюзии, но и доверчиво воспринимает их преднамеренную ложь!

«Буржуа не пользуется в Англии ни привилегиями, ни монополиями!» Но во Франции — там дело обстоит иначе: «Буржуа с давних пор был для рабочего монополистом, которому бедный земледelec уплачивал 60% налога за железо своего плуга, который ростовщически наживался на своем каменном угле, который обрек на голодную смерть всех виноделов, который продавал им все и вся на 20, 30, 50% дороже...»

Почтенная «Кельнская газета» не знает никакой другой монополии, кроме пошлины, т. е. монополии, которая лишь по видимости угнетает рабочего, в действительности же падает своей тяжестью на буржуазию, на всех тех промышленников, которые не извлекают выгоды от протекционизма. «Кельнская газета» не знает никакой иной монополии, кроме той, которую ненавидели фритредеры от Адама Смита до Кобдена, т. е. местной, законами установленной монополии.

Но монополии капитала, монополии, существующей без помощи законодательства и часто вопреки законодательству, для господ из «Кельнской газеты» не существует. А между тем эта именно монополия прямо и безжалостно душит рабочих и порождает борьбу между пролетариатом и буржуазией! Именно эта монополия является специфически-современной монополией, продуктом коей являются современные классовые противоречия. И разрешение этих именно противоречий составляет специфическую задачу XIX столетия!

Эта монополия капитала становится, однако, все более могущественной, всеобъемлющей и угрожающей, по мере того как исчезают все прочие мелкие и местные монополии.

Чем свободнее становится конкуренция вследствие отмены всяких «монополий», тем быстрее концентрируется капитал в руках промышленных феодалов, тем быстрее гибнет мелкая буржуазия, тем быстрее Англия, эта страна капиталистической монополии, подчиняет своей промышленности окрестные страны. Уничтожьте

«монополии» французской, германской и итальянской буржуазии, и Германия, Франция и Италия превратятся в пролетариев всепоглощающей английской буржуазии. Тот гнет, который отдельные английские буржуа осуществляют над отдельными английскими пролетариями, этот самый гнет будет тогда осуществлять английская буржуазия в целом над Германией, Францией и Италией, а от этого больше всего пострадает мелкая буржуазия этих стран.

Все это тривиальности, которые теперь не приходится никому больше объяснять, не рискуя оскорбить, за исключением ученых господ из «Кельнской газеты».

Этим глубоким мыслителям свобода торговли представляется единственным средством спасения Франции от губительной войны между рабочими и буржуазией.

В самом деле, снизить также и буржуазию страны до уровня пролетариата — вот средство уничтожения классовых противоречий, достойное «Кельнской газеты».

РУССКАЯ НОТА.

Кельн, 1 августа.

Вместо войск русская дипломатия прислала пока что ноту в форме циркуляра ко всем русским посольствам в Германии. Прежде всего она была напечатана в официальном органе блюстителя германской империи во Франкфурте и вскоре нашла себе благожелательный прием и в других официальных и неофициальных органах. Чем менее обычен тот факт, что господин Нессельроде, русский министр иностранных дел, такими приемами ведет свою государственную политику, тем более внимательного рассмотрения заслуживают эти приемы.

В счастливые времена до 1848 г. немецкая цензура заботилась о том, чтобы ни одно слово, неугодное русскому правительству, не было напечатано, даже в отделе сообщений о Греции или Турции.

Со времени злополучных мартовских дней этот удобный выход, к сожалению, закрыт. Нессельроде поэтому становится публицистом.

По его мнению, это «германская пресса, ненависть которой к России, казалось, на время заглохла», распространила по поводу русских «предохранительных мер» на границе «самые необоснованные предположения и комментарии». После довольно вежливо выдержанного вступления следует повышение тона: «Немецкая печать изо дня в день распространяет о нас самые вздорные слухи, полную ненависти клевету». Затем речь идет уже о «яростной декламации», о «сумасбродствах», о «вероломной злонамеренности».

В ближайшем процессе печати немецкий государственный прокурор сможет положить в основу своей обвинительной речи русскую ноту в качестве достоверного документа.

Почему же нужно нападать, а где возможно, — уничтожать германскую, особенно «демократическую» печать? Потому, что она не признает «благожелательный и бескорыстный образ мыслей и открыто миролюбивые намерения» русского императора.

«Когда Германия могла на нас жаловаться?» спрашивает Нессельроде от имени своего повелителя. «В течение того времени, когда

на континенте продолжалось гнетущее господство завоевателя, Россия проливала кровь, *чтобы поддержать целость и самостоятельность Германии*. Русская территория была давно уже освобождена, а Россия продолжала помогать и поддерживать немецких союзников на всех европейских полях битвы».

Несмотря на своих многочисленных и хорошо оплачиваемых агентов, Россия находится в печальном заблуждении, если надеется в 1848 г. разбудить симпатии к себе упоминанием о так называемых освободительных войнах. Россия проливала кровь за нас, немцев?

Не говоря уже о том, что Россия до 1812 г. «поддерживала целость и самостоятельность» Германии открытым союзом и тайными договорами с Наполеоном, она в достаточной степени вознаградила себя потом грабежами и мародерством за свою так называемую помощь. Ее помощь была нужна объединившимся с нею князьям, ее поддержка, несмотря на калишские прокламации, была предоставлена представителям «божьей милостью» абсолютизма против вывинутого революцией властелина. Священный союз и его далеко не священные дела, бандитские конгрессы в Карлсбаде, в Лайбахе, в Вероне и т. д., русско-немецкие преследования всякого свободного слова, вся политика, какую вела Россия с 1815 г., должны были, конечно, внушить нам глубокую благодарность. Дом Романовых со своими дипломатами может не беспокоиться, — *этого* долга мы не забудем. Что касается русской помощи в 1814 и 1815 гг., то нам доступны скорее всякие другие чувства, чем признательность за эту субсидированную Англией помощь.

Причины этого ясны для всякого проникательного человека. Если бы Наполеон остался победителем в Германии, он со своей известной энергичной формулой устранил бы, по крайней мере, три дюжины возлюбленных отцов народа. Французское законодательство и управление создали бы солидное основание для германского единства и избавили бы нас от 33-летнего позора и тирании столь восхваляемого, конечно, господином Нессельроде Союзного сейма. Двумя-тремя наполеоновскими декретами были бы совершенно уничтожены вся средневековая грязь барщины и десятины, все изъятия и привилегии, все феодальное хозяйство и вся патриархальность, которые еще тяготят над нами во всех концах и углах наших родин. Остальная Германия давно уже стояла бы на той же ступени, которой достигло левое побережье Рейна вскоре после французской революции. У нас не было бы теперь ни укермаркской знати, ни померанской Вандеи, и нам не приходилось бы дышать удушливым воздухом «исторических» и «христиански-германских» болот.

Но Россия великодушна. Даже если ей не выражают никакой благодарности, ее император питает к нам, как и раньше, «благожелательные и бескорыстные чувства». Да, «несмотря на обиды и вызывающий тон, Германии не удалось изменить наши (России) настроения».

Эти чувства выражаются пока в «пассивной и выжидательной системе», в которой Россия, без сомнения, достигла большой виртуозности. Она умеет ждать, пока ей не покажется, что наступил подходящий момент. Несмотря на огромное передвижение войск, имевшее место в России, начиная с марта, г. Нессельроде настолько наивен, что говорит нам: русские войска все это время «неподвижно оставались на своих местах». Несмотря на классическое «Теперь, друзья, на коней!», несмотря на скрытую нелюбовь к немецкому народу и раздражение против него у министра полиции Абрамовича в Варшаве, несмотря или — вернее — благодаря угрожающим и богатым последствиями нотам из Петербурга, русское правительство продолжает воодушевляться стремлением к «миру и примирению». Россия продолжает быть «искренне миролюбивой и лишь обороняющейся». В циркуляре Нессельроде Россия — само терпение и благочестие, постоянно оскорбляемая и провоцируемая невинность.

Приведем некоторые указанные в ноте преступления Германии против России: 1) «враждебное настроение» и 2) «лихорадка перемен во всей Германии». В ответ на такую благожелательность царя — «враждебное настроение!» Как обидно для отцовского сердца нашего дорогого брата! А тут еще эта проклятая болезнь — «лихорадка перемен!» Вот первый, а вот и другой ужас! Россия дарит нас время от времени другой болезнью — холерой. Что делать? Но эта лихорадка перемен не только заразительна, она бывает иногда столь злокачественна, что знатные господа подчас бывают вынуждены спешно выехать в Англию. Может быть, «немецкая лихорадка перемен» была одной из причин, удержавших Россию от вмешательства в марте и в апреле.

3-е преступление. Предпарламент во Франкфурте счел войну с Россией необходимой в настоящее время. То же самое произошло в клубах и газетах, и это тем более непростительно, что, по постановлениям Священного союза и по позднейшим договорам между Россией, Австрией и Пруссией, мы, немцы, должны проливать кровь за интересы князей, а не за наши собственные.

4-е преступление. В Германии говорилось о восстановлении старой Польши в ее действительных границах 1772 г. Кнотом вас огреть, а потом — в Сибирь! Но нет, когда Нессельроде писал свой

циркуляр, он еще не знал результатов голосования во Франкфуртском парламенте по вопросу о включении Познани. Парламент искупил нашу вину, и кроткая прощающая улыбка играет теперь на устах царя.

5-е преступление Германии. «Достойная сожаления война Германии с одной северной монархией». За такую дерзость, принимая во внимание успех угрожающей русской ноты и поспешное отступление германского войска по приказанию из Поттсдама и имея в виду объяснение, данное прусским послом в Копенгагене о причинах и целях войны, Германия может быть наказана не так строго, как если бы всех этих обстоятельств не было.

6-е. «Откровенная проповедь оборонительного и наступательного союза между Германией и Францией».

Наконец, 7-е. «Прием, оказанный польским эмигрантам, бесплатный провоз их по железным дорогам и восстание в Познани».

Если бы язык не был дан дипломатам и людям их круга для того, «чтобы скрывать свои мысли», Нессельроде и наш брат Николай бросились бы нам на шею, ликуя и пламенно благодаря за то, что столько поляков из Франции, Англии, Бельгии и т. д. заманено и перевезено со всяческими льготами в Познань, чтобы там их расстреливали картечью и шрапнелью, жгли адским камнем, прикалывали, отрывали им головы и т. д. и, по возможности, совершенно истребили их предательской бомбардировкой Кракова.

И в ответ на эти семь смертных грехов Германии Россия сохраняет оборонительное положение и не делает попыток нападения? Да, это так, и именно поэтому русский дипломат приглашает весь мир преклоняться пред миролюбием и умеренностью его императора.

Образ действий русского императора, «от которого он до сих пор ни на шаг не отступил», заключается, по мнению графа Нессельроде, в том, чтобы «ни в какой мере не вмешиваться во внутренние дела государств, которые захотели изменить свой государственный строй, и, больше того, предоставить народам полную свободу и со своей стороны не чинить им препятствий к проведению политических и общественных экспериментов, которые они захотят предпринять; не нападать ни на одну державу, если она сама не нападет на Россию, но в то же время решительно отбивать всякие попытки нарушить ее собственную неприкосновенность и следить за тем, чтобы в случае изменения или нарушения в каком-нибудь пункте территориального равновесия это не произошло за счет наших законных интересов».

Русская нота забывает привести примеры для иллюстрации царской политики. После июльской революции русский император стянул

войска на западной границе, чтобы вместе со своими верными друзьями в Германии на деле доказать французам, как он думает «предоставить народам полную свободу производить политические и общественные эксперименты». Что его «образ действий» не был доведен до конца, в этом повинен не он, — повинна польская революция 1830 г., которая придала другое направление его планам. Тот же образ действий мы вскоре могли наблюдать по отношению к Испании и Португалии. Его открытая и тайная поддержка Дон-Карлоса и Дон-Мигуэля является тому доказательством. Когда прусский король в конце 1842 г. хотел дать стране своего рода сословную конституцию на уютной «исторической» основе, которая сыграла такую превосходную роль в грамоте 1847 г., то, как известно, именно Николай запретил это сделать и нас, «христианских германцев», на много лет лишил радости обладания обещанными грамотами. Он сделал это, как говорит Нессельроде, потому, что Россия никогда не вмешивается во внутреннее устройство других стран. О Кракове не стоит упоминать. Вспомним только последний пример императорского «образа действий». Валахи свергают старое правительство и на его место ставят временно новое правительство. Они хотят изменить всю свою старую систему и управляться по примеру цивилизованных народов. «Дабы предоставить им полную возможность свободно производить политические и общественные эксперименты» в страну врывается корпус русских войск.

Из этого всякий может сам понять, какое применение этот «образ действий» будет иметь по отношению к Германии. Но русская нота избавляет нас от труда делать собственные выводы. Она гласит: «До тех пор, пока *конфедерация*, какую бы *новую форму* она ни приняла, не будет трогать соседние государства и не будет пытаться насильно расширять свои границы или распространять свою правомерную компетенцию за пределы тех пограничных областей, которые к ней отошли по договорам, император также будет относиться с *уважением к ее внутренней независимости*».

Яснее звучит следующий, к этому же вопросу относящийся абзац: «Если Германии удастся разрешить проблему своего управления без ущерба для ее *внутреннего* спокойствия и если новые, соответствующие духу ее народа формы будут таковы, что не представят опасности для спокойствия других государств, мы искренне пожелаем ей счастья по тем же причинам, по которым мы желали ей его при ее прежних политических формах».

Яснее и бесспорнее всего звучат все же следующие места циркуляра, где говорится о неустанных стараниях России установить и

поддерживать в Германии согласие и единство: «*Разумеется, не то материальное единство, о котором ныне мечтает жаждающая нивелировки и расширения демократия* и которое, в случае осуществления тщеславных теорий этой демократии, рано или поздно неизбежно привело бы Германию к войне со всеми соседними государствами, а то *моральное единство*, то искреннее единодушие мнений и намерений во всех политических вопросах, которое *Германский союз* должен проявлять по отношению к иностранным державам.

«*Добиться этого единства*, крепче спаять нити, связывающие германские правительства друг с другом, — только эту цель ставила себе наша политика.

«К тому, чего мы хотели тогда, мы стремимся и теперь».

Моральное единство Германии Россия допускает, как можно видеть из приведенного, с удовольствием, только не *материальное* единство, только не вытеснение существовавшего до сих пор Союзного сейма властью, основанной на суверенитете народа, не только кажущейся, а действительной и твердо управляющей. Какое великодушие!

«К тому, чего мы хотели тогда (до февраля 1848 г.), мы стремимся и теперь».

Это единственная фраза в русской ноте, которая, конечно, ни у кого не будет вызывать сомнений. Мы все же заметим господину Нессельроде, что хотеть и выполнить — две разные вещи.

Немцы теперь великолепно знают, как они должны вести себя по отношению к России. Если будет сохранена старая система, хотя бы и подкрашенная современными красками, и если Германия, вышедшая под влиянием «мгновенного опьянения и возбуждения» из русской и «исторической» колеи, снова покорно войдет в нее, Россия будет «искренне миролюбива».

Положение дел внутри России — свирепствующая холера, мелкие восстания в отдельных губерниях, подготовлявшаяся в Петербурге, но во-время предотвращенная революция, заговор в варшавской цитадели, вулканическая почва в Царстве Польском, — все это, во всяком случае, обстоятельства, способствующие как благожелательным, так и «бескорыстным» намерениям России по отношению к Германии.

Однако гораздо более могущественное влияние на «пассивную и выжидательную систему» оказало, без сомнения, существовавшее до сих пор положение дел в Германии.

Мог ли бы сам Николай лучше вести свои дела, скорее осуществлять свои намерения, чем это делалось до сих пор в Берлине, Потсдаме, Инсбруке, Вене и Праге, Франкфурте и Ганновере и почти

в каждом укромном уголке нашей вновь исполненной русским моральным единством родины? Разве Пфуль (Адский камень), Колумб и прапелельный генерал в Познани, как и Виндишгрец в Праге, не работали так, что сердце царя должно тонуть в блаженстве? Разве Виндишгрец не получил хвалебного письма Николая за Потсдам из рук молодого г. Мейендорфа? А разве господа Ганземан-Мильде-Шреккенштейн в Берлине и Радовицы, Шмерлинги и Лихновские во Франкфурте оставляют желать чего-нибудь лучшего для России? Разве благонравие франкфуртского парламента не должно явиться успокоительным бальзамом для многих горестей недавнего прошлого? При таких условиях русской дипломатии нет надобности посылать войска против Германии. Она с полным правом может удовольствоваться «пассивной и выжидательной системой» и — разобранной выше нотой!

«КЕЛЬНСКАЯ ГАЗЕТА» ОБ ИТАЛИИ.

Кельн, 26 августа.

Вчера мы были обречены выслушивать политические рассуждения, с точки зрения мировой истории, некоего беллетриста г. Вильгельма Иордана из Берлина. Судьба безжалостно преследует нас. То же самое выпало на нашу долю и сегодня: главное достижение марта состоит в том, что беллетристы заарендовали политику.

Г-н *Левин Шюккинг* из Мюнстера, четвертая или пятая спица в рекламной колеснице г. Дюмона, напечатал в «Кельнской газете» статью о «нашей политике в Италии».

Что же говорил «мой друг Левин с глазами мертвеца»?

«Для Германии никогда не представлялось *более счастливого* момента, чем нынешний, чтобы построить свою политику по отношению к Италии на прочном, могущем устоять столетия, фундаменте. Мы с честью (благодаря предательству Карла-Альберта!) смыли с наших знамен грязь, которой забрызгал их быстро возгордившийся своей удачей народ. Во главе непобедимой, достойной изумления не только своей победой, но и стойкостью и выносливостью армии Барбабианка, *белая борода*, водрузил славного (!) немецкого двуглавого орла на башнях *мятежного города*, где еще свыше шестисот лет тому назад император *Барбаросса* водрузил эти же знамена как символ *владычества Германии над Италией*. *Это владычество осталось за нами и поныне*».

Так говорит г. Левин Шюккинг из «Кельнской газеты».

Тогда, когда хорваты и венгерцы Радецкого были выбиты из Милана безоружным народом после пятидневной борьбы, когда «достойная изумления армия», разбитая при Гойто, отступила к Вероне, — тогда молчала политическая лира «моего друга с глазами мертвеца». Но с тех пор как получившая подкрепление австрийская армия одержала победу благодаря столь же трусливому, сколь и неумелому предательству Карла-Альберта, предательству, которое мы предсказывали несчетное количество раз, с тех пор соседние публицисты опять вышли на сцену, с тех пор они трубят о «смытой грязи», с тех пор они отваживаются проводить параллель между Фридрихом

Барбароссой и Радецким-Барбабианкой, с тех пор героический Милан, совершивший самую славную революцию из всех революций 1848 г., стал только «мятежным городом», с тех пор нам, немцам, принадлежит, чего раньше никогда никто не слышал, «владычество над Италией!»

«Наши знамена!» Черно-желтые лоскутья меттерниховской реакции, которые в Вене топтались ногами, — вот знамена г. Шюккинга из «Кельнской газеты!»

Славный «германский двуглавый орел»! То самое геральдическое чудовище, которому вооруженная революция пообщицала перья при Жемапше, при Флерюсе, при Миллевимо, при Риволи, при Нови, при Маренго, при Гогенлиндене, при Ульме, при Аустерлице, при Ваграме — вот кто «славный» чербер г. Шюккинга из «Кельнской газеты».

Когда австрийцы были разбиты, они были австрийцами, зондербундовцами, даже почти предателями родины. Но с тех пор как Карл-Альберт попался в ловушку, с тех пор как австрийцы продвинулись к Тичино, — это «немцы», это «мы» совершили все это. Мы не имеем ничего против того, что «Кельнская газета» одержала победу при Вольта и Кустоцце и завоевала Милан. Но в таком случае она также несет ответственность за всем хорошо известные зверства и бесчинства этого «достойного изумления по стойкости и выносливости» варварского войска, — точно так же, как в свое время она взяла на себя ответственность за галицийскую бойню.

«Это владычество принадлежит нам и поныне. Италия и Германия, это — народы, которые природа и история связала общими узами, которые соединены самим провидением, которые родственны между собой, как наука и искусство, как мысль и чувство»...

Как г. Брюггеман и г. Шюккинг!

И именно для того немцы и итальянцы в течение 2 000 лет живут в постоянной борьбе друг с другом, именно для того итальянцы всегда снова и снова сбрасывали немецкий гнет, именно для того миланские улицы так часто окрашивались немецкой кровью, чтобы доказать, что Германия и Италия «соединены провидением»!

Именно потому, что Италия и Германия «родственны между собой», Радецкий и Вельден подожгли и разграбили все венецианские города!

«Мой друг Левин с глазами мертвеца» требует, чтобы мы отказались от Ломбардии до Этча, так как народ не хочет нас, хотя несколько бедных «cittadini» (так называет ученый муж г. Шюккинг contadini — крестьян) и встречали австрийцев с ликованием. Но если мы будем вести себя как «свободный народ», «Ломбардия

охотно протянет нам руку, чтобы *мы* повели ее по пути, по которому она одна не в состоянии итти, — по пути к свободе».

В самом деле! Италия завоевала себе свободу печати, суд присяжных, конституцию еще до того, как Германия проснулась от своего беспечного сна; Италия, которая в Палермо провела первую революционную борьбу этого года; Италия, без оружия победившая в Милане «непобедимых» австрийцев, — Италия не может итти по пути свободы без того, чтобы Германия, т. е. Радецкий, не вел ее! Конечно так, если Франкфуртское собрание, ничего не стоящая центральная власть, тридцать девять отдельных государств и «Кельнская газета» необходимы для того, чтобы итти по пути к свободе...

Довольно! Дабы итальянцы попросили немцев «вести их к свободе», г. Шюккинг удерживает итальянский Тироль и Венецию, чтобы наградить ими австрийского эрцгерцога, и посылает «2 000 человек расположенных в южной Германии имперских войск в Рим, чтобы дать там возможность наместнику Христа спокойно жить в собственном доме».

Но, увы!

Француз и русский—господа на суше,
Британия—владычица морей,
А мы, мечтательные души,
Царим среди Эмпирей.

Там наша власть для всех неоспорима,
Там мы державой царствуем одной,
Внизу Земля едва лишь зрима,
Где род живет людской.

И там, наверху, в воздушном царстве мечты, ютится и наше «владычество над Италией».

Никто этого не знает лучше г. Шюккинга. И, помечтав об этой храброй политике владычества на пользу германского государства, он заключает со вздохом: «Политика великодушная, благородная, достойная такой державы, как германское государство, к сожалению, всегда считалась у нас фантастической, *и так, вероятно, будет еще долго*».

Мы рекомендуем г. Шюккинга на должность портье и пограничного часового немецкой чести на высотах Штильфского перевала. Оттуда закованный в латы фельетонист «Кельнской газеты» будет наблюдать за Италией и блюсти за тем, чтобы не пропала ни одна частичка «владычества Германии над Италией». И тогда только Германия сможет спать спокойно.

БУНЗЕН.

Кельн, 3 ноября.

Рыцарь *Бунзен* — бесспорно уважаемый муж. Рыцарь Бунзен говорит по-английски и, что еще много важнее, ездит верхом по-английски. Рыцарь Бунзен является прусским послом в Англии.

Отсюда видно, что может выйти из простого евангелистского кандидата!

Рыцарь Бунзен — благочестивый муж. Он пишет десятки мелких трактатов и произносит в маленьких конвентиках десятки речей. Рыцарь Бунзен является гросс-церемониймейстером нового pietistско-протестантского культа, который, к сожалению, еще не выявил себя по-настоящему, ни разу еще не имел, к сожалению, случая осрамить себя на деле.

Последнее обстоятельство для нас всегда являлось загадкой, ибо имя Бунзена и слово «срам» настолько, собственно, связаны между собою, что Бунзен без срама, это — почти противоречие.

Нас охватывает священный страх каждый раз, когда мы встречаем в какой-либо газете имя Бунзена, ибо мы заранее тогда знаем, что близится какая-то беда. Как чайка своим полетом возвещает бурю, так имя Бунзена предвещает всякий срам. Рыцарь Бунзен, это — срамная птица Германии.

Но горе нам в особенности тогда, когда мы встречаем имя благородного рыцаря в какой-нибудь английской газете, особенно когда его упоминают с похвалой даже в «Times»! Тогда к сознанию срама присоединяется убеждение в том, что мы за этот срам должны будем заплатить наличной полноценной монетой, что нам придется внести за это англичанам фунты, шиллинги и пенсы.

Рыцарь Бунзен — самый дорогой посол, какого Германия когда-либо имела. Когда «Times» воскуривает рыцарю Бунзену фимиам, это стоит Германии сотни тысяч.

Но к делу. С некоторых пор имя господина Бунзена больше не упоминается. С того момента, как рыцарь Бунзен начал спекулировать на министерстве иностранных дел при германском центральном

правительстве и проспекулировался, он словно умер, а вместе с ним умер и срам.

Но вот вчера мы разворачиваем «Times» за среду, 1 ноября, и воистину — мы не ошибаемся: господин Бунзен воскрес из мертвых, и снова ожил срам. «Times» дает длинную хвалебную передовую о рыцаре, о маленькой брошюре, которую он пустил в обращение, — настоящее пустословие, едва ли стоящее упоминания. И в страхе мы трем себе лоб.

Откуда может дуть ветер? Где причина этого восхваления? Где тут торчит срам? Дадим нашему читателю на этот счет разъяснение.

Министерство Ауэрсвальд-Ганземан-Мильде издало 5 сентября временное распоряжение «о повышении надбавки к ввозным пошлинам на некоторые заграничные товары». Так как это повышение пошлин коснулось английской шерстяной пряжи и английских шерстяных товаров, оно явилось тяжелым ударом как раз для всех предприятий Йоркширского графства, ежегодно ввозящих в Германию через Гамбург, Роттердам и Антверпен огромное количество этих товаров. Поэтому мы и видим, что тотчас же после опубликования прусского распоряжения экспортеры Брэдфорда, Лидса, Гудерсфильда и т. д. обращаются с энергичным заявлением к лорду Джону Росселю, добиваясь, чтобы последний немедленно предпринял необходимые шаги к отмене указанного распоряжения. В самой Германии заинтересованные в этом деле лица обратились с подобным же протестом непосредственно к министерству торговли в Берлине.

Мы не хотим здесь заниматься расследованием, благоприятен ли или неблагоприятен указ 5 сентября для интересов Германии. Но достоверным является, что вот уже несколько дней этот указ был взят Пруссией обратно так же торжественно, как несколько недель тому назад был провозглашен.

«Нас радует возможность сообщить, — пишет «Times» от 31 октября, — что государства Таможенного союза по вопросу о повышении ввозных пошлин приняли решение о свободном от всяких дополнительных обложений ввозе английских товаров, если только последние будут снабжены сертификатами о происхождении. Кроме того, прусское правительство намерено возвратить обратно те дополнительные пошлины, которые уже были заплачены за товары, имевшие надлежащие сертификаты. Оно намерено также побудить к подобному же шагу и другие государства Таможенного союза».

И мы спрашиваем наших читателей, не беспримерный ли это поворот, когда только что изданный указ, затрагивающий интересы германской торговли вплоть до самых отдаленных ее ветвей, так сво-

бодно и легко берется назад, словно дело идет о совершенном пустяке, о пустой детской игре?

Что скажут англичане, у которых лучшие головы дни и ночи занимаются в парламенте обсуждением даже самых мелких изменений в торговом законодательстве? Что скажут англичане, когда увидят, как беспечно, как по-детски поступаем мы в важнейших вопросах?

Но англичане смеются над нами. Они знают, что мы снова будем плясать под их дудку. И поэтому каждый раз, когда «Times» хвалит макулатуру рыцаря Бунзена, это звучит только как презрительное злорадование по отношению к народу, который, вопреки всем революциям, оставляет важнейший посольский пост в таких руках, как руки какого-нибудь Бунзена.

Ничтожество Бунзен еще раз обожествляется, а Германия еще раз срамится. Как долго это будет продолжаться?

**УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ В БЕРЛИНЕ
И МИНИСТЕРСТВО ГАНЗЕМАННА**

МИНИСТЕРСТВО ГАНЗЕМАНА.

Кельн. 23 июня.

Новый поворот министерского кризиса в Берлине! Наш Ганземаан получил предложение составить кабинет и с обломками старого министерства, с *Патовым*, *Борнеманом*, *Шлейницем*, *Шреккенштейном*, попадает прямо в объятия левого центра. В этой новой комбинации должен принять участие г. *Родбертус*, который гарантирует раскаявшимся обломкам министерства Кампгаузена милость и прощение левого центра.

По милости г. Родбертуса наш прусский Дюшатель дождался увенчания всех своих самых заветных желаний, — он становится премьером. Лавры Кампгаузена не давали ему спать; теперь, наконец, он получит возможность доказать, на что он способен, когда есть возможность без помех расправить свои крылья. Теперь сможем мы невозбранно удивляться его грандиозным финансовым планам во всем их великолепии, — его неисчислимым проектам уничтожения всякой нужды и нищеты, планам, которыми он морочил своих депутатов. Лишь теперь он в состоянии посвятить государству всю полноту своих талантов, которые он раньше столь блестяще и успешно развил в качестве железнодорожного деятеля и на других поприщах. И только теперь градом посыплются кабинетские кризисы, вопросы о доверии и т. п.

Г-н Ганземаан превзошел свой прообраз. По милости г. Родбертуса он становится премьером, а Дюшатель никогда премьером не был. Но пусть он остережется. У Дюшателя были свои основания, почему он постоянно оставался видимо в тени, на втором плане. Дюшатель знал, что более или менее образованные сословия страны нуждаются как в палате, так и вне ее в красноречивом рыцаре «больших дебатов», в каком-нибудь Гизо или Кампгаузене, который в любом случае сумеет усыпить совесть и увлечь сердца всех слушателей соответствующими доказательствами, философскими рассуждениями, политическими теориями и прочим краснобайством. Дюшатель охотно уступал своему красноречивому идеологу ореол

председательства в совете министров. Суетный блеск не имел для него цены, ему важно было обладать действительной практической властью, и он знал: где находился *он*, там была действительная власть. Г-н Ганземан хочет сделать иную попытку, он должен знать это. Но мы повторяем: председательство в совете министров не является естественным постом Дюшателя.

Но чувство жалости охватывает нас, когда мы подумаем, как скоро г. Ганземан слетит с головокружительной высоты. Ибо до того, как кабинет Ганземана сконструирован, до того, как ему удастся насладиться хоть на мгновение своим существованием, он уже обречен на гибель.

«Палач стоит у ворот»!

Реакция и русские стучат в двери, и прежде чем трижды пропоет петух, кабинет Ганземана падет, несмотря на Родбертуса и не взирая на левый центр. Тогда прощай председательство в совете министров, тогда прощайте финансовые планы и грандиозные проекты уничтожения нужды; все их поглотит бездна, и благо г. Ганземану, если он спокойно вернется к своему скромному бюргерскому очагу и сможет предаться размышлениям о том, что жизнь, это — мечта.

ЗАПИСКА ПАТОВА О ВЫКУПЕ.

Кельн, 24 июня.

В согласительном заседании 20 сего месяца, в том роковом заседании, в которое зашло солнце Кампгаузена и наступил министерский хаос, г. Патов представил доклад об основных началах, на которых он мыслит регулировать отмену феодальных отношений в стране.

Читая этот доклад, никак не поймешь, почему в старо-прусских провинциях давно уже не вспыхнула крестьянская война. Какая груда повинностей, поборов, пошлин, какая путаница средневековых названий, одно бессмысленнее другого! Ленная власть, наследственные пошлины, лучшая голова скота, курмед (выходная пошлина), защитные пошлины, поклонный сбор, вальпургиев чинш, бортнический сбор, восковой оброк, поборы за обработку неводеланных земель, десятины, лаудемии (взносы при переходе крестьянских земель), взносы с наследства, — вся эта груда феодального мусора и по сей день оставалась бы в «самом благоустроенном государстве» и сохранилась бы на веки веков, если бы французы не сделали февральской революции!

Да, большинство этих повинностей, и как раз *самых обременительных*, оставалось бы на веки, если бы все пошло по желанию г. Патова. Для того и был г. Патов прикомандирован к этому департаменту, чтобы по возможности щадить провинциальных дворянчиков Бранденбурга, Померании и Силезии, а крестьян максимально надувать по части плодов революции!

Берлинская революция сделала все эти феодальные повинности навсегда невозможными. Крестьяне, разумеется, сейчас же отменили их на практике. Правительству ничего не оставалось больше, как облечь в законную форму *фактически уже осуществленную волю народа отмену феодальных тягот*.

Но прежде чем аристократия решилась на четвертое августа, должны были запылать ее замки. Правительство, как раз в данном случае представленное аристократом, высказалось в пользу

аристократии; оно представило собранию проект, в котором требовало от соглашателей, чтобы они предали аристократии крестьянскую революцию, вспыхнувшую в марте по всей Германии. Правительство ответственно за последствия, которые вызовет применение в деревнях принципов г. Патова.

А именно: г. Патов хочет, чтобы крестьяне заплатили выкуп за отмену всех феодальных повинностей, даже лаудемий! Лишь те повинности должны быть отменены без выкупа, которые вытекают из личной крепостной зависимости, из прежней системы налогов и из вотчинной юрисдикции, или же те, которые не представляют ценности для господ феодалов (как милостиво!); иначе говоря, те повинности, которые составляют самую ничтожную часть всех феодальных повинностей.

Напротив, все выкупы феодальных повинностей, урегулированные уже путем договоров или судебных решений, сохраняют свою силу. Это значит, что крестьяне, которые выкупили свои повинности при действии реакционных, благоприятных дворянству законов, издававшихся начиная с 1816 и особенно с 1840 г., — и при этом были обмануты в своих собственнических интересах, сначала по закону, потом подкупленными чиновниками, разумеется, в пользу помещиков, — что они не получают никакого вознаграждения.

А для этого, чтобы пустить пыль в глаза крестьянам, должны быть учреждены земельные банки.

Если бы все шло, как хотелось г. Патову, то при его законах феодальные повинности столь же мало были бы отменены, как при действии старых законов 1807 г.

Настоящее заглавие проекта г. Патова: «Доклад о сохранении на вечные времена феодальных повинностей посредством их выкупа».

Правительство провоцирует крестьянскую войну. Быть может, Пруссия «не устрашится» даже «временной потери» Силезии.

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ.

Кельн, 2 июля:

После трагедии — идиллия, после грома парижских июньских дней — барабанная трескотня берлинских соглашателей. Мы совсем потеряли из виду этих господ, и вот оказывается, что в тот самый момент, когда Кавеньяк бомбардирует Сент-Антуанское предместье, г. Кампгаузен произносит свою грустную прощальную речь, а г. Ганземан развивает программу нового министерства.

Прежде всего мы с удовлетворением отметим, что г. Ганземан последовал нашему совету и не стал премьер-министром. Он понял, что гораздо внушительнее *делать* премьер-министров, чем *быть* премьер-министром.

Новое министерство есть и остается, несмотря на подставное лицо (*prête-nom*) Ауэрсвальда, министерством Ганземана. Оно выдает себя за таковое, прокламируя себя как деловое министерство, как министерство осуществления практических задач. Право же, у г. Ауэрсвальда нет никаких притязаний на то, чтобы быть деловым министром!

Программа г. Ганземана известна. Не станем входить в разбор ее политических пунктов, они сделались уже пищей для более или менее ничтожных немецких листов. Только один пункт не отважились подвергнуть обсуждению, и чтобы г. Ганземан не остался в накладе, сделаем это мы.

Г-н Ганземан заявляет: «Для оживления промышленной деятельности, стало быть, для уничтожения нужды трудящихся классов народа, нет в настоящее время более действительного средства, как восстановление пошатнувшегося доверия к прочности законного порядка и немедленное прочное утверждение конституционной монархии. Всеми силами преследуя эту цель, мы тем самым вернее всего боремся с безработицей и нуждой».

В начале своей программы г. Ганземан уже заявил, что с этой целью он предложит новые законы о репрессиях, так как старое законодательство (полицейского государства) недостаточно.

Это довольно ясно. Старое деспотическое законодательство недостаточно! Не министру общественных работ, не министру финансов, а военному министру надлежит весть уничтожением нужды трудящихся классов!

Репрессивные законы в первую очередь, картечь и штыки — во вторую, — воистину, нет «более действительного средства»! Что же, г. Шреккенштейн, — одно имя которого, согласно известному вестфальскому адресу, внушает ужас мятежникам, — должен воспылать желанием продолжать свои трирские подвиги и сделаться Кавеньяком в уменьшенном прусском масштабе?

Но кроме этого, самого «действительного» средства в распоряжении г. Ганземана имеются и другие. «Для этой же цели необходимо также создание занятий нуждающимся путем введения общественных работ, которые принесут стране действительную пользу».

Таким образом, г. Ганземан обещает устроить «еще более обширные работы для блага *всех* трудящихся классов страны», чем г. Патов. Но сделает он это лишь тогда, «когда министерству удастся рассеять питаемую волнениями и подстрекательствами боязнь крушения государственного порядка и восстановить всеобщее доверие, необходимое для получения потребных денежных средств».

В данное время г. Ганземан не может предпринять никаких работ, так как не может получить для этого никаких денег. Он сможет лишь тогда получить деньги, когда будет восстановлено доверие. Но как только будет восстановлено доверие, рабочие, как он сказал, найдут работу, и тогда правительству не придется больше создавать новые занятия для безработных.

В этом отнюдь не порочном, а бюргерски-добродетельном кругу вертятся мероприятия г. Ганземана в деле уничтожения нужды. Теперь же г. Ганземан не может предложить рабочим ничего, кроме сентябрьских законов и маленького Кавеньяка. Поистине, министерство *дела!*

Мы не будем уже касаться вопроса о признании революции в программе. Хорошо осведомленный Г. — корреспондент «Кельнской газеты» — только что показал публике, в какой мере г. Ганземан спас правовые основы для блага соседски-дружественных публицистов. Г-н Ганземан признал за революцией лишь то, что она по существу вовсе не была революцией.

Едва кончил Ганземан, как поднялся премьер-министр Ауэрвальд, — он ведь тоже должен же был что-нибудь сказать. Он вынул исписанную бумажку и прочитал приблизительно следующее, только не в стихотворной форме:

Сегодня, судари, средь вас
Я счастлив пребывать
И этот незабвенный час
Век буду вспоминать.
От вас я слышу в этот миг
Сочувствующий вой;
Бессилен описать язык
Восторг безмерный мой.

Мы замечаем, что придали здесь самое благоприятное толкование весьма мало вразумительной записке г. премьер-министра.

Едва кончил Ауэрсвальд, как снова выскочил наш Ганземан, чтобы постановкой вопроса о доверии показать, что он остался прежним. Он требует, чтобы законопроект был передан в комиссию, и говорит: «Прием, который это предложение встретит в собрании, даст меру большего или меньшего доверия, с которым это высокое собрание принимает министерство».

Это, однако, уже было слишком. Депутат Вейксель, несомненно один из читателей «Новой рейнской газеты», совсем взбудораженный вскакивает на трибуну и заявляет решительный протест против этой неизменной системы вопросов о доверии. Пока все довольно хорошо. Но когда немец берет слово, он кончает не скоро, и г. Вейксель углубился в длинное обсуждение всяких вещей — революции, 1807 и 1815 гг., теплого сердца, бьющегося под одной курткой, и разных других предметов. И все это потому, что ему «необходимо высказаться». Ужасный шум и несколько криков «браво» слева заставили этого славного человека сойти с трибуны.

Г-н Ганземан стал уверять собрание, что министерство совершенно не намерено *легкомысленно* ставить вопрос о доверии. Да и теперь это не полный, а только частичный вопрос о доверии, так что нет надобности о нем и говорить.

Тогда разгораются такие прения, какие редко происходят. Все говорят одновременно, обсуждение идет из пятого в десятое. Вопрос о доверии, порядок дня, порядок занятий, польская национальность, предложение о закрытии заседания, крики браво, шум перекрещиваются довольно долго. Наконец, г. Паризиус замечает, что г. Ганземан внес предложение от имени министерства, тогда как министерство, как таковое, не имеет права вносить предложений, а может только делать сообщения.

Г-н Ганземан отвечает: он оговорился, предложение по существу вовсе не предложение, а только *пожелание* министерства.

Величественный вопрос о доверии превратился всего только в «пожелание» г. министра!

Г-н Паризиус вскакивает на трибуну слева, Ритц — справа. Наверху они встречаются. Столкновение неизбежно, — ни один из героев не желает уступать. Тогда председатель г. Эссер берет слово, — и оба героя возвращаются на свои места.

Г-н *Захариэ* принимает на себя предложение министерства и требует продолжения дебатов.

Г-н Захариэ, услужливый сторонник как этого, так и прежнего министерства, который и во время предложения Берендса выступил в надлежащий момент с поправкой и явился, таким образом, его ангелом-спасителем, теперь ничего не находит для мотивировки своего предложения. Сказанного министром финансов совершенно достаточно.

Возникают продолжительные прения с неизбежными поправками, перерывами, шумом, криками и регламентскими ухищрениями. Нет надобности водить наших читателей по этому лабиринту, — достаточно приоткрыть несколько наиболее привлекательных перспектив в этом хаосе.

1) Депутат Вальдек поучает нас: адрес не может возвращаться в комиссию, потому что комиссия больше не существует.

2) Депутат Гуффер объясняет: адрес является ответом не короне, а министрам. Министры, составившие тронную речь, больше не существуют. Как можем мы отвечать тому, кто больше не существует?

3) Депутат д'Эстер в форме поправки делает следующий вывод: собрание хотело провалить адрес.

4) Эта поправка следующим образом отводится председателем Эссером: «Это заявление представляется новым предложением, а не поправкой».

Таков скелет прений. Но на этом тощем острове нависает масса рыхлого мяса в виде речей господ министров Родбертуса и Кюльветтера, господ депутатов Захариэ, Рейхеншпергера II и др.

Положение в высшей степени странное. Как говорит сам Родбертус, «неслыханно в истории парламента, чтобы министерство уходило в тот момент, когда обсуждается проект адреса и по его поводу открываются прения». Пруссии посчастливилось в том отношении, что в первые шесть недель существования ее парламента совершались вещи, «неслыханные в истории парламента».

Г-н Ганземан в такой же западне, как и палата. Адрес — несомненный ответ на тронную речь Кампгаузена-Ганземана — на деле должен превратиться в ответ на программу Ганземана-Ауэрсвальда. Угодливая по отношению к Кампгаузену комиссия должна поэтому выказывать такую же угодливость и г. Ганземану. Затруднение лишь

в том, чтобы предъявить людям это «неслыханное в парламентской истории» требование. Для этого предлагают всевозможные средства. Родбертус — эта эолова арфа левого центра — наигрывает свои нежнейшие мелодии. Кюльветтер стремится умиротворить всех, — ведь возможно, что при новом рассмотрении проекта адреса «придут к заключению, что и в настоящий момент нет основания вносить никаких изменений (!), но, чтобы прийти к такому заключению» (!!), необходимо снова вернуть проект в комиссию! Наконец, г. Ганзёман, которому, как всегда, надоели эти длинные прения, разрубает узел, сказав прямо, почему проект должен быть возвращен в комиссию: он не желает, чтобы новые изменения проскользнули через заднюю дверь в качестве министерских поправок, — они должны явиться парадным ходом, через широко раскрытые двери, в виде предложения комиссии. Премьер-министр заявляет, что необходимо, чтобы «министерство, согласно конституции, принимало участие в составлении проекта адреса». Как нужно это понимать и какую конституцию имеет в виду г. Ауэрсвальд, мы и сами, — сколько ни думали, — не могли понять, тем более, что Пруссия в настоящий момент не имеет никакой конституции.

Необходимо упомянуть еще лишь о двух речах противной стороны—гг. д'Эстера и Гуффера. Г-н д'Эстер очень удачно раскритиковал программу Ганземана, применив к его весьма отвлекенной программе его же собственные прежние замечания относительно бесполезности отвлекенных принципиальных споров. Г-н д'Эстер предлагал *деловому* министерству «перейти, наконец, к делу и оставить в стороне принципиальные вопросы». Его предложение, единственно разумное за весь день, мы отметили уже выше.

Г-н Гуффер, ярче всех выражающий правильную точку зрения на адрес, весьма ярко формулирует также свое отношение к требованию г. Ганземана. Министерство желает, чтобы мы, доверяя ему, передали адрес в комиссию, и ставит свое существование в зависимость от нашего решения. Однако министерство может требовать вотум доверия только относительно *своих собственных действий*, а не относительно действий, предлагаемых им собранию.

Коротко говоря, г. Ганзёман требует вотум доверия, а собрание, чтобы избавить Ганземана от неприятности, вотирует косвенное порицание комиссии, обсуждавшей проект адреса. Деловое министерство скоро покажет господам депутатам, что представляет из себя знаменитый Treasury-Whip (министерский бич).

АРЕСТЫ.

Кельн, 4 июля.

Мы обещали вчера нашим читателям вернуться к аресту д-ра Готтшалька и Аннеке. До сих пор нами получены более подробные сообщения только об Аннеке.

Между 6 и 7 часами утра шесть или семь жандармов явились в квартиру Аннеке, грубо оттеснили прислугу, отворившую им дверь, и тихо поднялись по лестнице. Трое остались в передней, четверо прошли в спальню, где Аннеке и его жена, находящаяся в последней стадии беременности, еще спали. Из этих четырех столпов правосудия один, несмотря на ранний час, уже не особенно твердо держался на ногах и был преисполнен «духом», крепкой живой влагой, жгучей влагой.

Аннеке спросил, что им угодно. «Извольте следовать за нами», ответили ему кратко. Аннеке просил их, по крайней мере, пощадить его больную жену и выйти в соседнюю комнату. Но служители «святой германдады» не пожелали удалиться и потребовали, чтобы Аннеке скорее одевался. Не позволили ему даже поговорить с женой. Эта торопливость дошла до того, что один из жандармов вдребезги разбил стеклянную дверь в передней. Аннеке *столкнули* с лестницы. Четыре жандарма отвезли его в новый арестный дом, трое остались в квартире охранять его жену до прибытия государственного прокурора.

По закону, при аресте обязан присутствовать хотя бы один *чиновник судебной полиции* — полицейский комиссар или кто-нибудь другой. Но к чему подобные формальности с тех пор, как народ имеет для защиты своих прав два собрания представителей: одно в Берлине, другое во Франкфурте?

Через полчаса для производства обыска прибыли государственный прокурор Геккер и следователь Гейгер.

Госпожа Аннеке заявила жалобу на грубое обращение жандармов во время ареста ее мужа и на отсутствие представителя администрации. Г-н Геккер ответил, что он не давал приказания жан-

дармам вести себя грубо во время ареста. Словно бы он мог давать подобные приказания!

Г-жа Аннеке: Вероятно жандармов намеренно послали *одних* вперед, чтобы снять с себя ответственность за возможные насилия. К тому же арест был произведен незаконно, так как не было предъявлено приказа об аресте; один из жандармов, правда, вынул из кармана какую-то бумагу, но не дал ее прочесть Аннеке.

Г-н Геккер: Жандармы посланы для производства ареста *по постановлению судебных властей*.

А суд разве не подчиняется закону? Государственный прокурор и следователь конфисковали большое количество бумаг и прокламаций и среди них целую пачку, принадлежащую г-же Аннеке, и т. д.

Кстати, судебный следователь Гейгер уже назначен *директором полиции*.

Вечером Аннеке допрашивали в течение получаса. Причиной ареста будто бы послужила мятежная речь, произнесенная им на последнем собрании в Гюрценихе. Статья 102 уголовного кодекса упоминает о публичных речах, *непосредственно* призывающих к заговору против императора и членов его семьи или имеющих целью вызвать нарушение государственного спокойствия путем гражданской войны, путем противозаконного употребления вооруженной силы, открытого разгрома или разбоя. Кодексу неизвестен прусский термин «возбуждения недовольства». Ввиду неполноты прусского земского права статья 102 применяется в таких случаях, когда ее применение юридически совершенно недопустимо.

Во время ареста в городе были сосредоточены значительные военные силы. С четырех часов утра войска были собраны в казармах. Булочников и ремесленников впустили в казармы, но обратно не выпустили. Около шести часов утра в Кельн прибыли гусары из Дейтца и прошли через весь город. Отряд в 300 человек занял новый арестный дом. За сегодняшний день произведено четыре новых ареста: Янсена, Калькера, Эссера и еще одного. Воззвание Янсена, в котором он призывал *рабочих к спокойствию*, было, как нам известно от очевидцев, *сорвано* вчера вечером полицией. Что же, это тоже в интересах порядка? Или, наоборот, искали повода осуществить в славном граде Кельне давно задуманные планы?

Обер-прокурор Цвейфель, оказывается, уже давно запрашивал судебную палату в Арнсберге, может ли он арестовать Аннеке на основании его прежнего осуждения и затем переслать его в Юлих. Повидимому, королевская амнистия помешала этому доброжелательному намерению. Дело перешло в министерство.

Говорят еще, что обер-прокурор Цвейфель заявил, будто бы в течение восьми дней он покончит в Кельне-на-Рейне и с событиями 19 марта, и с клубами, и со свободой печати, и со всеми остальными порождениями ненавистного 1848 г. Г-на Цвейфеля никак нельзя обвинить в скептицизме!

Неужели г. Цвейфель решился объединить законодательную власть с исполнительной? Неужели лавры обер-прокурора должны прикрывать наготу народного представителя?

Мы просмотрим еще раз наши милые стенографические отчеты и представим читателям полную картину деятельности народного представителя и обер-прокурора г. Цвейфеля.

* * *

Таковы деяния министерства дела, министерства левого центра, министерства перехода к старо-дворянскому, старо-бюрократическому, старо-прусскому министерству. Как только г. Ганземан выполнит свое назначение переходного министерства, он получит отставку.

Левая в Берлине должна, однако, уразуметь, что старая власть готова смело предоставить ей маленькие парламентские победы и большие конституционные проекты, лишь бы она тем временем овладела действительно решающими позициями. Она смело может признавать революцию в палате, если только революция вне палаты обезоруживается.

В одно прекрасное утро левая сможет убедиться, что ее парламентская победа и ее действительное поражение совпадают. *Быть может, германское развитие и нуждается в подобном контрасте.*

Министерство дела признает революцию в принципе, чтобы на практике осуществлять контр-революцию.

МИНИСТЕРСТВО ДЕЛА.

Кельн, 7 июля.

У нас *новый министерский кризис*. Министерство Кампгаузена *пало*, министерство Ганземана *спотыкается*. *Министерство дела* существовало всего *восемь дней*, несмотря на лечение домашними средствами, на пластыри, на процессы печати, на аресты, несмотря на высокомерную наглость, с которой бюрократия подняла свою забитую бумагами голову и принялась обдумывать жестокую, мелочную месть за свое низложение.

Министерство дела, состоявшее из одних посредственностей, было настолько самоуверенно, что в начале последнего согласительного заседания верило еще в свою непобедимость.

К концу заседания оно окончательно распалось. Это знаменательное заседание показало министру-президенту фон-Ауэрсвальду, что он должен подать в отставку. Министр фон-Шреккенштейн тоже не захотел дольше оставаться оруженосцем Ганземана, и все министерство отправилось в Сан-Суи к королю. Что там постановили, мы узнаем еще сегодня.

Наш берлинский корреспондент добавляет к своему сообщению: «Только что распространился слух, что спешно вызваны *Финке, Пиндер, Мевиссен*, чтобы принять участие в составлении нового министерства». Если этот слух подтвердится, то от министерства посредничества через министерство дела мы доберемся, *наконец*, до контр-революционного министерства. *Наконец-то!* Самого короткого существования подобной министерской контр-революции достаточно, чтобы во весь рост показать народу тех карликов, которые при малейшем веянии реакции подымали свои головки.

СОГЛАСИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 ИЮЛЯ.

Кельн, 9 июля

Насколько является назначение полномочной следственной комиссии необходимым актом справедливости по отношению к полякам, явствует из основанного на подлинных документах отчета, который мы печатаем вот уже третий день.

Старо-прусские чиновники, заранее предубежденные против поляков, видели в обещаниях реорганизации управления угрозу своему существованию. Малейший акт справедливости по отношению к полякам представлялся им опасностью. Отсюда фанатическая ярость, с которой они, при поддержке распущенной военщины, бросались на поляков, нарушали договоры, преследовали самых безобидных граждан, санкционировали или допускали величайшие беззакония, лишь бы вызвать поляков на восстание, подавление которого превосходными силами представлялось, конечно, несомненным.

Министерство Кампгаузена, не только слабое, беспомощное, плохо осведомленное, но и *нарочито*, принципиально бездейтельное, предоставило все своему течению. Произошли неслыханные жестокости, но г. Кампгаузен не шевельнулся.

Что мы знаем о гражданской войне в Познани?

С одной стороны, представленные министерством пристрастные сообщения виновников войны — чиновников и офицеров — и данные, опирающиеся на их показания. Но само министерство — *тоже* заинтересованная сторона, пока в нем принимает участие Ганземан. Эти документы пристрастны, но они *официальны*.

С другой стороны — факты, собранные поляками, их жалобы, обращенные в министерство, в особенности письма к министру архиепископа Пржилуцкого. Эти документы в большинстве случаев неофициальны, но их составители хотели выяснить правду.

Эти два рода сведений полностью противоречат друг другу. Задача комиссии — выяснить, на чьей стороне правда.

Это возможно будет сделать — за исключением некоторых случаев — лишь при том условии, если комиссия выедет на места и

там, на основании свидетельских показаний, выяснит по крайней мере наиболее важные факты. Если ей это запретят, то вся ее деятельность сведется на-нет, ибо ей, быть может, удастся произвести несколько историко-филологических изысканий, признать большую или меньшую достоверность за теми или другими сообщениями, но решить она ничего не сможет.

Все значение комиссии зависит от того, сможет ли она допросить свидетелей, и поэтому все рьяные ненавистники Польши в собрании стремятся помешать этому всеми способами.

4-го числа депутат Блем сказал во время прений: «Разве это значит стремиться к выяснению истины, когда ее, согласно некоторым поправкам, ищут в докладах правительства? Конечно же, нет! На чем основаны доклады правительства? Большею частью на чиновничьих докладах. Откуда взялись эти чиновники? Из старого порядка. Разве исчезли старые чиновники? Разве были произведены национальные выборы новых ландратов? Отнюдь нет. Осведомляют ли нас чиновники о действительных настроениях страны? Старые чиновники представляют нам теперь такие же доклады, как и раньше. Таким образом, не подлежит сомнению, что простое ознакомление с министерскими документами нас ни к чему не приведет».

Депутат Рихтер идет еще дальше. Он рассматривает поведение познанских чиновников как естественное следствие сохранения прежней системы управления и прежних чиновников. Подобные же конфликты между служебным долгом и интересами старых чиновников могут каждый день происходить и в других провинциях. «Со времени революции мы получили новое министерство, теперь имеем даже и второе. Но министерство лишь душа, — оно должно повсюду внести единообразную организацию. В провинциях же повсюду сохранилась прежняя система управления. Хотите вы, чтобы я привел вам другой образ? Так вот — новое вино вливают в старые заплесневелые мехи. Вот почему в Великом герцогстве нас осаждают отчаянными жалобами. Уже *одно это* не обязывает ли нас назначить комиссию, которая показала бы, насколько необходимо как в Познани, так и в других провинциях заменить старый строй новым, более соответствующим современным требованиям?»

Депутат Рихтер прав. После революции смена всех военных и гражданских чиновников, а частью и судебных, особенно чинов прокурорского надзора, была совершенно необходима. В противном случае лучшие начинания центральной власти должны рушиться о сопротивление низов администрации. То обстоятельство,

что французское временное правительство и министерство Кампгаузена не проявили твердости в этом отношении, принесло самые горькие плоды.

В Пруссии же, где в течение 40 лет как в военном, так и в гражданском ведомстве господствовала превосходно организованная бюрократическая иерархия и где бюрократия была главным врагом, побежденным 29 марта, полное обновление гражданских и военных чиновников было особенно необходимо. Но министерство посредничества, конечно, не способно проводить требования революции. Его осознанным призыванием было ничего не делать, и оно оставило пока действительную власть в руках своих старых противников — бюрократов. Оно выступило «посредником» между старой бюрократией и новыми обстоятельствами. Зато и бюрократия оказалась «посредницей» между ним и познанской гражданской войной и навязала ему ответственность за жестокости, невиданные со времени Тридцатилетней войны.

Министерство Ганземана, наследник министерства Кампгаузена, переняло пассив и актив своего наследодателя, т. е. не только большинство в палате, но и познанские события и познанских чиновников. Министерство было, таким образом, прямо заинтересовано в том, чтобы сделать работу следственной комиссии как можно более фиктивной. Ораторы министерского большинства, и главным образом юристы, употребили весь запас казуистики, остроумия и глубокомыслия, чтобы найти глубокомысленные принципиальные причины, по которым комиссия не должна допрашивать свидетелей. Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали восхищаться юридической изворотливостью какого-нибудь Рейхеншпергера и других. Мы должны ограничиться выяснением обстоятельного выступления г. министра Кюльветтера.

Оставляя в стороне деловую сторону вопроса, г. Кюльветтер начинает с заявления, как приятно было бы министерству, если бы подобные комиссии облегчили ему своими разъяснениями выполненные лежащих на нем сложных задач. Да, если бы г. Рейтеру не пришла счастливая мысль предложить назначить подобную комиссию, г. Кюльветтер, конечно, сам настоял бы на ее назначении. Комиссии нужно дать как можно более широкие задания (чтобы она не могла с ними справиться!); он совершенно согласен, что опасливое ограничение ее полномочий неуместно. Ее деятельность должна распространяться на прошедшее, настоящее и будущее Познанской провинции. Поскольку речь будет идти о выяснении положения, министерство не будет ограничивать компетенцию комиссии. Разумеется, этим

путем можно зайти слишком далеко, но члены комиссии со свойственным им умом и тактом сами решат, следует ли им включать в пределы своей деятельности также и вопрос о смещении познанских чиновников.

Поскольку речь г. министра заключала в себе предварительные уступки, усащенные изящной декламацией, она была встречена оживленными криками «браво». А затем следуют различные «но».

«Но когда было сказано, что доклады о Познани никак не могут пролить правильный свет на положение, ибо они исходят только от чиновников, и к тому же чиновников старого порядка, то я считаю своей обязанностью взять под свою защиту этих достойных государственных служащих. Если правда, что некоторые отдельные чиновники не были верны своему долгу, то нужно наказать отдельных лиц, забывших про свои обязанности, но все сословие чиновников не должно отвечать за то, что отдельные его члены нарушили свой долг».

Как смело выступает г. Кюльветтер! Несомненно, были отдельные случаи нарушения обязанностей, но в целом чиновники добросовестно исполняли свой долг.

И в самом деле, познанские чиновники в огромном большинстве исполнили свой долг, свой «долг пред служебной присягой», пред всей старо-прусской бюрократической системой, пред своими собственными интересами, совпадающими с этим долгом. Они исполнили свой долг и они не брезгали никакими средствами, лишь бы уничтожить в Познани последствия событий 19 марта. И именно поэтому, г. Кюльветтер, ваш «долг» сместить всех этих чиновников!

Но г. Кюльветтер говорит о том долге, который определялся до-революционными законами, между тем как ныне речь идет о совсем ином долге, возникающем после каждой революции и состоящем в том, чтобы правильно воспринимать изменившиеся условия и способствовать их развитию. А внушать чиновникам, что необходимо заменить прежнюю бюрократическую точку зрения новой, конституционной точкой зрения, внушать им, что наравне с новыми министрами они должны стоять на революционной почве, значит, по Кюльветтеру, унижать достойное сословие!

Г-н Кюльветтер отклоняет также в общей форме упрек в том, что вождям партий предоставлялись всякие выгоды, что некоторые преступления оставались ненаказанными. Он требует указания определенных фактов.

Что же, г. Кюльветтер серьезно утверждает, что понесла возмездие хоть какая-нибудь часть насилий и жестокостей, совершенных прусской военщиной при поддержке и с ведома чиновников, при

одобрении польских немцев и евреев? Г-н Кюльветтер говорит, что пока он не мог еще всесторонне ознакомиться с колоссальным материалом. В действительности он, повидимому, только весьма односторонне ознакомился с ним.

Но вот г. Кюльветтер подходит к «труднейшему и сложнейшему вопросу», а именно — какова должна быть *форма* деятельности комиссии. Г-н Кюльветтер желал бы, чтобы этот вопрос был подробно обсужден, ибо «в основе его, как было отмечено, лежит принципиальный вопрос, вопрос о *droit d'enquête*».¹

Г-н Кюльветтер осчастливил нас пространным изложением теории разделения властей, — теории, в которой вероятно было кое-что нового для верхне-шлезвигских и померанских крестьян, заседавших в собрании. И какое же это сильное впечатление — слышать, как прусский министр — и к тому же «министр дела» — в лето от рождения Христова 1848-е торжественно излагает с трибуны учение Монтескье.

Разделение властей, которое г. Кюльветтер и другие великие философы государственного права с глубочайшим благоговением принимают как священный и непогрешимый принцип, на самом деле есть не что иное, как обыкновенное промышленное разделение труда, примененное к государственному механизму в видах упрощения и контроля. Подобно другим вечным, священным и непогрешимым принципам, и этот применяется лишь в той мере, в какой он соответствует существующим условиям. Так, в конституционной монархии законодательная и исполнительная власть сливаются в лице монарха. В палатах законодательная власть сливается с контролем над исполнительной и т. д. Эти необходимые ограничения разделения труда в государстве находят в устах такого государственного мудреца, как наш «министр дела», следующее определение:

«Законодательная власть, поскольку она осуществляется народным представительством, имеет свои собственные органы. Исполнительная власть тоже имеет свои органы, точно так же как и судебная.

«Недопустимо (!) поэтому, чтобы одна власть непосредственно сносилась с органами другой власти, если только *специальный закон* ее на это не уполномочивает».

Отклонение от принципа разделения властей недопустимо, «если только это» не предписано «специальным законом»! И, наоборот, применение принципа разделения властей в такой же мере недопустимо, «если только это» не предписано «специальным законом»! Как глубокомысленно! Какой тонкий анализ!

¹ [Право парламентских обследований.]

О революционном времени, когда разделение властей прекращается без всякого «специального закона», г. Кюльветтер не упоминает ни словом.

Зато г. Кюльветтер подробно распространяется о том, что предоставление комиссии права допрашивать под присягой свидетелей, смещать чиновников и пр., — словом, права видеть все собственными глазами, будет нарушением принципа разделения властей. А для этого необходим специальный закон! В виде примера он приводит бельгийскую конституцию, статья 40-я которой специально предоставляет палатам *droit d'enquête*.

Но послушайте, г. Кюльветтер, разве в Пруссии по закону и фактически существует разделение властей в том смысле, в каком вы понимаете это слово, т. е. в смысле конституционном? Разве существующее разделение властей не является ограниченным, урезанным, приспособленным к неограниченной бюрократической монархии? Как же можно говорить о нем конституционными фразами, пока оно на деле не будет реформировано в конституционном духе? Каким образом Пруссия могла бы иметь такую статью 40-ю конституции, какую имеет Бельгия, если сама конституция еще не существует?

Подведем итоги. По г. Кюльветтеру, назначение комиссии с неограниченной компетенцией будет нарушением конституционного разделения властей. Но в Пруссии конституционного разделения властей пока не существует, и, следовательно, оно не может быть нарушено.

Однако оно будет введено. И при том временном революционном режиме, при котором мы живем, оно, по мнению г. Кюльветтера, должно считаться *как бы уже существующим*. Если бы г. Кюльветтер был прав, конституционные исключения также должны были бы почитаться как бы существующими. А к этим конституционным исключениям и принадлежит как раз право законодательного корпуса производить обследования!

Но г. Кюльветтер ни в коем случае не прав. Наоборот Временный революционный порядок как раз в том и состоит, что разделение властей временно *отменяется*, что законодательный орган временно присваивает себе исполнительную власть или исполнительный орган захватывает власть законодательную. Находится ли революционная диктатура (а она остается диктатурой, как бы слабо она ни проявлялась) в руках короны, или собрания, или в руках их обоих, — это безразлично. Если г. Кюльветтеру интересны примеры всех трех форм, то французская история с 1789 г. предоставляет их во множестве.

Временный порядок, к которому апеллирует г. Кюльветтер, говорит как раз против него. Он признает за собранием и другие функции, кроме права обследования: он дает ему даже право, — и без всяких специальных законов, — облекать себя в случае необходимости судебными функциями и выносить приговоры.

Если бы г. Кюльветтер заранее предвидел эти обстоятельства, он, быть может, поступил бы несколько осторожнее с «признанием революции». Но пусть он будет спокоен:

Германия — не римское гнездо
Равбойников, а детский уголок,

и господа соглашатели спокойно могут заседать, сколько им угодно. Их собрание не превратится в «долгий парламент».

Если, впрочем, сравнить этого чиновника-доктринера министерства дела с его предшественником по доктрине, г. Кампгаузенем, то мы все же найдем между ними существенную разницу. У г. Кампгаузена было бесконечно больше оригинальности. В нем было нечто от Гизо, между тем как г. Кюльветтер не может возвыситься и до крошечной фигуры лорда Джона Росселя.

Мы достаточно восхищались глубиной государственно-философской речи г. Кюльветтера. Рассмотрим теперь цель и основание заплесневевшей мудрости, всей этой теории Монтескье о разделении властей.

Г-н Кюльветтер как раз переходит теперь к выводам из своей теории. Министерство в виде исключения склонно назначить присутственные места, которые будут приводить в исполнение все, что комиссия найдет нужным. Но при этом министерство высказывается против того, чтобы поручения присутственным местам исходили непосредственно от комиссии.

Иначе говоря, комиссия, не связанная непосредственно с присутственными местами, не имея над ними никакой власти, не может их заставить давать иные справки, чем те, которые они сами найдут нужными представлять. И к этому еще медлительность делопроизводства, бесконечное хождение по инстанциям. Очень удобное средство, под видом разделения властей, превратить комиссию в сплошную фикцию!

«Не может быть и речи о том, чтобы передать комиссии всю задачу, которая лежит на правительстве». Точно кто-нибудь предлагал предоставить комиссии право *управлять* страной!

«Правительство, *на-ряду* с комиссией, должно заботиться о том, чтобы выяснить, какие причины вызвали недоразумения в Познани»

(то обстоятельство, что оно так долго выясняет и все же ничего не выяснило, может служить достаточной причиной для того, чтобы с ним совершенно не считаться), «и так как одно и то же дело будет делаться двумя учреждениями, то неизбежна будет излишняя трата времени и труда, и едва ли можно будет избежать всяких столкновений».

Судя по прецедентам, комиссия несомненно бесполезно «потеряет много времени и труда», если последует совету г. Кюльветтера и вступит на путь бесконечной волокиты и хождения по инстанциям. И столкновения при этом будут легче возникать, чем если комиссия будет находиться в непосредственных сношениях с присутственными местами и тут же, на месте, будет выяснять недоразумения и преодолевать бюрократическое упорство.

«Поэтому (!) представляется естественным, чтобы комиссия работала в *согласии* с министерством и в постоянном сотрудничестве с ним стремилась к достижению тех же целей».

Еще лучше! Комиссия, которая должна контролировать министерство, работает в *согласии* и в постоянном сотрудничестве с ним. Г-н Кюльветтер не постеснялся обнаружить, насколько он стремится к тому, чтобы комиссия была под его контролем, а не он — под ее контролем.

«Если же комиссия пожелала бы занять изолированное положение, возник бы вопрос, может ли и желает ли она взять на себя ответственность, которая лежит на министерстве. К тому же уже замечено было столь же справедливо, как и остроумно, что неприкосновенность депутатов несовместима с подобной ответственностью».

Но речь идет не об управлении, а только об установлении фактов. Комиссия должна иметь право применять необходимые для этого средства. И это все. Само собой разумеется, что комиссия должна быть ответственна перед собранием за превышение своих прав, как и за недостаточное их использование.

Все это имеет столь же мало отношения к министерской ответственности и к депутатской неприкосновенности, как и к «истине» и «остроумию».

Словом, под предлогом разделения властей г. Кюльветтер настоятельно просил членов согласительного заседания принять эти предложения для разрешения коллизий, но сам при этом никакого реального предложения не внес. «Министерство дела» чувствует под собою зыбкую почву.

Мы не можем останавливаться на дальнейших прениях. Результаты голосования известны: поражение правительства при поименном

голосовании, государственный переворот правых, затем принятие уже отвергнутого вопроса. Обо всем этом мы уже сообщали. Добавим только, что среди рейнских депутатов, голосовавших *против* неограниченных полномочий комиссии, наше внимание привлекли к себе следующие имена: Арнтц, Бауэрбанд, Френкен, Ленсинг, фон-Лэ, Рейхеншпергер II, Симонс и последний, но не наименее важный, наш обер-прокурор *Цвейфель*.

Г-н ФОРСТМАН О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ.

Кельн, 13 июля.

На согласительном заседании 7-го с. м. г. Форстман в своей речи следующими неопровержимыми доводами рассеял сомнения бессовестных левых в устойчивости прусского государственного кредита: «Благоволите сами решить, упало ли доверие к устойчивости прусских финансов до нуля, если на вчерашней бирже $3\frac{1}{2}\%$ -е государственные бумаги, при учетном проценте в $5\frac{1}{2}\%$, котировались 72 за сто!»

Из этого видно, что г. Форстман столь же слаб в вопросах биржевой спекуляции, как и в политической экономии. Если бы верна была предпосылка г. Форстмана, что цена на государственные бумаги обратно-пропорциональна ценам на деньги, то положение прусских $3\frac{1}{2}\%$ -х бумаг было бы действительно необыкновенно благоприятно, ибо при учете в $5\frac{1}{2}\%$ они могли бы расцениваться не в 72, а в $63\frac{7}{11}$ за сто. Но кто сказал г. Форстману, что не в промежутке от 5 до 10 лет в среднем, а в каждый данный момент, при застое в делах, сохраняется подобное обратное взаимоотношение?

От чего зависит цена денег? От существующего в каждый данный момент отношения между спросом и предложением, от имеющегося налицо недостатка или излишка денег.

От чего зависит недостаток или излишек денег? От состояния в данный момент промышленности, от заминки или расцвета всего обмена в целом.

От чего зависит цена государственных бумаг? Точно так же от отношения в данный момент между спросом и предложением. Но от чего зависит это отношение? От очень многих, особенно для Германии, чрезвычайно сложных обстоятельств.

Для Франции, Англии, Испании, вообще для всех стран, государственные бумаги которых имеют обращение на мировом рынке, государственный кредит имеет решающее значение. Но для Пруссии и для более мелких немецких государств, бумаги которых котироваются только на небольших местных рынках, государственный

кредит имеет лишь второстепенное значение. Там вся масса государственных бумаг служит не для спекуляции, а для верного помещения капитала, для обеспечения их владельцу *верной* ренты. Сравнительно очень малая их часть поступает на биржу и в торговлю. Почти весь государственный долг находится в руках мелких рантье, вдов и сирот, опекунских коллегий и пр. Если курс бумаг падает в связи с падением государственного кредита, то представителей вышеуказанного класса государственных кредиторов это как раз побуждает *не* продавать бумаги. Для них достаточно того, что рента обеспечивает им их существование. Продай они ее со значительной потерей, — и они разорены. Незначительное количество бумаг, котирующихся на двух-трех небольших местных биржах, разумеется, не может так быстро подвергаться резким колебаниям спроса и предложения, повышения и понижения, как огромная масса французских, испанских и пр. бумаг, являющихся, главным образом, предметом спекуляции и обращающихся на больших мировых фондовых рынках в крупных количествах.

Поэтому случаи, когда капиталисты из-за отсутствия денег вынуждены продавать свои бумаги по любой цене и тем понижать их курс, в Пруссии бывают довольно редко, между тем как в Париже, Амстердаме и т. д. это — обычное явление, и как раз после февральской революции оно в гораздо большей степени повлияло на обесценение французских бумаг, чем падение государственного кредита.

В том же направлении действует и *запрещение* в Пруссии фиктивных покупок, — «*marchés à terme*», сделки на срок, — составляющих в Париже, Амстердаме и т. д. главную массу биржевых сделок.

Ввиду такого совсем различного торгового значения прусских местных ценных бумаг и французских, английских, испанских и пр. мировых биржевых ценностей совершенно ясно, что курс прусских бумаг ни в каком случае не отражает мельчайшие политические колебания в такой мере, как бумаги Франции и других стран, и что государственный кредит не имеет такого решающего значения и быстрого влияния на курсы прусских фондов, как на бумаги других государств.

По мере того как Пруссия и другие мелкие немецкие государства вовлекаются в европейскую политику, по мере того как в них растет власть буржуазии, и прусские государственные бумаги, равно как и поземельная собственность, теряют свой патриархальный, неотчуждаемый характер, втягиваются в общий оборот, превращаются в обыкновенный, часто переходящий из рук в руки предмет тор-

говли, а со временем, может быть, даже займут скромное, без особых притязаний, место на мировом рынке.

Из этих фактов следует:

Во-первых. Бесспорно, что, в среднем, в течение известного продолжительного времени и при неизменяющемся государственном кредите, курс государственных бумаг везде подымается пропорционально падению существующей нормы процента.

Во-вторых. Во Франции, Англии и др. это пропорциональное соотношение существует и для более коротких периодов времени, так как там большинство государственных бумаг находится в руках спекулянтов и так как бумаги часто вынужденно продаются из-за недостатка денег, и таким образом каждый день регулируется соотношением между курсом бумаг и нормой процента. Поэтому в каждый данный момент это соотношение там действительно существует.

В-третьих. В Пруссии, наоборот, это соотношение наблюдается только за более продолжительные периоды времени, так как количество обращающихся на рынке государственных бумаг незначительно и биржевые сделки ограничены; продажи из-за недостатка денег, регулирующие это взаимоотношение, лишь редко имеют место; фондовые курсы на местных биржах обуславливаются прежде всего местными влияниями, тогда как цена денег определяется влиянием мирового рынка.

В-четвертых. Таким образом, когда г. Форстман желает отношение цены денег к курсу государственных бумаг связывать с прусским государственным кредитом, он обнаруживает только полное незнание предмета.

Курс в 72 за сто за $3\frac{1}{2}\%$ -е бумаги при учетном проценте в $5\frac{1}{2}\%$ ничего не говорит за прусский государственный кредит, принудительный же заем целиком свидетельствует *против* него.

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ЯКОБИ.

I.

Кельн, 17 июля.

Снова дождалась мы, наконец, «больших прений», прений, которые, как выражается г. Кампгаузен, продолжались целых два дня.

Тема этих прений известна. Это, во-первых, оговорка правительства против немедленного вхождения в силу решений Национального собрания и, во-вторых, предложение Якоби, который потребовал, чтобы за собранием было признано право принятия решений, немедленно получающих силу закона, без чьей-либо санкции, но в то же время предложил высказаться против постановления собрания по вопросу о центральной власти.

Уже одно то, что прения на эту тему были вообще возможны, вызовет недоумение среди других народов. Но мы находимся в стране дубов и лип, и, значит, ничему не следует слишком удивляться.

Народ посылает собрание во Франкфурт с полномочием провозгласить себя верховной властью над всей Германией и всеми ее правительствами; в силу переданного ему народом суверенитета оно должно решить вопрос о государственном устройстве Германии.

Это собрание, вместо немедленного провозглашения своего суверенитета над отдельными германскими государствами и Союзным сеймом, робко обходит все существенные вопросы и занимает нерешительное, колеблющееся положение.

Наконец, оно приходит к решающему пункту: к назначению временной центральной власти. С виду независимо, но на деле под руководством правительств, действующих через Гагерна, оно само выбирает блюстителя империи, заранее указанного ему правительствами.

Союзный сейм утверждает состоявшееся избрание и до некоторой степени дает понять, что оно получает законную силу благодаря его утверждению.

Тем не менее из Ганновера и даже из Пруссии поступают оговорки, и прусская оговорка как раз и легла в основу прений от 11-го и 12-го.

На этот раз, стало быть, берлинскую палату нельзя уж очень винить за туманную расплывчатость ее прений. Виновато само колеблющееся, вялое, лишенное всякой энергии франкфуртское Национальное собрание, если его решения таковы, что их трудно назвать иначе, как переливанием из пустого в порожнее.

Якоби мотивирует свое предложение кратко и с обычной для него отчетливостью. Он весьма затрудняет положение ораторов левой; он высказывает все, что можно высказать о данном предложении, если не касаться столь компрометирующей для Национального собрания истории возникновения центральной власти.

И действительно, левые депутаты не сказали после него почти ничего нового, а правым пришлось еще хуже: они ударились под конец в пустую риторику или в юридические хитросплетения. Те и другие бесконечно часто повторялись.

Депутату *Шнейдеру* принадлежит та честь, что он первый познакомил собрание с аргументацией правых.

Он начал с замечательного аргумента, что внесенное предложение само себе противоречит. С одной стороны, оно признает суверенитет Национального собрания, а с другой — предлагает согласительной палате вынести ему порицание и таким образом поставить себя выше него. Порицание может быть вынесено, по мнению Шнейдера, только отдельным лицом, но не целым собранием.

Это тонкое соображение, которым правая, очевидно, весьма гордится, ибо оно проходит через все ее речи, выдвигает совершенно новую теорию. Согласно ей, любое собрание имеет по отношению к Национальному собранию меньше прав, чем отдельное лицо.

За этим первым замечательным аргументом последовал второй: республиканский. Германия состоит по большей части из конституционных монархий и должна поэтому иметь конституционно безответственную, а не республикански-ответственную верховную власть. Этот аргумент был отведен во второй день г. Штейном: Германия, сказал он, всегда была по своему центральному политическому устройству республикой, хотя и весьма своеобразной.

«Мы получили, — сказал г. Шнейдер, — полномочие выработать соглашение о конституционной монархии, а франкфуртские депутаты получили аналогичное полномочие выработать с германскими правительствами соглашение об образе правления Германии».

Реакция высказывает свои пожелания как уже совершившиеся факты. В те дни, когда трепетавший Союзный сейм созвал по требованию не имевшего никаких законных полномочий собрания, так называемого предпарламента, германское Национальное собрание, —

в те дни не было и речи о соглашении: созываемое Национальное собрание считалось тогда суверенным. Теперь положение изменилось. Июньские дни в Париже снова оживили надежды не только крупной буржуазии, но и сторонников ниспровергнутого режима. Каждый захолустный дворянчик мечтает о восстановлении старой палочной власти, и от императорской ставки в Инсбруке до родового замка Генриха LXXII уже раздается клич о «согласованной выработке германской конституции». Правда, вину за это должно взять на себя само Франкфуртское собрание.

«Итак, Национальное собрание действовало согласно своим полномочиям, избрав конституционного верховного главу. Но оно действовало и согласно воле народа; огромное большинство стоит за конституционную монархию. Я счел бы даже несчастьем всякое другое решение Национального собрания. *Не* потому, что я *против республики*: в принципе я признаю республику, — и тут я нахожусь в полном согласии с самим собой, — *совершеннейшей и благороднейшей формой правления*, но в действительной жизни мы еще весьма далеки от нее. У нас не может быть формы, пока нет соответствующего духа; мы не можем хотеть республики, когда у нас нет *республиканцев*, т. е. благородных характеров, способных не только в порыве воодушевления, но в любое время, со спокойным сознанием и благородным самоотречением подчинить свои интересы интересам целого».

Можно ли требовать лучшего свидетельства тому, какие добродетели представлены в берлинской палате, чем эти благородные, скромные слова депутата Шнейдера? Поистине, если еще можно было сомневаться в способности немцев к республиканской форме правления, это сомнение должно рассеяться, как дым, перед такими образчиками подлинной гражданской добродетели, благородной, скромнейшей самоотверженности нашего Цинцинната-Шнейдера! Пусть же Цинциннат не теряет мужество и веру в себя и в бесчисленных благородных граждан Германии, которые тоже считают республику благороднейшей формой правления, но самих себя плохими республиканцами; они уже созрели для республики, они вынесли бы республику с таким же героическим хладнокровием, с каким выносят абсолютную монархию. Республика честных обывателей была бы счастливейшей из всех, когда либо существовавших: это была бы республика без Брута и Катилины, без Марата и июньских бурь, республика сытой добродетели и платежеспособной морали.

Как ошибается Цинциннат-Шнейдер, когда он восклицает: «При абсолютизме не могут выработаться республиканские характеры; республиканский дух нельзя вызвать к жизни одним маном».

вением руки; мы еще только должны воспитать в нем наших детей и внуков! В настоящее время я почел бы республику величайшим бедствием, потому что она была бы анархией под поруганным названием республики, деспотизмом под личиной свободы!»

Наоборот, немцы, — как выразился г. Фогт (из Гиссена) в Национальном собрании, — *прирожденные республиканцы*, и Цинциннат-Шнейдер не мог бы вернее воспитать своих детей в республиканском духе, чем воспитывая их в старых добрых немецких нравах и в страхе божием, которым он сам был проникнут от молодых ногтей. Республика честных обывателей была бы не анархией и деспотизмом, а лишь довела бы до высшего совершенства все те же уютные собеседования за кружкой пива, на которые такой мастер Цинциннат-Шнейдер. Республика честных обывателей, далекая от всех ужасов и преступлений, запятнавших первую французскую республику, не запачканная кровью и ненавидящая красное знамя, осуществила бы небывалое: она дала бы возможность каждому почтенному бюргеру вести спокойное и тихое существование в невозмутимом благочестии. Кто знает, может быть, эта республика вернула бы нам даже цехи со всеми их презабавными процессами против разных горемастеров! И эта республика честных обывателей не воздушное сновидение, а самая настоящая действительность; она существует в Бремене, Гамбурге, Любеке и Франкфурте и даже в некоторых частях Швейцарии. Но повсюду ей угрожает опасность в наше бурное время, повсюду она близка к гибели. А потому воспрянь, Цинциннат-Шнейдер, оставь плуг и свекловичное поле, пиво и соглашения, воссядь на коня и спасай угрожаемую республику, твою республику, *республику честных обывателей!*

II.

Кельн, 18 июля.

После г. Шнейдера на трибуне появляется г. Вальдек, который высказывается за предложение Якоби.

«Положение прусского государства сейчас поистине беспримерно, и в сущности нельзя скрывать от себя, что оно довольно опасно».

Это начало тоже довольно опасно. Нам кажется, что мы все еще слышим депутата Шнейдера.

«Пруссия была, смеем сказать, призвана к гегемонии в Германии».

Все та же прусская иллюзия, все те же сладкие мечты о том, что удастся растворить Германию в Пруссии и провозгласить Берлин германским Парижем! Эта сладкая надежда рассеивается, правда, на глазах у г. Вальдека, но он смотрит ей вслед с болью в душе, он ставит прошлому и нынешнему правительству в укор, что это по их вине Пруссия не возглавляет собою Германию.

Увы, миновали те чудные дни, когда таможенный союз подготавливал прусскую гегемонию над Германией, когда провинциальный патриотизм мог верить, что «бранденбургское племя решало за последние 200 лет судьбы Германии» и будет решать их впредь; те чудные дни, когда в конец развалившаяся Германия Союзного сейма могла видеть последнее средство спасения хотя бы во всеобщем применении прусско-бюрократической каторжной куртки!

«Уже давно осужденный общественным мнением, Союзный сейм исчезает, и перед глазами *изумленного мира* восстает учредительное Национальное собрание во Франкфурте».

«Мир» действительно не мог не «изумиться», увидав такое учредительное Национальное собрание. Справьтесь об этом во французских, английских и итальянских газетах.

Г-н Вальдек произносит еще длинную тираду против одного немецкого императора и уступает место г. Рейхеншпергеру II.

Г-н Рейхеншпергер II объявляет защитников предложения Якоби республиканцами и высказывает пожелание, чтобы они выступили со своими намерениями так же открыто, как франкфуртские

республиканцы. Затем он также уверяет, что Германия не обладает еще «полной мерой гражданской и политической добродетели, каковое обладание один великий политический мыслитель называет важнейшим условием республики». Плохо же обстоит дело с Германией, если это говорит патриот Рейхеншпергер!

«Правительство,—продолжает он,—не предъявило никаких оговорок (!), а лишь выразило свои пожелания. Поводов для этого было достаточно, и я надеюсь, что не всегда при решениях Национального собрания будут игнорироваться виды правительств. Установление компетенции франкфуртского Национального собрания не входит в нашу компетенцию; само Национальное собрание высказалось против выработки теорий о его компетенции, оно действовало практически там, где было необходимо действовать».

Это значит, другими словами, что Франкфуртское собрание не провело одним решающим ударом неизбежную борьбу с германскими правительствами в период революционного возбуждения, когда оно было всемогущим; оно предпочло оттягивать генеральный бой, ввязываться по поводу каждого отдельного решения в мелкие стычки то с тем, то с другим правительством,— в стычки, которые ослабляют его тем больше, чем больше оно отдалается от революционного времени и компрометирует себя в глазах народа своим дряблым поведением. И постольку г. Рейхеншпергер прав: не стоит труда приходить на помощь собранию, которое само себя не отстаивает!

Но поистине трогательны следующие слова г. Рейхеншпергера: «Было бы *негосударственно* обсуждать все эти вопросы о компетенции; требуется только одно: решать практические вопросы по мере их возникновения».

Да, разумеется, было бы «негосударственно» покончить раз навсегда одним энергичным ударом с этими «практическими вопросами»; было бы «негосударственно» выдвинуть революционные полномочия, принадлежащие всякому вышедшему из баррикад собранию, против попыток реакции подавить движение; разумеется, Кромвель, Мирабо, Дантон, Наполеон, вся английская и французская революция были в высшей степени «негосударственны», но вот зато Вассерман, Бидерман, Эйзенман, Виденман, Дальман ведут себя вполне «государственно»! «Государственные люди» вообще сходят со сцены, когда выступает революция, и революция очевидно задремала, раз снова выступают «государственные люди»! Особенно государственные люди такого масштаба, как г. Рейхеншпергер II, депутат от округа Кемпен!

«Отказавшись от этой системы, вы едва ли сумеете избежать».

конфликтов с германским Национальным собранием или с правительствами отдельных германских государств; во всяком случае вы вызовете прискорбный раскол; в результате раскола поднимется анархия, и тогда никто не спасет нас от гражданской войны. А гражданская война будет началом еще горших бед... Я допускаю возможность, что тогда и нам придется пережить положение, когда будут говорить: порядок в Германии восстановлен... ее восточными и западными друзьями!»

Г-н Рейхеншпергер, может быть, и прав. Если собрание займется вопросами компетенции, это может привести к коллизиям, которые навлекут на нашу голову гражданскую войну, французов и русских. Но если оно не станет ими заниматься, как это и было до сих пор, то гражданская война обеспечена нам вдвойне. Конфликты, в начале революции еще сравнительно простые, осложняются с каждым днем, и чем дольше оттягивается решение, тем мучительней и жровопротитней будет развязка.

Такая страна, как Германия, которая вынуждена воссоздать свое единство из неслыханнейшего раздробления, которая под страхом гибели должна добиться тем более строгой революционной централизации, чем раздробленной она была до сих пор; страна, таящая в своих недрах двадцать Вандей, втиснутая между двумя могущественнейшими и централизованнейшими континентальными державами, окруженная бесчисленными мелкими соседями и не ладящая или даже воюющая со всеми, — такая страна в наше время всеобщей революции не сможет избавиться ни от гражданской, ни от внешней войны. И эти войны, совершенно для нас неизбежные, будут тем опаснее и тем опустошительнее, чем нерешительней будет поведение народа и его руководителей, чем больше будет оттягиваться развязка. Если у кормила останутся «государственные люди» г. Рейхеншпергера, мы сможем дожить до второй Тридцатилетней войны. Но, к счастью, сила событий, немецкий народ, русский император и Франция еще скажут свое слово.

III.

Кельн, 22 июля.

Наконец-то события, законопроекты, планы перемирия и т. д. позволяют нам вернуться к нашим излюбленным согласительным прениям. На трибуне — депутат г. фон-Берг из Юлиха, человек, интересующий нас вдвойне: во-первых, как рейнландец и, во-вторых, как член правительственной партии самоновейшей марки.

Г-н Берг по разным мотивам против предложения Якоби. Первый мотив таков:

«Первая часть предложения, требующая от нас, чтобы мы высказались против одного из решений германского парламента, есть не что иное, как протест от имени меньшинства против законного большинства. Это есть попытка партии, *потерпевшей поражение внутри* законодательного собрания, *усилить себя извне*, — попытка, которая в своих последствиях должна привести к *гражданской войне*».

Г-н Кобден был в 1840—1845 гг., со своим предложением об аннулировании хлебных законов, в меньшинстве в палате общин. Он принадлежал к партии, «потерпевшей поражение внутри законодательного собрания». Что же он сделал? Он попытался «усилить себя извне». Он не ограничился протестами против парламентских решений; он пошел гораздо дальше, он основал Лигу борьбы с хлебными законами, организовал печать против хлебных законов, — словом, развил колоссальную агитацию. По мнению г-на Берга, это была попытка, долженствовавшая привести к гражданской войне.

Меньшинство покойного Соединенного ландтага тоже пыталось «усилить себя извне». Г-н Кампгаузен, г-н Ганземан, г-н Мильде не проявили в этом пункте ни малейших колебаний. Факты, которые служат тому доказательством, общеизвестны. Ясно, с точки зрения г. Берга, что последствия их поведения тоже «должны были привести к гражданской войне». Но они привели не к гражданской войне, а к министерским портфелям.

И таких примеров мы могли бы привести сотни.

Итак, меньшинство законодательного собрания не должно искать усиления извне, если оно не хочет вызвать гражданскую войну. Но что же такое это «извне»? Это избиратели, т. е. люди, *создающие* законодательное собрание. Если, однако, нельзя искать «своего усиления» путем воздействия на избирателей, то как же еще усилить себя?

Произносятся ли речи гг. Ганземана, Рейхеншпергера, фон-Берга и др. *только* для палаты или также и для публики, которая знакомится с ними по стенографическим отчетам? Не являются ли эти речи также средством, с помощью которого эта «партия внутри законодательного собрания» пытается или надеется «усилить себя извне»?

Короче: принцип г. Берга привел бы к упразднению всякой политической агитации. Агитация есть не что иное, как использование неприкосновенности народных представителей, свободы печати, права ассоциаций, т. е. существующих в Пруссии свобод. Приведут ли эти свободы к гражданской войне или нет, это нас несколько не касается; достаточно того, что они существуют, и мы еще посмотрим, к чему «приведет» их дальнейшее нарушение.

«Господа, эти попытки меньшинства добиться своих целей вне законодательного органа возникли не сегодня и не вчера, они начались с первого же дня нашего революционного движения. В предпарламенте меньшинство удалилось с протестом, и в результате мы имели гражданскую войну».

Во-первых, в предложении Якоби нет ни слова о «протестующем уходе меньшинства».

Во-вторых, «попытки меньшинства добиться своих целей вне законодательного органа», конечно, не новы, они начались с того дня, с какого существуют законодательные органы и меньшинства.

В-третьих, не протестующий уход меньшинства предпарламента привел к гражданской войне, — привели к ней «моральное убеждение» г. Миттермейера, что Геккер, Фиклер и т. д. — государственные изменники, а также принятые в связи с этим меры баденского правительства, продиктованные самым жалким страхом.

За аргументом от гражданской войны, способным, конечно, нагнать отчаянный страх на немецкого бюргера, следует второй аргумент: отсутствие полномочий. «Мы выбраны нашими избирателями для выработки будущей конституции Пруссии; те же самые избиратели послали других своих сограждан во Франкфурт для установления центральной власти. Нельзя отрицать, что избиратель, дающий полномочия, имеет право одобрить или не одобрить дей-

ствия своего уполномоченного; но избиратели не уполномочили нас голосовать за них в этом вопросе!»

Этот меткий аргумент вызвал восхищение среди юристов и юридических дилетантов собрания. Мы не уполномочены! И, однако, тот же г. Берг через две минуты заявил, что Франкфуртское собрание «было созвано для установления, в согласии с германскими правительствами, будущей конституции Германии»,— но ведь прусское правительство не дало бы, надо надеяться, своей санкции, не обсудив сначала вопрос с согласительным собранием или с выбранной по новой конституции палатой! И, однако, министерство тотчас же уведомило палату о своем признании блюстителя империи, равно как и о своих оговорках, пригласив тем самым палату высказать свое суждение!

Именно точка зрения г. Берга, его собственная речь и сообщение г. Ауэрсвальда приводят, таким образом, к заключению, что собрание во всяком случае уполномочено заниматься франкфуртскими решениями!

Мы не уполномочены! Значит, если Франкфуртское собрание снова введет цензуру, пошлет в случае конфликта между палатой и короной баварские и австрийские войска в Пруссию для поддержки короны, — то г. Берг «будет не уполномочен».

В чем заключаются полномочия г. Берга? По букве — только в том, чтобы «согласовать конституцию с короной». Он, стало быть, не уполномочен выступать с запросами, обсуждать законы о гражданской гвардии, о выкупе и другие не фигурирующие в конституции законы. Так это каждодневно и утверждает реакция. Сам он говорит: «Каждый шаг сверх этих полномочий является несправедливостью, нарушением своих полномочий или даже предательством»!

И все же г. Берг и все собрание ежеминутно нарушают, под давлением необходимости, свои полномочия. Они не могут не нарушать их в силу революционного — или теперь вернее реакционного — временного положения. В силу этого положения компетенция собрания распространяется на все, что способствует упрочению завоеваний мартовской революции, и если эта цель может быть достигнута путем морального воздействия на Франкфуртское собрание, то согласительная палата не только вправе, но и обязана оказать это воздействие.

Переходим к рейнско-прусскому аргументу, который для нас, жителей Рейнской провинции, особенно важен, потому что он показывает, как представлены наши интересы в Берлине.

«Мы, жители Рейнской провинции, вестфальцы и граждане еще

других провинций не связаны с Пруссией *решиительно* ничем, кроме того обязательства, что *мы отошли к прусской короне*. Если мы разрушим эту связь, государство распадется. Мне совершенно непонятно, как вероятно и большинству депутатов от моей провинции, что могло бы быть у нас общего с берлинской республикой. Тогда мы уж скорее пожелали бы кельнской республики».

Доморощенных домыслов о том, чего бы мы «могли пожелать», если бы Пруссия превратилась в «берлинскую республику», равно как и новой теории о жизненных предпосылках прусского государства и т. д., мы здесь касаться не будем. Мы протестуем, как жители Рейнской провинции, только против того, будто мы «отошли к прусской короне». Наоборот, прусская корона пришла *к нам*.

Следующим оратором против предложения Якоби выступает г. Симонс из Эльберфельда. Он повторяет все, сказанное г. Бергом.

После него на трибуне появляется оратор левой, а потом г. *Захариаэ*. Он повторяет все, сказанное г. Симонсом.

Депутат *Дункер* повторяет все, сказанное г. Захариаэ. Но он говорит и кое-что другое или, вернее, он высказывает уже сказанное в такой вышуклой форме, что на его речи стоит несколько остановиться.

«Если мы, учредительное собрание 16 миллионов немцев, бросим такой упрек учредительному собранию, представляющему всех немцев, то укрепим ли мы этим в сознании народа авторитет германской центральной власти, авторитет германского парламента? Не надломим ли мы этим радостное послушание, с каким должны относиться к нему отдельные германские племена, чтобы оно могло работать над объединением Германии?»

Согласно г. Дункеру, авторитет центральной власти и Национального собрания — «радостное послушание» — заключается, стало быть, в том, что народ слепо подчиняется этой власти, но отдельные *правительства* делают свои оговорки и при случае вовсе отказываются повиноваться ей.

«К чему в наше время, когда сила фактов так огромна, к чему еще какие-то теоретические объяснения?»

Значит, признание суверенитета Франкфуртского собрания представителями «16 миллионов немцев» — это только «теоретическое объяснение»!?

«Если бы в будущем правительство и народные представители Пруссии нашли какое-нибудь принятое во Франкфурте решение невозможным, неосуществимым, то было ли бы тогда вообще возможно выполнение такого решения?»

Стало быть, один тот факт, что прусское правительство и прусские народные представители что-то *находят*, может сделать *невозможными* решения Национального собрания.

«Если бы весь прусский народ, если бы две пятых Германии не захотели подчиниться франкфуртским решениям, то они были бы невозможны, как бы мы ни высказались сегодня».

Вот оно, это старое прусское высокомерие, этот берлинский национальный патриотизм во всем его старом блеске, с косичкой и костылем старого Фрица! Мы, правда, меньшинство, нас только две пятых (да и тех нет), но мы уже покажем большинству, что *мы* — господа Германии, что мы — пруссаки!

Мы советуем господам правым депутатам не провоцировать такого конфликта между «двумя пятыми» и «тремя пятыми». Арифметическое соотношение оказалось бы, в конце концов, совсем другим, и не одна провинция вспомнила бы, что она с незапамятных времен была немецкой, но лишь тридцать лет тому назад сделалась прусской.

Но у г. Дункера есть выход. Франкфуртские депутаты должны так же, как и мы, «принимать только такие решения, в которых выражается разумная общая воля, подлинное общественное мнение, которые будут санкционированы нравственным сознанием нации», т. е. которые по душе депутату Дункеру. «Если мы и члены Франкфуртского собрания будем принимать такие решения, то мы будем суверенны, в противном же случае нет, хотя бы мы это декретировали десять раз».

После этого глубокомысленного, соответствующего его нравственному сознанию определения суверенитета г. Дункер испускает вздох: «но это дело будущего», и на этом заканчивает свою речь.

Место и время не позволяют нам остановиться на речах левых, произнесенных в тот же день. Но, вероятно, уже по приведенным нами речам правых читатель убедился, что г. Паризиус был не так уж неправ, внося предложение об отсрочке заседания и мотивировав его тем, что «при такой жаре, какая наступила в зале, невозможно сохранять *полную ясность мысли!*»

IV.

Кельн, 24 июля.

Когда несколько дней тому назад стремительный поток мировых событий заставил нас прервать отчет об этих прениях, один соседний публицист любезно продолжил этот отчет вместо нас. Он уже обратил внимание публики на «множество превосходных мыслей и просвещенных взглядов», на «здравое понимание истинной свободы», проявленные «во время этой большой двухдневной дискуссии ораторами большинства» и в особенности нашим несравненным Баумштарком.

Мы должны поторопиться с окончанием нашего отчета, но мы не можем отказать себе в удовольствии продемонстрировать несколько примеров из всего «множества» превосходных мыслей и просвещенных взглядов, высказанных правыми.

Второй день прений был открыт депутатом *Абеггом*, который грозно заявил собранию, что для выяснения всех вопросов, связанных с предложением Якоби, пришлось бы целиком повторить франкфуртские дебаты, а на это высокое собрание явно не имеет права. На это господа доверители, «при свойственном им такте и практическом смысле», никогда не пошли бы! И к тому же во что превратилось бы германское единство, если бы (и тут мы имеем исключительно «превосходную мысль») «дело не ограничивалось *одними оговорками*», а выносилось бы «решительное одобрение или неодобрение франкфуртским решениям!» Приходится довольствоваться «чисто формальным подчинением»!

Да, конечно, «чисто формальное подчинение» можно ограничить «оговорками» и в крайнем случае даже прямо нарушить, от этого германское единство не потерпит ущерба; но вот одобрение или неодобрение, оценка этих решений со стилистической, политической или практической точки зрения — тут уже всему наступает конец!

Г-н Абегг заканчивает свою речь замечанием, что Франкфуртское, а не Берлинское собрание должно высказаться по поводу оговорок, внесенных на рассмотрение Берлинского, а не Франкфурт-

ского собрания. Нельзя же предвосхищать суждение франкфуртских депутатов, — ведь это было бы для них обидно!

Берлинские представители не компетентны судить о заявлениях, сделанных им их собственными министрами.

Не будем останавливаться на *dii minorum gentium* (мелких божках), на каких-то *Бальцерах*, *Кемпфах*, *Греффпах*, и поскорей перейдем к герою дня, к несравненному *Баумштарку*.

Депутат Баумштарк заявляет, что он никогда не согласится признать себя некомпетентным в каком-нибудь деле, пока не будет вынужден признать, что он в этом деле ничего не понимает — но неужели же результатом восьминедельных прений может быть лишь полное непонимание дела?

Депутат Баумштарк, стало быть, *компетентен*. А именно: «Я спрашиваю, дает ли нам наша проявленная до сих пор мудрость полное право (т. е. компетентность) выступить против собрания, которое вызвало к себе

«всеобщий интерес в Германии и

«восхищение всей Европы

«благородством своего образа мысли,

«высотой своего интеллектуального уровня,

«нравственностью своих государственных взглядов», —

словом «всею, чем возвеличено и прославлено в истории имя Германии. Тут я *склоняюсь* (т. е. объявляю себя *некомпетентным*), и я хотел бы, чтобы перед этой правдой (!!) склонилось все собрание (т. е. чтобы оно объявило себя *некомпетентным!*)».

«Господа, — продолжает «компетентный» депутат Баумштарк, — во вчерашнем заседании было сказано, что разговоры о республике и т. д. носят антифилософский характер. Но никак не может быть антифилософским утверждение, что отличительным признаком республики в демократическом смысле является ответственность лица, стоящего во главе государства. Господа, не подлежит спору тот факт, что все философские теоретики государства, начиная с *Платона и вниз до Дальмана* («ниже» депутат Баумштарк действительно не мог опуститься), высказали именно этот взгляд, и мы не можем без совершенно особых оснований, которые еще должны быть показаны, вступать в противоречие с этой многовековой истиной (!) и с этим историческим фактом».

Значит, г. Баумштарк думает, что все-таки могут найтись такие «совершенно особые основания», по которым следует вступать в противоречия даже с историческими фактами. Впрочем, депутаты правдой на этот счет вообще не слишком щепетильны.

Г-н Баумштарк расписывается, далее, еще раз в своей *некомпетентности*, перенося компетенцию в данном вопросе на плечи «всех философских теоретиков государства от Платона до Дальмана», к каковым г. Баумштарк, разумеется, не принадлежит.

«Представьте себе только это государственное здание! Одна палата и ответственный блюститель империи, и это на основе нынешнего избирательного закона! При ближайшем рассмотрении всякий согласится, что это противоречит здравому рассудку!»

И тут г. Баумштарк изрекает следующие глубокомысленные слова, которые, даже при самом пристальном рассмотрении, не окажутся в противоречии с «здравым рассудком».

«Господа! Для республики требуются две вещи: народное мировоззрение и руководящие личности. Если мы присмотримся ближе к мировоззрению немецкого народа, мы едва ли найдем в нем хотя бы намек на эту (т. е. вышеупомянутую блюстительско-имперскую): республику!»

Стало быть, г. Баумштарк расписывается еще раз в своей *некомпетентности*, причем на этот раз он ссылается на компетентность народного мировоззрения в вопросе о республике. Народ «понимает», стало быть, в этом деле больше, чем депутат Баумштарк.

Но под конец оратор доказывает, что есть и такие вопросы, в которых он кое-что «понимает», и сюда относится прежде всего вопрос о народном суверенитете.

«Господа! История дает нам доказательство, и я должен к этому вернуться, что *народный суверенитет существовал всегда*, но в разные времена он принимал разные формы».

И засим следует ряд «превосходнейших мыслей и просвещеннейших взглядов» по поводу бранденбургско-прусской истории и народного суверенитета, — мыслей и взглядов, заставивших одного соседнего публициста позабыть о всех земных невзгодах в избытке конституционного блаженства и доктринерского упоения.

«Когда великий курфюрст оставил без внимания прогнившие сословные элементы, зараженные ядом французской безнравственности (право первой ночи было, однако, постепенно сведено в могилу именно «французской безнравственной» цивилизацией!), когда он даже прямо (!) сокрушил их («сокрушить» какой-нибудь предмет, это, без сомнения, наилучший способ оставить его без внимания), — тогда весь народ восторженно приветствовал его в глубоком сознании нравственной правды, в сознании, что этим укрепляется немецкая и, в особенности, прусская государственность».

Восхитительно это «глубокое сознание нравственной правды»

бранденбургских мещан XVII века, которые в глубоком сознании своих барышей восторженно приветствовали курфюрста, когда он расправился с их врагами, феодальными сеньерами, а им самим стал продавать привилегии. но еще более восхитителен «здравый рассудок» и «просвещенный взгляд» г. Баумштарка, который видит в этих восторгах проявление «народного суверенитета».

«В те времена не было никого, кто не признавал бы эту абсолютную монархию (потому что иначе он был бы наказан палкой), и великий Фридрих никогда не достиг бы такого значения, если бы он не опирался на *истинный* народный суверенитет».

Народный суверенитет палки, крепостного права и барщины, — вот что такое для г. Баумштарка истинный народный суверенитет. Наивное признание!

От истинного народного суверенитета г. Баумштарк переходит к *ложному*.

«Но наступили другие времена, времена конституционной монархии». Это доказывается длинной «конституционной тирадой», сводящейся вкратце к тому, что от 1811 до 1847 г. народ в Пруссии все время требовал конституции, но отнюдь не республики (!), — после чего следует непринужденное замечание, что и от последнего республиканского пронунциаменто в Южной Германии «народ с неодобанием отвернулся».

Отсюда естественно вытекает, что второй вид народного суверенитета (правда, его уже нельзя назвать «истинным») есть «собственно конституционный». «При этом виде народного суверенитета государственная власть делится между королем и народом, это — *разделенный* народный суверенитет (пусть-ка «философские теоретики государства от Платона до Дальмана» объяснят, что это такое); он должен принадлежать народу *целиком и безусловно* (!!), но, однако, без ущерба для законной власти короля (какими законами определяется в Пруссии эта власть после 19 марта?). Тут имеется полная ясность (читай: в голове депутата Баумштарка); понятие предмета установлено историей конституционной системы, и решительно никто не может сомневаться по этому поводу» (к сожалению, начинаешь опять «сомневаться», читая речь депутата Баумштарка).

И, наконец, «существует третий вид народного суверенитета — демократически-республиканский, покоящийся на так называемой широчайшей основе». Какое это злополучное выражение — *широчайшая основа*!

Против этой широчайшей основы г. Баумштарк должен «высказаться». Эта основа ведет к распаду государств, к варварству! У нас

нет Катонов, которые могли бы дать республике нравственный фундамент. И тут г. Баумштарк начинает так громко трубить в старый, давным давно испорченный и расстроенный рог Монтескье о республиканской добродетели, что соседний публицист, в порыве восхищения, подхватывает его песню и блистательно доказывает, к изумлению всей Европы, что «республиканская добродетель и ведет как раз... к конституционализму!» Но в то же время г. Баумштарк переходит на другую мелодию и показывает, что *отсутствию* республиканской добродетели тоже приводит к конституционализму. О блестящем эффекте этого дуэта, в котором после ряда душу раздирающих диссонансов оба голоса сливаются, в конце концов, в примирительном аккорде конституционализма, читатель сам составит себе представление.

Наконец, после довольно длинных рассуждений, г. Баумштарк приходит к выводу, что министры не внесли в сущности «никакой настоящей оговорки», а сделали только «легкую оговорку относительно будущего», и в заключение становится сам на широчайшую основу, заявив, что единственное спасение Германии в *демократически* конституционном строе. При этом «мысль о будущем Германии овладевает им» настолько, что он разражается восклицанием: «Да здравствует, да здравствует трижды народно-конституционная наследственная германская монархия!»

Да, он имел право сказать: эта злополучная широчайшая основа!

Затем выступило еще несколько ораторов с обеих сторон, но после депутата Баумштарка мы уже не решаемся сообщить о них нашим читателям. Отметим еще только одно: депутат *Ваксмут* заявил, что в основе его политического credo лежит тезис благородного Штейна: «воля свободных людей — незыблемая опора престола».

«Вот, — восклицает соседний публицист, захлебываясь от восторга, — вот подлинная суть дела! Нигде не преуспевает так воля свободных людей, как под сенью незыблемого престола, и ни на чем престол не покоится так незыблемо, как на разумной любви свободных людей!»

Поистине, множество «превосходных мыслей и просвещенных взглядов» и «здоровое понимание истинной свободы», проявленные большинством во время этих прений, все-таки не могут идти в сравнение с глубиной и содержательностью мысли соседнего публициста!

ПРУССКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕЧАТИ.

Кельн, 19 июля.

Мы собирались сегодня развлечь читателя дальнейшим изложением прений согласительного заседания и думали ознакомить его с блестящей речью депутата Баумштарка, но неожиданные события этому мешают.

Своя рубашка ближе к телу. Когда опасность угрожает существованию печати, можно забыть и о депутате Баумштарке.

Г-н Ганземан предложил согласительному собранию временный закон о печати. Отеческая забота г. Ганземана о печати требует немедленного внимания с нашей стороны.

В прежнее время Кодекс Наполеона украшали назидательнейшим титулом земского права. Теперь, после революции, все изменилось. Теперь общее земское право украшают лучшими цветами Кодекса и сентябрьского законодательства. Дюшатель, разумеется, совсем не Бодельшвинг.

Несколько дней тому назад мы изложили главные положения этого законопроекта. Едва один процесс по обвинению в клевете дал нам возможность доказать, что статьи 367 и 368 кодекса о наказаниях вопиюще противоречат свободе печати, как г. Ганземан собирается не только распространить их действие на всю страну, но и, по крайней мере, в три раза усилить меры взысканий. В новом законопроекте мы находим все то, что на практике нам давно стало так дорого и мило.

Мы находим там запрещение, под страхом заключения от трех месяцев до трех лет, обвинять кого-либо в деяниях, наказуемых по закону или «влекущих за собой общественное презрение». Мы находим там и запрещение доказывать факт совершения деяния иначе, как посредством «проверенных доказательств», словом — там все классические памятники наполеоновского деспотизма в области печати.

Г-н Ганземан на деле исполняет свое обещание приобщить старые провинции к благам рейнского законодательства.

§ 10 законопроекта является венцом всех перечисленных положений, а именно: если клевета направлена против *государственных чиновников* и имеет отношение к исполнению ими своих служебных обязанностей, то *наказание может быть повышено наполовину*.

Статья 222 уложения о наказаниях карает тюремным заключением от одного месяца до двух лет за *оскорбление словом* (outrage par parole) чиновника при исполнении или *по поводу* (à l'occasion) исполнения им служебных обязанностей. Несмотря на доброжелательные старания прокурорского надзора, эта статья до сих пор не применялась к печати — и по весьма основательным причинам. Чтобы исправить это упущение, г. Ганземан переделал ее в вышеуказанный § 10. Во-первых, выражение «по поводу» (gelegentlich) заменено более удобным «в отношении» (in Bezug), во-вторых, столь стеснительное выражение «par parole» (словом) заменено «par écrit» (письменно), а в-третьих, наказание утроено.

С того дня, как этот закон войдет в силу, прусские чиновники смогут спокойно спать. Если г. Пфүль будет прижигать полякам руки и уши адским камнем и об этом напечатают, — за это полагается от $4\frac{1}{2}$ месяцев до $4\frac{1}{2}$ лет тюремного заключения! Если граждан по ошибке заключат в тюрьму, хотя при этом и будет известно, что они неповинны, и печать сообщит об этом, — от $4\frac{1}{2}$ месяцев до $4\frac{1}{2}$ лет тюрьмы! Если ландраты превратятся в коммивояжеров реакции и станут сборщиками подписей под роялистскими адресами, а печать разоблачит этих господ, — от $4\frac{1}{2}$ месяцев до $4\frac{1}{2}$ лет тюрьмы!

С того дня, когда этот закон вступит в силу, чиновники в праве будут безнаказанно совершать любое произвольное деяние, любое насилие, любое беззаконие: они спокойно смогут бить и позволять бить, арестовывать и задерживать без допроса. Единственный действительный контроль — печать — станет недействительным. В тот день, когда этот закон войдет в силу, бюрократия сможет отпраздновать радостный праздник, — она станет более могущественной, более самостоятельной, более сильной, чем до марта.

И действительно, что останется от свободы печати, когда то, что *достойно* общественного презрения, нельзя будет предавать общественному презрению?

По прежним законам, печать могла, по крайней мере, приводить факты в доказательство своих утверждений и обвинений. Теперь этому наступил конец. Теперь она больше не будет *осведомлять*, — она должна будет ограничиваться *общими фразами*, чтобы благонадежные элементы, от г. Ганземана и кончая последним обывате-

лем, имели право говорить, что печать только *бранится*, но ничего не *доказывает*. Для этого ведь ей и запрещают доказывать!

Впрочем, мы рекомендовали бы г. Ганземану внести еще один добавочный пункт в его блестящий проект. Он мог бы также объявить наказуемой всякую попытку подвергнуть господ чиновников не только общественному презрению, но также и общественному осмеянию. Иначе этот пробел даст себя горько чувствовать!

О статьях, касающихся оскорбления общественной нравственности, конфискации и т. д. мы не будем говорить. Они превосходят все, что было создано в этом направлении Луи Филиппом и реставрацией. Отметим лишь одно: согласно § 21, прокурором не только может быть наложено запрещение на готовые оттиски, но и сданные только что в печать рукописи могут быть конфискованы, если в их содержании усматриваются подлежащие преследованию преступление или проступок. Какое широкое поле деятельности для человеколюбивых прокуроров! Какое приятное развлечение — иметь возможность в любое время отправиться в редакции газет и просматривать там «сданные в печать» рукописи, ибо возможно ведь, что они содержат в себе преступление или проступок!

Какой злой насмешкой звучит при этом торжественная важность того параграфа проекта конституции и «Основных прав немецкого народа», которая гласит: *«Цензура никогда не может быть восстановлена!»*

ЗАКОНОПРОЕКТ О ГРАЖДАНСКОМ ОПОЛЧЕНИИ.

I.

Кельн, 20 июля.

Гражданское ополчение распущено, — таков основной *параграф* законопроекта об учреждении гражданского ополчения, хотя этот параграф и помещен в конце законопроекта как его § 121 в весьма скромной форме, гласящей:

«Ввиду учреждения постановлением настоящего закона гражданского ополчения все вооруженные силы, входящие в настоящее время в состав гражданского ополчения или числящиеся на-ряду с ним, объявляются распущенными».

К роспуску частей, не входивших прямо в гражданское ополчение, приступлено уже без всяких отлагательств. Роспуск самого гражданского ополчения может произойти только под видом его *реорганизации*.

Чувство приличия заставило законодателей включить в § 1 следующую конституционную фразу: «Гражданское ополчение учреждается для *охраны конституционной свободы* и законного порядка».

Чтобы вполне соответствовать смыслу своего назначения, гражданское ополчение не должно ни говорить, ни думать об общественных вопросах, ни обсуждать их, ни решать (§ 1), ни собираться на собрания, ни вооружаться (§ 6), вообще не должно подавать ни малейших признаков жизни без особого на то разрешения свыше. Не гражданское ополчение «охраняет» конституцию от покушений властей, а власти охраняют конституцию от гражданского ополчения. Согласно § 4, гражданское ополчение должно «слепо выполнять требования начальства», воздерживаться от всякого вмешательства «в дела общинных, административных и судебных властей» и отказаться от всяких рассуждений. В случае «нарушения» пассивного повиновения глава правительства может «устранить гражданское ополчение от исполнения его обязанностей» на 4 недели (§ 4). Если оно навлечет на себя высочайшее недовольство, то «по королевскому приказу»

оно может быть «устранено от исполнения обязанностей» «на 6 месяцев» или может даже быть совсем распущено (§ 3), и только через шесть месяцев оно может быть заново образовано.

Итак (§ 2), «в каждой общине королевства должно быть учреждено гражданское ополчение», поскольку глава правительства или король не сочтут нужным распорядиться иначе в каждой отдельной общине.

Если государственные дела не подлежат «ведению» гражданского ополчения, то, наоборот, гражданское ополчение «подлежит ведению министра внутренних дел», т. е. *министра полиции*, который по самой своей природе является его начальником и верным Эккартом «конституционной свободы» (§ 5). Тогда, когда гражданское ополчение не призывается главой правительства или другими чиновниками к охране «конституционной свободы», т. е. к исполнению предписаний своего начальника, т. е. не командировается на *службу*, его основная задача сводится к исполнению *служебного регламента*, составленного каким-нибудь королевским полковником. Служебный регламент, это — его великая хартия, для охраны и выполнения которой оно, так сказать, и образовано. Да здравствует *служебный регламент!*

Вступление в ряды гражданского ополчения дает каждому прусскому гражданину «в возрасте от 24 до 50 лет» право приносить следующую присягу: «Клянусь в верности и послушании королю, конституции и законам королевства».

Бедная конституция! Как робко, застенчиво и мещански-почтительно примостилась она между королем и законами. Сначала идет роялистская присяга, присяга любезных верноподданных, затем конституционная присяга, а под конец следует присяга, не имеющая уже никакого смысла, — если не смысл легитимистский, — как будто на-ряду с конституционными законами существуют еще другие законы, исходящие от королевского самодержавия.

И вот добрый бюргер целиком, с головы до ног, — «в ведении министерства внутренних дел».

Этот почтенный человек получил оружие и мундир с тем, чтобы в первую очередь отказаться от своих основных политических прав, права ассоциации и пр. Но его обязанность охранять «конституционную свободу» «по самой природе своей» парализуется тем, что он обязан слепо повиноваться распоряжениям начальства, тем, что самую обыкновенную, признаваемую даже в абсолютных монархиях свободу он заменяет пассивным, безвольным, безответственным солдатским повиновением. Превосходная школа, — как говорил:

Шнейдер в объединенном собрании, — для воспитания будущих республиканцев! Во что превратился наш *бюргер*? В нечто среднее между прусским жандармом и английским констеблем. Но во всех лишениях его утешают *служебный регламент* и сознание, что он защищает порядок.

Вместо того чтобы превращать армию в народ, не оригинальнее ли превратить народ в армию?

Поистине забавное зрелище — это *претворение конституционных фраз в прусскую действительность!*

Если Пруссия приноровляется к конституции, то почему бы и конституции не приноровиться к Пруссии? Бедная конституция! Бравые немцы! Они так долго горевали, что не осуществлялись «самые заветные обещания». Скоро они будут испытывать только *один* страх, — страх, как бы действительно не осуществились эти заветные обещания!

Народ наказывают тем же, чем он погрешил (*par où il a péché*). Вы требовали *свободы печати*? Вот вы и будете *наказаны* свободой печати, и вы получите цензуру без цензоров, цензуру прокурорского надзора, цензуру закона, — который считает, что печать «по природе своей» должна заботиться обо всем, но не о начальстве. непогрешимом начальстве, — цензуру тюрем и денежных штрафов. Подобно оленю, воющему, когда он жаждет воды, вы будете молить о том, чтобы вам вернули доброго, старого, переобремененного, нецененного цензора, этого последнего римлянина, под аскетическим наблюдением которого вы проходили столь спокойно свой жизненный путь.

Вы требовали *национальную гвардию*, — вам дадут *служебный регламент*.

Вы поступите в ведение начальства, вы будете проходить военное обучение, вас так вышколят безответно повиноваться, что у вас глаза на лоб вылезут.

Прусские законодатели со свойственным им остроумием устроили так, что каждое новое конституционное установление дает любопытнейший повод для новых законов о наказаниях, для новых регламентов, для новых мероприятий, нового надзора, новых кляуз и новой бюрократии.

Еще больше конституционных требований! Еще больше конституционных требований! — восклицает министерство дела. На каждое требование мы отвечаем новым *действием!*

Требование: Каждый гражданин должен быть вооружен для защиты конституционной свободы.

Ответ: Отныне каждый гражданин будет подведомствен министерству внутренних дел.

Легче было бы узнать греков под личиной зверей, в которых их превратила Цирцея, чем конституционные учреждения под фантастическими образами, которыми их наградили *пруссаки* и их *министерство дела*.

После прусской реорганизации Польши — прусская реорганизация гражданского ополчения!

II.

Кельн, 21 июля.

Как мы уже видели, «общие положения» законопроекта о гражданском ополчении сводятся к тому, что гражданское ополчение перестало существовать. Мы остановимся еще на некоторых разделах законопроекта, чтобы лучше выявить дух «министерства дела», причем нам придется особо отметить кое-какой сырой материал прикрывающегося не принадлежащим ему именем учреждения. Большое количество параграфов касается организации новых общин, округов, нового административного устройства монархии и т. п., — таких образований, которые пока еще находятся в лоне «министерства дела». Почему же, однако, «министерство дела» внесло законопроект о реорганизации гражданского ополчения раньше обещанных законопроектов об организации округов, общин и т. д.?

В разделе III мы находим два разных послужных списка: послужной список почетных членов гражданского ополчения и послужной список обязанных действительной службой и получающих пособие из государственных сумм (§ 14). К числу лиц, получающих пособие из государственных средств, конечно, не может быть отнесена армия чиновников. Как известно, в Пруссии она составляет собственно производительный класс. Пауперы же в настоящее время, подобно рабам в древнем Риме, «подлежат призыву только в исключительных случаях». Но если пауперы, не более неаполитанских лаццарони способны, по своей гражданской несамодетельности, защищать «конституционную свободу», неужели они заслуживают занять только подчиненное положение в этом новом институте пассивного повиновения?

Но, помимо бедняков, мы находим еще несравненно более существенное различие между платежеспособными и неплатежеспособными гражданами, обязанными действительной службой в гражданском ополчении.

Предварительно, однако, еще одно замечание. Согласно § 53, «гражданское ополчение во всей стране должно носить одинаковую простую служебную одежду, форма которой утверждается королем.

«Служебная одежда должна быть такого покроя, чтобы не походить на военное одеяние». Конечно! Одеяние должно быть такого покроя, чтобы войско противопоставилось гражданскому ополчению, а гражданское ополчение — народу, чтобы в случае атаки, расстрела и прочих военных маневров не могло произойти никаких недоразумений. Но служебное одеяние, как *таковое*, столь же необходимо, как *послужной* список, как *служебный* регламент. Ливрея свободы именно и есть служебное одеяние. Эта ливрея даст превосходный повод увеличить расходы по обмундированию гражданского ополчения, и это увеличение расходов отделит непроходимой пропастью гражданского ополченца-буржуа от гражданского ополченца-пролетария.

Однако слушайте дальше.

«§ 57. Каждый гражданский ополченец обязан за свой счет приобрести себе служебное одеяние, где таковое имеется, служебные знаки и вооружение. Община, однако, обязана за свой счет изготовить эти предметы в количестве, достаточном для снаряжения *той части несущих действительную службу гражданских ополченцев, которые не имеют возможности обмундироваться за свой счет.*

«§ 59. Община является собственницей изготовленных ею предметов снаряжения и *может во внеслужебное время хранить их в особо назначенных для того местах.*»

Таким образом, все, кто не в состоянии на свои средства вооружиться с ног до головы, — а к таким относится большинство прусского населения, все рабочие и большая часть среднего сословия, — все они «во внеслужебное время» оказываются, по закону, обезоруженными, между тем как гражданские ополченцы из *буржуазии* всегда остаются при вооружении и обмундировании. И так как та же буржуазия в лице «общины» «может хранить в особо назначенных для того местах» все «изготовленное ею снаряжение», то она в результате обладает не только своим *собственным* вооружением, — она обладает также и вооружением гражданских ополченцев из пролетариата и в случае неугодных ей политических коллизий она «может» и «будет» запрещать выдачу оружия для «служебного употребления».

Таким образом, политическая привилегия капитала восстанавливается в неприметнейших, но самых действительных и решительных формах. Капитал обладает привилегией оружия в отношении малоимущих, как средневековый феодальный барон — в отношении своих крепостных.

Чтобы сохранить эту привилегию во всей ее исключительности, § 6 устанавливает, что «лишь в деревнях и в городах с населением

менее чем в 5 000 человек допускается вооружение гражданских ополченцев пиками и шашками, и при таком вооружении вместо мундира требуется лишь ношение особых служебных знаков, установленных местным начальником».

Во всех остальных городах с населением свыше 5 000 человек *служебное одеяние* является особым цензом, дающим право обладать оружием и увеличивающим численность гражданских ополченцев из пролетариата. Как служебное одеяние и оружие даются этому пролетариату, т. е. огромному большинству населения, *только взаймы*, так и вообще ему *только взаймы дается право на вооружение* и самое существование его в качестве вооруженного человека. И — *beati possidentes*, счастливы владеющие!

Моральное неудобство, ощущаемое человеком, одетым в *одолженное* платье, тем более в такое *одолженное* платье, которое, подобно солдатскому, по очереди переходит с одного тела на другое, — это моральное неудобство и есть, конечно, главная цель, которую преследуют римляне, призванные защищать «конституционную свободу». Но в противовес этому разве не будет развиваться гордое сознание своего достоинства у *платежеспособных* гражданских ополченцев? А что еще нужно кроме этого?

Однако, в интересах имущей части населения, в интересах привилегированных владельцев капитала, еще более сужены даже и эти стеснительные условия, почти совершенно уничтожающие право на вооружение для огромного большинства населения.

Общине приходится лишь в запасе иметь предметы снаряжения для «несущей действительную службу» несостоятельной части ополченцев. Согласно § 15, с «несущей действительную службу» частью поступают следующим образом:

«Во всех общинах, где количество людей, потребных для несения текущей службы, превышает $\frac{1}{20}$ часть населения, общинное управление имеет право ограничить этим количеством число людей, несущих действительную службу. Если общинное управление воспользуется этим правом, оно обязано организовать порядок службы таким образом, чтобы все люди, потребные для несения службы, отправляли ее по очереди, попеременно. В каждой смене должно принимать участие не больше одной трети общего числа людей, причем одновременно должны призываться на службу пропорционально-представители всех возрастов».

А теперь не угодно ли подсчитать, для какой крохотной части гражданских ополченцев из среды пролетариата и всего населения общины *действительно* будут заготавливать военное снаряжение.

Во вчерашней статье мы отметили, каким образом министерство дела реорганизовало в духе старо-прусского бюрократического государства конституционный институт национальной гвардии. Сегодня мы видим, как министерство достигло вершины своей миссии, — видим, как оно преобразует гражданское ополчение в духе июльской революции, в духе Луи-Филиппа, в духе эпохи, увенчавшей капитал и благоговевшей

при звуках бубнов и тимпанов

перед его юным блеском.

Два слова министерству Ганземана-Кюльветтера-Мильде. Г-н Кюльветтер разослал на-днях всем президентам окружных правлений циркуляр по поводу происков реакции. Откуда сие?

Министерство дела хочет основать господство буржуазии путем компромисса со старым полицейским и феодальным государством. В процессе разрешения этой двусмысленной, противоречивой задачи министерство дела каждую минуту видит, как реакция в абсолютистском, феодальном смысле подкапывается под только еще создающееся господство буржуазии и под его собственное существование, — и оно должно будет склониться перед реакцией. Буржуазия не может завоевать свое господство, не заручившись предварительно надежным союзником в лице народа и не выступив, вследствие этого, более или менее демократически.

Но стремиться связать эпоху реставрации с июльской эпохой, домогаться того, чтобы буржуазия, еще борющаяся с абсолютизмом, феодализмом и юнкерством, с господством военной касты и бюрократии, тут же исключила народ, надела на него ярмо, отбросила его в сторону, это — квадратура круга, это — историческая задача, о которую разобьется даже министерство дела, даже триумвират Ганземан-Кюльветтер-Мильде.

III.

Кельн, 23 июля.

Раздел законопроекта о гражданском ополчении, касающийся «выборов и назначения начальников», является настоящим лабиринтом избирательных методов. Мы хотим сыграть роль Ариадны и дать современному Тезею — славному гражданскому ополчению — нить, которая выведет его из этого лабиринта.

Но современный Тезей окажется столь же неблагодарным, как и древний, и, умертвив Минотавра, бесовестно оставит свою Ариадну — прессу — сидеть на Наксосской скале.

Перечислим различные ходы лабиринта.

Ход первый. Прямые выборы. § 42. «Командиры гражданского ополчения, до капитана включительно, выбираются несущими действительную службу гражданскими ополченцами».

Боковой ход. «Несущие действительную службу гражданские ополченцы» составляют лишь незначительную часть действительно «способных носить оружие людей». Ср. § 25 и нашу повывчерашнюю статью.

«Прямые выборы», следовательно, тоже оказываются только так называемыми прямыми выборами.

Ход второй. Косвенные выборы. § 48. «Батальонный майор выбирается абсолютным большинством голосов капитанами, взводными командирами и начальниками соответствующих рот».

Ход третий. Комбинация косвенных выборов и королевского назначения. § 49. «Полковой командир назначается королем из списка трех кандидатов, выбираемых начальниками батальонов и прочими чинами до взводных командиров включительно».

Ход четвертый. Комбинация косвенных выборов и назначений от начальников. § 50. «Адъютанты назначаются соответственными начальниками из числа взводных командиров, батальонных писарей, начальников рот, батальонных барабанщиков».

Ход пятый. Прямое назначение бюрократическим путем. § 50. «Ротный фельдфебель и писарь назначаются капитаном, эскадронный вахмистр и писарь назначаются эскадронным командиром».

Если перечисленные избирательные методы начинаются поддельными прямыми выборами, то кончаются они неподдельным прекращением *всяких* выборов, произволом господ капитанов, ротмистров и взводных командиров. *Finis coronat opus*, — конец венчает дело. Этот лабиринт хорошо заострен и закончен.

Кристаллы, выделившиеся из этого сложного химического процесса, начиная от блистательного начальника и кончая незаметным «фрейтором, оседают на 6 лет. § 51. «Выборы и назначения командиров производятся на шесть лет».

Трудно представить себе, зачем при подобной осторожности министерство дела сочло нужным в «Общих постановлениях» бестактно крикнуть в лицо гражданскому ополчению: «Из института *политического* вы должны превратиться в чисто *полицейский* институт, в образцовую школу *старо-прусской дрессировки*». Зачем лишать людей их иллюзий?

Королевское назначение настолько походит на канонизацию, что в разделе «Суды гражданского ополчения» совершенно не указано, какой суд должен судить «полкового командира», — точно указаны лишь судебные учреждения для всех других чинов до майора включительно. И в самом деле, — разве может королевский полковник совершить преступление?

Зато самое пребывание гражданским ополченцем является такой *профанацией* для бюргера, что достаточно одного слова какого-нибудь его начальника, начиная от непогрешимого королевского полкового командира и кончая первым попавшимся парнем, которого г-н капитан назначил фельдфебелем или эскадронный командир произвел в капралы, чтобы на 24 часа *лишить его свободы* и посадить под арест.

§ 81. «Каждое начальствующее лицо может делать *подчиненным* замечания по службе; оно имеет также право приказать *немедленно арестовать и заключить под стражу на 24 часа* подчиненного, который при исполнении служебных обязанностей окажется в нетрезвом состоянии или каким-либо *иным образом* провинится в грубом нарушении службы».

Господин начальник, конечно, сам рассудит, что является «*иным*» грубым нарушением службы, а *подчиненный* должен исполнять приказания.

Таким образом, если бы, согласно введению в этот законопроект, бюргер шел навстречу «существу своего назначения», «охране конституционной свободы» так, что перестал бы быть тем, что, по словам Аристотеля, составляет главное назначение человека, — быть

«zoop politicon» — «общественным животным», — он завершил бы свое призвание сдачей своей гражданской свободы на произвол полковника или капрала.

Министерство дела, повидимому, находится под своеобразным влиянием восточно-мистических воззрений и особого рода культа Молоха. Чтобы охранять «конституционную свободу» президентов окружных управлений, бургомистров, полицейских директоров и президентов, полицейских комиссаров, чиновников прокурорского надзора, президентов судебных учреждений, следователей, мировых судей, сельских старост, министров, духовных, военных, состоящих на действительной службе, пограничных, таможенных и акцизных чиновников, чиновников лесного ведомства и почтовых чиновников, тюремных смотрителей и надзирателей всех мест заключения, страховых агентов и всех лиц моложе 25 лет и старше 50 лет, — все людей, которые, согласно §§ 6, 10, 11, не входят в состав гражданского ополчения, — чтобы охранять «конституционную свободу» этого цвета нации, остальная часть нации должна дать умереть кровавой жертвой на алтаре отечества не только своей «конституционной», но и личной свободе. Pends toi, Figaro! Tu n'aurais pas inventé cela! (Повесься, Фигаро! Ты бы до этого не додумался!)

Нечего и говорить, что раздел о наказаниях разработан в законопроекте необыкновенно любовно и тщательно. Да и все учреждение гражданского ополчения, согласно «существованию своего назначения», уже является карой за конституционные и самооборонческие вожделения почтенных граждан.

Отметим еще только, что, помимо деяний, подлежащих по *закону* наказанию, подлежат также наказанию случаи, предусмотренные в служебном регламенте, этой Magna charta гражданского ополчения, составленной королевским полковником при содействии майора и одобренной апокрифичным «окружным представительством» (см. § 82 и сл.). Само собой разумеется, что *тюремное заключение* может заменяться *денежным штрафом*, дабы разница между *платежеспособными* и *неплатежеспособными* гражданскими ополченцами, дабы открытая «министерством дела» разница между *буржуазией* и *пролетариатом* гражданского ополчения нашла себе высокоуголовную санкцию.

Исключительные суды, которые министерство дела, в общем и целом, должно было изъять из конституции, теперь вкрапливаются им в положение о гражданском ополчении. Дисциплинарные проступки рядовых гвардейцев и ротных командиров подлежат ведению ротных судов, состоящих из двух взводных, двух ротных командиров и двух

рядовых (§ 87). Дисциплинарные проступки «командиров, входящих в состав батальона рот, от взводного командира до майора включительно», подлежат батальонному суду, состоящему из двух капитанов, двух взводных и двух ротных командиров (§ 88). Для майоров установлен особый исключительный суд, о котором упоминается в том же § 88: «Если суду подлежит майор, то в состав батальонного суда входят в качестве членов сверх того еще два майора». Господин старший командир, как выше сказано, не подлежит никакому суду.

Этот превосходный законопроект оканчивается следующим параграфом (§ 123): «Положение об участии гражданского ополчения в защите отечества во время войны, равно как о его вооружении, снаряжении и довольствии, устанавливается общим военным законом».

Другими словами: *ландвер продолжает существовать на-ряду с реорганизованным* гражданским ополчением.

Не заслуживает ли *министерство дела*, чтобы его *передали суду* не только за этот законопроект, но и за его проект о перемирии с Данией?

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЗАЙМЕ И ЕГО МОТИВИРОВКА.

I.

Кельн, 25 июля.

Однажды прославленный мошенник богоспасаемого Сен-Джайльзского квартала в Лондоне предстал перед судом присяжных. Его обвиняли в похищении 2 000 фунтов стерлингов у знаменитого в Сити скряги. «Господа присяжные, — сказал обвиняемый, — я не буду долго искушать ваше терпение. Моя защита имеет национально-экономическое основание, — поэтому я буду экономен в словах. Я взял у г. Криппса 2 000 фунтов стерлингов. Нет ничего более согласного с истиной. Но я брал деньги у частного лица с тем, чтобы отдать их обществу. Куда девались эти 2 000 фунтов стерлингов? Разве я эгоистически хранил их у себя? Общьте мои карманы. Если вы найдете в них хотя бы один пенс, я продам вам свою душу за фартинг. Эти 2 000 фунтов стерлингов вы найдете у портного, у виноторговца, в ресторане и т. д. Так что же я сделал? *Бесполезно лежавшие* деньги, которые только *принудительный заем* мог вырвать из могилы, в которую их законопатил скупец, я пустил *в обращение*. Я содействовал обращению капитала, а обращение есть первое условие национального обогащения. Господа, вы — англичане, вы — экономисты, вы не осудите благодетеля нации».

Сен-Джайльзский экономист сидит теперь на Вандименовой земле и имеет достаточно времени, чтобы поразмыслить о неблагодарности его соотечественников.

Однако он жил не напрасно. На его принципе основан теперь *ганземановский принудительный заем*. «Допустимость принудительного займа, — говорит Ганземан, мотивируя эту меру, — основана на всем известном факте, что *большая часть наличных денег, в больших или меньших суммах, бесполезно пребывает* в руках частных лиц *и только путем принудительного займа может быть вовлечена в обращение*».

Растрчивая капитал, вы пускаете его в обращение. Если вы его не пускаете в обращение, его растрчивает государство, дабы пустить его в обращение.

Владелец хлопчатобумажной фабрики занимает, например, 100 рабочих. Он платит им по 9 зильбергрошенов каждому. Таким образом ежедневно пускается в обращение 900 зильбергрошенов, — следовательно 30 талеров перемещаются из его кармана в карманы рабочих и из карманов рабочих в карманы лавочников, домовладельцев, сапожников и пр. Это странствование 30 талеров называется *их обращением*. С того момента, как фабрикант должен продавать свои ткани с убытком или вовсе их не продавать, он прекращает выделку и перестает давать рабочим работу. С прекращением выделки останавливается странствование 30 талеров, останавливается *обращение*. Мы принудительно восстановим обращение, — говорит Ганземаман. Почему деньги *бесполезно* лежат у фабриканта? Почему он не пускает их в обращение? Во время хорошей погоды гуляет множество народа. Ганземаман выгоняет людей на улицы, принудительно заставляет их гулять, чтобы восстановить хорошую погоду. Какой мастер делать погоду!

Министерский и коммерческий кризис лишает процентов капитал буржуазного общества. Желая помочь последнему, государство отнимает и самый капитал. Еврей Пинто, знаменитый биржевой делец XVIII века, рекомендует биржевую игру в своей книге «Обращение». Хотя биржевая игра ничего не производит, она способствует обращению, переходу денежных сумм из одних карманов в другие. Ганземаман превращает государственную казну в рулетку, где обращается достояние граждан. Ганземаман-Пинто!

В «мотивировке» «закона о принудительном займе» Ганземаман на-талкивается на серьезное затруднение. Почему *добровольный заем* не принес требуемых сумм?

Всем известно «безусловное доверие», которым пользуется теперешнее правительство. Известно восторженное патриотическое настроение крупной буржуазии, которая ни на что больше не жалуетя и опасается только одного: как бы какие-нибудь злонамеренные лица не осмелились подорвать ее преданное доверие. Всем известны провинциальные заверяющие в лояльности адреса. И несмотря на все это, Ганземаман принужден заменить поэтический добровольный заем прозаическим принудительным займом.

Например, в Дюссельдорфском окружном управлении дворянство внесло 4 000 талеров, офицеры — 900 талеров. А где же в Дюссельдорфском округе искать большего доверия, как не среди

дворянства и офицерства? О взносах принцев королевского дома и говорить не приходится.

Пусть Ганземан нам сам объяснит, в чем тут дело.

«Добровольные взносы были до сих пор очень незначительны. Это гораздо меньше можно приписать недостатку доверия к настоящему положению вещей, чем неосведомленности в действительных нуждах государства, причем каждый старался выждать, пока не выяснится, нужно ли будет — и в какой мере — прибегнуть к денежным средствам населения. На этом и основана надежда, что все в меру своих сил сделают добровольные взносы, как только им докажут, что подписаться на заем является необходимой и неизбежной обязанностью каждого».

В чрезвычайных обстоятельствах государство взывает к чувству патриотизма. Оно вежливо предлагает патриотизму принести на алтарь отечества 15 миллионов талеров не в виде дара, а в виде добровольного займа. Доверие к государству непоколебимо — но все глухи к его крикам о помощи. К сожалению, все так «неосведомлены» о *«действительных нуждах государства»*, что с величайшим душевным прискорбием предпочитают пока *ничего* не давать государству. Величайшее доверие питают к государственной власти, а достойная уважения государственная власть утверждает, что государству необходимы 15 миллионов талеров. Именно из-за доверия и не доверяют заявлениям правительства. Вопль же о 15 миллионах талеров принимают скорее за простое заигрывание.

Всем известна история почтенного *пенсильванца*, который никогда не давал ни одного доллара займа своим друзьям. Он питал такое доверие к их правильному образу жизни, он настолько ценил их деловую кредитоспособность, что до самой смерти не был *осведомлен*, что они *«действительно нуждаются»* в одном долларе. Их настойчивые требования он объяснял как испытание своему доверию. Доверие же его было непоколебимо.

Прусская государственная власть во всем населении государства встретила подобных *пенсильванцев*. Г-н Ганземан объясняет это странное политико-экономическое явление еще одним своеобразным *«обстоятельством»*.

Народ не платил добровольно, «потому что сначала хотел *выяснить, действительно ли и в какой мере собираются привлечь его денежные средства*». Иными словами: никто не платил добровольно, потому что каждый ждал, когда и в какой мере его заставят платить. Предусмотрительный патриотизм! В высокой степени сомнительное доверие! Позади сангвинического, голубоглазого добровольного займа

скрывается злобный ипохондрик — принудительный заем, и, «основываясь» на этом «*обстоятельстве*», г. Ганземаман питает «надежду», что все *добровольно* сделают посильные взносы. По крайней мере теперь самые закоренелые пессимисты откажутся от своих сомнений и убедятся, что государственная власть в самом деле серьезно нуждается в деньгах, а что все зло, как мы уже видели, заключалось в этой тягостной неосведомленности. Если вы сами не дадите, то у вас возьмут, а это как для вас, так и для нас создаст большие затруднения. Мы надеемся поэтому, что ваше доверие перестанет быть столь напряженным и, вместо пустозвонких фраз, выльется в звонкие галеры. *Est-ce clair?* (Ясно теперь?)

Какие бы «надежды» г. Ганземаман ни возлагал на это «обстоятельство», однако пессимизм его *пенсильванцев* заразил и его, и он чувствует себя вынужденным прибегнуть к еще более *сильным средствам*, чтобы подхлестнуть доверие. Доверие, правда, существует, но никак не хочет проявиться. Необходимы *сильнодействующие средства*, чтобы вывести его из латентного состояния.

«Но чтобы еще сильнее побудить (чем перспективой принудительного займа) к добровольному участию в займе, в § 1 проектируется дать подписчикам на заем $3\frac{1}{3}\%$, но вместе с тем продлен срок (до 1 октября) на добровольный заем, по которому будут выплачивать 5%.

Таким образом г. Ганземаман предлагает премию в $1\frac{2}{3}\%$ за добровольное участие в займе. Патриотизм в скором времени так и потечет, сундуки будут взрываться, золотые потоки доверия зальют государственную казну.

Г-н Ганземаман, конечно, находит выгодным платить богатым людям $1\frac{2}{3}\%$ лишних процента в сравнении с бедными, которые только под давлением вынуждены будут отдавать самое необходимое. В наказание за недостаточность своего состояния они, сверх того, еще будут нести убытки ввиду неизбежного падения курса на $3\frac{1}{3}$ -процентную часть займа.

Так сбываются слова Евангелия: «Имущему дастся, а у неимущего отнимется».

II.

Кельн, 29 июля.

Ганземан-Пинто, как некогда Пиль для хлебных пошлин, создал «скользящую скалу» принудительного патриотизма.

«В отношении процентов, выплачиваемых по обязательной подписке, — говорит нам Ганземан в своих мотивах к законопроекту, — принята прогрессивная скала, ибо ясно, что платежеспособность растет в *арифметической* прогрессии к состоянию».

С увеличением состояния увеличивается и возможность доставать деньги. Иными словами: чем больше денег имеется в распоряжении, тем большим количеством денег можно распоряжаться. Нет ничего вернее этого. Но что платежеспособность увеличивается только в арифметической прогрессии, тогда как общее состояние может расти в геометрической прогрессии, это является открытием г. Ганземана, которое в потомстве заслужит ему большую славу, чем утверждение Мальтуса, что средства существования растут в арифметической прогрессии, тогда как население увеличивается в геометрической прогрессии. Если суммы состояния относятся друг к другу как 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, то, согласно открытию Ганземана, платежеспособность возрастает как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Несмотря на кажущийся рост обязательной подписки, платежеспособность, по мнению нашего экономиста, падает в той же мере, в какой увеличивается состояние.

В одной новелле Сервантеса величайший испанский финансист попадает в сумасшедший дом. Он решил, что для покрытия государственного долга Испании «кортесы должны издать закон, согласно которому все подданные его величества от 40 до 60-летнего возраста должны один день в месяц питаться только хлебом и водой, причем выбор и назначение дня предоставляется их усмотрению. Сбережение же расходов этого дня на фрукты, овощи, мясо, рыбу, вино, яйца, стручки и пр. должно под страхом наказания, как за ложную присягу, все, без малейшей утайки, до последней копейки, быть отдано в распоряжение его величества».

Ганземан несколько сокращает эту процедуру. Он предлагает своим испанцам, имеющим 400 талеров годового дохода, назначить один день в году, в который они согласились бы лишиться 20 талеров. Малосостоятельным он предлагает, согласно скользящей скале, воздержаться в течение 40 дней почти от всякого потребления. Если за время между августом и сентябрем они не найдут 20 талеров, то в октябре их разыщет судебный исполнитель, ибо сказано: «ищите и обрящете».

Проследим дальнейшую «мотивировку» нашего прусского Неккера.

«Всякий промысловый доход, — учит он, — в широком смысле этого слова, т. е. вне зависимости от того, подлежит ли он обложению промысловым налогом, — как доходы врачей, адвокатов и пр., — *исчисляется за вычетом* расходов на предприятие, включая сюда и проценты по долгам. Ибо *только таким образом может быть исчислен чистый доход*. По этой же причине не принимается во внимание и оборотный капитал, *поскольку* исчисляемый на основании *дохода* размер обязательной подписки на заем *превышает размер подписки, исчисляемый на основании оборотного капитала*».

«Nous marchons de surprise en surprise». (Нас поражают одним сюрпризом за другим.) *Доход* может быть определен только *после вычета оборотного капитала*, ибо принудительный заем может и должен быть не чем иным, как исключительной формой *подходящего налога*. А расходы по предприятию так же мало принадлежат к доходу предпринимателя, как ствол и корень дерева — к его плодам. *По той же причине*, что обложению подлежит только доход, а не оборотный капитал, облагается именно оборотный капитал, а не доход, в тех случаях, когда это выгоднее для фиска. Г-ну Ганземану поэтому совершенно безразлично, «каким путем будет исчисляться чистый доход». Что его интересует, это — «каким путем будет исчислен для фиска «наибольший доход»».

Г-н Ганземан, покушающийся на оборотный капитал, подобен дикарю, сваливающему дерево, чтобы вступить в обладание его плодами.

«Таким образом, если (ст. 9 законопроекта) размер обязательной подписки на заем, исчисленный на основании оборотного капитала, выше, чем размер, исчисленный на основании десятикратной суммы дохода, исчисление производится по первому способу», и «в основу кладется» тогда «оборотный капитал».

Следовательно, каждый раз, когда фиску заблагорассудится, он может в основу своих требований класть все состояние, а не доход.

Народ требует действительного надзора над таинственной прусской государственной казной. На это бестактное требование министерство дела отвечает присвоением себе права иметь постоянный надзор за всеми торговыми книгами предпринимателей и иметь подробную опись состояния всех граждан. Конституционная эра Пруссии начинается тем, что не народ контролирует государственное имущество, а, наоборот, государство контролирует имущество граждан. Так настежь открываются двери для бесстыднейшего вмешательства бюрократии в гражданский обмен и в частные отношения граждан. В Бельгии государство тоже прибегло к принудительному займу, но оно скромно удовлетворялось налоговыми регистрами, ипотечными книгами и прочими официальными документами. Министерство же дела переносит спартанский строй прусской армии в прусскую национальную экономику.

Ганземан в своих «мотивах» все же пытается успокоить граждан разными приятными словами и мягким уговором. «В основу распределения налога, — нашептывает он им, — положена *самооценка*». Все «ненавистное» будет устранено. *«Не требуется даже суммарных указаний об отдельных статьях дохода»*. Окружные комиссии, созданные для проверки самооценки граждан, должны путем добросердечных уговоров приглашать их к добровольному участию в займе, и только в случае безуспешности этого пути могут сами устанавливать размер подписки. Решения окружных комиссий подлежат обжалованию в областные комиссии и т. д.

Самооценка! Никаких даже суммарных показаний об отдельных статьях дохода! Убеждения! Обжалование!

Скажи, чего тебе еще нужно?

Начнем сразу с конца — с обжалования.

В ст. 16 говорится: «Взыскание производится в назначенный срок, *несмотря на обжалование* в областную комиссию. Если будет признана справедливость жалоб, внесенная сумма возвращается».

Итак, сперва взыскание, несмотря на обжалование, а затем признание справедливости жалобы, несмотря на произведенное взыскание!

Больше того!

В тех случаях, когда жалоба целиком или *частично* отвергается, вызванные обжалованием издержки несет жалобщик. В случае нужды эти издержки взыскиваются с него административным порядком (ст. 9). Кто знает, насколько экономически невозможно точно оценить состояние, сразу поймет, что жалоба *всегда* может быть *частично* отвергнута и, следовательно, ущерб всегда должен будет

терпеть жалобщик. Право обжалования может быть конструировано как угодно, но денежный штраф всегда является его неизменной тенью. Всяческое почтение праву обжалования!

От права обжалования, с конца, вернемся к началу—к *самооценке*.

Г-н Ганземан, видимо, не опасается, что его спартанцы будут себя переоценивать.

Согласно ст. 13, «самооценка обязанных подпискою на заем составляет основу распределения займа». Архитектура Ганземана так рассчитана, что по основанию здания невозможно судить о дальнейших очертаниях всего здания.

Или — еще больше. «Самооценка», которая в форме «декларации» передается особым чиновникам, назначенным министром финансов или, по его предложению, окружным управлением, подвергается основательной проверке. Согласно ст. 14, «для рассмотрения поданных деклараций собираются одна или несколько комиссий сообща, председатели которых, так же как и прочие члены, числом не менее 5, *назначаются министром финансов или уполномоченным им на то ведомственным органом*. Назначение министра или уполномоченного им органа определяет, таким образом, *основу* проверки.

В случае, если «самооценка» плательщика расходится с оценкой, назначенной министром окружной или городской комиссии, «самооценщика» приглашают для дачи «*объяснений*» (ст. 15). Он может представить или не представить объяснения; все зависит от того, «*удовлетворяют*» ли они назначенную министром комиссию.

Если объяснение будет признано *неудовлетворительным*, «комиссия сама, *сообразно своей собственной оценке*, определяет размер обязательной подписки, о чем и извещает *обязанного подпискою*».

Сперва обязанный подпискою оценивает себя сам и посылает об этом извещение чиновнику. Затем оценивает чиновник и извещает об этом обязанного подпискою. Что же осталось от «самооценки»? Основание рухнуло. В то время как «самооценка» давала лишь повод для основательной «проверки» обязанного подпискою, оценка чиновника ведет прямо к взысканию. Ст. 6 добавляет: «Заключения окружной (или городской) комиссии передаются в окружное управление, которое на их основании *немедленно* составляет ведомости размеров обязательной подписки на заем и передает их в соответственные кассы для взыскания — в случае надобности в административном порядке—согласно действующим постановлениям о налогах».

Мы видели уже, что в отношении права обжалования не все благополучно. Но пути обжалования изобилуют и другими шипами.

Во-первых. Окружная комиссия, рассматривающая жалобы,

составляется из депутатов, избираемых избранными на основании закона от 8 апреля 1848 г. выборщиками.

Пред лицом же принудительного займа вся страна распадается на два враждебных лагеря — на лагерь сопротивляющихся и на лагерь благомыслящих, против уже оплаченной или предложенной подписки которых в окружной комиссии никаких возражений не выдвигается. Депутаты могут быть выбраны только из среды благомыслящего лагеря (ст. 17).

Во-вторых. Председательствует назначенный министром финансов комиссар, к которому для докладывания дел может быть прикомандирован особый чиновник (ст. 18).

В-третьих. Окружная комиссия имеет право подвергать специальной оценке *состояния* и *доходы* и для этой цели может требовать предъявления *описи ценностей* и *обследовать торговые книги*. Если такое обследование окажется недостаточным, то жалобщик может быть подвергнут допросу под присягой.

Если кто-нибудь не согласится без оговорок принять оценку назначенного министром финансов чиновника, он должен в наказание подвергнуть свое имущественное положение подробному обследованию двух бюрократов и пятнадцати конкурентов. Таков тернистый путь обжалования. Ганземам откровенно издевается над своей публикой, говоря в мотивировке:

«В основе распределения займа лежит самооценка. Чтобы не сделать ее *даже и в малейшей мере ненавистной*, не нужно требовать даже общих указаний относительно отдельных статей имущества».

Министр дела в своем проекте не упустил даже наказания за «клятвopрeстyплeниe», — точь-в-точь как у сервантесовского финансиста.

Вместо того чтобы выжимать из себя свои якобы «мотивы», наш Ганземам сделал бы гораздо лучше, если бы сказал словами комедии:

«Как вы хотите, чтобы я заплатил старые долги и сделал новые, *если вы не дадите мне денег взаймы?*»

Но в настоящий момент, когда Пруссия, служа своим собственным интересам, собирается совершить предательство по отношению к Германии и намерена восстать против центральной власти, *обязанностью каждого патриста* является не давать добровольно ни одного пфеннига для принудительного займа. Только последовательное урезывание средств к существованию может заставить Пруссию служить интересам Германии.

«КЕЛЬНСКАЯ ГАЗЕТА» О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЗАЙМЕ.

Кельн, 3 августа.

В № 215 «Кельнской газеты» напечатан следующий призыв к рейнским патриотам.

«Как мы только что узнали из достоверных источников, в городе Кельне покрыто добровольного займа по сегодняшний день около 210 000 талеров — частью наличными, частью только подпискою. Предполагается, что те, кто до сих пор не принял участия в этом государственном займе, в ближайшие десять дней поймут и выполнят свои гражданские обязанности, *тем более* что их собственная выгода должна побудить их внести деньги до 10 августа из 5 процентов, тогда как по подписке, сделанной после этого срока, они будут получать только $3\frac{1}{3}$ процента. Особенно важно, чтобы сельские жители, не принявшие до сих пор должного участия в этом займе, не пропустили этот срок. Ибо, *при отсутствии* достаточного патриотизма и правильного понимания, придется применить принуждение».

Целые $1\frac{2}{3}$ процента премии за патриотизм налогоплательщиков, и «несмотря на все это» патриотизм упорно пребывает в латентном состоянии! *C'est inconcevable.* (Это — непостижимо.) $1\frac{2}{3}$ процента разницы? Разве может патриотизм устоять против такого звонкого аргумента, как $1\frac{2}{3}$ процента?

Наш долг объяснить любезному коллеге этот удивительный феномен.

Чем будет оплачивать прусское государство не 5, а только $3\frac{1}{3}$ процента? Новыми налогами. А если не хватит обычных налогов, как это можно заранее предвидеть? Новым принудительным займом. А чем будет оплачен принудительный заем № 2? Принудительным займом № 3. А принудительный заем № 3? Банкротством. Патриотизм поэтому рекомендует забаррикадировать путь, избранный прусским правительством, по возможности не талерами, а протестами.

У Пруссии, кроме того, образовался уже экстраординарный долг в 10 миллионов талеров, вызванный расходами по войне богатырей в Познани. Пятнадцать миллионов добровольного займа

послужили бы только вознаграждением за интриги тайного кабинета в Потсдаме, который, вопреки распоряжениям бессильного берлинского кабинета, вел эту войну в интересах России и реакции. Юнкерская контр-революция удостоила обратиться к кошелькам горожан и крестьян, которые должны задним числом оплатить ее геройские подвиги. И жестокосердые селяне упорствуют, когда им оказывается такая честь? «Министерство дела» требует также денег для полицейского ведомства, а у вас нет «правильного понимания» благодетельности прусской полиции, организованной на *английский манер*? «Министерство дела» хочет вас связать по рукам и по ногам, а вы отказываетесь дать ему деньги на приобретение веревки? Удивительное отсутствие понимания!

«Министерству дела» нужны деньги, чтобы сепаратные интересы Укермарка противопоставить немецкому единству. А жители Кельнского округа ослеплены настолько, что отказываются нести расходы по защите укермаркско-померанской национальности, несмотря на премию в $1\frac{2}{3}$ процента? Где же их патриотизм?

Наш патриотический коллега, грозящий *«экзекуцией»*, забывает, наконец, в своем усердии, что принудительный заем еще не вотирован согласительным собранием и что министерские проекты имеют такую же силу, как передовицы «Кельнской газеты».

ЗАКОНОПРОЕКТ О ФЕОДАЛЬНЫХ ПОБОРАХ.

Кельн, 29 июля.

Если бы какой-нибудь житель Рейнской области забыл, чем он обязан «господству иностранцев» и «гнету корсиканского тирана», ему следовало бы прочесть законопроект о безвозмездной отмене различных повинностей и поборов, который г. Ганземан предложил на «обсуждение» своим соглашателям в лето от рождества христово тысяча восемьсот сорок восьмое. Ленная подать, чинш при аллодификации лена, наследственные пошлыны, лучшая голова скота, курмед, защитные пошлыны, бортнический чинш, пошлыны за печать, за десятую голову скота, за десятую часть ульев и т. д., — как чуждо, как варварски звучат эти бессмысленные названия для нашего слуха, цивилизованного французско-революционным разрушением феодализма и Наполеоновским кодексом! Как непонятна для нас вся эта груда средневековых повинностей и поборов, эта кунсткамера заплесневелой ветоши допотопных времен!

И все же разуй ноги, немецкий патриот, ибо ты стоишь на священной почве! Все эти варварские раритеты суть развалины христианско-германской славы, последние звенья цепи, которая тянется через всю историю и связывает тебя с величием твоих предков — до самых лесов, где жили херуски! Эта плесень, этот феодальный ил, который мы вновь встречаем здесь в классической неподдельности, являются самыми неотъемлемыми продуктами нашего отечества, и истый немец должен воскликнуть вместе с поэтом:

Ведь это же воздух отчизны! Он жжет
Своею живительной силой
Мне щеки. Вся эта дорожная грязь—
Ведь грязь моей родины милой!

Когда читаешь этот законопроект, то кажется на первый взгляд, будто министр земледелия г. Гирке по приказу г. Ганземана наносит необычайно «смелый удар», будто он одним росчерком пера уничтожает все средневековье и, разумеется, совершенно бесплатно!

Но если глубже всмотреться в обоснование проекта, то оказывается, что оно начинается как раз с доказательства недопустимости бесплатной отмены феодальных повинностей, т. е. со смелого утверждения, которое прямо противоречит «смелому удару».

Между этими двумя дерзаниями лавирует теперь осторожно и предусмотрительно практическая нерешительность г. министра. Слева — «всеобщее благо» и требования «духа времени», справа — «благоприобретенные права помещиков», посредине — «похвальная идея свободного развития сельских отношений», воплощенная в стыдливом смущении г. Гирке, — какая группа!

Довольно. Г-н Гирке всецело признает, что феодальные повинности, в общем, подлежат отмене за выкуп. Тем самым сохраняют свою силу самые обременительные, самые распространенные, самые главные повинности; поскольку же они уже на практике уничтожены крестьянами, *они снова будут восстановлены*.

Но, — думает г. Гирке, — «если все же отдельные обязательные отношения, внутреннее обоснование которых недостаточно или дальнейшее существование которых несовместимо с духом времени и общим благом, и должны быть отменены без выкупа, то непосредственно заинтересованные в этом лица не могут не признать, что они приносят некоторые жертвы во имя не только всеобщего благополучия, но и своих собственных хорошо понятых интересов, дабы сделать мирными и дружественными отношения между правомочными и обязанными лицами и тем самым вообще сохранить за землевладением то положение в государстве, которое приличествует ему для блага целого».

Революция в деревне состояла в фактической отмене всех феодальных повинностей. Министерство дела, которое признает революцию, признает ее в деревне так, что под сурдинку ее уничтожает. Вернуть целиком старый status quo невозможно; крестьяне тогда просто перебьют своих баронов — это понимает и сам г. Гирке. Поэтому отменяется широковещательный список незначительных, лишь там и сям существующих феодальных повинностей, и восстанавливается главная феодальная повинность, которая выражается в одном слове — *барщина*.

Благодаря отмене всех своих прав, дворянство не жертвует даже и 50 000 талеров в год, а спасает оно этим многие миллионы. При этом министр надеется примириться таким путем с крестьянами и даже заполучить в будущем их голоса на выборах в палату. И, действительно, дельце славно обделано, если только г. Гирке не обсчитался.

Таким образом были бы устранены упреки со стороны крестьян,

а также со стороны дворянства, поскольку последнее правильно учитывает свое положение. Остается еще палата да сомнения юридического и радикального педантизма. Различие между повинностями, подлежащими и не подлежащими отмене, которое есть лишь различие между изрядно обесцененными повинностями и повинностями, обладающими весьма большой ценностью, — это различие должно, для того чтобы удовлетворить палату, получить мнимое юридическое и экономическое обоснование.

Г-н Гирке обязан доказать, что подлежащие отмене повинности, во-первых, имеют недостаточное внутреннее обоснование, во-вторых, противоречат общему благу, в-третьих, — требованиям духа времени и, в-четвертых, что их отмена в основе не является ни нарушением права собственности, ни экспроприацией без возмещения убытков. Чтобы доказать недостаточное обоснование этих поборов и повинностей, г. Гирке углубляется в самые темные области ленного права. Он притянул за волосы «все развитие германского государства на протяжении целого тысячелетия, вначале очень медленное». Но разве это поможет г. Гирке? Чем больше он углубляется в далекое прошлое, чем больше он раскапывает залежавшийся ил ленного права, тем больше последнее обнаруживает вовсе не недостаточную, а весьма, с феодальной точки зрения, солидную обоснованность упомянутых повинностей; и несчастный министр только отдает себя на всеобщее посмеяние, когда он изо всех сил старается излагать ленное право в терминах современного гражданского права, заставляя при этом феодальных баронов XII века судить и рядить во всем подобно буржуа XIX века.

Г-н Гирке счастливо унаследовал принцип г. фон-Патова: безвозмездно отменить все, что вытекает из ленного господства и наследственной крепостной зависимости, все же прочее — лишь за выкуп по соглашению. Но неужто г. Гирке думает, будто много надо затратить остроумия на то, чтобы доказать ему, что все подлежащие отмене (не безвозмездно) повинности точно так же проистекают «из ленного господства»?

Излишне добавлять, что г. Гирке в интересах последовательности повсюду между феодальными правовыми определениями вклинивает современные правовые понятия и в случаях крайней нужды всегда апеллирует к ним. Но если г. Гирке мерит некоторые из этих повинностей по масштабу современного права, то непонятно, почему это не делается по отношению ко всем повинностям: впрочем, тогда барщине пришлось бы, конечно, туго от свободы личности и собственности.

Но еще хуже приходится г. Гирке с его различиями, когда он оперирует аргументом общественного блага и духа времени. Ведь это самоочевидно: если эти незначительные повинности стоят на пути общественного благополучия и противоречат духу времени, то в еще большей степени это приходится сказать о таких повинностях, как барщина, помочи и отработки, лаудемии и т. д. Или г. Гирке считает право ощипывать крестьянских гусей устаревшим, а право ощипывать самих крестьян (§ 1, № 14) современным, отвечающим духу нашего времени?

За сим следует доказательство того, что соответственная отмена феодальных повинностей не нарушает права собственности. Доказательство этой вопиющей неправды можно, разумеется, приводить только для видимости и только таким путем, что дворянству внушается, будто эти права не имеют для него ценности, хотя это, разумеется, может быть доказано лишь приблизительно. Г-н Гирке перечисляет тут с величайшей тщательностью все 18 разделов первого параграфа и не замечает при этом, что в той самой мере, в какой ему удастся доказать никчемность, ничтожность, отсутствие всякой ценности у спорных феодальных повинностей, он доказывает также *никчемность собственного законопроекта*. Добрейший г. Гирке! Как неприятно нам пробуждать его от сладкого очарования и портить ему его архимедовско-феодалистические чертежи!

Теперь еще одно затруднение! При прежних выкупах подлежащих теперь отмене повинностей, как и при всех выкупах, крестьяне были страшно обобраны в пользу дворянства при помощи подкупленных комиссий. Крестьяне требуют теперь пересмотра всех заключенных при старом правительстве договоров о выкупе, и они имеют на это полное право.

Но г. Гирке до этого никакого дела нет. Требованию крестьянства «противоречит формальное право и закон», вообще противоречащие всякому прогрессу. Ибо всякий новый закон уничтожает старое формальное право и старый закон. «Последствия этого можно, — по мнению г. Гирке, — с уверенностью предсказать: для того, чтобы доставить обязанным крестьянам известные выгоды путем мероприятий, противоречащих правовым нормам всех времен (революции также противоречат правовым нормам всех времен), пришлось бы нанести неисчислимый вред значительной части землевладения в нашем государстве, а вместе с тем (!) и самому государству!» И тут г. Гирке с сокрушительной основательностью показывает, что подобное поведение «поставит под вопрос и потрясет все правовое положение землевладения и тем самым, в связи еще с бесчисленными процессами

и издержками, нанесет землевладению, этой главной основе национального благосостояния, трудно поправимый удар». Далее он доказывает, что «вмешательство в правовые основания действительности и силы договоров является-де покушением на неоспоримейшие договорные отношения, которое в своих последствиях должно потрясти всякое доверие к устойчивости гражданского права и тем самым подвергнуть страшной опасности весь деловой оборот»!

Таким образом, здесь г. Гирке видит вмешательство в право собственности, которое потрясло бы все правовые нормы. Но почему же, в самом деле, отмена вышеуказанных повинностей без выкупа не является таким вмешательством? Здесь налицо не только неоспоримейшие договорные отношения, но и с незапамятных времен безоговорочно осуществленное неоспоримое правомочие, тогда как в другом случае, когда дело идет о требовании пересмотра, соответственные договоры ни в коем случае не являются неоспоримыми, так как подкупы и надувательства в пользу помещиков могут быть во многих случаях документально доказаны.

Мы не можем этого отрицать: как ни незначительны отмененные повинности, отменой их г. Гирке создает «выгоды для обязанных крестьян путем мероприятий, противоречащих правовым нормам всех времен»; он «распатывает все правовые устои землевладения», он покушается на «несомненнейшие» права в их корне.

В самом деле, г. Гирке, стоило ли труда совершать такие прегрешения, чтобы достигнуть столь жалких результатов?

Разумеется, г. Гирке посягает на собственность, — этого отрицать нельзя. Но не на современную буржуазную собственность, а на феодальную. Этим разрушением феодальной собственности он только укрепляет буржуазную собственность, возникающую на развалинах феодальной. И он лишь потому не желает пересмотра договоров о выкупе феодальных повинностей, что посредством этих договоров феодальные отношения собственности были превращены в буржуазные и что таким образом он не может подвергнуть их пересмотру, вместе с тем формально не затрагивая буржуазной собственности. А буржуазная собственность, естественно, столь же священна и неприкосновенна, как феодальная, — уязвима и прикосновенна в меру потребности и смелости господ министров.

Каков же краткий смысл длинного закона? Самое убедительное доказательство того, что германская революция 1848 г. есть лишь жалкая пародия французской революции 1789 г.

4 августа 1789 г., спустя три недели после штурма Бастилии, французский народ в один день покончил с феодальными повинностями.

11 июля 1848 г., четыре месяца спустя после мартовских баррикад, феодальные повинности покончили с германским народом, teste Gierke cum Hansemanno (свидетели тому — Гирке с Ганземаном).

Французская буржуазия 1789 г. ни на один момент не покидала своих союзников — крестьян. Она знала, что основой ее господства было разрушение феодализма в деревне, восстановление свободного, владеющего землею класса крестьян.

Германская буржуазия 1848 г. немедленно предала своих естественных союзников-крестьян, которые являются плотью от плоти ее и без которых она совершенно бессильна перед лицом дворянства.

Продление, санкция феодальных прав в форме их (иллюзорной) отмены за выкуп, — таков, стало быть, результат германской революции 1848 г. Вот уже подлинно — много шума и мало толку!

МИНИСТЕРСТВО ГАНЗЕМАНА И СТАРО-ПРУССКИЙ ПРОЕКТ УЛОЖЕНИЯ О НАКАЗАНИЯХ.

Кельн, 3 августа.

Мы уже часто повторяли: министерство Ганземана всячески восхваляет министерство Бодельшвинга. После признания революции — признание старо-прусского хозяйства, — так замыкается круг!

Но что господин Ганземан доходит до виртуозности в деле восхваления даже поступков господ Бодельшвинга, Савиньи и присных, с которыми в свое время он, в качестве депутата рейнского ландтага, боролся с величайшим ожесточением, — это такой триумф, на какой потсдамская камарилья, конечно, не рассчитывала. И все же... все же прочтите следующую статью в последнем номере «Прусского государственного вестника».

Берлин, 1 августа. В последнем номере бюллетеня министерства юстиции приводятся в «неофициальном отделе» статистические данные о смертных казнях, а также сводка смертных приговоров, вынесенных и утвержденных за время от 1826 по 1843 г., не считая тех приговоров, которые вынесены были пресловутой следственной комиссией о демагогических происках. Работа эта произведена на основании актов министерства юстиции и должна бы привлечь к себе особое внимание ввиду важности предмета. Согласно сводке, за вышеуказанный срок

1) в Рейнской провинции вынесено 189 смертных приговоров, утверждено 6;

2) в других провинциях вынесено 237 смертных приговоров, утверждено 94.

Всего вынесено 426 смертных приговоров, утверждено 100, из которых, однако, 4 не были приведены в исполнение вследствие бегства или смерти преступников.

Если бы проект нового уложения о наказаниях 1847 г. был в силе в течение этого времени, то было бы

1) в Рейнской провинции вынесено только 53 смертных приговора, утверждено 5;

2) в других провинциях вынесено только 134 смертных приговора, утверждено 76.

Итого было бы вынесено 187 смертных приговоров, утверждено 81, если предположить, что при утверждении руководствовались бы теми же принци-

пами, как и раньше. Таким образом, смертный приговор не был бы вынесен 237 преступникам, приговоренным к смерти по действующим ныне законам, и не был бы приведен в исполнение по отношению к 19 осужденным преступникам.

По сводке на каждый год приходится в среднем

- 1) в Рейнской провинции 10⁹/₁₈ вынесенных и 9¹/₁₈ утвержденных;
- 2) в других провинциях 13 вынесенных и 5 ⁴/₁₈ утвержденных смертных приговоров.

А если бы проект был тогда в силе, смертных приговоров приходилось бы на каждый год в среднем:

- 1) в Рейнской провинции только 2¹⁷/₁₈ вынесенных и 5¹/₁₈ утвержденных,
- 2) в других провинциях только 7⁷/₁₈ вынесенных и 4⁴/₁₈ утвержденных.

Так восхищайтесь же кротостью, превосходством, величием королевского прусского проекта законов о наказаниях 1847 года! В Рейнской провинции было бы, может быть, меньше на целый смертный приговор, приведенный в исполнение за 18 лет. Какие преимущества!

А бесчисленные подсудимые, лишённые суда присяжных, осужденные и заточенные королевскими судьями; позорные палочные наказания, которые производились бы здесь, на Рейне, старо-прусскими палками, — здесь, где мы уже 40 лет тому назад избавились от палок; грязное судопроизводство, в результате которого болезненной геморроидальной фантазией рыцарей земского права снова вызваны к жизни не включенные в кодекс преступления против нравственности; неизбежное юридическое смешение понятий и, наконец, бесчисленные политические процессы в результате деспотических и предательских постановлений этого негодного проекта, словом — *пруссизация* всей Рейнской провинции, — неужели рейнские ренегаты в Берлине верят, что мы все это забудем из-за одной уцелевшей головы?

Дело ясно: господин Ганземан хочет через своего агента в области юстиции господина Меркера провести то, на чем провалился Бодельшвинг. Он хочет действительно ввести в силу глубоко ненавистный старо-прусский проект законов о наказаниях.

Тут же мы узнаем, что предполагается ввести суд присяжных только в Берлине, и здесь только в виде опыта.

Итак, не введение рейнского права в старой Пруссии, а введение старо-прусского права в рейнских областях, — вот великий результат, огромное «достижение» мартовской революции. Rien que ça! (Только и всего!)

ПРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫКУПЕ.

Кельн, 4 августа.

Берлинское собрание время от времени вытаскивает на свет бо-жий всякую старо-прусскую труху, и именно теперь, когда черно-белые рыцари становятся бесстыднее с каждым днем, подобные раз-облачения особенно нужны.

На заседании 21 июля снова зашла речь о феодальных поборах. Центр предложил, по инициативе одного депутата, приостанавли-вать переговоры и судебные процессы по вопросам выкупа и раздела находившихся в общинном владении угодий по требованию админи-страции или одной из заинтересованных сторон.

Депутат *Диршке* говорил о существовавших до сих пор условиях выкупа. Сперва он подробно рассказал о том, как уже самый порядок выкупа приводит к обсчитыванию крестьян.

«Так, например, расчет за барщину поставлен очень односто-ронне. Совсем не принято во внимание то, что плата за барщину, ко-торая в предыдущие столетия была установлена в размере 1 или 2 зильбергрошенов, соответствовала *тогдашним ценам* на продукты и тогдашним отношениям; эта плата могла считаться достаточным эквивалентом за производимые работы, и ни землевладелец, ни об-язанный барщиною не терпели чрезмерных убытков. А свободному наемному рабочему приходится платить теперь, вместо 2 зильбергро-шенов, 5 — 6 зильбергрошенов в день. Если же от одной из заинтере-сованных сторон поступает заявление о выкупе, то по сведениям числа барщинных дней к числу оплачиваемых дней получается разница, по крайней мере, в 3 зильбергрошена в день, — следовательно, за 50 дней в год набирается рента в 4 — 5 талеров, которых крестьянин на своем участке не может выработать, так как часто он владеет едва ли $\frac{3}{4}$ моргена земли, а заработать на стороне он не имеет возможности».

Это место речи г. Диршке наводит на различные размышления, которые говорят далеко не в пользу столь прославленного либе-рального законодательства 1807 — 1811 гг.

Из его речи прежде всего следует, что барщина (особенно в Силезии, о которой говорил г. Диршке) вовсе не является вносимой в натуре рентой или платой за наследственную аренду, вовсе не возмещением за пользование землей, а, вопреки гг. Патову и Гирке, чистым «выявлением феодального господства и наследственной зависимости» и поэтому, на основании *собственных принципов* этих великих государственных мужей, должна быть *отменена безвозмездно*.

В чем состояли повинности крестьянина? В том, что он должен был быть к услугам помещика в определенные дни года или для определенных работ. Но ни в каком случае не безвозмездно, — он получал за это плату, которая первоначально была вполне равна поденной плате за свободный труд. Выгода помещика состояла, таким образом, не в бесплатной или дешевой работе крестьянина, а в том, что в его распоряжении за обычную плату были рабочие всегда, как только они ему были нужны, причем он не обязан был бы давать им работу, когда они ему не нужны были. Выгода помещика заключалась не в денежной стоимости натуральной повинности, а в *принудительном характере* натуральной повинности; она заключалась не в экономической прибыли, а в *зависимости* крестьянина. И такие обязательства — не «проявление феодального господства и наследственной зависимости»!

Не подлежит никакому сомнению, что уже ввиду первоначального характера барщины она должна быть отменена безвозмездно, если только Патов, Гирке и К^о хотят быть последовательными.

Но как обстоит дело, если подойти к нему с точки зрения его *нынешнего* характера?

В продолжение столетий барщинная повинность оставалась одинаковой, и плата за нее тоже не изменялась. Но цены на продукты повышались, а вместе с ними и оплата свободного труда. Барщинная повинность, которая первоначально была экономически одинаково выгодна обеим сторонам, которая часто даже давала крестьянину хорошо оплачиваемую работу, наполнявшую те дни, когда у него не было дела, превратилась для него постепенно, говоря языком господина Гирке, в «настоящий поземельный налог», а для милостивого господина — в явный денежный доход. К уверенности его в том, что он всегда может иметь в своем распоряжении достаточное число рабочих, прибавился еще изрядный куш, который он урывал из заработка этих рабочих. Путем такого постоянного, столетиями длившегося надувательства, крестьян обчитывали на все увеличивающуюся часть их заработка, так что в конце концов они стали получать едва треть или даже только четвертую его часть. Предположим,

что крестьянский двор обязан выставлять только одного рабочего только на 50 дней в году и что поденная заработная плата возросла за 300 лет в среднем только на 2 вильбергерошена, — окажется, что милостивый господин заработал на одном этом рабочем кругленькую сумму в тысячу талеров, а на процентах с 500 талеров за 300 лет из 5% — 7 500 талеров, а всего 8 500 талеров на одном рабочем. И это — по расчету, не достигающему и половины действительного дохода помещика.

Что из этого следует? Что не крестьянин должен платить милостивому господину, а милостивый господин — крестьянину, что не крестьянский двор помещью, а помещье крестьянскому двору должно платить ренту.

Но прусские либералы 1808 г. рассуждали не так. Наоборот, прусские юристы разъясняют, что не дворянин крестьянину, а крестьянин дворянину должен выплатить разницу между платой за барщинный труд и оплатой свободного труда. Именно *потому*, что милостивый господин так долго крал у крестьянина разницу заработной платы, именно *потому* крестьянин должен уплатить милостивому господину за уворованное этим господином. Имущему дастся, а у неимущего отнимется!

Итак, разница заработной платы исчисляется, ее годовой размер принимается за земельную ренту и в таком виде переходит в карман милостивого господина. Если крестьянин захочет выкупить эту ренту, она капитализируется из 4% (даже не из 5%!), т. е. уплачивается капитал, равный 25-кратной ренте. Как можно видеть из этого, с крестьянами дела ведутся по-коммерчески, и наш вышеприведенный расчет прибылей дворянства, таким образом, вполне обоснован.

Вдобавок крестьяне часто платят за $\frac{1}{4}$ моргена плохой земли 4 — 5 талеров ренты, в то время как целый морген хорошей, свободной от барщины земли можно получить за 3 талера годовой ренты!

Выкуп может быть выплачен путем уступки участка земли, стоимость которого равна подлежащей уплате сумме. Это в состоянии делать, разумеется, только более зажиточные крестьяне. В этом случае помещик получает участок земли в виде премии за ту ловкость и настойчивость, с какой он и его предки обкрадывали крестьян.

Такова теория выкупа. Она полностью подтверждает то, что было во всех странах, в которых феодальные отношения отменялись постепенно, особенно в Англии и Шотландии, а именно: превращение феодальной собственности в буржуазную, феодального господства — в капитал, всегда является новым явным обманом несвободного в пользу феодала. Несвободный должен каждый раз

выкупать свою свободу, дорого выкупать. Буржуазное государство поступает по принципу: даром ничто не дается.

Теория выкупа доказывает, однако, еще больше.

Неизбежным следствием этих чудовищных требований, предъявляемых к крестьянам, является то, как заметил депутат *Дане*, что они попадают в руки ростовщиков. Ростовщик, как доказывают Франция, Пфальц и Рейнская провинция, — неизбежный спутник класса *свободных* мелких крестьян. Прусское учение о выкупах (*Ablösungswissenschaft*) привело к тому, что мелкие крестьяне старых провинций стали испытывать радости ростовщического гнета еще до того, как они получили свободу. Прусское правительство вообще всегда умело подчинять поработанные классы одновременному гнету как феодальных, так и современных буржуазных отношений и таким образом делать ярмо вдвое тяжелее.

К этому присоединяется еще одно обстоятельство, на которое депутат *Дане* также обращает внимание: огромные расходы, которые возрастают тем больше, чем ленивее и непригоднее посрочно оплачиваемый комиссар. «Город Лихтенау в Вестфалии заплатил за 12 000 моргенов 17 000 талеров, а расходы этим еще не покрыты!»

Далее следует практическое проведение выкупа, которое еще больше подтверждает сказанное. «Экономические комиссары, — говорит далее г. Диршке, — т. е. служащие, подготовляющие выкуп, выступают в трех ролях. Во-первых, они выступают в качестве *следственных чиновников*: они выслушивают обе стороны, устанавливают фактические основы выкупа и вычисляют размер возмещения. Очень часто они подходят при этом к делу весьма односторонне, не принимают во внимание существующие правовые отношения, так как часто им просто не хватает знаний в области права. Затем они играют роль *экспертов* и *свидетелей* и совершенно самостоятельно устанавливают цену на предметы, подлежащие выкупу. Наконец, они представляют свое *суждение*, которое почти равносильно решению, так как главная комиссия должна опираться на их мнение, основанное на знании местных отношений и обстоятельств.

«Наконец, экономические комиссары не пользуются доверием крестьян, потому что причиняют ущерб сторонам тем, что часто часами заставляют себя ждать, пока они *угощаются за столом помещика* (который тоже является стороной), и этим особенно вызывают к себе недоверие. Когда, наконец, после трехчасового ожидания крестьян принимают, экономический комиссар часто кричит на них и грубо отвергает все их возражения. Я знаю это из собственного опыта, так как я был юридическим комиссаром и защищал интересы

крестьян при операции выкупа. Поэтому диктаторская власть экономических комиссаров должна быть отменена. Нельзя также допускать соединения в одном лице следователя, свидетеля и судьи».

Депутат *Мориц* защищает экономических комиссаров. Г-н *Диршке* отвечает: «Могу сказать, что среди них есть много таких, которые были несправедливы к крестьянам, и я сам даже доносил на некоторых из них судебным властям и могу, если понадобится, привести доказательства».

Министр *Гирке*, разумеется, опять выступает в защиту старопрусской системы и выросших из нее институтов. Экономических комиссаров опять, конечно, надо похвалить: «Предоставляю собранию решить, допустимо ли пользоваться трибуной для подобных, *лишенных всяких доказательств, совершенно необоснованных* упреков!» И господин Гирке приводит доказательства!

Но так как его превосходительство Гирке придерживается, по видимому, того мнения, что общеизвестные факты можно опровергнуть министерскими утверждениями, мы в ближайшее время приведем кое-какие «доказательства» того, что г. Диршке не только не преувеличил ничего, но даже совсем недостаточно порицал деятельность экономических комиссаров.

Прения закончены. Предложенные поправки были так многочисленны, что отчет о них необходимо отдельно поместить ниже. Окончательное решение собрания состоится позже.

Среди этих поправок имеется поправка г. *Морица*, в которой обращается внимание на следующее поучительное распоряжение прежнего правительства. Он предлагает приостановить все дела, относящиеся к мельничной повинности.

Когда в 1815 г. было решено отменить принудительные и боналитетные права помещиков, была назначена комиссия на предмет компенсирования владельцев мельниц за то, что их предприятия вводились в область свободной конкуренции. Это само по себе уже было нелепо. Разве цеховые мастера получили компенсацию за свои отмененные привилегии? Но в данном случае были особые основания. Мельницы выплачивали чрезвычайный налог за пользование боналитетным правом помещика, и, вместо простой отмены этого налога им дана была компенсация и сохранен был налог. Форма сама по себе нелепа, однако в этом есть хоть *видимость* права.

Но в присоединенных с 1815 г. провинциях мельничные налоги остались, принудительные права отменены, *а возмещения никакого выплачено не было*. Таково старо-прусское равенство перед законом.

Хотя промысловый закон отменяет все промысловые налоги, все мельничные налоги по промысловому уставу 1845 г. и по закону о возмещении принимаются в спорных случаях не как промысловые, а как *поземельные налоги*. На почве этой путаницы и этого нарушения прав возникли бесчисленные процессы, различные судебные места противоречили своими постановлениями друг другу, верховный трибунал сам выносил самые противоречивые решения. Что именно бывшей законодательной властью принималось за «поземельные налоги», видно из приведенного г. Морицем случая: одна мельница в Саксонии, к которой относится, кроме мельничных построек, еще водяная энергия, но не земля, обложена «поземельным налогом» в размере *четыреж виспелей* зерна!

Поистине, что ни говорите, Пруссия всегда была государством, управляемым лучше, более мудро и более справедливо, чем все другие!

БЕЛЬГИЙСКИЕ ДЕЛА

«ОБРАЗЦОВОЕ ГОСУДАРСТВО» БЕЛЬГИЯ.

Кельн, 6 августа.

Обратим свой взор снова на Бельгию, это конституционное «образцовое государство», монархическое Эльдorado с широчайшей демократической основой, высшую школу берлинских государственных людей, гордость «Кельнской газеты».

Сперва рассмотрим ее экономическое положение, ибо столь прославленный политический строй образует только золоченую раму к нему.

Бельгийский «Moniteur» — у Бельгии есть свой «Moniteur» — сообщает следующее о самом крупном вассале Леопольда — о *пауперизме*.

В провинции	Люксембург	получает пособие 1	из 69 жителей					
»	»	Намюр	»	»	1	»	17	»
»	»	Антверпен	»	»	1	»	16	»
»	»	Люттих	»	»	1	»	7	»
»	»	Лимбург	»	»	1	»	7	»
»	»	Гено	»	»	1	»	6	»
»	»	Восточная Фландрия	»	»	1	»	5	»
»	»	Брабант	»	»	1	»	4	»
»	»	Западная Фландрия	»	»	1	»	3	»

Это разрастание пауперизма неизбежно влечет за собою дальнейший рост пауперизма. Лица, ведущие самостоятельное существование, теряют из-за налога на вспомошествование, которым их обременяют их сограждане-пауперы, свое гражданское равновесие и скатываются в пропасть официальной благотворительности. Пауперизм с увеличенной скоростью порождает пауперизм. Но в той же мере, в какой растет пауперизм, растет и *преступность* и деморализуется самый источник жизни народа — *молодежь*.

Годы 1845, 1846, 1847 дают нам в этом отношении весьма печальную картину.

Число подростков моложе восемнадцати лет, находившихся под арестом:

	1845 г.	1846 г.	1847 г.
Мужского пола	2 146	4 607	7 283
Женского пола	429	1 279	2 069
Итого	2 575	5 886	9 352
Всего			17 813

Таким образом, с 1845 г. каждый год число малолетних преступников, моложе 18 лет, увеличивалось приблизительно вдвое. По такой пропорции в 1850 г. в Бельгии будет 74 816 малолетних преступников, а в 1855 г. — 2 393 312, т. е. больше, чем число всей молодежи моложе 18 лет и больше половины всего населения страны. В 1856 г. Бельгия вся сидела бы в тюрьме, считая в том числе и неродившихся детей. Может ли монархия пожелать себе более *широкую* демократическую основу? В тюрьме ведь царит *равенство*.

Рутинеры политической экономии тщетно прибегли к двум своим морисоновским пиллюлям — свободной торговле, с одной стороны, и к покровительственной системе — с другой. Пауперизм во Фландрии родился при системе свободной торговли, вырос и окреп при покровительственной системе, направленной против иностранного полотна и льняной пряжи.

В то время как среди пролетариата в такой мере разрастаются пауперизм и преступность, у буржуазии иссякают источники дохода, как это доказывает недавно появившаяся сравнительная таблица бельгийской внешней торговли за первые семестры 1846, 1847, 1848 гг.

За исключением оружейных и гвоздильных заводов, которым, в виде исключения, благоприятствуют обстоятельства временного характера, суконных фабрик, поддерживающих свою старую славу, и цинкового производства, весьма незначительного по сравнению с общей продукцией, вся бельгийская промышленность находится в состоянии упадка или застоя.

За небольшими исключениями, наблюдается значительное понижение *вывоза* продукции бельгийского горного производства и металлических изделий.

Приведем несколько примеров:

	I семестр 1847 г.	I семестр 1848 г.
Уголь (в тоннах)	869 000	549 000
Чугун	56 500	35 000
Чугунные изделия	463	172
Железо (рельсы)	3 489	13
Обработанное ковачное железо	556	434
Замки	3 210	3 618
Итого	932 718	588 297

Общее понижение производства этих продуктов на первый семестр 1848 г. составляет, таким образом, 344 481 тонну, немного больше $\frac{1}{3}$ всего количества.

Перейдем к льняной промышленности:

	I семестр 1844 г.	I семестр 1847 г.	I семестр 1848 г.
<i>Льняная пряжа</i>	1 017 000	623 000	306 000
<i>Льняные ткани</i>	1 483 000	1 230 000	681 000
Итого	2 500 000	1 853 000	987 000

Уменьшение в I семестре 1847 г. по сравнению с I семестром 1846 г. достигает 670 000 килограмм; уменьшение в 1848 г. по сравнению с 1846 г. составляет 1 613 000 килограмм, или 64%.

Вывоз книг, хрусталя, оконного стекла невероятно снизился; также уменьшился вывоз необработанного и чесаного льна, пакли, коры, обработанного табака.

Пожирающий все вокруг себя пауперизм, неслыханное заражение молодежи преступностью, систематический упадок бельгийской промышленности образуют почву для конституционной безмятежности. Так, министерская газета «*Indépendance*» насчитывает (и не устает оповещать об этом) свыше 4 000 подписчиков. Старый *Меллине*, единственный генерал, спасший бельгийскую честь, сидит под домашним арестом и на-днях предстанет перед судом присяжных в Антверпене. Гентский адвокат *Ролен*, конспирирующий против Леопольда в интересах Оранской династии и в интересах Леопольда Кобургского против его будущих союзников, бельгийских либералов, — Ролен, двойной предатель, получил портфель министра общественных работ. Бывший старьевщик, франкильон, барон и военный министр Ша-а-аз-аль размахивает своей громадной саблей и спасает европейское равновесие. «*Observateur*» увеличил программу сентябрьских празднеств еще на одно зрелище — на генеральную процессию «*Оммеганг*» в честь Doudou из Монса, Houplala из Антверпена и Mannequin Pisse из Брюсселя. И «*Observateur*» — газета великого Верхагена — рассказывает об этом самым серьезным образом. Наконец, — и это вознаграждает ее за все ее страдания, — Бельгия стала высшей школой для берлинских Монтеские — Штуппа, Гримма, Ганземана и Баумштарка — и вызывает восхищение «*Кельнской газеты*». Счастливая Бельгия!

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В АНТВЕРПЕНЕ.

Кельн, 2 сентября.

Образцовое конституционное бельгийское государство представило новое блестящее доказательство превосходства своих учреждений. Семнадцать смертных приговоров из-за смешной истории Risquons tout! (Все на карту!) Выносятся семнадцать смертных приговоров, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное высококравственной бельгийской нации несколькими безрассудными, окрыленными надеждой простаками, попытавшимися приподнять маленький кончик ее конституционной мантии. Семнадцать смертных приговоров — какое зверство!

История Risquons tout известна. Несколько бельгийских рабочих соединились в Париже, чтобы попытаться совершить республиканское нашествие на родину. Бельгийские демократы явились из Брюсселя и поддержали это предприятие. Ледрю-Роллен способствовал ему, насколько был в состоянии. Ламартин, предатель с «благородным сердцем», у которого красивых слов и гнусных дел для иностранцев не меньше, чем для французской демократии, Ламартин, который хвастает, что когда-то конспирировал заодно с анархией, как громоотвод с молнией, — сначала поддерживал бельгийский легион, чтобы потом вернее предать его. Легион выступил. Делеклюз, правительственный комиссар в Северном департаменте, продал первую колонну бельгийским железнодорожным чиновникам; поезд, который вез ее, был предательски доставлен на бельгийскую территорию и очутился среди бельгийских штыков. Вторую колонну вели три бельгийских шпиона (член Парижского временного правительства сам рассказал нам об этом, и весь ход дела это подтвердил), и предатели-проводники привели ее в лес на бельгийской территории, где ее ждали в надежной засаде заряженные пушки. Часть ее расстреляли, но большую часть взяли в плен.

Этот маленький эпизод революции 1848 г., комический благодаря количеству предательств и благодаря размерам, приданным ему в Бельгии, послужил бельгийской прокуратуре холстом, чтобы вы-

шить по нему самый колоссальный заговор, какой когда-либо замышлялся. Освободитель Антверпена, старый генерал Меллине, Тедеско, Баллен, — короче говоря, самые решительные, самые деятельные демократы Брюсселя, Люттиха, Гента, — были замешаны в это дело. Г-н Бавэ втянул бы туда даже Жоттрана из Брюсселя, если бы г. Жоттран не знал таких вещей и не имел в своем распоряжении таких бумаг, опубликование которых скомпрометировало бы самым позорным образом все бельгийское правительство, не исключая и мудрого Леопольда.

И для чего эти аресты демократов, для чего этот чудовищный судебный процесс против людей, которые в такой же мере не имели никакого отношения ко всему этому делу, как и присяжные заседатели, перед которыми они предстали? Для того, чтобы напугать бельгийскую буржуазию и под прикрытием этого страха провести превышающие всякую меру налоги и принудительные займы, которые являются как бы цементом для славного бельгийского государственного здания и с выплатой которых дело обстоит так плохо!

И вот, обвиняемые предстали перед антверпенскими присяжными, перед избранной частью тех фламандских пивных душ, которым одинаково чужды взлеты французской политической самоотверженности и спокойная уверенность величественного английского материализма, перед торговцами треской, которые всю свою жизнь прозябают в мещанском торгашестве, в близорукой погоне за барышем. Великий Бавэ знал, с кем имеет дело, и апеллировал к их страху.

В самом деле, разве в Антверпене видели когда-нибудь республиканца? А теперь тридцать два таких чудовища стояли перед испуганными антверпенцами; и дрожащие присяжные вкупе с мудрыми судьями предали семнадцать обвиняемых милосердию 86-й и следующих статей уголовного кодекса, т. е. смерти!

И во времена террора 1793 г. бывали дутые процессы, выносились приговоры, в основе которых лежали не те факты, которые приводились официально. Но такого процесса, полного грубого бесстыдства, лжи и слепой партийной ненависти, никогда не вел даже фанатик Фукье-Тенвиль. И разве в Бельгии царит гражданская война? Разве половина Европы стоит у ее границ и составляет заговоры с ее мятежниками, как это было во Франции в 1793 г.? Разве отечество в опасности? Разве в короне появилась трещина? Напротив, никто не собирается поработить Бельгию, и мудрый Леопольд до сих пор ежедневно ездит без охраны из Лакена в Брюссель и из Брюсселя в Лакен.

Что сделал старый 81-летний Меллине такого, за что присяжные заседатели и судьи могли бы приговорить его к смерти? Старый солдат французской республики спас в 1831 г. последний отблеск бельгийской чести. Он освободил Антверпен, и за это в Антверпене же приговорили его к смерти. Вся его вина состояла в том, что он защищал от заподозриваний официальной бельгийской печати своего старого друга Беккера и не перестал относиться к нему дружески, когда тот вел заговорщическую работу в Париже. К заговору «Risquons tout» он не имел никакого отношения. И за это его без дальних разговоров приговаривают к смерти.

А Баллен? Он был другом Меллине, он часто навещал его, его видели в кафе вместе с Тедеско. Достаточная причина, чтобы приговорить его к смерти.

И, наконец, Тедеско! Как, разве он не был членом немецкого рабочего союза, разве он не был связан с людьми, которым бельгийская полиция подбросила бутафорские мечи? Разве его не видели в кафе с Валленом? Дело доказано, — Тедеско спровоцировал битву народов Risquons tout, — на эшафот его!

И то же самое с другими.

Мы гордимся правом называть себя друзьями многих из этих «заговорщиков», которые были приговорены к смерти только потому, что они демократы. И если продажная бельгийская печать забрасывает их грязью, то, по крайней мере, заступимся за их честь пред лицом немецкой демократии. Если их родина отрекается от них, то признаем их своими мы!

Когда председатель огласил вынесенный им смертный приговор, они воскликнули с энтузиазмом: «Да здравствует республика!» Они держали себя во все время процесса, а также и во время оглашения приговора, с истинно революционной непоколебимостью.

Но послушаем, что говорит жалкая бельгийская печать:

«Приговор, — пишет «Антверпенская газета», — произвел в городе не больше сенсации, чем и весь процесс, который не вызвал к себе почти никакого интереса. Только среди рабочего класса (читай: у люмпенпролетариев) наблюдается враждебное чувство к палачам республики, — остальное население совсем не обращало внимания на процесс. Смехотворность этой революционной попытки не утратилась для него из-за смертного приговора, в приведение в исполнение которого все равно никто не верит».

Конечно, если бы антверпенцам было доставлено интересное зрелище гильотинирования семнадцати республиканцев во главе с их спасителем Меллине, они бы тогда заинтересовались процессом!

Словно не в том именно состояло зверство бельгийского правительства, бельгийских присяжных заседателей и бельгийского суда, что они играют со смертными приговорами!

«Правительство, — пишет «Libéral Liégeois», — хотело показать свою силу, но оно сумело проявить только *зверство*. Таков, конечно, постоянный удел фламандской нации...

«ОБРАЗЦОВОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО».

Кельн, 21 октября.

Мы каждый раз все с новым удовольствием возвращаемся к нашему «образцовому конституционному государству», к Бельгии.

В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы доказывали, что *«крупнейшим вассалом Леопольда является пауперизм»*. Мы показали, что, если *преступность* хотя бы только юношей и девушек моложе 18 лет будет естественно расти в такой же пропорции, как в 1845 — 1847 гг., то «в 1856 г. будет сидеть в тюрьме вся Бельгия, включая не родившихся еще детей». Вместе с тем мы показали, что в той же мере, в какой растут пауперизм и преступность, иссякают в Бельгии и ее индустриальные источники дохода («Новая рейнская газета», № 68).

Сегодня мы бросим взгляд на *финансовое* положение «образцового государства».

Обыкновенный бюджет 1848 г.	119 000 000 фр.
Первый принудительный заем	12 000 000 »
Второй принудительный заем	25 000 000 »
Банковские билеты с принудительным курсом . .	12 000 000 »
Итого	168 000 000 фр.
Сверх того, банковские билеты с принудительным курсом и государственной гарантией	40 000 000 »
Всего	208 000 000 фр.

Бельгия, — рассказывает нам Рожье, — стоит подобно скале, вокруг которой бушуют штормы мировой истории. Однако она остается спокойной. Она стоит на первозданных высотах своих широких учреждений. Указанные 208 миллионов представляют собою прозаическое выражение чудодейственной силы этих образцовых учреждений. Конституционная Бельгия гибнет не от революционного движения. Она позорно гибнет — от банкротства.

Либеральное бельгийское министерство, министерство Рожье, представляет собою, подобно всем либеральным министерствам, не

что иное, как министерство капиталистов, банкиров, богатой буржуазии. Мы сейчас увидим, каким образом это министерство, несмотря на рост пауперизма и на падение промышленности, не пренебрегает самыми утонченными средствами, чтобы неизменно эксплуатировать весь народ в пользу банковских баронов.

Второй заем, упомянутый в приведенной выше сводке, был вырван у палат, главным образом, благодаря заверению, что на вырученные суммы будут выкуплены *казначейские боны*. Эти боны были выпущены при католическом министерстве де-Тэ (De-Theux) католическим министром финансов Малу. Были они выпущены под добровольные займы, предоставленные государству некоторыми финансовыми баронами. Боны эти составляли главную неисчерпаемую тему того вопля и резких нападков, с которыми наш Рожье и его либеральная компания выступали против министерства де-Тэ.

Что же делает затем либеральное министерство? Оно объявляет в своем официальном вестнике, — Бельгия имеет свой официальный вестник, — о новом выпуске казначейских бонов из 5%.

Что за бесстыдство — выпустить казначейские боны после того, как выманили принудительный заем в 25 миллионов франков под предлогом выкупа столь охаянных казначейских бонов, выпущенных Малонем!

Но этого мало. Казначейские боны выпущены из 5%. Бельгийские бумаги, в том числе и гарантированные государством, дают 7 — 8%. Кто же, таким образом, вложит свои деньги в казначейские боны? Кроме того, благодаря общему положению страны и благодаря принудительным займам мало осталось таких людей, которые были бы в состоянии предоставлять государству добровольные ссуды.

Какова же цель этого нового выпуска казначейских бонов?

Банки могли пустить в обращение далеко еще не все билеты с принудительным курсом, на выпуск которых уполномочило их либеральное правительство. В их портфелях лежит еще на несколько миллионов таких бесполезных бумаг, которые ничего, понятно, не приносят, пока они остаются герметически закупоренными в этих портфелях. Есть ли лучшее средство пустить эти бумаги в ход, чем выменять их у государства на казначейские боны, приносящие 5%?

Банк получает таким образом 5% за несколько миллионов клочков бумаги, которые ему ничего не стоили и которые вообще имеют меновую стоимость лишь потому, что им дало таковую государство. В ближайшем бюджете налогоплательщая бельгийская чернь обнаружит увеличение дефицита на несколько сот тысяч франков, которые она должна будет покрыть — все ко благу бедного банка.

Нужно ли удивляться, что бельгийские финансовые бароны находят конституционную монархию более прибыльной, чем республику? Католическое министерство лелеяло и охраняло преимущественно священнейшие, т. е. материальные, интересы помещиков. Либеральное министерство с той же любовной заботливостью обслуживает интересы помещиков, финансовых баронов и придворных лакеев. Что же удивительного, если под искусной рукой министерства так называемые партии, которые с одинаковой алчностью набрасываются на национальное богатство, — а в Бельгии, собственно, на национальную бедность, — иногда вцепившись при этом друг другу в волосы, теперь, примиренные, бросились друг другу в объятия и образуют лишь одну единую великую партию, — «национальную партию»?

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В НЕМЕЦКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПРУССИЯ В ПОЛЬШЕ.

Кельн, 23 июля.

Мы получаем все новые и новые доказательства геройски-мужественного и «даже в преувеличенности своей прекрасного и возвышенного» патриотизма, с которым еврейско-немецкие дельцы пустили в ход последний польский разбой. Прославленные пацифистские и преобразовательные планы, созданные двусмысленными уступками берлинской революционной лихорадки, воспринятые в Познани немецкими чиновниками и евреями, внедренные картечью генерала Пфуля (von Höllestein — Адского камня), получили, наконец, правильное освещение и выявили свой истинный характер. Никто не будет считать простой случайностью необыкновенное совпадение событий в Познани, Кракове и Праге. Мы тем охотнее возвращаемся к этому благородному делу Пруссии, что свободная немецкая печать, в привычной своей национальной ливрее, дружным хором идет вслед за героями шрапнели и адского камня, чтобы на смертных полях Польши еще раз лягнуть ослиным копытом убитых.

«Свободолюбие» немцев известно. Великая нация мыслителей мысленно помогает в сражениях всюду, где возникает борьба: в Париже, в Италии в Греции

И в Турции далекой, где народы
Друг друга щедрой потчуют рукой

И в отношении польской трагедии она не раз проявляла чувство глубокой симпатии. Когда в 1831 г. ее сыны с героизмом палочной дрессировки избивали поляков, ее женщины щипали корпию для беглецов и изгнанников, а мужчины в тостах героически прославляли свободу, погибшую под штыками их собственных деспотов. Теперь же, когда от чувств симпатии переходят к возобновлению прежнего разбоя, злобствующий национализм не теряет ни одной возможности, чтобы похитить у поляков их «последнее достояние — уважение свободных народов». Снова всплывают старые еврейские сказки об отравлении колодцев и об убиении немцев, и полякам

систематически отрезают всякий путь для опровержения клеветы, взводимой на них победителями. Как видно из брошюры Косцельского, берлинские газеты — Фоссова, Шпенерская и «*Zeitungshalle*» — отказали в напечатании оправдательных заметок не только полякам, но и генералу Виллизену и другим. И во франкфуртском Национальном собрании, где из-за «целевых» банкетов в *Mainlust* пока еще не успели заняться положением раздавленной Польши, познанский вопрос с трогательной готовностью включается в порядок дня именно в тот самый день, когда польские уполномоченные для передачи новых документов просили отсрочить дебаты на одни сутки. Это было сделано нарочно для того, чтобы, согласно предложению кавалера Лихновского и вставшего в детство Арндта, не выслушать, даже в конце заседания, поляков, не имевших своих представителей в немецких национальных комиссиях. Такова справедливость, которую поляки встретили у своих немецких «братьев».

Вернемся пока к прусской реорганизации. Известно, что миссия первого комиссара по реорганизации, Виллизена, потерпела неудачу, столкнувшись со своеобразной военной диктатурой подчиненных ему генералов. Командующий генерал Коломб, удачные стратегические комбинации которого главным образом вызвали в Польше повторение галицийских убийств и подготовили путь генералу Пфулю (Адскому камню), — генерал Коломб дважды пытался публично оправдаться: первый раз в официальном сообщении, а второй раз — в «донесении о событиях», подписанном «майором генерального штаба» и им, по крайней мере, просмотренном и подтвержденном. Успех его первого выступления доказан необходимостью дать вторичное объяснение. Мы бы не остановились на этом объяснении, если бы оно не встретило возражения, весьма веского для Германии, столь любящей закономерность и порядок, — мы говорим об открытом возражении первого комиссара — *генерала Виллизена*.

Адъютанты генералов Коломба, Гиршфельда (Шрапнельного) и Пфуля (Адского камня) «вероятно» нашли весьма странным, что среди поляков господствовали симпатия и уважение к г-ну Виллизену, тогда как отеческие мероприятия их господ-начальников не встречали ни малейшей благодарности. Это дало повод «майору генерального штаба» заключить, что комиссар по реорганизации больше имел дела с поляками, чем с «войсками». Действительно, странный прием — общаться с «реорганизуемыми» поляками! Но что скажут господа адъютанты, когда они познакомятся с «планами», которые г-н Виллизен открыто доводил до сведения поляков?

«Я никогда не мог освободиться от мысли, — говорится в бро-

шюре Виллизена, — что наше господство в Познани основано исключительно на *силе*; это возлагает на нас великие обязанности..., но прежде всего мягкость. Секрет безграничного доверия, которым я пользовался среди поляков, заключается только в том, что за время моего девятилетнего пребывания среди них я никогда не скрывал от них моих взглядов, даже тогда, когда в нашем кругу это считалось *величайшей ересью*, даже во время решительной *германизации* в 1832 — 1840 годах. Я выражал сожаление по поводу заблуждений правительства».

Адъютанты и штабные офицеры всех армейских корпусов придут в негодование от этих слов. Офицер, «старший» офицер («что в смысле примера еще опаснее» — генерал Титцен), осмелился в течение девяти лет держаться иных взглядов, чем высшее начальство. Где же тут добровольная строгая дисциплина?

«Если, держась подобных взглядов, — продолжает Виллизен, — я взвешивал обстоятельства, вызвавшие подъем польского национального чувства, если я говорил себе, что этот подъем вызван *нашими собственными поступками*, триумфальным шествием народа вместе с польскими пленными в Берлине, что он вызван лозунгом, подхваченным всем цивилизованным миром: «Польша должна быть свободна, *старый грех* должен быть искуплен», — то как могло мне прийти в голову тотчас же по прибытии заговорить языком картечи?»

Владение Польшей есть «старый грех». Берлинская революция — «наше... народное дело»! И для генерала нет суда чести!

«Я первый вступил на путь взаимного понимания, и поляки облегчали мне этот путь *даже тогда*, когда впервые *зашла речь о разделе страны*, — они не хотели только одного, чтобы линию раздела проводила рука немецкого чиновника».

Когда впоследствии «разделительная черта» стягивалась все уже и уже, по мере того как померанские и шлезвигские войска занимали «умиротворенную» страну, эти же немецкие чиновники подтверждали законность каждого нового грабежа фальшивыми докладами о «преобладании немецкого населения», чем и оправдали первые справедливые подозрения поляков. Эти ложные сведения о соотношении населения и теперь составляют последний довод, на который опираются немецкие националисты-фанатики, странным образом причисляющие к себе и евреев, по происхождению не имеющих ничего общего с немцами и даже не говорящих ни на одном немецком наречии. Г-н Виллизен подтверждает также сведения, доставленные архиепископом гневненским и познанским, в которых говорится,

что не половина, а всего только одна шестая часть населения герцогства состоит из немцев. Способ, которым эта малая часть немцев была внедрена в Польшу, поясняется в министерском указе от 13 марта 1833 г., согласно которому польские имения продавались исключительно покупателям-*немцам* мелкими участками. Фиск, назначавший расценку, передавал польские земли немцам, пришедшим из других провинций, часто освобождая их от платы и предоставляя им даже оборотный капитал, будучи уверен, что стоимость имений выше расценки. Спекулянты и охотники до легкой наживы, приехавшие в Польшу без всякого капитала, составили основное ядро немецко-еврейского населения, которое в Германии привлекает теперь симпатии лавочников и кулаков.

«Путем взаимного понимания, — говорит Виллизен, — я бы скоро дошел до согласования резко-противоположных интересов, если бы вследствие стратегической ошибки, против которой я с самого начала энергично протестовал, Познань, вместо Бреславля, имеющего в десять раз большее значение, не была назначена главным укрепленным пунктом этой части нашей границы. Стратегически ошибочная постройка громадной крепости, в связи с резкой и быстрой германизацией, привела к тому, что теперь в Познани немцы и евреи составляют преобладающее население».

Генерал Виллизен с самого начала сделал только ту одну ошибку, что принял всерьез обещанную национальную реорганизацию Польши. Это обещание было вырвано страхом и бессилием во время мартовской революции, и его собственная «посредническая» роль в Польше во время переходного министерства Кампгаузена была, сама по себе, только «переходом» к «настоящему пацификатору», генералу Пффулю (Адскому камню), подобно индейскому вождю, считающему свои триумфы по числу скальпов побежденных врагов.

Этим можно объяснить и то, что Виллизену, по его собственным словам, приходилось постоянно бороться со взглядами «некоторых *руководящих* лиц и главным образом штабных офицеров», что соглашение комиссара с поляками, выполненное последними, было тотчас же нарушено пруссаками-военными и что генерал Коломб, без всякого вызова со стороны поляков, пять раз нарушал прямой приказ не нападать на них.

Г-н Виллизен отвечает на упреки реакции, что, согласно конвенции, он согласился на создание польских военных кадров, первоначально предназначавшихся против русских: «На-ряду со *свободной печатью* формирование в Великом герцогстве Познанском нескольких польских батальонов с прусско-польскими кокардами едва

ли оказало бы очень большое влияние на то, что задумано Россией против европейской *революции*. С тех пор г. Виллизену больше не приходится защищать утвержденную министерством конвенцию. Генеральный штаб генерала Коломба следующими словами выразил причину прусского военного террора в Познани: «Конвенция, утвержденная одним лишь министерством, а не непосредственно королем, не могла *вступить в силу*».

В этом весь смысл польских событий.

Прусская военщина бушевала в Познани «à l'honneur du roi» (в честь короля). Поляки падали под ударами штыков и картечи ее умиротворителей, как жертвы, принесенные в отпущение за успехи революции. Пожары сожженных деревень были зарей, осветившей вновь восстановленный трон самодержавного короля. Разрытые могилы, разграбленные церкви, поля смерти целой нации, погубленной систематическим предательством, — таковы трофеи «и в превеличии своем столь прекрасного и возвышенного» «божьей милостью» порядка. «Noppu soit qui mal у pense» (Позор тому, кто об этом скверно подумает).

Пусть Ганземан канцелярским признанием революции успокаивает берлинских соглашателей, чьи речи тоскливо текут, «как дождевые капли из железных желобов». Пока герои польской реорганизации еще могут свободно расхаживать, революция не может считать себя законченной.

ПРЕНИЯ ПО ПОЛЬСКОМУ ВОПРОСУ ВО ФРАНКФУРТЕ.

I.

Кельн, 7 августа.

Франкфуртское собрание, в котором прения никогда, даже в моменты сильнейшего возбуждения, не теряли характера истинно-немецкого благодушия, при обсуждении познанского вопроса, наконец-то, с трудом расшевелились.

В этом именно пункте, где прусская шрапнель и послушные решения Союзного сейма подготовили ему почву, ему приходилось принять окончательное решение. Тут всякий компромисс исключался заранее. Собрание должно было спасти честь Германии или еще раз покрыть ее позором. Собрание оправдало наши худшие предвидения. Оно санкционировало семь разделов Польши, оно переложило с плеч германских князей на свои собственные плечи позор 1772, 1794 и 1815 годов.

Больше того! Франкфуртское собрание объявило все эти семь разделов Польши семью оказанными ей благодеяниями. В самом деле, разве насильственное вторжение еврейско-германской расы не вознесло Польшу на такую высоту культуры, на такую ступень знания, о которых эта страна раньше даже и не мечтала? Ослепленные, неблагодарные поляки! Если бы вас не поделили, вы сами должны были бы добиваться этой милости от Франкфуртского собрания!

Пастор Бонавита Бланк в монастыре Парадиз под Шафгаузеном приручил скворцов и сорок. Он вырезал у них нижнюю половину клюва, так что они не могли больше сами добывать себе пищу и принуждены были получать корм из рук пастора. Филистеры, издали следившие за тем, как птицы прилетали и садились на плечи достопочтенному пастору и доверчиво ели из его рук, дивились его высокой культурности и просвещенности. Птицы, рассказывает биограф пастора, любили его, как своего благодетеля.

А скованные, изувеченные, обесцещенные поляки не хотят любить своих прусских благодетелей!

Мы не можем лучше изобразить благодеяния, оказанные пруссачеством полякам, как подвергнув разбору положенный в основу прений отчет комиссии по вопросам международного права, принадлежащий перу ученого историографа Штенцеля.

Отчет этот, совершенно в стиле самых трафаретных дипломатических документов, излагает прежде всего историю возникновения великого герцогства Познанского в 1815 г. путем «инкорпорирования» и «объединения». Затем следует перечень обещаний, данных Фридрихом-Вильгельмом познанцам: сохранение их национальности, языка и религии, назначение штатгальтера из местных жителей, распространение на познанцев действия знаменитой прусской конституции.

Всем известно, что было выполнено из всех этих обещаний. Свобода сообщения между тремя частями Польши, на которую Венский конгресс тем спокойнее дал согласие, чем неосуществимее она была, разумеется, никогда не была проведена в жизнь.

Дальше следует вопрос о составе населения. Штенцель вычислил, что в 1843 г. в великом герцогстве Познанском было 790 000 поляков, 420 000 немцев и около 80 000 евреев, всего около 1 300 000 жителей. Утверждению г. Штенцеля противоречат утверждения поляков, в частности епископа Пшилуцкого, согласно которым в Познани проживает значительно больше 800 000 поляков, тогда как немцев, за вычетом евреев, чиновников и солдат, едва 250 000 человек.

Но согласимся с утверждением г. Штенцеля. Для наших целей его совершенно достаточно. Чтобы устранить всякие дальнейшие пререкания, допустим, что в Познани проживает 420 000 немцев. Кто же такие эти немцы, число которых, благодаря включению евреев, доведено до полумиллиона?

Славяне являются преимущественно земледельческим народом, мало приспособленным для занятия городскими промыслами, насколько последние были вообще возможны до сих пор в славянских странах. Торговый оборот в его примитивных, грубейших формах, когда он носил еще характер мелочной торговли, всецело предоставлен был евреям, торгующим в разнос. Когда население возросло в числе и культура его повысилась, когда почувствовалась потребность в городских промыслах и в создании городских центров, немцы потянулись в славянские страны. Немцы, достигшие наивысшего расцвета в мелком бюргерстве средневековых имперских городов, в вялой караванно-обозной торговле, в ограниченной морской торговле, в цеховом ремесле XIV и XV веков, — эти немцы обнаружили свое призвание быть мещанами мировой истории именно тем, что по

сегодняшний день составляют ядро мещанства во всей восточной и северной Европе и даже в Америке. В Петербурге, Москве, Варшаве и Кракове, в Стокгольме и Копенгагене, в Пеште, Одессе и Яссах, в Нью-Йорке и Филадельфии ремесленники, торговцы и мелкие посредники в значительной, часто преобладающей части состоят из немцев или лиц немецкого происхождения. Во всех этих городах имеются кварталы, где говорят исключительно по-немецки, а некоторые города, как Пешт, являются почти сплошь немецкими.

Эта немецкая иммиграция, особенно в славянские страны, начиная от XII и XIII столетий шла почти непрерывно. Кроме того, со времен реформации, благодаря гонениям на секты, время от времени целые массы немцев вынуждены были эмигрировать в Польшу, где их принимали с распростертыми объятиями. В других славянских странах, в Богемии, Моравии и т. д., славянское население подверглось истреблению благодаря завоевательным войнам немцев, а немецкое население, напротив, вследствие вторжения увеличилось.

Как раз в Польше положение дела особенно ясно. Немецкие мещане, осевшие там сотни лет тому назад, столь же мало политически ориентируются на Германию, как немцы в Америке или как «французская колония» в Берлине или 15 000 французов в Монтевидео — на Францию. Насколько это возможно было в XVII и XVIII столетиях, в эту эпоху децентрализации, они стали поляками, по-немецки говорящими поляками, и давно уже совершенно отказались от всякой связи с родиной.

Но ведь они принесли в Польшу свою культуру, образование и знания, торговлю и промыслы! Действительно, они принесли с собой мелкую торговлю и цеховое ремесло; своим потреблением и ограниченным оборотом они до некоторой степени, без сомнения, подняли производство. О сколько-нибудь высоком просвещении и о науке что-то не слышно было до 1772 г. во всей Польше, а с того времени в австрийской и русской Польше. О прусской Польше мы поговорим еще подробнее. Зато немцы помешали созданию в Польше польских городов и польской буржуазии. Своим особенным языком, своей отчужденностью от польского населения, тысячью своих различных привилегий и городских статуты они затруднили осуществление централизации, этого могущественнейшего политического средства быстрого развития всякой страны. Почти у каждого города было свое особенное право; больше того, в каждом городе со смешанным населением существовало и часто еще продолжает существовать различное право для немцев, для поляков и для евреев. Польские немцы застряли на самых низших второстепенных ступенях промы-

шленности, они не собрали в своих руках крупных капиталов, не сумели приспособиться к крупной промышленности и не овладели расширившимися торговыми связями. Чтобы промышленность могла пустить корни в Польше, должен был раньше явиться в Варшаву англичанин Кокерилль. Мелочная торговля, ремесло и, самое большее, хлебная торговля и мануфактура (ткачество и т. п.) в самом ограниченном масштабе — вот к чему сводилась вся деятельность польских немцев. При оценке заслуг польских немцев не следует также упускать из виду, что они принесли с собой в Польшу немецкое феиистерство и немецкую мещанскую ограниченность и что они сочетали в себе дурные особенности обеих наций, не усвоив хороших.

Г-н Штенцель пытается оживить симпатии немцев к польским немцам: «Когда короли..., преимущественно в XVII веке, становились все бессильнее и не могли уже защитить даже местных польских крестьян от самого жестокого угнетения со стороны дворянства, тогда и немецкие деревни и города пришли тоже в упадок, и многие из них сделались собственностью дворянства. Только более крупные королевские города спасли часть своих старых вольностей» (читай: привилегий).

Уж не требует ли г. Штенцель, чтобы поляки лучше защищали (впрочем, тоже «туземных») «немцев» (читай: польских немцев), чем самих себя? Само собой понятно, однако, что иммигрировавшие в какую-нибудь страну чужеземцы ничего больше не могут требовать, как делить радость и горе с исконным населением!

Перейдем теперь к тем благодеяниям, которыми поляки обязаны специально прусскому правительству.

В 1772 г. Нетцский округ был захвачен Фридрихом II, а в следующем году был проведен Бромбергский канал, который установил судоходное сообщение между Одером и Вислой. «Местности, которые в течение столетий были спорными между Польшей и Померанией и которые неоднократно становились необитаемыми вследствие бесчисленных опустошений и огромных болот, ныне подверглись обработке и заселились многочисленными колонистами».

Таким образом, первый раздел Польши вовсе не был грабежом. Фридрих II овладел лишь областью, «в течение веков бывшей спорной». Но с каких это пор не существует больше самостоятельной Померании, могущей претендовать на эту спорную область? И сколько столетий уже область эта не является спорной для поляков? И что вообще нам делать с этой заржавелой и обветшалой теорией «спорности» и «притязаний», которая годилась в XVII и XVIII веках,

чтобы прикрывать оголенность стремлений к расширению торговли и округлению земель, но которая никуда не годится в 1848 г., когда вырвана почва из-под всякой исторической справедливости и несправедливости?

Впрочем, г. Штенцель должен был бы сообразить, что согласно этой давным давно сданной в архив доктрине рейнская граница в течение целых столетий является спорной между Францией и Германией, а поляки могли бы и сейчас претендовать на ленное господство над Прусской провинцией и даже Померанией!

Довольно. Нетцкий округ стал прусским и таким образом перестал быть «спорным». Фридрих II колонизовал эту область немцами, и таким образом возникли столь прославившиеся в связи с познанским делом «нетцские братья». Германизация в целях государственных началась с 1773 г.

«Евреи в великом герцогстве, по всем заслуживающим доверия данным, — совершенные немцы и желают быть немцами... Религиозная терпимость, царившая некогда в Польше, а также и многие национальные качества евреев, которых недоставало полякам, дали евреям возможность развить в течение столетий широкий круг деятельности, глубоко проникающей в жизнь Польши (и особенно в кошельки поляков). По общему правилу, они владеют обоими языками, хотя в семейном кругу, как и дети их с ранних лет, говорят по-немецки».

Неожиданные симпатии и признание, которые снискали себе в последнее время евреи в Германии, получили здесь свое официальное выражение. Обесславленные всюду, куда только достигает влияние лейпцигской ярмарки, как полнейшее воплощение барышничества, скряжничества и грязи, они сделались вдруг немецкими братьями; честный Михель прижимает их со слезами благоволения к своему сердцу, а г. Штенцель претендует на них от имени германской нации как на немцев, которые и желают оставаться немцами.

И почему бы польским евреям не быть истинными немцами? Разве они не говорят «в своем семейном кругу, как и дети их с ранних лет», на немецком языке? И вдобавок еще на каком немецком! Обращаем, однако, внимание г. Штенцеля на то, что он мог бы таким манером претендовать на всю Европу и половину Америки и даже на часть Азии. Немецкий язык, как известно, является всемирным языком еврейства. В Нью-Йорке, как и в Константинополе, в Петербурге, как и в Париже, «евреи в своем семейном кругу, а также еврейские дети с ранних лет, говорят по-немецки», и отчасти на еще более классическом немецком языке, чем «соплеменники» «нетцских

братьев» — познанские евреи. Отчет развивает дальше свои соображения, стремясь изобразить национальные взаимоотношения как можно более неопределенно и, по возможности, в выгодном свете для мнимого полумиллиона немцев, состоящего из польских немцев, «нетцских братьев» и евреев. Размеры крестьянской поземельной собственности немцев будто бы больше, нежели польских крестьян (мы увидим, верно ли это). Со времени первого раздела Польши ненависть между поляками и немцами, — собственно, пруссаками, — будто бы страшно возросла. «Введением своих особенно твердо урегулированных государственных и административных узаконений (каков немецкий язык!) и строгим их применением Пруссия особенно нарушила старое чувство справедливости и исконные учреждения поляков».

Сколь сильно эти «твердо урегулированные» и «строго применяемые» мероприятия достославной прусской бюрократии «нарушили» не только старые обычаи и исконные учреждения, но и всю общественную жизнь, промышленное и сельско-хозяйственное производство, торговый оборот, горное дело, — короче, все без исключения общественные отношения, — об этом могли бы порассказать удивительные вещи не только поляки, но и прочие пруссаки, и в особенности мы, рейнцы. Но г. Штенцель говорит тут даже не о бюрократии 1807 — 1848 гг., а о бюрократии 1772 — 1806 гг., о чиновниках самого специфического, заядлого пруссачества, подлость, подкупность, алчность и жестокость которых блестяще выступили наружу в предательствах 1806 г. Эти-то чиновники защищали польских крестьян против дворянства и пожали чистую неблагодарность; конечно, эти чиновники должны были почувствовать, «что ничто, даже навязываемое добро, не вознаграждает за потерю национальной независимости».

Мы также знакомы с привычкой, которая даже в последние годы присуща была прусским чиновникам, «все давать и навязывать». Где тот рейнский житель, который не имел дела со свежемпортрованными старо-прусскими чиновниками, который не имел случая дивиться этому несравненному кичливому всезнайству, этой бесстыдной манере всюду совать свой нос, этому сочетанию ограниченности и непогрешимой самоуверенности, этой аподиктической грубости! У нас, разумеется, господа старо-пруссаки большей частью скоро сглаживали свои самые острые углы; в их распоряжении не было ни «нетцских братьев», ни тайной инквизиции, ни земского права, ни палок для порки. Из-за отсутствия последних кое-кто даже скончался от печали. Но о том, как они хозяйничали именно в Польше, где могли, сколько душе угодно, бить батогами и

заниматься тайной инквизицией, — об этом нам не приходится распространяться.

Довольно. Прусский деспотизм сумел снискать себе такую любовь, что «уже после иенской битвы ненависть поляков проявилась в форме всеобщего восстания и изгнания прусских чиновников». Тем самым на время прекратилось хозяйничанье чиновников.

Но в 1815 г. это хозяйничанье чиновников снова вернулось в несколько измененном облики. «Реформированное», «образованное», «неподкупное», «лучшее» чиновничество попыталось свое счастье у этих строптивых поляков.

«Но и с созданием великого герцогства Познанского не удалось установить доброго согласия, так как прусский король не мог тогда пойти на то, чтобы организовать отдельную, совершенно самостоятельную провинцию и превратить свое государство до известной степени в союзное государство». Итак, прусский король, по словам г. Штенцеля, «не мог тогда пойти» на выполнение собственных обещаний и венских трактатов!

«Когда в 1830 г. сочувствие польского шляхетства восстанию в Варшаве возбудило опасения властей и последние с того времени планомерно стали работать над тем, чтобы путем проведения многих удачных мероприятий (!), а именно путем скупки, раздробления и раздела польских поместий между немцами понемногу совершенно оттеснить и уничтожить польское дворянство, — ненависть последнего к Пруссии особенно возросла». «Путем проведения многих удачных мероприятий!» Путем запрещения продавать полякам подлежащие продаже с молотка имения и другими подобными мероприятиями, которые г. Штенцель покрывает плащом любви.

Что сказали бы рейнские жители, если бы прусское правительство и у нас также запретило покупать рейнским жителям проданные по суду имения! Предлоги для этого нашлись бы без труда: желание слить воедино население старых и новых провинций, желательность распространения на уроженцев старых провинций благоприятнейшей парцелляции и рейнского законодательства; стремление предоставить жителям Рейнской области возможность путем иммиграции внедрить свою промышленность и в старых провинциях и т. д. Словом, мало ли оснований, чтобы осчастливить и нас также прусскими «колонистами»! Как смотрели бы мы на часть населения, которая приобретала бы за устранением конкуренции наши земли за бесценок и притом получала бы для этого поддержку со стороны государства, — на часть населения, которая была бы призвана исклю-

чительно с той целью, чтобы привить нам телячий восторг перед лозунгом «с богом за короля и отечество!»

А ведь мы все-таки еще немцы, мы говорим на том же самом языке, что и старые провинции. В Познани же эти колонисты систематически с неумолимой планомерностью посылались в лесные домены, в парцелированные польские дворянские поместья, чтобы вытеснить природных поляков с их языком из их собственной страны и создать истинно-прусскую провинцию, которая должна была превзойти в своем черно-белом фанатизме даже Померанию.

А для того, чтобы прусские крестьяне в Польше не остались без естественных начальников, им вслед послали цвет прусского дворянства, вроде Трескова, Люттихау и т. п., которые точно так же приобретали там дворянские поместья по смехотворным ценам, да еще на казенные ссуды. Больше того: после польского восстания 1846 г. в Берлине образовалась под покровительством высоких, высших и высочайших персон целая акционерная компания с целью скупки польских имений для немецких дворян. Голодные обжоры из среды бранденбургского и померанского дворянства предвидели, что процесс восставших поляков разорит множество польских помещиков и что их имения вскоре пустят в продажу за бесценок. Какая неожиданная нажива для столь многих тонущих в долгах бранденбургских Дон-Ранудо! Прекрасное поместье почти даром, польские крестьяне для порки и сверх того почет за то, что посвятил себя службе королю и отечеству, — какая блестящая перспектива!

Так возникло третье немецкое переселение в Польшу: прусские крестьяне и прусские дворяне, осевшие повсеместно в Познани, поддерживаемые правительством, пришли с явной целью не только германизировать, но и померанизировать Познань. Если у польско-немецких бюргеров было то оправдание, что они кое-что принесли для поднятия торговли, если «нетцские братья» могли похвалиться тем, что обработали несколько болот, то для последнего прусского вторжения не было никакого повода.

Они даже не провели последовательно парцелляцию; прусское дворянство следовало по пятам за прусскими крестьянами.

II.

Кельн, 11 августа.

В первой статье мы подвергли разбору «историческое обоснование» доклада г. Штенцеля, поскольку он останавливался на положении Познани до революции. Сегодня мы переходим к его истории революции и контр-революции в Познани.

«Германский народ, всегда исполненный участия ко всякому несчастному (пока это участие ничего не стоит), всегда глубоко чувствовал несправедливость, которую его государи чинили против Польши». Конечно, «глубоко чувствовал» в тихом немецком сердце, где чувства спрятаны так глубоко, что никогда не проявляются в действиях! Конечно, «участие» в виде кое-каких подаваний в 1831 г., банкетов и польских балов, поскольку дело сводилось к тому, чтобы поплясать на благо Польши, пить шампанское и петь: «Еще Польша не гинела!» Но сделать что-нибудь действительно серьезное, действительно принести какую-нибудь жертву, — когда же это считалось немецким делом!

«Немцы чистосердечно протянули братскую руку, чтобы искупить все, что сделали раньше их государи».

Разумеется, если бы чувствительные фразы и вялая болтовня могли что-нибудь «искупить», ни один народ не был бы столь чист перед историей, как именно немцы.

«В тот самый момент, когда поляки пошли навстречу немцам (взяли протянутую им братскую руку), интересы и цели обеих наций уже разошлись. Поляки думали только о восстановлении их старого государства, по крайней мере в границах первого раздела 1772 года».

Воистину, лишь безыдейный, беспредметный энтузиазм, искони бывший главным украшением немецкого национального характера, мог привести к тому, что немцы были огорошены требованием поляков! Немцы хотели «искупить» несправедливость, причиненную Польше. С чего началась эта несправедливость? Не говоря о прежних предательствах, во всяком случае с первого раздела Польши в

1772 г. Как это можно было «искупить»? Только восстановлением status quo до 1772 г. или, по крайней мере, возвращением Польше всего того, что немцы награбили у поляков после 1772 г. Но этому противоречили интересы Германии? Хорошо, если мы говорим об интересах, то не может уже быть и речи о сантиментальностях вроде «искуплений» и т. п.; тогда уже говорите языком холодной, бесстрастной практики и избавьте нас от застольных фраз и великодушных чувств.

Конечно, поляки сначала вовсе не «думали» только о восстановлении Польши в границах 1772 г. Вообще нам мало дела до того, о чем «думали» поляки. Они требовали вначале лишь реорганизации всей Познани и заговаривали о дальнейших возможностях лишь на случай германско-польской войны с Россией.

Во-вторых, «интересы и цели обеих наций разнились» лишь постольку, поскольку «интересы и цели» революционной Германии в международных отношениях остались те же, что и в старой абсолютистской Германии. Раз русский союз, во всяком случае мир с Россией во что бы то ни стало, остается «интересом и целью» Германии, и в Польше, разумеется, все должно оставаться по-старому. Но мы дальше увидим, насколько *действительные* интересы Германии тождественны с интересами Польши.

Далее следует пространный, запутанный и непонятный пассаж, в котором г. Штенцель распространяется о том, как правы были польские немцы, когда они, *хотя* и воздавали справедливость Польше, *но в то же время* хотели оставаться пруссаками и немцами. Что это «хотя» исключало «в то же время», а «в то же время» исключало «хотя», что одно делало невозможным другое, — до этого г. Штенцелю, разумеется, нет никакого дела.

Сюда присоединяется столь же пространное и запутанное историческое повествование, в котором г. Штенцель пытается доказать во всех подробностях, что при наличии «расходящихся интересов и целей обеих наций» и все усиливающимся взаимном ожесточении было неизбежно кровавое столкновение. Немцы крепко держались за «национальный» интерес, поляки за чисто «территориальный», — это означает, что немцы требовали раздела герцогства по национальностям, поляки домогались всей старой области для себя.

Это опять-таки неверно: поляки требовали реорганизации, но тут же заявляли, что они совершенно согласны на уступку тех смешанных пограничных округов, где большинство населения немецкое и желает присоединиться к Германии. Не следует только по произволу прусских чиновников превращать жителей в немцев

или поляков, а дать им возможность выявить собственную волю.

Миссия Виллизена, — продолжает г. Штенцель, — должна была, естественно, потерпеть неудачу вследствие (предполагаемого, но не существующего) противодействия поляков *уступке* округов с преобладающим немецким населением. В распоряжении г. Штенцеля имелись объяснения Виллизена о поляках и поляков о Виллизене. Эти отпечатанные объяснения доказывают обратное. Но что в том, когда, — как говорит г. Штенцель, — «являешься человеком, который в течение многих лет занимается историей и вменил себе в обязанность не говорить ничего неверного и не скрывать ничего истинного»?

С тою же правдивостью, которая всегда скрывает правду, г. Штенцель легко проходит мимо разгула каннибализма в Познани, мимо оскорбительного вероломства Ярославичского соглашения, мимо резни в Чамадно, Милославе и Врешене, мимо опустошительного неистовства военщины, достойного Тридцатилетней войны, не упоминая обо всем этом ни одним словом.

Г-н Штенцель переходит тут к четырем новым разделам Польши, совершенным прусским правительством. Сначала был оторван Нетцский округ вместе с четырьмя другими округами (14 апреля), к этому прибавили еще некоторые части других округов с общим количеством населения в 593 390 чел. и включили всю эту область в германский союз (22 апреля). Затем захватили город и крепость Познань вместе с остатком левого берега Варты, — опять, стало быть, 273 500 душ, т. е. вместе с прежними вдвое больше, чем даже по прусским данным проживает немцев по всей Познани. Это сделано было по именному указу от 29 апреля, а уж 2 мая последовало принятие в германский союз. Г-н Штенцель горестно повествует собранию, насколько необходимо, чтобы в немецких руках осталась Познань, эта важная, могущественная крепость, в которой проживает свыше 20 000 немцев (из коих большинство — польские евреи), которым принадлежат две трети всей земельной собственности и т. д. То обстоятельство, что Познань лежит посреди чисто польской страны, что она была насильственно германизирована и что польские евреи вовсе не являются немцами, — все это в высшей степени безразлично для людей, которые «никогда не сообщают неправды» и «никогда не замалчивают истины», сиречь для историков калибра господина Штенцеля!

Довольно. По военным основаниям нельзя было выпустить из рук Познань. Как будто нельзя было бы срыть эту крепость, которая, по словам Виллизена, является одним из величайших страте-

гических промахов, а вместо того укрепить Бреславль. Но на укрепление Познани ухлопали десять миллионов (между прочим, опять неверно, — едва пять миллионов), и, понятно, выгоднее удержать крепость в своих руках, а заодно от 20 до 30 квадратных миль польской земли.

Но если уж владеешь «городом и крепостью» Познанью, то, само собой разумеется, представляется самая непринужденная возможность захватить еще больше. «Но чтобы удерживать за собой крепость, неизбежно придется обеспечить ей подступы со стороны Глогау, Кюстрина и Торна, равно как и район к востоку (которому вполне достаточно было бы простираться лишь на 1 000 — 2 000 шагов, как крепостному району Маастрихта по направлению к Бельгии и Лимбургу). Тем самым, — продолжает дальше с ужимками г. Штенцель, — будет закреплена ненарушимость обладания Бромбергским каналом, и многочисленные полосы земли с преобладающим польским населением будут включены в германский союз».

Но, исходя из этих именно оснований, известный друг человечества Пфюль-Адский камень предпринял два новых раздела Польши, которые, собственно, удовлетворяют всем желаниям г. Штенцеля и присоединяют три четверти всего великого герцогства к Германии. Г-н Штенцель признает этот поступок с тем большей благодарностью, что он, как историк, должен был явно увидеть на примере этого деяния, — которое дает основания ожидать в будущем возобновления чего-то вроде палат воссоединения Людовика XIV, — как немцы научились извлекать пользу из уроков истории.

Поляки, — думает г. Штенцель, — должны утешаться тем, что их доля земель плодороднее, чем в инкорпорированной области, что размеры их земельной собственности гораздо меньше, чем у немцев, и что «ни один беспристрастный человек не станет отрицать, что польский земледелец будет гораздо более сносно чувствовать себя под властью германского правительства, нежели под властью польского правительства!» Этому история дает знаменательные примеры.

В заключение г. Штенцель взывает к полякам, убеждая их в том, что и того клочка земли, что остался у них, будет им достаточно, чтобы путем упражнения во всех гражданских добродетелях «достойно» подготовиться к тому моменту, который теперь еще скрывает от них будущее и который они, весьма простительным образом, быть может, слишком бурно, пытаются вызвать. Есть корона, — выразился весьма удачно один из самых умных их сограждан, — которая также достойна возбудить ваше честолюбие, это — корона

гражданина! Немец должен присовокупить: «она не блестит, но зато прочнее».

«Она прочна»! Но еще «прочнее» действительные основы возобновленных четырех разделов Польши, совершенных прусским правительством.

Немецкий простак! Ты думаешь, что эти разделы предприняты для спасения твоих немецких братьев от польского господства? Чтобы в крепости Познани создать для твоей защиты оплот против всякого нападения? Чтобы охранить дороги Кюстрина, Глогау и Бромберга или Нетцкий канал? Какое заблуждение!

Тебя позорно провели. Новые разделы Польши были совершены только затем, чтобы наполнить кассы прусского государства.

Первые разделы Польши до 1815 г. были грабежом земли вооруженной рукой; разделы 1848 г., это — воровство.

А теперь посмотри, немецкий простак, как тебя обманули!

После третьего раздела Польши Фридрих-Вильгельм II конфисковал для блага государства польские староства и принадлежащие католическому духовенству имения. Именно церковные имения составляли «весьма значительную часть всей земельной собственности», как говорится в самой декларации о конфискации владений от 28 марта 1796 г. Эти новые домены управлялись или сдавались в аренду за королевский счет и настолько расширились, что для управления ими должны были быть учреждены 34 окружных управления государственными имуществами и 21 главное лесничество. К каждому такому окружному управлению государственными имуществами принадлежало множество деревень; например, к 10 управлениям Бромбергского правительственного округа принадлежало в общем 636 деревень, а к одному только окружному управлению Могильно — 127 деревень.

Кроме того, в 1796 г. Фридрих-Вильгельм II конфисковал имения и леса женского монастыря в Овинске и продал купцу фон-Трескову (предку Трескова — храброго прусского предводителя партизанских отрядов в последнюю геройскую войну); эти имения состояли из 24 деревень вместе с мельницами и 20 000 моргенов леса стоимостью по меньшей мере в миллион талеров.

Затем в 1819 г. округа Кротошин, Роздражево, Орпишево и Альденау, стоимостью по меньшей мере в два миллиона талеров, были уступлены князю Турн-и-Таксису в возмещение почтовой регалии во многих присоединенных к Пруссии провинциях.

Все эти имения были захвачены Фридрихом-Вильгельмом II под предлогом лучшего управления ими; несмотря, однако, на это,

поместья эти, собственность польской нации, были раздарены, уступлены, распроданы, и вырученные деньги потекли в прусскую государственную кассу. Округа Гнезен, Скорженцин, Чамадзно были раздроблены и отчуждены.

В руках прусского правительства остаются еще 27 округов государственных имуществ и главных лесничеств, — капитал, ценностью по меньшей мере в двадцать миллионов талеров. Мы готовы показать с картой в руках, что эти имения и леса все вместе — за немногими или даже без всяких исключений — находятся в инкорпорированной части Познани. Чтобы спасти это богатое сокровище от возможного возвращения его польской нации, необходимо было включить его в германский союз; так как оно само не могло прийти к германскому союзу, то последний должен был пойти к богатому сокровищу, — и три четверти Познани были инкорпорированы.

Таково действительное основание четырех знаменитых разделов Польши на протяжении двух месяцев. Решающее значение имели не требования той или иной национальности и вовсе не стратегические соображения: расположение доменов, алчность прусского правительства одни определили пограничную линию.

В то самое время как германские бюргеры проливали кровавые слезы по поводу вымышленных страданий их братьев в Познани; в то время как они тревожились за целость и безопасность немецкой восточной марки, в то время как они позволяли ожесточать себя против поляков вымышленными сообщениями о польском варварстве, — прусское правительство, действуя втихомолку, обделало свое дельце. Беспочвенный и бесцельный немецкий энтузиазм пригодился лишь на то, чтобы прикрыть самое грязное деяние новой истории.

Вот какую штуку, немецкий простак, сыграли с тобой твои ответственные министры!

Но, в сущности, ты мог бы знать это наперед. Там, где принимает участие г. Ганземан, дело никогда не идет о немецкой национальности, военной необходимости и тому подобных пустых фраз, но постоянно о платежах чистоганом и барышах.

III.

Кельн, 19 августа.

Мы подвергли разбору во всех подробностях доклад г. Штенцеля, легший в основу дебатов. Мы показали, как он фальсифицирует и раннюю, и более позднюю историю Польши и историю немцев в Польше; как он извращает весь вопрос; как историк Штенцель допустил не только умышленную подтасовку, но и грубое невежество.

Прежде чем перейти к самим дебатам, бросим еще один взгляд на польский вопрос.

Познанский вопрос, взятый отдельно, лишен всякого смысла, всякой возможности разрешения. Он лишь фрагмент польского вопроса и может быть решен лишь как часть этого вопроса и вместе с ним. Граница между Германией и Польшей может быть установлена лишь тогда, когда Польша будет снова существовать.

Но может ли, будет ли Польша снова существовать? В прениях это отрицалось.

Какой-то французский историк сказал: *il y a des peuples nécessaires*: существуют необходимые народы. К этим необходимым народам в XIX веке безусловно принадлежит польский народ.

Национальное существование Польши ни для кого, однако, не представляет большей необходимости, чем именно для нас, немцев.

На чем зиждется прежде всего сила реакции в Европе с 1815 г., отчасти даже со времени первой французской революции? На русско-прусско-австрийском Священном союзе. А что объединяет его? Раздел Польши, из которого все три союзника извлекают пользу.

Трещина, которую все три державы провели через Польшу, является цепью, приковывающей их друг к другу; совместный грабеж связал их узлами солидарности.

С того момента, как совершен был первый грабеж Польши, Германия попала в зависимость от России. Россия приказала Пруссии и Австрии оставаться абсолютными монархиями, и Пруссия и Австрия должны были повиноваться. И без того вялые и робкие стремления, особенно прусской буржуазии, завоевать себе господство

разбились совершенно о невозможность развязаться с Россией, о поддержку, которую Россия предоставила феодально-абсолютистскому классу в Пруссии.

К этому присоединилось то обстоятельство, что, со времени первых же попыток угнетения Польши союзниками, поляки не только повстанчески боролись за свою независимость, но одновременно выступали революционно против собственных общественных порядков.

Раздел Польши осуществился благодаря союзу крупной феодальной аристократии в Польше с тремя державами, принимавшими участие в разделе. Он вовсе не был прогрессом, как утверждает экспозе Иордан, а был последним средством для высшей аристократии спасти себя от революции, он был поэтому насквозь реакционным.

Последствием уже первого раздела Польши был совершенно естественный союз остальных классов, т. е. шляхты, бюргерства городов и частью крестьянства как против угнетателей Польши, так и против крупной аристократии родной страны. Насколько ясно поляки уже тогда понимали, что их независимость вовне неотделима от свержения аристократии и от аграрных реформ внутри страны, показывает конституция 1791 г.

Великие земледельческие страны между Балтийским и Черным морями могут спасти себя от патриархально-феодального варварства лишь путем аграрной революции, которая превратила бы крепостных или тяглых крестьян в свободных землевладельцев, — революции, совершенно подобной той, что произошла в 1789 г. во французской деревне. Польская нация имеет ту заслугу, что она первая среди соседних земледельческих народов прокламировала это. Первой попыткой реформы была конституция 1791 г.; во время восстания 1830 г. Лелевель провозгласил аграрную революцию единственным средством спасения страны, но это было признано сеймом слишком поздно; во время восстаний 1846 и 1848 гг. открыто прокламировалась аграрная революция.

Со дня своего порабощения поляки выступали революционно и тем крепче приковывали своих поработителей к контр-революции. Они заставляли своих угнетателей поддерживать патриархально-феодальный строй не только в Польше, но в своих собственных странах. И особенно со времени краковского восстания 1846 г. борьба за независимость Польши одновременно является борьбой *аграрной демократии* — единственно возможной формы демократии в восточной Европе — *против патриархально-феодального абсолютизма*.

Таким образом, пока мы помогаем угнетать Польшу, пока мы приковываем одну часть Польши к Германии, до тех пор мы остаемся

прикованными к России и русской политике, до тех пор мы не можем до основания сломать патриархально-феодальный абсолютизм у нас самих. Восстановление демократической Польши есть первое условие восстановления демократической Германии.

Восстановление Польши и урегулирование ее границ с Германией не только необходимо, но сверх того является самым разрешимым из всех политических вопросов, всплывших на поверхность со времени революции в восточной Европе. Борьба за независимость разноплеменных народов, беспорядочно разбросанных и перемешанных друг с другом к югу от Карпат, отличается гораздо большей сложностью, будет стоить больше крови, смуты и гражданской войны, чем польская борьба за независимость и установление границ между Германией и Польшей.

Само собой понятно, дело идет не о восстановлении призрачной Польши, а о восстановлении государства на жизнеспособной основе. Польша должна обладать территорией по меньшей мере 1772 г., должна владеть не только областями, но и устьями своих больших рек, а также большой прибрежной полосой на Балтийском море.

Все это могла бы ей гарантировать Германия и притом оградить свои интересы и свою честь, если бы она после революции имела мужество, в своих собственных интересах, с оружием в руках потребовать от России выдачи Польши. Что при смешении немецкого и польского населения в пограничных областях, особенно на морском берегу, обе стороны должны были бы кое-что друг другу уступить, при чем некоторым немцам пришлось бы стать поляками, а некоторым полякам немцами, — это разумеется само собой и не представило бы никаких трудностей.

Но после половинчатой, незавершенной германской революции не нашлось мужества для столь решительного выступления. Произносить пышные речи об освобождении Польши, устраивать на железнодорожных станциях встречи приезжающим полякам и дарить им самые горячие симпатии немецкого народа (кому только не навязывались эти симпатии?), — на это нас хватило; но начать войну с Россией, поставить под угрозу все европейское равновесие и, наконец, отдать обратно какой-нибудь клочок ограбленной земли, — да, ожидать этого значило бы не знать наших немцев!

А чем была бы война с Россией? Война с Россией была бы полным, открытым и действительным разрывом со всем нашим позорным прошлым, действительным освобождением и объединением Германии, установлением демократии на развалинах феодализма и мимолетных мечтаний буржуазии о господстве. Война с Россией была бы

единственно возможным путем спасти нашу честь и наши интересы по отношению к нашим славянским соседям и особенно к Польше.

Но мы были мещанами и остались мещанами. Мы совершили две-три дюжины больших и малых революций, которых сами испугались раньше, чем они были завершены. После того как мы здорово нахвастали, мы ничего ровно не довели до конца. Революция, вместо того чтобы расширить, сузила наш кругозор. При решении всех вопросов было проявлено самое малодушное, самое ограниченное, самое черствое филистерство, благодаря чему все наши действительные интересы были, конечно, вновь скомпрометированы. С точки зрения этого мелочного филистерства и большой вопрос об освобождении Польши свелся тогда к ничтожным фразам о реорганизации одной части провинции Познань, а наш энтузиазм к полякам превратился в шрапнель и адский камень.

Повторяем: решением, единственно возможным, единственно ограждающим честь и интересы Германии, была война с Россией. На эту войну не отважились, и тогда случилось неотвратимое: реакционная военщина, разбитая в Берлине, снова подняла голову в Познани. Под предлогом спасения чести и национальных интересов Германии она подняла знамя контр-революции и поработила нашу союзницу, революционную Польшу, и окопаченная Германия одно мгновение аплодировала своим победоносным врагам. Был совершен новый раздел Польши, который нуждался лишь в санкции германского Национального собрания.

Чтобы поправить дело, у Франкфуртского собрания был еще один выход: надо было исключить всю Познань из германского союза и заявить, что вопрос о границах является открытым, пока представится возможность повести об этом переговоры *d'égale à égale* (как равный с равным) с восстановленной Польшей.

Но это значило бы требовать слишком многого от наших франкфуртских профессоров, адвокатов и пасторов из Национального собрания!

Соблазн был слишком велик: они, мирные бюргеры, никогда не державшие ружья, должны были вставанием или сидением завоевать для Германии страну в 500 кв. миль, инкорпорировать 800 000 «нетцских братьев», польских немцев, евреев и поляков, хотя и за счет чести и действительных, длительных интересов Германии, — какое искушение! Они поддались ему и подтвердили раздел Польши.

По каким основаниям, — мы увидим завтра.

IV.

Кельн, 21 августа.

Оставляем в стороне предварительный вопрос, должны ли были познанские депутаты принимать участие в обсуждении и голосовании, и перейдем прямо к прениям по главному вопросу.

Г-н Штенцель, в качестве докладчика, открыл прения страшно путаной и неясной речью. Он выступает в роли историка и добросовестного человека, говорит о крепостях и полевых окопах, о небе, об аде, о симпатиях и о немецком сердце; он возвращается к XI веку, чтобы доказать, что польское дворянство всегда угнетало крестьян; он использует некоторые скудные даты польской истории для оправдания бесконечного потока самых плоских общих мест о дворянстве, крестьянах, городах, благодеяниях абсолютной монархии и т. п.; запинающимся и заплетающимся языком он оправдывает раздел Польши; он столь запутанно разбирает положения конституции 3 мая 1791 г., что члены Национального собрания, которые и до того ее не знали, теперь уже совсем перестали понимать в чем *дело*; он хочет уже перейти к великому герцогству Варшавскому, но тут его прерывают громкий крик: «Это заведет нас уж слишком далеко!» и замечание председателя.

Великий историк, пришедший в полное замешательство, продолжает свою речь в следующих трогательных словах: «Я буду краток. Теперь спрашивается: что мы хотим делать? Это совершенно естественный (буквально!) вопрос. Дворянство хочет восстановить польское государство. Оно утверждает, что оно демократично. Не сомневаюсь в том, что оно искренно так думает. Но, господа, совершенно естественно (!), что иные сословия создают себе большие иллюзии. Я всецело верю в их искренность, но если графы и князья должны слиться с народом, то я не знаю, как произойдет это слияние (какое дело до этого г. Штенцелю!). В Польше это невозможно» и т. д.

Г-н Штенцель изображает дело так, как будто в Польше дворянство и аристократия едины суть. «Histoire de Pologne» Лелевеля,

которую цитировал сам г. Штенцель, «Débat entre la révolution et la contre-révolution en Pologne» Мерославского и много других новейших сочинений могли бы кое-чему лучшему научить «человека, много лет занимающегося историей». Большинство «князей и графов», о которых говорит г. Штенцель, суть как раз те, с которыми польская демократия сама борется. Надо поэтому, — думает г. Штенцель, — дать дворянству пасть вместе со всеми его иллюзиями и основать Польшу для крестьянства (присоединяя к Германии одну часть Польши за другой). «Протяните лучше руку бедным крестьянам, чтобы они окрепли, дабы им, быть может (!), удалось создать свободную Польшу и не только создать, но и удержать ее. Это, господа, и есть главная задача!»

И под радостные крики национал-болтунов центра: «очень хорошо», «прекрасно», упоенный победой историк покидает трибуну. Изобразить новый раздел Польши как благодеяние для польских крестьян, — этот поразительно бессмысленный оборот дела должен был, конечно, тронуть до слез исполненную добродушия и человеколюбия массу центра Национального собрания!

Его сменяет на трибуне Геден из Кротошина, польский немец чистойшей воды. После него выступает г. Зенф из Иновроцлава, прекрасный образец «нетцкого брата», для которого не существует обмана, который взял слово против предложения комиссии, а говорил за него, так что один из ораторов, желавший говорить против предложения, обманном образом не получил в очередь слова.

Манера и способ выступления в собрании «нетцских братьев» являются забавнейшей комедией на свете и лишней раз показывают, на что способен истинный пруссак. Все мы знаем, что корыстолюбивые еврейско-прусские выходцы из Познани боролись с поляками в теснейшем единении с бюрократией, с королевско-прусским офицерским корпусом, с бранденбургским и померанским юнкерством, одним словом, со всем, что было реакционного, старо-прусского. Предательство Польши было первым возмущением контр-революции, и никто при этом не проявил большей контр-революционности, как эти именно «нетцские братья». А теперь посмотрите-ка на этих одержимых пруссачеством школьных учителей и чиновников, выступающих здесь во Франкфурте с лозунгом: «С богом за короля и отечество!»; полюбуйтесь на то, как они выдают свое контр-революционное предательство польской демократии за революцию, за действительную, настоящую революцию во имя суверенной массы «нетцских братьев»; на то, как они топчут ногами историческое право и над мнимым трюпом Польши взывают: только живой имеет право!

Но таков уж пруссак: на Шпрее — «божьей милостью», на Варте — суверенный народ; на Шпрее — бунт черни, на Варте — революция; на Шпрее — историческое право, неимеющее даты, на Варте — право жизненного факта, датированного вчерашним числом, — и, несмотря на это, никакой фальши, все прямо и честно в верном прусском сердце!

Послушаем г. Гедена. «Вторично вынуждены мы защищать дело столь большого значения, столь чреватое последствиями для нашей родины, что если бы оно и само по себе не сделалось для нас совершенно правым (!), его необходимо должно было бы сделать таковым (!!). Наше право менее коренится в прошлом, чем в горячем биении пульса настоящего» (вернее ... ударов прикладами).

«Польский крестьянин и бюргер, благодаря присоединению (к Пруссии), чувствует себя в таком состоянии безопасности и благополучия, какого он никогда не знал» (понятно, со времени польско-пруссских войн и разделов Польши).

«Нарушение справедливости, заключающееся в акте раздела Польши, совершенно искуплено гуманностью вашего (германского) народа (и особенно батогамы прусских чиновников), его трудолюбием (на разграбленных и раздаренных польских землях), а в апреле этого года и кровью его!» Кровью г. Гедена из Кротошина!

«Революция — вот наше право, по воле ее мы находимся здесь!

«Доказательство нашего правомерного инкорпорирования в Германию заключается теперь не в пожелтевших пергаментях, — мы вошли в состав Германии не в качестве приданого или по наследству, не в порядке купли или обмена; мы — немцы и принадлежим нашему отечеству, потому что нас побуждает к этому разумная, законная, суверенная воля, — воля, которая обусловлена нашим географическим положением, нашим языком и нравами, нашей численностью (!), нашим владением, но прежде всего нашим немецким образом мыслей и любовью к отечеству.

«Наши права столь прочны, столь глубоко заложены в современном мирозерцании, что не надо даже для признания их иметь немецкое сердце».

Да здравствует суверенная воля прусско-еврейских нетцских братьев, покоящаяся на современном мирозерцании, опирающаяся на шрапнельную революцию, коренящаяся в горячем биении пульса военно-полевой действительности. Да здравствует немецкий дух познанских чиновничьих окладов, ограбления земель церкви и имений староств и денежных ссуд à la Флоттвелль!

После напыщенного рыцаря возвышенных прав выступает

бесстыдный «нетцкий брат». Для г. Зенфа из Иновроцлава даже предложение Штенцеля является слишком благожелательным по отношению к полякам, и потому он предлагает несколько более грубую редакцию. С той же наглостью, с которой он под предлогом внесения своей редакции записался оратором против предложения г. Штенцеля, г. Зенф заявил, что устранение познанцев от голосования было бы вопиющей к небу несправедливостью: «Я верю, что познанские депутаты потому именно будут допущены к участию в голосовании, что дело идет как раз о важнейших правах тех, которые нас сюда послали».

Г-н Зенф переходит затем к истории Польши со времени первого раздела и обогащает ее рядом намеренных извращений и вопиющих вымыслов, да таких, что по сравнению с г. Зенфом г. Штенцель является самым жалким кропателем. Все, что только есть сносного в Познани, обязано своим происхождением прусскому правительству и «нетцким братьям».

«Возникло великое герцогство Варшавское. Место прусских чиновников заняли польские, и уж в 1814 г. едва заметен был след всего того, что сделало доброго прусское правительство для этой провинции». Г-н Зенф прав. Действительно, нельзя было «заметить и следа» ни крепостного права, ни штатных отчислений польских округов прусским образовательным учреждениям, например университету города Галле, ни вымогательства и жестокостей прусских, не знающих польского языка, чиновников. Но... еще Польша не погибла, так как милостью России Пруссия снова расцвела, и Познань снова перешла к Пруссии.

«С тех пор возобновились стремления прусского правительства к улучшению положения провинции Познань». Кто хочет узнать подробности об этом, пусть прочтет записки Флоттвелля от 1841 г. До 1830 г. ничего не было сделано правительством. Во всем великом герцогстве Флоттвелль нашел лишь четыре мили шоссейных дорог! Надо ли, однако, перечислять благодеяния самого Флоттвелля? Г-н Флоттвелль, хитрый бюрократ, старался подкупить поляков проведением шоссейных дорог, заботами о судоходности рек, осушением болот и т. п., но не на деньги прусского правительства, а на собственные деньги поляков подкупал он их. Все эти улучшения были произведены, главным образом, на частные средства или на средства округов, и если там или здесь правительство прибавляло и свою субсидию, то это составляло лишь самую незначительную часть тех сумм, которые оно извлекло из провинции путем налогов или в виде дохода с польских национальных и церковных доменов.

Далее, поляки обязаны г. Флоттвеллю не только дальнейшей приостановкой избрания ландратов округами (с 1826 г.), но в особенности постепенной экспроприацией польских имений путем правительственной скупки продаваемых с молотка дворянских поместий, которые снова перепродавались исключительно лишь благонадежным немцам (королевский указ 1833 г.). Заключительным благодеянием флоттвелльского управления было улучшение школьного дела. Но и оно было опять-таки мерой опруссачения. Высшие школы должны были при помощи прусских учителей опруссачивать дворянское юношество и будущее католическое духовенство, а низшие — крестьян. О действительном характере просветительных учреждений проболтался как-то в неосторожном порыве откровенности бромбергский правительственный президент г. Валлах; он написал как-то обер-президенту г. Бейрману, что польский язык является главным препятствием для распространения образования и благосостояния среди сельского населения! Разумеется, это верно, раз учитель не понимает по-польски. Кто же, впрочем, оплачивал эти школы? Опять-таки сами поляки, так как, во-первых, большинство важнейших, но не служащих специально целям опруссачения институтов было основано и поддерживалось на частные взносы или на средства сословий провинции, а, во-вторых, даже пруссификаторские школы содержались на доходы от секуляризованных 31 марта 1833 г. монастырей, государственная же касса отпустила средства лишь на десять лет по 21 000 талеров ежегодно. В остальном, как признает и г. Флоттвелль, все реформы исходили от самих поляков. Не меньше г. Зенфа умалчивает и г. Флоттвелль о том, что величайшие благодеяния прусского правительства состояли в извлечении значительных рент и доходов и в использовании молодежи для прусской военной службы.

Короче говоря, все благодеяния прусского правительства сводятся к обеспечению прусских унтер-офицеров в Познани, будь то экзерцирмейстеры, учителя, жандармы или собиратели податей.

Мы не можем больше останавливаться на дальнейших неосновательных подозрениях относительно поляков, как и на лживых статистических данных г. Зенфа. Достаточно и этого: г. Зенф говорит с единственной целью сделать поляков ненавистными собранию.

За ним следует г. Роберт Блюм. По обыкновению он произносит так называемую солидную речь, т. е. речь, которая содержит больше убеждения, чем аргументов, и больше декламации, чем убеждения, и которая, впрочем, как декламаторское упражнение, производит, признаться, не больший эффект, чем современное миссо-

зерцание г. Гедена из Кротошина. Польша — ограда против северного варварства..., если у поляков есть пороки, то это вина их угнетателей..., старый Гагерн называет раздел Польши кошмаром, который тяготеет над нашей эпохой..., поляки горячо любят свою родину, и нам не мешало бы брать с них пример..., опасности, угрожающие нам со стороны России..., если в Париже вдруг победит красная республика и захочет силою оружия освободить Польшу, что будет тогда, милостивые государи? Будем беспристрастными... и т. д., и т. д., и т. д.

Нам жаль г. Блюма, но если снять со всех этих прекрасных рассуждений декламаторскую мишуру, то не останется ничего, кроме самой тривиальной болтовни, пусть даже — охотно допускаем это — болтовни широкого размаха и высокого мастерства. Даже тогда, когда г. Блюм полагает, что по отношению к Шлезвигу, Богемии, итальянскому Тиролю, русским прибалтийским провинциям и к Эльзасу Национальное собрание должно последовательно поступать по тому же принципу, как и по отношению к Познани, это является лишь основанием для оправдания бессмысленной национальной лжи и надменной непоследовательности большинства. И если он думает, что Германия могла бы достойным образом вести переговоры о Познани лишь с уже существующей Польшей, то мы не станем отрицать этого, по должны заметить, что этот единственный удачный довод в его речи уже сотни раз и гораздо лучше был развит самими поляками, тогда как в устах г. Блюма он является тупой риторической стрелой, которая «со всей умеренностью и щадящей мягкостью» бесплодно была пущена в закаленную грудь большинства.

Г-н Блюм прав, говоря, что шрапнель — не довод, но неправ, и знает это сам, когда беспристрастно становится на более высокую «умеренную» точку зрения. Если г. Блюм не представляет себе ясно сущность польского вопроса, то это его собственная вина. Но совсем скверно, что г. Блюм, во-первых, надеется добиться от большинства, чтобы оно потребовало отчета от центральной власти, и, во-вторых, что он воображает хоть что-нибудь, хоть самую малость выиграть от отчета тех министров центральной правительства, которые 6 августа столь позорно склонились перед прусскими суверенными вождями. Если хочешь сидеть «на крайней левой», то первым делом надо отбросить в сторону щадящую мягкость и отказаться от надежды хоть что-нибудь, хоть самое пустяшное дело провести через большинство.

Вообще почти вся левая, как всегда, и в польском вопросе

исходит декламацией или фантастическими бреднями, даже в отдаленнейшей степени не углубляясь в фактический материал, в практическую сущность вопроса. А между тем как раз тут материал был столь содержателен, факты — столь разительны. Конечно, для этого нужно изучать вопрос, и от этого можно, понятно, отделаться, раз удалось проскочить через чистилище выборов, а затем ни перед кем не нести уже ответственности. К некоторым исключениям мы вернемся еще в ходе дебатов. Завтра мы поговорим с г. Вильгельмом Иорданом, который вовсе не является исключением, но на этот раз, в буквальном смысле слова и с полным основанием, идет за толпой.

V.

Кельн, 25 августа.

Наконец-то мы покидаем, слава богу, песчаные равнины каждодневной политической болтовни, чтобы вступить на возвышенную альпийскую почву больших дебатов! Наконец-то взберемся мы на окутанную облаками вершину, где гнездятся орлы, где человек смотрит в глаза богу, откуда он с пренебрежением взирает на червячков, которые там глубоко-глубоко внизу сражаются скудными аргументами обыкновенного человеческого разума! После схваток какого-то Блюма с каким-то Штенцелем, Геденом, Зенфом из Иновроцлава начинается, наконец, великая битва, в которой герои в стиле Ариосто усеивают равнину после брани обломками копий!

Благоговеино размыкаются ряды борцов, и вперед выскакивает с обнаженным мечом г. Вильгельм Иордан из Берлина.

Кто же он такой — этот Вильгельм Иордан из Берлина?

Г-н Вильгельм Иордан из Берлина во времена расцвета немецкого литературства был литератором в Кенигсберге. В ту пору устраивались полудозволенные собрания в «избушке бондаря»; г. Вильгельм Иордан также пошел на такое собрание, прочитал там стихотворение «Моряк и его бог» и был за это выслан.

Г-н Вильгельм Иордан из Берлина отправился в Берлин. Там также устраивались студенческие собрания. Вильгельм Иордан прочитал стихотворение «Моряк и его бог» и был выслан. Г-н Вильгельм Иордан из Берлина отправился в Лейпциг. Там тоже было несколько невинных собраний. Г-н Вильгельм Иордан прочел стихотворение «Моряк и его бог» и был выслан.

Г-н Вильгельм Иордан издал затем много своих произведений: стихотворение «Колокол и пушка»; собрание литовских народных песен, в том числе и своего собственного производства, а именно сочиненные им самим польские песни; переводы Жорж-Занд, какой-то журнал, непонятный «Понятый мир» и т. д. на потребу широко известного Отто Виганда, который, правда, не развернул своего издательского дела так широко, как его французский оригинал

г. Паньбер; далее он издал перевод лелевелевской «Histoire de Pologne» с полонофильским предисловием и т. д.

Пришла революция. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre по-прежнему асодарме, в одном округе немецкой Манчи, сиречь Бранденбургской марки, где растут Дон-Кихоты, в округе, названия которого я не могу припомнить, г. Вильгельм Иордан из Берлина выставил свою кандидатуру в германское Национальное собрание. Крестьяне того округа были настроены благодушно-конституционно. Г-н Вильгельм Иордан произнес много убедительных речей, исполненных самого конституционного благодушия. Восхищенные крестьяне избрали великого человека в депутаты. Едва явившись во Франкфурт, благородный «безответственный» депутат тотчас же уселся на «решительно» левой и голосовал с республиканцами. Крестьяне-избиратели, создавшие этого парламентского Дон-Кихота, послали ему вотум недоверия, напомнили ему его обещания, отозвали его. Но г. Иордан столь же мало считал себя связанным словом, как и король, и продолжали греметь в собрании его «колокол и пушка».

Всякий раз, как г. Вильгельм Иордан вступал на кафедру церкви св. Павла, он в сущности прочитывал одно только стихотворение — «Моряк и его бог», причем мы, однако, отнюдь не говорим, что он этим заслужил высылку.

Послушаем последние удары колокола и новейшие раскаты пушек великого Вильгельма Иордана о Польше.

«Я полагаю, что нам надо подняться на всемирно-историческую точку зрения, с которой надлежит изучать познанский вопрос как эпизод великой польской драмы».

Могучий г. Вильгельм Иордан разом поднимает нас высоко над облаками на покрытый снегом, устремившийся к небу Чимборасо «всемирно-исторической точки зрения» и раскрывает пред нами неизмеримые перспективы.

Но еще до этого он на миг вступает в будничную область «специального» обсуждения и, правду сказать, весьма удачно. Несколько примеров: «Затем Нетцкий округ по Варшавскому договору (т. е. по первому разделу Польши) перешел к Пруссии, и с тех пор, если не считать эфемерного герцогства Варшавского, оставался за Пруссией».

Г-н Иордан говорит здесь о Нетцком округе в *противоположность* остальной Познани. Он, рыцарь «всемирно-исторической точки зрения», знаток польской истории, переводчик Лелевеля, из какого источника черпает он эти сведения? Не из какого другого, как из речи г. Зенфа из Иновроцлава! Он настолько рабски следует за г. Зенфом, что даже совершенно забывает, что и остальная, велико-

польская часть Познани в 1794 г. «перешла к Пруссии и с тех пор, если не считать кратковременного существования Варшавского герцогства, оставалась за Пруссией». Но об этом «нетцкий брат» Зенф ничего не сказал; так мудрено ли, что и «всемирно-историческая точка зрения» только то и знает, что правительственный округ Познань лишь в 1815 г. «перешел к Пруссии»?

«Далее, и западные округа — Бирнбаум, Мезериц, Бомст и Фрауштадт — с незапамятных времен как это можно видеть уже из названий этих городов, по преобладающей массе своего населения были немецкими».

Но и округ Мендзиход не правда ли, г. Иордан? — «с незапамятных времен, как это можно видеть уже из его названия, по преобладающей массе своего населения был польским»? Но округ Мендзиход есть не что иное, как округ Бирнбаум. По-польски город этот называется Мендзиход.

Какую поддержку найдет эта этимологическая кунсткамера «всемирно-исторической точки зрения» «понятого мира» у христианско-германского г. Лео! Не говоря уже о том, что Милан, Люттих, Женева, Копенгаген, «как видно уже из самих названий, с незапамятных времен являются немецкими»; не усматривает ли «всемирно-историческая точка зрения» уже из самих имен — Гаймонс-Эйхихт, Вельш-Лейден, Иенау и Кальтенфельде, что и они с незапамятных времен были немецкими? «Всемирно-историческая точка зрения», конечно, затруднится найти на карте эти искони немецкие названия, и, разумеется, когда она узнает, что под ними подразумеваются Ле-Кенау, Лион, Генуя и Кампо-Фреддо, ей останется поблагодарить за это одного г. Лео, который сам сфабриковал эти искони немецкие названия.

Что скажет «всемирно-историческая точка зрения», если французы при первом случае объявят Кельн, Кобленц, Майнц и Франкфурт искони французскими землями, и тогда — горе «всемирно-исторической точке зрения»!

Но не станем задерживаться далее на этих *petites misères de la vie humaine* (мелких бедствиях человеческой жизни), которые случались и с более великими людьми. Последуем за г. Вильгельмом Иорданом из Берлина в более высокие сферы его полета. Тут мы услышим, что Польшу «любят тем больше, чем дальше удалены от нее и чем меньше о ней знают, и, наоборот, тем меньше любят, чем ближе подходят к ней», а потому это «тяготение к Польше покоится не столько на действительном предпочтении польского характера, сколько на известном космополитическом идеализме».

Но как «всемирно-историческая точка зрения» объяснит, что на-

роды земного шара «не любят» некий другой народ ни тогда, «когда от него отдаляются», ни тогда, когда «к нему приближаются»? Как объяснит она, что они с редким единодушием презирают, эксплуатируют, высмеивают и топчут ногами этот народ? Этот народ — немцы. «Всемирно-историческая точка зрения» скажет, что это основано на «космополитическом материализме», и тем будет спасена.

Но не смущаясь подобными маленькими возражениями, всемирно-исторический орел все смелее, все выше расправляет свои крылья, пока, наконец, в чистом эфире пребывающей самой по себе идеи он не раздражается следующим героически-всемирно-историческим гегельянским гимном: «Пусть воздают должное истории, которая на своем предначертанном необходимости пути всегда безжалостно топчет железной пятой народность, которая не в состоянии больше удержаться среди равных наций, но все же было бы бесчеловечным и варварским не проявлять никакого участия при виде долгих страданий такого народа, и я крайне далек от такой бесчувственности. (Бог не оставит вас без награды, благородный Иордан!) Но одно дело — быть потрясенным трагедией, и другое дело — хотеть, так сказать, помешать ее развитию. Одна лишь железная необходимость, которой подчинен герой, превращает его судьбу в настоящую трагедию, и вмешиваться в ход этой судьбы, хотеть из человеческого участия остановить катящееся колесо истории, да еще повернуть его обратно — значит самому подвергаться опасности быть размолотым им. Желать восстановления Польши потому только, что гибель ее вызывает истинную скорбь, это я называю слабоумной сентиментальностью».

Какая полнота мыслей! Какая глубина премудрости! Какой высокопарный язык! Так говорит «всемирно-историческая точка зрения», когда вдобавок выправит стенограммы своих речей.

Поляки стоят перед выбором: если они хотят разыгрывать «настоящую трагедию», тогда они должны покорно позволить растоптать себя под железной пятой и под катящимся колесом истории, сказав Николаю: «Господин, да свершится воля твоя!» Или, если они желают бунтовать, чтобы попытаться, не могут ли они, в свою очередь, наступить хоть раз «железной пятой истории» на шею своим угнетателям, тогда они никакой «настоящей трагедии» не играют, вследствие чего г. Вильгельм Иордан из Берлина не может больше интересоваться ими. Так говорит эстетически воспитанная профессором Розенкранцем «всемирно-историческая точка зрения».

В чем заключается неумолимая железная необходимость, которая в мгновение ока уничтожила Польшу? В распаде дворянской демократии, покоящейся на крепостном праве, т. е. в возникновении

крупной аристократии внутри дворянства. Это было шагом вперед, поскольку являлось единственным путем выйти из изжитого состояния дворянской демократии. Какое последствие это имело? То, что железная пята истории, т. е. три самодержца Востока, поработила Польшу. Аристократия принуждена была заключить союз с заграницей, чтобы покончить с дворянской демократией. Польская аристократия до недавнего времени, частью до сего дня, оставалась искренней союзницей поработителей Польши.

А в чем заключается неумолимая железная необходимость нового освобождения Польши? В том, что господство аристократии в Польше, которое с 1815 г. не прекращалось, по крайней мере в Познани и в Галиции и отчасти даже в русской Польше, теперь также пережило себя и погребено, как демократия мелкого дворянства в 1772 г.; в том, что восстановление аграрной демократии стало для Польши основным вопросом не только политической, но и общественной жизни; в том, что земледелие, этот источник существования польского народа, погибнет, если крепостной или обремененный барщиной крестьянин не сделается свободным земледельцем; в том, наконец, что аграрная революция невозможна без одновременного завоевания самостоятельного национального существования, обладания балтийским побережьем и устьями польских рек.

И это г. Иордан из Берлина называет желанием остановить катящееся колесо истории и повернуть его обратно!

Конечно, старая Польша дворянской демократии давно умерла и погребена, и только г. Иордан может ожидать, чтобы кто-нибудь прекратил «настоящую трагедию» этой Польши; но этот «герой» трагедии породил здорового сына, ближайшее знакомство с которым может, конечно, напугать иного бестолкового берлинского литератора, и этот сын, только еще готовящийся разыграть свою драму и положить свою руку «на катящееся колесо истории» и которому победа обеспечена, — этот сын есть Польша крестьянской демократии.

Немного захватанной беллетристической помпы, немного аффектированного презрения к миру, — которое у Гегеля было смелостью, у г. Иордана же становится дешевым, плоским дурачеством, — короче говоря, нечто от «колокола и пушки», звон и дым, облеченные в плохие фразы, и вдобавок невероятная путаница и невежество относительно самых обыкновенных исторических отношений, — вот к чему сводится вся «всемирно-историческая точка зрения»!

Да здравствует «всемирно-историческая точка зрения» с ее «понятным миром»!

VI.

Кельн, 26 августа.

Второй день битвы представляет еще более великолепную картину, чем первый. Правда, нам нехватает г. Вильгельма Иордана из Берлина, уста которого приковывают сердца всех слушателей, но будем скромны: Радовиц, Вартенслебен, Керст и Родомонт-Лихновский, — и ими не приходится пренебрегать.

Первым всходит на трибуну г. Радовиц. Лидер правых говорит коротко, определенно, рассчитанно. Декламации не больше, чем нужно. Ложные предпосылки, но сжатые, быстро следующие одни за другими заключения из этих предпосылок. Апелляция к страху правых. Хладнокровная уверенность в успехе, опирающаяся на трусость большинства. Основательное презрение ко всему собранию, к его правой и к его левой. Таковы отличительные черты произнесенной г. Радовицем короткой речи, и нам вполне понятен тот эффект, который должны были произвести эти немногие холодные, как лед, и простые без вычурностей слова на собрание, привыкшее выслушивать самые напыщенные и пустые риторические упражнения. Г-н Вильгельм Иордан из Берлина был бы счастлив, если бы он со всем своим «понятым» и не понятым миром призраков произвел хоть десятую часть того впечатления, которое произвел г. Радовиц своей краткой и, в сущности, совершенно бессодержательной речью.

Г-н Радовиц не является вовсе «характером», благомыслящим простаком, но он представляет собой фигуру с определенными, четкими очертаниями, так что достаточно прочитать одну только его речь, чтобы знать его в совершенстве.

Мы никогда не притязали на честь быть органом какой-нибудь парламентской левой. Напротив, при пестроте различных элементов, из коих образовалась демократическая партия в Германии, мы считаем настоятельно необходимым никого не подвергать такой строгой критике, как именно демократов. А при недостатке энергии, решительности, таланта и знаний, который, за немногими исключениями, наблюдается у вождей всех партий, нас может только радовать,

когда мы в г. Радовице находим, по крайней мере, равного по положению противника.

За г. Радовицем — г. Шузелька. Несмотря на все предыдущие предостережения, снова чувствительная апелляция к сердцу. Бесконечно растянутая речь, изредка прерываемая историческими доводами и — там и сям — австрийским практическим смыслом. В общем, речь утомительная.

Г-н Шузелька направился в Вену, где он и был избран в рейхстаг. Там он на своем месте. Если во Франкфурте он сидел на левой, то там он оказался в центре; если во Франкфурте он мог еще играть известную роль, то в Вене он при первом же выступлении потерпел фиаско. Такова судьба всех этих беллетристических, философских и праздно болтающих величин, которые использовали революцию лишь затем, чтобы выдвинуться на авансцену; поставьте их на мгновение на действительно революционную почву, — и они сейчас же канут в небытие.

За ним следует *ci-devant* граф фон-Вартенслебен. Г-н Вартенслебен выступает как приятный, преисполненный благосклонности простак, рассказывает анекдоты о своем походе в качестве ополченца к польским границам в 1830 г., легко переходит в тон Санчо-Пансы, обращаясь к полякам с поговоркой «лучше синица в руки, чем журавль в небе», но при этом умудряется совершенно невинно вставить гнусное замечание: «Почему никогда не находилось польских чиновников, которые соглашались бы взять на себя реорганизацию в подлежащей отделению части Польши? Боюсь, что они сами себя боятся; они чувствуют, что не достигли еще такой ступени развития, чтобы быть в состоянии спокойно организовать население, а между тем они прикрываются тем доводом, будто любовь к отечеству мешает им положить даже начало радостному возрождению!» Другими словами, поляки в течение целых восьмидесяти лет неустанно борются с величайшим самопожертвованием за дело, которое сами же они считают невозможным и бессмысленным. В заключение г. Вартенслебен присоединяется к мнению г. Радовица.

На трибуну подымается г. Янишевский из Познани, член познанского Национального комитета. Речь г. Янишевского является первым образчиком действительного парламентского красноречия, которое раздавалось с трибуны церкви св. Павла. Наконец-то слышим мы оратора, который не гоняется лишь за одобрением зала, который говорит языком действительной, живой страсти и поэтому производит совсем другое впечатление, чем все предыдущие ораторы. Апелляция Блюма к совести собрания, дешевая высокопарность

Иордана, холодная последовательность Радовица, благодушная расплывчатость Шувельки одинаково исчезают перед этим поляком, который защищает существование своей нации и свое неоспоримое право. Янишевский говорит возбужденно, живо, но он не декламирует; он лишь излагает факты с законным негодованием, с которым только и возможно истинное изображение подобных фактов и которое вдвойне законно после бесстыдных измышлений, которые приводились в предыдущих дебатах. Его речь, действительно являющаяся центральным пунктом прений, отражает все прежние нападки на поляков, исправляет все ошибки друзей Польши, возвращает прения на единственно практическую и настоящую их почву и заранее отрезывает у следующих за ним ораторов правой их самые полновзвучные аргументы.

«Вы проглотили Польшу, но — клянусь — переварить ее вам не удастся!» Это сильное резюме речи Янишевского запомнится, равно как и гордость, с которой он заявил в ответ на попрошайничанье друзей Польши: «Я прихожу к вам не как нищий, я прихожу с моим неоспоримым правом; не о сочувствии взываю я к вам, а о справедливости».

После г. Янишевского выступает г. директор Керст из Познани. После поляка, борющегося за существование, за социальную и политическую свободу своего народа, — иммигрировавший в Познань прусский школьный учитель, который борется за свой оклад. После прекрасной негодующей страсти угнетенного — пошлое бесстыдство бюрократа, питающегося угнетением.

Раздел Польши, «который ныне называют позором», был в свое время «вполне обыкновенным явлением». «Право народов обособляться по национальному признаку является совсем новым, нигде не признанным правом». «В политике решает только действительное владение». Таковы некоторые из тех энергичных афоризмов, на которых г. Керст основывает свою аргументацию. За этим следуют грубейшие противоречия. «С Познанью, — говорит он, — к Германии перешла полоса земли, которая, без сомнения, в большей своей части является польской», а немного дальше заявляет: «Что же касается польской части Познани, то она не домогалась присоединения к Германии, и, насколько я знаю, вы не намерены присоединить эту часть против ее воли!» К этим рассуждениям он присовокупляет статистические данные о составе населения, данные, полученные при помощи употребляемых «нетцскими братьями» приемов, по которым лишь те считаются поляками, кто не понимает по-немецки, и все те считаются немцами, кто кое-как говорит по-немецки. И под

конец он делает крайне искусственный подсчет, посредством которого высчитывает, что меньшинство в 17 голосов против 26, которое при голосовании в познанском провинциальном ландтаге было подано за присоединение к Германии, собственно говоря, было большинством. «По провинциальному закону было, без сомнения, необходимо, чтобы большинство составляло две трети, чтобы быть правомочным принимать решения. Разумеется, 17 не составляет полных двух третей по отношению к 26, но недостающая дробь настолько ничтожна, что при решении столь важного вопроса ее можно игнорировать!» Таким образом, если меньшинство составляет две трети большинства, то оно, «по провинциальному закону», является большинством. Старое пруссачество бесспорно возложит венок на голову г. Керста за такое открытие. В действительности же дело обстоит так: чтобы внести предложение, требовались две трети голосов. Принятие в германский союз явилось таким предложением. Таким образом, это принятие лишь тогда было бы законно, если бы за него голосовало две трети собрания, т. е. две трети из числа 43 голосующих. Вместо этого почти две трети голосовали против. Но что из этого? Ведь 17 — это почти «две трети от 43 [26]!» Становится совершенно понятно, что поляки не являются столь «образованной нацией», как граждане «государства интеллигенций», раз это государство интеллигенции дает им в учителя таких математиков.

Г-н Клеменс из Бонна делает правильное замечание, что прусское правительство задавалось целью не германизировать Познань, а пруссифицировать ее, и сравнивает попытки опруссачения Познани с подобными попытками в Рейнской области.

Г-н Остендорф из Эста. Сын красной земли прочитывает целый репертуар политических общих мест и пустой болтовни, расплывается в возможностях, вероятностях и предположениях, вдается в мельчайшие подробности, перескакивает от г. Иордана к французам, от красной республики к краснокожим Северной Америки, с которыми он на одну доску ставит поляков, тогда как «нетцских братьев» сравнивает с янки. Смелая параллель, достойная красной земли! Г-н Керст, г. Зенф, г. Геден, как колонисты в лесу, с палаткой, ружьем и лопатой, — какая несравненная комедия!

На трибуну всходит г. Франц Шмидт из Левенберга. Он говорит спокойно, без напыщенности, и это тем более заслуживает быть отмеченным, что г. Шмидт принадлежит к сословию, когда-то превыше всего любившему декламацию, к сословию немецко-католического духовенства. Г-н Шмидт, речь которого после речи Янишевского, во всяком случае, надо признать лучшей во всем этом споре как

самую сильную и обнаруживающую наибольшее знание предмета, — г. Шмидт показывает комиссии, как за ее мнимо-учеными доводами (содержание которых мы подвергли разбору) скрывается самое безграничное незнание действительно существующих отношений. Г-н Шмидт ряд лет прожил в великом герцогстве Познанском и указывает комиссий, что даже по отношению к тому маленькому округу, который ему ближе знаком, допущены грубейшие ошибки. Он показывает, что как раз во всех решающих пунктах комиссия не дала собранию нужных разъяснений и *прямо требует*, чтобы собрание без каких бы то ни было материалов, без всякого знания предмета, так, по наитию, приняло решение. Он требует прежде всего разъяснения фактического положения вещей. Он указывает, в каком противоречии стоят предложения комиссии к ее собственным предпосылкам; он цитирует записку Флотвелля, который находится тут же в качестве депутата, и требует, чтобы он выступил, если этот документ поддельный. Он разоблачает, наконец, перед публикой, как «нетцские братья» явились к Гагерну и ложным сообщением о вспыхнувшем в Польше восстании хотели побудить его к быстрому прекращению прений. Гагерн, правда, отрицает это, однако г. Керст открыто похвалается этим.

Большинство ответило г. Шмидту на его мужественную речь тем, что позаботилось об извращении этой речи в стенографическом отчете. В одном месте г. Шмидт самолично трижды выправлял в стенограмме попавшую в нее бессмыслицу, и все же она осталась в печати. Барабанный бой против Шлеффеля, открытое насилие против Брентано, подлог против Шмидта, — в самом деле, господа из правой — отменные критики!

Речью г. Лихновского заканчивается заседание. Но этого приятеля мы сохраним про запас для ближайшей статьи; с оратором такого калибра, как г. Лихновский, не так-то легко справиться!

VII.

Кельн, 31 августа.

На трибуну всходит с рыцарски-галантной осанкой и самодвольной улыбкой *belhomme*'а собрания, немецкий Баяр, рыцарь без страха и упрека, экс-князь (§ 6 основных прав) фон-Лихновский. С чистейшим акцентом прусского лейтенанта и с презрительной небрежностью плетет он те небольшие обрывки мыслей, которые он имеет сообщить собранию.

Прекрасный рыцарь представляет собой в этих прениях совершенно необходимый момент. Кого речи господ Гедена, Зенфа и Керста еще недостаточно убедили в том, какими достойными уважения людьми являются польские немцы, тот по рыцарю Лихновскому может убедиться, что за неэстетическое явление, — несмотря на изящную фигуру, — представляет собою опруссаченный славянин. Г-н Лихновский — соплеменник польских немцев; он дополняет документы самым появлением своим на трибуне. Превратившийся в прусского юнкера шляхтич из Польши являет нам живой пример того, что любвеобильное прусское правительство намеревалось сделать из познанского дворянства. Г-н Лихновский, не взирая на все его торжественные уверения, вовсе не немец, он «реорганизованный поляк», он и говорит не по-немецки, а по-пруски.

Г-н Лихновский начинает с торжественных уверений в своей рыцарской симпатии к полякам, делает комплименты г. Янишевскому, признает за поляками «великую поэзию мученичества» и вдруг поворачивает фронт. Почему эти симпатии уменьшились? Потому что во всех восстаниях и революциях «поляки были в первой линии на баррикадах!» Это, без сомнения, преступление, которое не будет больше иметь места, как только поляки будут «реорганизованы». Мы можем, разумеется, дать г. Лихновскому успокоительное заверение, что и среди «польской эмиграции», даже среди столь глубоко павшего, по его мнению, польского дворянства, в изгнании находятся люди, совершенно незапятнанные какой бы то ни было прикосновенностью к баррикадам.

Тут разыгрывается веселая сцена.

Лихновский. Господа из левой, которые топчут ногами пожелтевшие пергаменты, странным образом взывали к историческому праву. Нет никакого основания или права одну дату для защиты польского дела предпочитать другой. Для исторического права не существует никакой даты. (*Сильный смех слева.*)

Для исторического права не существует никакой даты. (*Сильный смех слева.*)¹

Председатель. Господа, дайте оратору возможность закончить свое предложение, не прерывайте его.

Лихновский. Историческое право не имеет никакой даты. (*Смех слева.*)

Председатель. Прошу не прерывать оратора, прошу соблюдать спокойствие. (*Волнение.*)

Лихновский. Для исторического права не существует такой даты (*браво и смех на левой*), которая могла бы притязать на бóльшие права по сравнению с более ранней датой.

Ну, разве же мы не имели права сказать, что благородный рыцарь говорит не по-немецки, а по-пруски?

Историческое право, не имеющее никакой даты, встречает страшного противника в нашем благородном палладине: «Если мы углубимся в далекое прошлое, — говорит он, — то мы найдем (в Познани) много округов, которые были силезскими или германскими; пойдем еще дальше, и мы придем к тому времени, когда Лейпциг и Дрезден были построены славянами, а затем мы придем к Тациту — и бог знает куда еще заведут нас эти господа, если мы углубимся в эту тему».

Скверно, должно быть, идут дела на свете. Поместья прусского дворянства неотвратимо должны были закладываться, еврейские кредиторы стать страшно настойчивыми, сроки платежей по соло-векселям внезапно обрушиться на головы дворян, продажа с молотка, личное задержание, увольнение со службы за легкомысленно сделанные долги, — все эти страхи и ужасы финансовой нужды должны были угрожать неизбежной гибелью прусскому дворянству для того, чтобы оно дошло до такого положения, когда какой-нибудь Лихновский оспаривает то самое историческое право, за защиту которого он завоевал рыцарские шпоры в обществе дон-Карлоса!

¹ [Смех вызвала синтаксическая неправильность, допущенная Лихновским (два отрицания подряд), исказившая смысл его фразы: «Das historische Recht hat keinen Datum nicht». В переводе ошибка незаметна, ибо в русском языке употребляется двойное отрицание.]

Разумеется, один бог знает, куда завели бы судебные пристава тощее рыцарство, если бы мы захотели углубиться в вопрос об историческом долговом праве! И все же, разве долги не были лучшей, единственно извинительной особенностью прусских паладинов?

Переходя к своей теме, *belhomme* полагает, что по отношению к польским немцам не следовало бы выступать с разговорами о неясном образе скрывающегося в туманной дали будущего Польши (!); он думает, что поляки не удовлетвоались бы Познанью: «Если бы я имел честь быть поляком, я бы каждое утро и каждый вечер только о том и помышлял, как бы восстановить старое польское королевство». Но так как г. Лихновский «такой чести» не имеет, так как он только «реорганизованный» поляк, то «каждое утро и каждый вечер» он думает о совершенно других, менее патриотических вещах. «Чтобы быть честным, я должен сказать, что несколько сот тысяч поляков должны стать немцами, что, искренно говоря, по нынешним условиям вовсе не было бы для них несчастьем». Например, как прекрасно было бы, если бы прусское правительство устроило еще один новый питомник для выращивания того дерева, из которого делаются Лихновские...

Наш рыцарь с закрученными усами еще некоторое время продолжает болтать все в том же любезно-небрежном тоне, в сущности рассчитанном на дам, находящихся на хорах, но все еще достаточно отвечающем уровню и самого собрания, и заканчивает словами: «Мне нечего больше сказать, теперь решайте сами, примете ли вы к нам 500000 немцев или отдадите их..., но тогда вычеркните также песню нашего старого народного певца: «Повсюду, где только звучит немецкая речь, сам господь на небе песни поет». Вычеркните эту песню!

Разумеется скверно, что старик Арндт, сочиняя свою песню, не подумал о польских евреях и их немецком языке. Но, к счастью, нас выручает наш верхне-силезский паладин. Кто не знает старых, ставших в течение веков достопочтенными обязательств дворянства по отношению к евреям? Что проглядел старый плебей, о том вспомнил рыцарь Лихновский. Повсюду,

Где, коверкая гнусно немецкий язык
Надувает всех польский еврей-ростовщик,

там отечество г. Лихновского!

VIII.

Кельн, 2 сентября.

Третий день дебатов обнаруживает всеобщую усталость. Аргументы повторяются, не делаясь от этого лучше, и если бы первый достойный уважения оратор, гражданин Арнольд Руге, не выложил богатого сокровища новых доводов, то стенографический отчет стал бы совершенно снотворным.

Гражданин Руге знает свои заслуги лучше, чем кто-либо другой. «Всю мою страсть, какой я обладаю, все мои знания, — обещает он, — я приложу для разрешения вопроса». Он вносит предложение, но это не какое-нибудь обыкновенное предложение, не предложение вообще, а особого рода, единственно правильное, истинное предложение, абсолютное предложение. «Ничего другого нельзя ни предложить, ни допустить. Можно, понятно, сделать что-нибудь другое, так как человеку дано отклоняться от справедливого, истинного. Именно потому, что человек отклоняется от правильного пути, он и обладает свободной волей..., но от этого правильное не перестает быть правильным. И в нашем случае то, что я предлагаю, есть единственно правильное, что только может случиться». (Гражданин Руге приносит, таким образом, в этом случае «свою свободную волю» в жертву «правильному».)

Присмотримся поближе к страсти, к знаниям и к «единственно правильному» гражданина Руге.

«Уничтожение Польши потому является позорной несправедливостью, что благодаря этому было подавлено ценное развитие нации, которая снискала себе огромные заслуги в семье европейских народов и в блестящем виде развила одну фазу средневековой жизни — рыцарство. Деспотизм воспрепятствовал дворянской республике осуществить свое собственное, внутреннее (!) возрождение, которое было бы возможно при помощи конституции, выработанной в революционное время».

Южно-французская национальность в средние века была не более родственна северо-французской, чем теперь польская сродни рус-

ской. Южно-французская — проще говоря, провансальская — нация не только проделала во времена средневековья «ценное развитие», но даже стояла во главе европейского развития. Она выработала первая из всех новейших наций литературный язык. Ее поэзия для всех романских народов, и даже для немцев и англичан, служила тогда недостижимым образцом. В создании феодального рыцарства она соперничала с кастильцами, французами Севера и английскими норманнами; в промышленности и торговле она нисколько не уступала итальянцам. Она не только развила «одну фазу средневекового бытия» в самом «блистательном виде», но воскресила даже среди глущайшего средневековья отблеск древнего эллинизма. Южно-французская нация имеет, таким образом, не только большие, но и прямо безмерные «заслуги перед семьей европейских народов». И все же она, подобно Польше, была сначала поделена между Северной Францией и Англией, а позднее вся была покорена французами Севера. Начиная с альбигойских войн и до Людовика XI, французы Севера, по своему образованию стоявшие настолько же ниже своих южных соседей, насколько русские ниже поляков, вели непрерывные порабощительные войны против французов-южан и кончили порабощением всей страны. Южно-французской «дворянской республике» (для времени ее расцвета название совершенно правильное) «деспотизм (Людовика XI) воспрепятствовал осуществить свое собственное внутреннее возрождение», которое настолько же, по крайней мере, возможно было путем развития городской буржуазии, как возрождение дворянской Польши при помощи конституции 1791 г.

В продолжение целых веков французы-южане боролись против своих угнетателей. Но историческое развитие было неумолимым. После трехсотлетней борьбы прекрасный язык провансальцев был низведен на степень провинциального наречия, а сами они стали французами. Триста лет тяготел северо-французский деспотизм над Южной Францией, и лишь по прошествии этого времени французы-северяне искупили свое угнетение южан, уничтожив последние остатки южно-французской независимости. Учредительное собрание разбило на части независимые провинции, железный кулак Конвента впервые сделал обитателей Южной Франции французами и в награду за потерю их национальности дал им демократию. Но в течение трех веков порабощения к ним буквально применимо то, что гражданин Руге говорит о поляках: «Деспотизм России не освободил поляков, уничтожение польского дворянства и изгнание из Польши столь многих благородных фамилий, — все это вовсе не привело к основанию в России ни демократии, ни человеческого существования».

И все же порабощение Южной Франции французами-северянами никогда не называли «позорнейшей несправедливостью». Как это случилось, гражданин Руге? Одно из двух: или порабощение Южной Франции является позорной несправедливостью, или порабощение Польши отнюдь не является позорной несправедливостью: выбирайте, гражданин Руге!

Но в чем же лежит различие между поляками и французами-южанами? Почему эта Южная Франция вплоть до полного уничтожения ее национальности как беспомощный балласт была взята на буксир французами-северянами, тогда как у поляков имеются все виды на то, чтобы скоро оказаться во главе всех славянских племен?

Южная Франция в силу социальных условий, которых мы не можем здесь описывать подробнее, была реакционной частью Франции. Ее оппозиция Северной Франции очень скоро превратилась в оппозицию против прогрессивных классов всей Франции. Она стала главным оплотом феодализма и донныне осталась твердыней контрреволюции во Франции.

Напротив, Польша, в силу социальных отношений, которые мы разобрали выше, стала революционной частью России, Австрии и Пруссии. Ее оппозиция против ее угнетателей была вместе с тем оппозицией против аристократии самой Польши. Даже дворянство, которое частью стояло еще на феодальной почве, с беспримерным самопожертвованием примкнуло к демократической аграрной революции. Польша сделалась очагом восточно-европейской демократии уже тогда, когда Германия блуждала еще в низинах конституционной и высотах философской идеологии.

В этом, а вовсе не в блестящем развитии давно погребенного рыцарского строя, лежит гарантия неизбежности восстановления Польши.

Но у г. Руге имеется еще другой аргумент в пользу необходимости существования независимой Польши в семье европейских народов. «Учиненное над Польшей насилие рассеяло поляков по всей Европе; повсюду разбросаны они со своим гневом на испытанную ими несправедливость...; польский дух во Франции и в Германии (!?) очеловечился и очистился: польская эмиграция стала пропагандой свободы (№ 1)... Славяне сделались способными вступить в великую семью европейских народов (без «семьи» никак невозможно!), потому что... их эмиграция выполняет настоящее апостольство свободы (№ 2)... Вся русская армия (!!) заражена идеями нового времени благодаря полякам, этим апостолам свободы (№ 3)... Я уважаю почтенное стремление поляков, проявленное

ими по всей Европе, с оружием в руках вести пропаганду свободы (№ 4)... Они будут прославлены в истории, доколе пребудет она, за то, что были застрельщиками (№ 5) всюду, где они были ими (!!!)... Поляки являются элементом свободы, брошенным в славянство (№ 6); они направили славянский конгресс в Праге на путь свободы (№ 7), они действовали во Франции, России и Германии. Таким образом, поляки являются даже в современной культуре элементом деятельным, они оказывают хорошее влияние, и так как они оказывают хорошее влияние, так как они необходимы, то ни в каком случае они не мертвы.

Гражданин Руге должен доказать, что поляки, во-первых, необходимы и, во-вторых, не мертвы. Он доказывает это, говоря: «Так как они необходимы, стало быть, они ни в коем случае не являются мертвыми».

Удалите из вышеприведенной длинной тирады, повторяющей семь раз одно и то же, несколько слов, — поляки, элемент, свобода, пропаганда, просвещение, апостольство, — и вы увидите, что останется от всей этой напыщенности.

Гражданин Руге должен доказать необходимость восстановления Польши. Доказывает он это следующим образом. Поляки не мертвы, напротив они весьма жизненны, они действуют хорошо, они апостолы свободы по всей Европе. Как пришли они к этому? Насилие, позорная несправедливость, примененные к ним, рассеяли их по всей Европе, куда они понесли с собою свой гнев на испытанную ими несправедливость, праведный революционный гнев. Этот свой гнев они очистили в изгнании, и этот очищенный гнев сделал их способными к апостольству свободы и поставил их «впереди всех на баррикады». Что отсюда следует? Уберите позорную несправедливость и учиненное над поляками насилие, восстановите Польшу, — и тогда исчезнет «гнев»; нельзя будет его очистить, поляки вернутся домой и перестанут быть «апостолами свободы». Если только «гнев на испытанную несправедливость» делает поляков революционерами, то устранение несправедливости сделает их реакционерами. Если противодействие угнетению есть единственное, что приковывает поляков к жизни, то устраните гнет, и они будут мертвы.

Таким образом, гражданин Руге доказывает обратное тому, что хочет доказать. Его доводы ведут к тому, что в интересах свободы и европейской семьи народов Польша не должна быть восстановлена.

Конечно, несколько странный свет бросает на «познания» гражданина Руге то обстоятельство, что он, говоря о поляках, называет только эмигрантов, только эмигрантов видит на баррикадах. Мы

весьма далеки от желания оскорбить честь польской эмиграции, доказавшей свою энергию и свой дух на поле битвы и восемнадцатилетней конспирацией за польское дело. Но мы должны признать: кто знаком с польской эмиграцией, тот знает, что она далеко не в такой степени была апостольски-свободолюбивой и жаждущей баррикад, как гражданин Руге доверчиво болтает вслед за экс-князем Лихновским. Польская эмиграция спокойно выдержала испытание, много претерпела и много поработала для восстановления Польши. Но разве поляки в самой Польше меньше сделали, разве они не шли смело навстречу большим опасностям, разве не подвергались они ужасам тюрем Моабита и Шпильберга, кнута и сибирских рудников, галицийских кровавых бань и прусской шрапнели? Но всего этого не существует для гражданина Руге. Столь же мало обратил он внимание на то, что неэмигрировавшие поляки гораздо больше восприняли, усвоили общее европейское просвещение, гораздо лучше познали потребности Польши, в которой продолжали жить, чем почти вся польская эмиграция за исключением Лелевеля и Мерославского. Гражданин Руге приписывает всю образованность, которая существует в Польше, — или, выражаясь его языком, «возникла среди поляков или пришла к полякам», — пребыванию их за границей.

Мы показали, что полякам не надо было искать познания потребностей своей страны ни у французских политических мечтателей, которые с февраля месяца потерпели крушение на своих собственных фразях, ни у глубокомысленных немецких идеологов, которые не могли еще найти никакого повода для кораблекрушения; мы показали, что Польша сама — наилучшая школа для изучения того, что нужно Польше. Заслуга поляков состоит в том, что они первые признали и провозгласили земельную демократию как единственно возможную форму освобождения всех славянских наций, а вовсе не в том, как вообразил себе гражданин Руге, что они перенесли в Польшу и в Россию общие фразы и «великую идею политической свободы, созревшую во Франции, и даже (!) философию, которая возникла в Германии (и в которой потонул г. Руге)».

Спаси нас бог от наших друзей, а от врагов мы сами избавимся, — могли бы воскликнуть поляки после этой речи гражданина Руге. Но уже издавна великое несчастье поляков заключалось в том, что их не-польские друзья защищали их самыми негодными доводами, какие есть на свете.

Много говорит в пользу франкфуртских левых то, что, за немногими исключениями, они были совершенно восхищены польской речью гражданина Руге, в которой, между прочим, содержится та-

кое место: «Мы не хотим раскалываться, милостивые государи, по вопросу о том, что мы предпочитаем: демократическую монархию, демократизированную монархию (1) или чистую демократию, — в общем и целом мы желаем одного и того же — свободы, народной свободы, народовластия».

И мы должны приходиться в восторг от такой левой, которая восхищается, когда говорят, что она хочет «в целом того же», что и правая, что г. Радовиц, г. Лихновский, г. Финке и другие жирные или тощие рыцари? Восторгаться левой, которая от восторга себя самое не узнает, которая все забывает, как только услышит несколько пустых хлестких фраз, в роде «народная свобода» и «народовластие»?

Но оставим левую и вернемся к гражданину Руге.

«На всем земном шаре не было более великой революции, чем революция 1848 г.»

«Она самая гуманная по своим принципам», потому что эти принципы возникли из затушевывания противоположных интересов.

«Самая гуманная в своих декретах и прокламациях», так как последние являются компендиумом филантропических мечтаний и сантиментальных фраз всех пустых голов Европы о братстве.

«Самая гуманная в своем существовании», а именно в избиениях и варварствах, имевших место в Познани, в разбойных нападениях Радецкого, в каннибальских жестокостях парижских победителей в июне месяце, в бойнях Кракова и Праги, во всеобщем господстве военщины, — короче, во всех гнусностях, которые сегодня, в день 1 сентября 1848 года, являют «лицо» этой революции и которые за четыре месяца стоили больше крови, чем 1793 и 1794 гг., вместе взятые.

«Гуманный» гражданин Руге!

IX.

Кельн, 6 сентября.

Мы следовали за «гуманным» гражданином Руге по пути его исторических изысканий о необходимости Польши. До сих пор гражданин Руге говорил о скверном прошлом, об эпохе деспотизма; он интерпретировал «явления неразумия», теперь же он переходит к настоящему времени, к славному 1848 г., к революции, теперь он вступает на родную почву, теперь он интерпретирует «разум явлений».

«Как может совершиться освобождение Польши? Оно может осуществиться посредством договора, в котором примут участие обе великие цивилизованные нации Европы, которые необходимо должны образовать вместе с Германией, с освобожденной Германией, новый тройственный союз, так как думают одно и то же и в целом хотят одного и того же».

Здесь перед нами в одной смелой фразе весь разум событий в сфере внешней политики. Союз между Германией, Францией и Англией, «которые одно и то же думают, одного и того же в целом желают», это — новый рютлианский союз между современными тремя швейцарцами — Кавеньяком, Лейнингеном и Джоном Росселем!

Разумеется, за последнее время Франция и Германия с божьей помощью снова зашли так далеко назад, что их правительства «думают почти одно и то же» об общих политических принципах, как и официальная Англия, эта непоколебимая контр-революционная скала посреди моря.

Но эти страны не только «думают» одно и то же, но в целом и «хотят одного и того же»: Германия хочет Шлезвига, а Англия не хочет ей уступить его; Германия хочет покровительственных пошлин, а Англия — свободной торговли; Германия хочет единства, а Англия желает ее раздробления; Германия хочет быть самостоятельной, а Англия стремится к промышленному ее порабощению. Но что в том? В «целом» они все же хотят «одного и того же»! И Франция, даже Франция, издает таможенные законы против Германии; ее министр Бастид издевается над учителем Раумером, представляющим там

Германию, — стало быть, явно «хочет в целом одного и того же», что и Германия. На самом деле Англия и Франция доказывают весьма убедительно, что они желают того же, что Германия, угрожая ей войною: Англия — из-за Шлезвига, Франция — из-за Ломбардии.

Гражданин Руге имеет идеологическую наивность думать, что нации, которым общи некоторые политические представления, уже по одному этому должны вступать в союз. На политической палитре у гражданина Руге имеются вообще всего лишь две краски: черная и белая — рабство и свобода. Мир делится для него на две большие части: на цивилизованные нации и варваров, на свободных и рабов. Пограничная линия свободы, шесть месяцев тому назад проходившая по ту сторону Рейна, теперь совпадает с русской границей, — и этот прогресс называют революцией 1848 г. В виде такого пустого образа отражается современное движение в голове гражданина Руге. Таков померанский перевод баррикадного клича февраля и марта.

Если перевести рассуждения Руге обратно с померанского на немецкий, то окажется, что три цивилизованных нации, три свободных народа, это — те самые, у которых при всем различии форм и степеней развития господствует буржуазия, в то время как «рабами и слугами» являются народы, находящиеся под властью патриархально-феодального абсолютизма. Под свободой суровый республиканец и демократ Арнольд Руге понимает самый обыкновенный «поверхностный» либерализм, господство буржуазии, и даже, пожалуй, с прикрасой мнимо-демократических форм, — в этом вся суть!

Так как во Франции, Англии и Германии господствует буржуазия, то они, естественно, являются союзниками, — так рассуждает гражданин Руге. И если материальные интересы этих трех стран резко противоположны; если свобода торговли с Германией и Францией есть необходимое жизненное условие для Англии; если покровительственные пошлины против Англии являются жизненной необходимостью для французской и немецкой буржуазии; если аналогичные отношения во многих направлениях имеют место между Германией и Францией; если этот тройственный союз на практике превратится в промышленное порабощение Франции и Германии, — что из того? «Ограниченный эгоизм, шелудивые торгашеские души», бормочет в свою русую бороду померанский мыслитель Руге.

Г-н Иордан в своей речи говорил о трагической иронии мировой истории. Гражданин Руге являет этому убедительный пример. Он, как и вся более или менее идеологическая левая, видит, как его самые дорогие, любимые мечты, его величайшие усилия мысли разбиваются о класс, представителем которого он является. Его

филантропически-космополитический проект разбивается о шелудивые торгашеские души, и он вынужден, сам того не сознавая и не желая, в более или менее идеологически-запутанной форме представлять интересы этих самых торгашеских душ. Идеолог полагает, а купец располагает. Трагическая ирония мировой истории!

Гражданин Руге рассказывает далее, как Франция «заявила, что хотя договоры 1815 г. и разорваны, она все же желает признать территориальное положение, какое сейчас существует». «Это очень правильно»; ибо гражданин Руге нашел в манифесте Ламартина то, чего никто до сего времени не искал в нем: будто бы манифест этот является основой нового международного права. Эта мысль развивается следующим образом: «Из этих отношений с Францией должно возникнуть новое историческое (!) право (№ 1). Историческое право есть право народов (! № 2). В случае, о котором мы говорим (?), мы имеем дело с новым международным правом (! № 3). Это единственно правильное понимание исторического права (! № 4). Всякое другое понимание исторического права (! № 5) абсурдно. Не существует другого международного права (! № 6). Историческое право (№ 7) есть право (наконец-то!), которое творит история и санкционирует время, уничтожая (кто?) и разрывая старые договоры и ставя на их место новые».

Одним словом: историческое право есть... редакция разума событий!

Буквально так написано в апостольских деяниях германского единства, сиречь в стенографических отчетах Франкфуртского собрания, pagina (страница) 1186, столбец 1. И жалуются еще на то, что «Новая рейнская газета» критикует г. Руге восклицательными знаками. Эта головокружительная пляска исторического права и международного права, естественно, должна ошеломить простецкую левую, так что она должна растаять от удивления, когда померанский философ с аподиктической уверенностью нашептывает ей: «Историческое право есть право, которое творит история и санкционирует время», и т. д.

«История» постоянно «творила» прямо противоположное тому, что «санкционировало» время, а санкция «времени» всегда состояла в том, что она уничтожала то, что «история творила».

Теперь гражданин Руге вносит «единственно правильное и допустимое» предложение: «предложить центральной власти совместно с Англией и Францией созвать конгресс для восстановления свободной и независимой Польши, к участию в котором будут привлечены через своих послов все заинтересованные державы».

Какие благородные, честные мысли! Лорд Джон Россель и Эжен Кавеньяк должны восстановить Польшу; английская и французская буржуазия должна угрожать России войною, чтобы добиться освобождения Польши, в котором она в настоящий момент совершенно не заинтересована! В наше время неурядицы и неразберихи, когда каждое успокоительное известие, повышающее курс на восьмью процента, снова сводится на-нет рядом разрушительных ударов; когда промышленность борется с медленным банкротством; когда торговля парализована; когда безработному пролетариату должна быть оказана поддержка на неисчислимые суммы денег, чтобы не толкнуть его на всеобщую последнюю схватку отчаяния, — неужели в такое время буржуа трех цивилизованных наций станут создавать еще новое осложнение? И какое осложнение! Войну с Россией, которая с февраля месяца является интимнейшим союзником Англии! Войну с Россией, которая, как каждый знает, была бы крушением германской и французской буржуазии! И ради каких выгод? Никаких! В самом деле, это — больше, чем померанская наивность!

Но гражданин Руге головой ручается за то, что «мирное разрешение» польского вопроса возможно. Чем дальше, тем лучше! Почему однако? А вот почему: «То, чего хотят венские договоры, теперь должно быть реализовано и действительно осуществлено... Венские договоры хотели утвердить права всех наций против великой французской нации... Хотели восстановления немецкой нации».

Теперь выясняется, почему г. Руге «в целом» хочет того же, что и правая. Правая также хочет осуществления венских договоров.

Венские договоры резюмируют великую победу реакционной Европы над революционной Францией. Они представляют собою классическую форму господства европейской реакции в течение пятнадцатилетнего периода реставрации. Они восстановили легитимность, королевскую власть божьей милостью, феодальное дворянство, господство попов, патриархальное законодательство и управление. Но так как победа эта была одержана при помощи английской, немецкой, итальянской, испанской, а также французской буржуазии, то и буржуазии должны были быть сделаны уступки. В то время как князья, дворянство, попы и бюрократы делили между собой жирные куски добычи, буржуазии пришлось довольствоваться векселями на будущее, которые никогда не были оплачены и которые никто и не думал оплатить. А г. Руге, вместо того чтобы разобрать действительное, практическое содержание венских трактатов, попросту полагает, что эти пустые обещания, собственно, и являются

их внутренним содержанием, тогда как реакционная практика толкуется им лишь как злоупотребление!

Нужно действительно обладать изрядно благодушной натурой, чтобы спустя тридцать три года, после революций 1830 и 1848 гг. все еще верить в уплату по этим векселям и чтобы воображать, что сантиментальные фразы, в которые облечены были мнимые венские обещания, имеют еще какой-нибудь смысл в 1848 г.

Гражданин Руге в роли Дон-Кихота венских договоров!

В заключение г. Руге открывает собранию глубокую тайну: революции 1848 г. вызваны-де просто тем, что в 1846 г. нарушены были в Кракове договоры 1815 г. Предостережение для всех деспотов!

Короче говоря, гражданин Руге ни в чем не переменялся со времени нашей последней встречи с ним на литературном поприще. Все те же фразы, которые он затвердил и повторял с того самого времени, как играл роль привратника немецкой философии в «Галлеских» и «Немецких летописях»; все та же путаница, все та же неразбериха во взглядах, все то же недомыслие; все тот же талант преподносить пустые и нелепые мысли в торжественной форме; все тот же недостаток «знаний»; все те же притязания на одобрение немецкого филистера, который ничего подобного еще не слышал в своей жизни.

На этом мы заканчиваем нашу оценку польских дебатов. Останавливаться на г. Лёв из Познани и на других следующих за ним великих умах значило бы требовать слишком многого.

Все эти дебаты оставляют жалкое впечатление. Так много длинных речей и так мало содержания, так мало знакомства с обстоятельствами, так мало таланта! Самые неинтересные дебаты в прежней или нынешней французской палате или английской палате общин содержат больше ума, больше знания дела, больше действительного содержания, чем этот трехдневный обмен мнений по одному из самых интересных вопросов современной политики. Из этих прений можно и должно было многое сделать, а Национальное собрание из всего этого сделало пустую болтовню.

Воистину, никогда и нигде еще не заседало такое собрание, как это!

Решение известно. Завоевали три четверти Познани; завоевали не силой, не «немецким трудолюбием», не «плугом», а пустой болтовней, лживой статистикой и робкими постановлениями.

«Вы проглотили Польшу, но переварить ее — клянусь — вам не удастся!»

ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТИНСКАЯ ВОЙНА

ПЕРЕМИРИЕ С ДАНИЕЙ.

I.

Кельн, 21 июля.

Как известно нашим читателям, мы всегда с большим хладнокровием относились к войне с Данией. Мы столь же мало сочувствовали шумливому хвастовству националистов, как и бесконечным причитаниям шлезвиг-гольштинского морского горе-энтузиазма. Мы слишком хорошо знаем наше отечество, мы знали, что значит полагаться на Германию.

События полностью подтвердили нашу точку зрения. Беспрепятственное завоевание Шлезвига датчанами, обратное завоевание страны, поход в Ютландию, отступление к Шлею, вторичное завоевание герцогства до Кенигсау, — все это непонятное от начала до конца ведение войны ясно показало шлезвигцам, какой защиты можно ожидать от великой, революционной, сильной, единой и т. д. Германии, от якобы суверенного народа, сорокапятимиллионного народа. Но для того чтобы у них окончательно пропала охота заделаться немцами, чтобы «датское иго» показалось им несравненно милее «немецкой свободы», Пруссия от имени Германского Союза заключила соглашение о перемирии, текст которого мы даем сегодня в дословном переводе.

До сих пор, при заключении перемирий, существовал обычай, чтобы обе армии сохраняли занимаемые ими позиции, причем в крайнем случае между ними проводилась узкая нейтральная полоса. При заключении же настоящего перемирия, этого первого достижения «славы прусского оружия», победоносные пруссаки отступают на двадцать миль назад, от Кольдига по эту сторону Лауенбурга, в то время как разбитые датчане сохраняют свои позиции у Кольдига и оставляют только Альсен. Больше того. Как только перемирие прекращается, датчане снова возвращаются на позиции, которые они занимали 24 июня, т. е. без единого выстрела овладевают в северном Шлезвиге полосой в 6 — 7 миль, — полосой, из которой их *два раза* выбивали, — в то время как немцы могут продвинуться

только до Апенраде и его окрестностей. Так охраняется «честь немецкого оружия», а северному Шлезвигу, совершенно истощенному неоднократными передвижениями войск, приходится снова подвергнуться нашествию в пятый и шестой раз.

Но и этого еще мало. Часть Шлезвига даже во время перемирия будет занята датскими войсками. Шлезвиг, согласно ст. 8, будет оккупирован войсками, набранными в герцогстве, т. е. отчасти шлезвигскими солдатами, участвовавшими в движении, отчасти теми войсками, которые в то время несли гарнизонную службу в Дании, которые боролись в рядах датской армии против временного правительства, которыми командуют датские офицеры и которые во всех отношениях являются *датскими* войсками. Датские газеты точно таким же образом оценивают положение. «Несомненно, — говорит «*Faedrelandet*» 13 июля, — присутствие в герцогстве *надежных* шлезвигских войск значительно поднимет настроение народа, которое теперь, после испытанных бедствий войны, с силою повернется против тех, кто их вызвал».

И ко всему этому — еще шлезвиг-гольштинское движение! Датчане называют его *восстанием*, пруссаки *расправляются с ним как с восстанием*. Временное правительство, признанное Пруссией и Германским Союзом, безжалостно приносится в жертву. Все законы, постановления и т. д., изданные со времени установления шлезвигской независимости, теряют силу; отмененные же датские законы восстанавливаются. Коротко говоря, ответ на знаменитую ноту Вильденбруха, который Ауэрсвальд отказывался дать, находится здесь — в статье 7 проекта о перемирии. Все, что было революционного в движении, беспощадно уничтожается, и на место выдвинутого революцией правительства выступает легитимистское правительство, назначенное тремя легитимными князьями. Гольштинские и шлезвигские войска снова получают *датское командование* и датские фухтеля, гольштинские и шлезвигские морские суда остаются попрежнему «*dansk Eiendom*», несмотря на последние постановления временного правительства.

Предполагаемое же новое правительство венчает дело. Послушайте, что говорит «*Faedrelandet*»:

«Если мы в том ограниченном избирательном кругу, в котором избираются датские члены нового правительства, повидимому не рассчитываем встретить особого скопления опыта и энергии, ума и таланта, зато можно будет при организации правительства располагать подобранными пруссаками». Значит, еще ничто не потеряно. «Члены правительства должны безусловно выбираться из среды на-

селения герцогства, но никто не запрещает нам дать им секретарей и помощников из *уроженцев других местностей, не связанных в отношении местопребывания*. При выборе этих секретарей и советников можно не считаться с их происхождением и принимать во внимание только их таланты и способности. Весьма возможно, что эти лица окажут значительное влияние на дух и направление деятельности правительства. Можно надеяться, что даже *высокопоставленные датские чиновники* охотно займут эти места, несмотря на их подчиненное положение. При создавшихся обстоятельствах каждый добрый датчанин сочтет за честь занять подобную должность».

Итак, министерская газета предсказывает герцогствам, что они будут наводнены не только датскими войсками, но и датскими чиновниками. Полудатское правительство сделает своей резиденцией Рендсбург, на призванной территории Германского Союза.

Таковы выгоды перемирия для Шлезвига. Не меньшие преимущества получит и Германия. О допущении Шлезвига в Союз не упоминается ни одним словом, — наоборот, вследствие организации нового правительства постановление союзного правительства дезавуируется. Германский Союз выбирает для Гольштинии, датск король — *от Шлезвига*. Шлезвиг находится, следовательно, под датским началом, а не под немецким.

Эту датскую войну Германия могла бы вменить себе в большую заслугу, если бы она настояла на отмене зундских пошлин, этого пережитка старинного феодального разбоя. Немецкие приморские города, притесненные блокадой и захватом их кораблей, охотно еще долго переносили бы подобный гнет, если бы это привело к отмене зундских пошлин.

Правительства повсюду разглашали, что зундские пошлины будут отменены во что бы то ни стало. А что вышло из этого хвастовства? Англия и Россия требуют сохранения зундских пошлин, и послушная Германия, конечно, покоряется.

Само собою разумеется, что взамен возвращения кораблей будет возвращено все, что было реквизировано в Ютландии, — на том простом основании, что Германия достаточно богата, чтобы заплатить за свою славу.

Таковы результаты, которые правительство Ганземена обещает германскому народу в проекте о перемирии! Таковы плоды трехмесячной борьбы с крохотным народцем в полтора миллиона человек! Таковы результаты всего бахвальства нашей националистической печати, наших страшных пожирателей датчан!

Как слышно, перемирие не будет заключено. Генерал Врангель.

поддержанный Безелером, наотрез отказался его подписать, не взирая на все просьбы графа Пурталеса, представившего ему приказ в этом смысле от Ауэрсвальда, несмотря на неоднократные напоминания об его долге прусского генерала.

Врангель заявил, что он прежде всего подчиняется распоряжениям центральной германской власти, а последняя не даст своего согласия даже в случае, если армия не сохранит своих позиций и если временное правительство не останется до заключения мира.

Итак, прусский проект не будет выполнен. Но все же он интересен как доказательство того, насколько Пруссия, находясь во главе Германии, способна защищать ее честь и ее интересы.

II.

Кельн, 7 сентября.

«Что станется с Германией, если Пруссия не будет уже стоять во главе ее, если прусская армия не будет охранять честь Германии, если мощь и влияние Пруссии, как великой державы, уступят место фантастической власти иллюзорного германского центрального правительства!»

Так хвастливо заявляет прусская партия, партия героев, идущих с богом за короля и отечество, контр-революционное юнкерство Восточной Померании и Укермарка.

И вот Пруссия стояла во главе, Пруссия охраняла честь Германии в Шлезвиг-Гольштинии.

А каков был результат? После ряда легких, бесславных побед над слабым врагом, после войны, ведение которой тормозилось трусливой дипломатией, после постыдных отступлений перед разбитой армией, наконец — перемирие, столь оскорбительное для Германии, что даже прусский генерал нашел основание не подписать его.

Снова начались враждебные действия и переговоры. Блюститель империи дал прусскому правительству полномочия заключить договор о перемирии; эти полномочия не были контрассигнованы ни одним из имперских министров и потому не имели никакой законной силы. Оно признало первый договор о перемирии, но с следующими изменениями: 1) состав членов нового шлезвиг-гольштинского правительства должен быть созван еще до заключения перемирия «таким образом, чтобы можно было считать обеспеченным существование и действительное влияние нового правительства»; 2) все законы и распоряжения временного правительства, изданные до заключения перемирия, сохраняют полную силу; 3) все остающиеся в Шлезвиг-Гольштинии войска подчиняются власти германского верховного главнокомандующего.

Сравнивая эту инструкцию с условиями первого прусско-датского проекта, мы ясно увидим ее цель. Эти условия обеспечивают далеко не все то, что могла потребовать победоносная Германия;

но, уступая во многом формально, они спасают многое по существу.

Первое условие должно было гарантировать, что в новом правительстве шлезвиг-гольштинское (немецкое) направление будет иметь перевес над датским. Что же делает Пруссия? Она соглашается на то, чтобы глава датской партии в Шлезвиг-Гольштинии, Карл Мольтке, стал главой нового правительства, чтобы Дания имела в правительстве три голоса против двух шлезвиг-гольштинских.

Второе условие должно было означать признание если не самого временного правительства, признанного Союзным сеймом, то его прежней деятельности. Его постановления должны были сохранять силу. Что же делает Пруссия? Под тем предлогом, что Дания тоже отказывается от иллюзорных постановлений, издававшихся для обоих герцогств в Копенгагене и не имевших даже тени законности за пределами острова Альсена, — контр-революционная Пруссия соглашается уничтожить все постановления временного правительства.

Наконец, третье условие должно было означать временное признание единства обоих герцогств и их включения в состав Германии; подчинение всех остающихся в Шлезвиг-Гольштинии войск германскому верховному главнокомандующему должно было свести на нет попытки датчан контрабандным путем ввести в Шлезвиг опять шлезвигских уроженцев, служивших в датской армии. А Пруссия? Пруссия соглашается на то, чтобы шлезвигские войска были удалены от гольштинских, изъяты из-под власти германского главнокомандующего и просто переданы в распоряжение нового правительства, на три пятых датского.

Кроме того, Пруссия была уполномочена на заключение только трехмесячного перемирия (ст. 1 первоначального проекта), а заключила его собственной властью на семь месяцев; это значит, что она обеспечила датчанам перемирие в продолжение зимних месяцев, когда флот, эта главная сила датчан, неспособен к блокаде германских и шлезвигских берегов и когда мороз позволил немцам перейти по льду Малый Бельт, завоевать Фюнен и ограничить Данию одной Зеландией.

Словом, во всех трех пунктах Пруссия растоптала ногами свои полномочия. Почему же нет? Ведь они не были даже контрастированы! И разве господин Кампгаузен, посол Пруссии при центральном правительстве в своем письме от 2 сентября его «превосходительству» (!!) господину Гекшеру не говорил прямо, что прусское правительство «на основе этого полномочия считает себя в праве заключить договор без всяких ограничений»?

Но этого еще мало. Блюститель империи посылает «своего»

младшего статс-секретаря Макса Гагерна в Берлин, а оттуда в Шлезвиг, для наблюдения за переговорами. Он дает ему полномочия, опять-таки не контрассигнованные. Господин Гагерн, — мы не знаем, какой прием встретил он в Берлине, — приезжает в герцогство. Уполномоченные Пруссии для ведения переговоров находятся в Мальме. Он об этом ничего не знает. В Любеке происходит обмен ратификациями. Тогда господину Гагерну сообщают, что этот обмен уже произошел и теперь он может спокойно отправляться домой. Разумеется, неудачливому Гагерну с его неконтрассигнованными полномочиями не оставалось делать ничего другого, как вернуться в Франкфурт и жаловаться на печальную роль, которую он играл.

Так родилось славное перемирие, которое связывает немцам руки в лучшее для ведения войны время, уничтожает революционное правительство Шлезвиг-Гольштинии и демократическое Учредительное собрание, отменяет все декреты этого правительства, признанного Союзным сеймом, передает герцогства датскому правительству во главе с ненавистным Мольтке, вырывает шлезвигские отряды из их полков, освобождает их из-под власти германского верховного главнокомандующего и передает датскому правительству, которое по благоусмотрению может их распустить, — перемирие, принуждающее немецкие войска отступить от Кенигсау до Ганновера и Мекленбурга и передающее Лауенбург в руки старого реакционного датского правительства.

Не только Шлезвиг-Гольштиния, но и вся Германия, за исключением старо-прусских провинций, возмущена этим позорным перемирием. А имперское министерство, которому господин Кампгаузен сообщил о перемирии, сперва испугалось, но, в конце концов, все же приняло его на себя. Что было ему делать? Повидимому, господин Кампгаузен прибег к угрозам, а для трусливого контр-революционного имперского министерства официальная Пруссия все еще представляет силу. Но затем дело дошло до Национального собрания. Необходимо было его согласие, и, при всей примерности этого собрания, его «превосходительство» господин Гекшер все-таки стеснялся выступить с этим документом. Он огласил его, сопровождая тысячами реверансов и унижительными просьбами сохранить спокойствие и умеренность. Последовала всеобщая буря. Даже правый центр, даже часть правых и сам господин Дальман были охвачены сильнейшим гневом. Комиссиям было дано поручение представить доклад в течение 24 часов. На основании этого доклада решено было немедленно приостановить отступление войск. Решение о самом перемирии еще не принято.

Наконец, Национальное собрание приняло энергичное решение, хотя министерство заявило, что оно подаст в отставку, если такое решение пройдет. Это решение означает не отмену перемирия, а его нарушение. В герцогствах оно вызовет не только возбуждение, но открытое сопротивление проведению перемирия и новому правительству; оно приведет к новым осложнениям.

Мы, однако, питаем мало надежды на то, чтобы собрание отвергло само перемирие. Достаточно будет господину Радовицу перетянуть к себе только девять голосов из центра, и он получит большинство. И разве ему это не удастся сделать в течение тех нескольких дней, пока дело будет решаться?

Если собрание решит сохранить перемирие в силе, мы увидим в Шлезвиг-Гольштинии провозглашение республики и гражданскую войну, подчинение центрального правительства Пруссии, всеобщее презрение всей Европы к центральному правительству и к собранию и вместе с тем множество осложнений, достаточных для того, чтобы раздавить всякое будущее имперское министерство под тяжестью неразрешимых трудностей.

Если оно постановит отменить перемирие, мы увидим европейскую войну, разрыв между Пруссией и Германией, новые революции, распад Пруссии и действительное единство Германии. Пусть собрание не даст себя утратить: ведь не менее двух третей Пруссии стоит на стороне Германии.

Но разве представители буржуазии во Франкфурте не согласятся скорее проглотить любое оскорбление и отдаться в рабство Пруссии, чем осмелиться на новую европейско-революционную войну и подвергнуть себя новым бурям, которые могут угрожать их собственному классовому господству в Германии?

Мы думаем, что дело будет именно так. Слишком сильна трусость буржуазной природы. Мы не верим, что Франкфуртское собрание спасет в Шлезвиг-Гольштинии честь Германии, уже поруганную в Польше.

III.

Кельн, 9 сентября.

Мы еще раз возвращаемся к перемирию с Данией: обстоятельность Национального собрания, которое, вместо того чтобы быстро и энергично принять решение и добиться назначения новых министров, позволяет комиссиям совещаться не торопясь и предоставляет воле божией разрешение министерского кризиса, — эта обстоятельность, весьма плохо прикрывающая «недостаток мужества у наших добрых знакомцев», дает нам для этого достаточно времени.

Война в Италии была всегда непопулярна у демократической партии и даже у венских демократов давно уже потеряла свою популярность. Бурю общественного недовольства по поводу разрушительной войны в Познани прусское правительство могло отсрочить лишь при помощи фальсификации и лжи, и то только на несколько недель. Уличная борьба в Праге, вопреки всем стараниям национальной прессы, будила в народе симпатии только к побежденным, а не к победителям. Война же в Шлезвиг-Гольштинии была с самого начала популярна и среди народа. Чем же это объясняется?

В то время как в Италии, Познани и Праге немцы боролись против революции, в Шлезвиг-Гольштинии они поддерживали революцию. Война с Данией, это — первая революционная война, которую ведет Германия. И потому мы, отнюдь не обнаруживая этим ни малейшего родства душ с энтузиазмом буржуазных квасных патриотов, с самого начала высказались за энергичное ведение войны с Данией.

Печально для Германии, что ее первая революционная война сделалась наиболее комической из войн, которые когда-либо велись!

Перейдем к существу дела. Датчане представляют народ, находящийся в самой неограниченной коммерческой, промышленной, политической и литературной зависимости от Германии. Известно, что фактической столицей Дании является не Копенгаген, а Гамбург, что датское правительство целый год проделывало все эксперименты с Соединенным ландтагом по примеру прусского правительства,

погибшего на баррикадах; что Дания получает все свои литературные средства, точно так же как и материальные, через Германию, и что датская литература — за исключением Гольберга — представляет бледную копию немецкой литературы.

Как ни бессильна была издавна Германия, но она может чувствовать удовлетворение, что скандинавские нации, и в частности Дания, попали под ее влияние, что по сравнению с ними она была даже революционной и прогрессивною странюю.

Вы хотите доказательств? Читайте полемику, разгоревшуюся между различными скандинавскими нациями со времени появления идеи «скандинавизма». Скандинавизм заключается в увлечении жестокою, грязною, пиратскою, древне-северною национальностью, тою глубиною натуры, которая в состоянии выразить избыток своих мыслей и чувств не в словах, а только в делах, а именно в грубом обращении с женщинами, в постоянном пьянстве и в берсеркерской ярости, перемежающейся со слезливой сентиментальностью.

Скандинавизм и теория шлезвиг-гольштинского племенного родства появились одновременно в землях датского короля. Они взаимно связаны: они вызвали друг друга, боролись один с другим и тем отстояли свое существование.

Скандинавизм был той формой, в которой датчане апеллировали к поддержке шведов и норвежцев. Но случилось то, что бывает всегда у христианско-германской нации: возник немедленно спор о том, кто истинный христиано-германец, кто истинный скандинавец. Швед объявил датчан «онемеченными» и выродившимися, норвежец объявил таковыми же шведов и датчан, а исландец всех троих. Конечно, чем менее нация культурна и чем ближе ее нравы и быт к древне-северным, тем более «скандинавским» характером она отличается.

Перед нами лежит газета «Morgenblad» из Христиании от 18 ноября 1846 года. В статье этой милой газетки мы находим следующие веселые места о скандинавизме.

Изобразив весь скандинавизм как попытку движения, вызванную только датчанами в их интересах, она говорит о датчанах: «Что общего у этого веселого, жизнерадостного народа с древним суровым и грустным миром викингов (*med den gamle alvorlige og vemodfulde Kjæmpeverden*)? Как может эта нация со своим, — как признает даже один датский писатель, — мягким и нежным характером думать о родстве своем с древней эпохой грубых, сильных и полных энергии мужей? И как могут эти люди с южно-мягким выговором воображать, что они говорят на северном языке? И хотя характер-

ная черта шведской и нашей нации, как и древних жителей севера, состоит в том, что чувства уходят глубоко внутрь души, не проявляясь во-вне, тем не менее эти чувствительные и сердечные люди, которых так легко привести в изумление или в движение, на которых так легко можно повлиять, которые так быстро и ясно обнаруживают своим внешним видом движения души, — эти люди верят, что они отлиты по северной форме, что они родственны по натуре обоим другим скандинавским нациям!»

«Morgenblad» объясняет это вырождение датчан их связью с Германией и распространением в Дании немецкого влияния. Правда, немцы «потеряли свое самое священное достояние, свое национальное лицо; но как ни слаба и бледна немецкая национальность, в мире существует другая национальность, еще более слабая и бледная, а именно датская. В то время как в Эльзасе, Ваадте и на славянской границе немецкий язык вытесняется (! — тогда заслуги «нетцских братьев» оставались еще в тени), — на датской границе он сделал огромные успехи». Теперь датчанам нужно противопоставить немцам свою национальность, и для этой цели они изобрели скандинавизм; датская национальность была неспособна к сопротивлению, «ибо, как сказано, датская нация хотя и не переняла немецкого языка, но по существу была онемечена. Автор сам читал в одной датской газете признание того, что датская национальность не отличается существенным образом от немецкой». Так пишет «Morgenblad». Конечно, нельзя отрицать, что датчане представляют полуцивилизованную нацию. Несчастные датчане!

По тому же праву, по которому французы забрали Фландрию, Лотарингию и Эльзас и раньше или позже возьмут Бельгию, — по тому же праву Германия забирает Шлезвиг: это — право цивилизации по отношению к варварству, прогресса — по отношению к застою. И если даже, — что еще очень сомнительно, — договоры говорили бы в пользу Дании, то это право значит больше, чем все договоры, ибо это — право исторического развития.

Пока шлезвиг-гольштинское движение сохраняло характер чисто буржуазной, мирной, легальной, филистерской агитации, оно возбуждало энтузиазм только у благонамеренных мелких буржуа. Поэтому, когда перед февральской революцией теперешний датский король, при своем восшествии на престол, обещал всему своему королевству свободную конституцию с равным числом депутатов для герцогств и для Дании, а герцогства возражали против этого, мелкобуржуазный местный характер шлезвиг-гольштинского движения неприятно выступил вперед. Речь шла тогда не столько о

присоединении к Германии — где была тогда Германия? — сколько об отделении от Дании и учреждении маленького самостоятельного государства.

Но ворвалась революция и придала движению другой характер. Шлезвиг-гольштинская партия должна была либо погибнуть, либо сама решиться на революцию.

Она решилась на революцию и имела полное право: датские обещания, очень благоприятные до революции, сделались недостаточными после революции; присоединение к Германии, прежде представлявшее пустую фразу, могло теперь получить значение; Германия пережила революцию, и Дания, как всегда, повторяла ее на провинциальный манер.

Шлезвиг-гольштинская революция и вышедшее из нее временное правительство вначале имели сами весьма филистерский характер. Но война скоро заставила их перейти на демократический путь. Это правительство, в котором сидят только старо-либеральные господа, прежние единомышленники Велькера, Гагерна и Кампгаузена, дало Шлезвиг-Гольштинии более демократические законы, чем в каком-либо другом германском государстве. Кильское областное собрание — единственное из всех немецких собраний, основанное не только на всеобщем голосовании, но и на прямых выборах. Предложенный ему правительством проект конституции — самый демократический из составленных когда-либо на немецком языке. Шлезвиг-Гольштиния, до сих пор политически тащившаяся на буксире у Германии, благодаря революционной войне неожиданно получила более прогрессивные учреждения, чем вся остальная Германия.

Война, которую мы ведем в Шлезвиг-Гольштинии, является, следовательно, истинно-революционной войной.

И кто стоял с самого начала на стороне Дании? Три самых контр-революционных силы Европы: Россия, Англия и прусское правительство. Пока возможно было, прусское правительство вело войну только напоказ: достаточно вспомнить ноту Вильденбруха, готовность, с которою прусское правительство, по представлению Англии и России, отдало приказ об отступлении из Ютландии, и, наконец, двукратное перемирие! Пруссия, Англия и Россия — вот три державы, которым больше всего приходится бояться германской революции и ее первого результата — единства Германии: Пруссия, — ибо благодаря этому она перестанет существовать, Англия, — ибо германский рынок перестанет быть для нее предметом эксплуатации, Россия, — ибо благодаря этому демократия продвинется не только

до Вислы, но даже до Двины и Днепра. Пруссия, Англия и Россия составили заговор против Шлезвиг-Гольштинии, против Германии и против революции.

Война, которая, быть может, будет вызвана теперь решениями во Франкфурте, была бы войной Германии против Пруссии, Англии и России. И именно такая война нужна засыпающему германскому движению, война против трех великих контр-революционных держав, которая действительно растворит Пруссию в Германии, сделает безусловно необходимым союз с Польшей, немедленно приведет к освобождению Италии, — война, которая будет направлена как раз против старых контр-революционных союзников Германии эпохи 1792 — 1815 гг., война, которая поставит «отечество в опасность» и именно тем спасет его, так как она поставит победу Германии в зависимость от победы демократии.

Пусть буржуа и юнкера во Франкфурте не питают никаких иллюзий: если они решат отвергнуть перемирие, они решат свое собственное падение, как в первую революцию жирондисты, участвовавшие в событиях 10 августа и голосовавшие за казнь бывшего короля, тем самым подготовили свое собственное падение 31 мая. Если, напротив, они примут перемирие, то также решат свое собственное падение: они отдадут себя под власть Пруссии, и больше им нечего будет сказать. Пусть они сделают выбор.

Вероятно, известие о падении Ганземана прибыло во Франкфурт еще до голосования. Возможно, что оно существенно повлияет на голосование, особенно потому, что, как известно, ожидаемое министерство Вальдека и Родбертуса признает суверенитет Национального собрания.

Мы еще увидим. Но мы повторяем: честь Германии находится в плохих руках!

РАТИФИКАЦИЯ ПЕРЕМИРИЯ.

Кельн, 19 сентября.

Германское Национальное собрание ратифицировало перемирие. Мы себя не обманывали: «Честь Германии находится в плохих руках».

Голосование произошло в суматохе, в полной темноте, причем на депутатские скамьи проникли посторонние, дипломаты и др. Большинство в два голоса заставило собрание голосовать одновременно по двум совершенно различным пунктам. Большинство в 21 голос перемирие было принято, Шлезвиг-Гольштиния принесена в жертву, попорана честь Германии и решено растворить Германию в Пруссии.

Ни в каком другом вопросе голос народа не высказался столь решительно. Ни в одном вопросе господа из правой не обнаруживали так открыто, что они выступают за дело, которого *нельзя защищать*. Ни в одном вопросе интересы Германии не были столь бесспорны, столь ясны, как в этом. Национальное собрание вынесло решение: оно произнесло себе и созданной им так называемой центральной власти *смертный приговор*. Если бы Германия имела своего Кромвеля, последний не преминул бы вбежать и крикнуть: «Вы не парламент! Именем бога, убирайтесь отсюда».

Говорят о том, что левая намерена сложить полномочия. О, если бы она обладала мужеством, эта бедная осмеянная левая, испытывавшая на себе кулаки большинства и вдобавок за это же призванная благородным Гагерном к порядку! Никогда еще меньшинство не третировалось так бесстыдно и последовательно, как эта франкфуртская левая третировается благородным Гагерном и 250 героями его большинства. Да, если бы только она обладала мужеством!

Из-за недостатка мужества гибнет все германское движение. Контр-революции в такой же мере нехватает мужества для решительных ударов, как и революционной партии. Вся Германия — как правая, так и левая — знает, что нынешнее движение должно вести к жестоким столкновениям, к кровавым битвам — одинаково как для его подавления, так и для положительного его завершения. И вместо того чтобы мужественно идти навстречу этим неотвратимым

битвам, вместо того чтобы несколькими быстрыми, решающими ударами привести их к желанному концу, обе партии — и партия контр-революции, и партия революции — заключают форменную сделку с целью отсрочить эти битвы на возможно более долгий срок. И именно эти постоянные мелкие уловки, эти уступочки и паллиативы, эти посреднические попытки повинны в том, что невыносимость и неопределенность политического положения повсюду привели к бесчисленным сепаратным восстаниям, которым будет положен конец лишь кровью и сужением завоеванных прав. Именно эта боязнь борьбы вызывает тысячи мелких битв, придает 1848 году его неслыханно кровавый характер и запутывает положение борющихся партий настолько, что конечная битва неминуемо будет особенно жестокой и опустошительной. Но «мужества нехватает нашим добрым знакомцам»!

Этой решающей битвы за централизацию и демократическую организацию Германии никак нельзя избежать. Вопреки всяческому загушевыванию и посредническим попыткам, битва эта с каждым днем все более приближается. Запутанность положения в Вене, Берлине и Франкфурте сама толкает к решению. И если все должно рухнуть о германскую трусость и нерешительность, тогда нас спасет Франция. В Париже зреют плоды июньской победы: Кавеньяка и его «чистых республиканцев» одолевают в Национальном собрании, в прессе и в клубах роялисты. Легитимистский юг угрожает всеобщим восстанием. Кавеньяк должен прибегнуть к революционному приему Ледрю-Роллена — к департаментским комиссарам с чрезвычайными полномочиями. Лишь с большим трудом устоял Кавеньяк со своим правительством в субботу в палате. Еще одно такое голосование, — и большинство перейдет к Тьеру, Барро и К^о, — к людям, в интересах которых одержана была июньская победа. Кавеньяк будет брошен в объятия красной республики, и борьба за спасение республики разгорится.

Если Германия будет оставаться в нерешительности, эта новая фаза французской революции явится сигналом нового взрыва открытой борьбы в Германии, — борьбы, которая, можно надеяться, поведет нас несколько дальше и освободит Германию, по меньшей мере, от традиционных пут прошлого.

ПАДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ГАНЗЕМАНА

ПАДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ДЕЛА.

Кельн, 8 сентября, 10 час. вечера.

Министерство дела свергнуто. Оно много раз «спотыкалось» и держалось после этого только благодаря своему бесстыдству. Наконец, все возраставшие притязания министерства показали собранию, что именно являлось тайной его существования.

На вчерашнем заседании согласительного собрания обсуждалось *предложение Штейна*. Предложение гласило:

«Неотложной обязанностью государственного министерства должно быть немедленное опубликование декрета от 9 августа для успокоения страны, а также во избежание разрыва с собранием».

Министерство заявило, что оно не пойдет ни на какие уступки и не желает никакого посредничества.

Левые заявили, что они уйдут, если собрание откажется от своего постановления от 9 августа.

На вчерашнем заседании, после ничего не говорящей речи премьер-министра, депутат *Унру* внес следующую поправку:

«Принимая во внимание, что постановление от 9 августа имеет целью осуществить не принудительное выведывание образа мыслей граждан, не нажим на их совесть, а лишь необходимое в конституционном государстве согласие между народом и армией и предупреждение реакционных происков, а также дальнейших конфликтов между гражданами, принадлежащими к армии, и штатскими гражданами, —

«собрание заявляет,

«что министерство потеряет доверие страны, если будет дольше медлить с опубликованием соответствующего постановлению от 9 августа приказа по армии».

Этой поправке *левого центра* была противопоставлена поправка *правого центра*, внесенная депутатом *Тамнау*.

Она гласит:

«Национальное собрание благоволит объявить следующее: Национальное собрание имело в виду в своем постановлении от 9 ав-

густа сего года обратиться к командному составу армии с таким же приказом, с каким министерство финансов и министерство внутренних дел обратились к окружным управлениям 15 июля. Собрание не имеет в виду заставлять офицеров армии излагать их политические убеждения или обязать военного министра предписать буквальное исполнение приказа. *Оно считает необходимым в интересах гражданского мира и нового конституционного государственного строя издание приказа, предостерегающего офицеров армии как от реакционных, так и от республиканских стремлений.*

После длившихся некоторое время прений «*благородный*» Шреккенштейн заявляет от имени министерства, что он *согласен* с поправкой Тамнау. И это после гордого заверения, что министерство не желает никакого посредничества!

После того как прения протянулись еще некоторое время и даже г. Мильде предостерегал собрание, чтобы оно не превратилось в *революционный конвент* (опасения г. Мильде совершенно излишни!), при невероятном скоплении народа у зала заседания происходит голосование.

Именное голосование:

Поправка Унру отклоняется 320 голосами против 38.

Поправка Тамнау отклоняется 210 голосами против 156.

Предложение Штейна принимается 219 голосами против 152. Большинство против министерства в *67 голосов.*

Один из наших берлинских корреспондентов сообщает:

«Сегодня царило большое волнение в городе; тысячи людей окружили здание заседаний собрания, так что, когда председатель огласил совершенно лойяльный адрес гражданскому ополчению, г. Рейхеншпергер внес предложение перенести заседания собрания в другой город, ибо Берлин становится опасным.

«Когда до собравшегося народа дошла весть о свержении министерства, началось неописуемое ликование, и, когда появились левые депутаты, их проводили непрерывным «ура!» до самых Лип. Но когда показался депутат Штейн (внесший предложение, принятое сегодняшним голосованием), энтузиазм достиг своего крайнего предела. Несколько человек из толпы сейчас же посадили его себе на плечи и с триумфом донесли его до дверей его отеля на Таубенштрассе. Тысячи людей присоединялись к этому шествию и на площади Оперы надрывали себе глотки непрерывным криком «ура!» Никогда еще не видели здесь такого проявления радости. Чем больше было беспокойства за успех, тем поразительнее блестящая победа.

«Против министерства голосовали: левые, левый центр (партия

Родбертуса-Берга) и центр (Унру, Дункер, Рош). Председатель по всем трем пунктам голосовал за министерство. Министерство Вальдек-Родбертус может после этого рассчитывать на абсолютное большинство».

Следовательно, мы будем иметь удовольствие видеть возвращение через несколько дней инициатора принудительного займа, министра дела, *«его превосходительства»* господина Ганземана, к своему «скромному прошлому», и он будет иметь время размышлять о Дюшателе и Пинто.

Кампгаузен великолепно провалился. Г-н Ганземан, который привел его к падению своими интригами, нашел печальный конец. Бедный Ганземан-Пинто!

КРИЗИС И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ.

I.

Кельн, 11 сентября.

Прочтите помещаемые ниже наши берлинские корреспонденции и скажите, не предсказали ли мы совершенно точно развитие министерского кризиса. Старые министры уходят в отставку; план министерства, состоящий в том, чтобы продержаться путем роспуска согласительного собрания, при помощи военных законов и пушек, кажется, не нашел отклика у камарильи. Укермаркское юнкерство горит жаждой конфликта с народом, повторения парижских июньских дней на улицах Берлина. Но оно никогда не будет биться за министерство Ганземана, — оно будет биться за *министерство прусского принца*. Призываются *Радовиц*, *Финке* и им подобные надежные люди, чуждые Берлинскому собранию, несколько с ним не считающиеся. Сливки прусского и вестфальского дворянства, объединенные для виду с почтенными буржуа из крайних правых, с Беккератом и присными, которым поручат провайческие торговые дела государства, — таково министерство прусского принца, которым нас собираются осчастливить. А между тем распространяются сотни слухов, — может быть, будет призван Вальдек или Родбертус, — вводится в заблуждение общественное мнение. Пока же ведутся военные приготовления к открытому выступлению, — когда придет время.

Надвигается решительная борьба. Одновременный кризис во Франкфурте и Берлине, последние постановления обоих собраний заставляют контр-революцию дать решающий бой. Если в Берлине осмелятся растоптать конституционный принцип господства большинства, если против 219 голосов большинства будет выставлено двойное количество пушек, если не только в Берлине, но и во Франкфурте осмелятся насмеяться над большинством, составив министерство, неприемлемое для обоих собраний, — *если так провоцируют гражданскую войну между Германией и Пруссией, то демократы знают, что им нужно делать.*

II.

Кельн, 12 сентября.

В то время как известие о новом имперском министерстве, которое мы вчера сообщили, подтверждается также с других сторон и мы, возможно, еще сегодня днем получим известие об его окончательном сформировании, в Берлине продолжается министерский кризис. Кризис может быть разрешен только одним из двух путей: либо министерство Вальдека, признание германского Национального собрания, признание суверенитета народа; либо министерство Радовица-Финке, роспуск Берлинского собрания, уничтожение завоеваний революции, мнимый конституционализм или даже Соединенный ландтаг.

Не скроем от себя: конфликт, вспыхнувший в Берлине, — конфликт не между соглашателями и министрами, а между собранием, впервые выступающим в качестве учредительного, и короной. Все зависит от того, хватит ли смелости распустить собрание или нет.

Но имеет ли корона право распустить собрание? Конечно, в конституционных государствах корона, в случае конфликта, имеет право распустить законодательные палаты, созданные на основе конституции, и путем новых выборов апеллировать к народу.

Является ли Берлинское собрание конституционной, законодательной палатой? Нет. Оно создано для «соглашения прусской государственной конституции с короной» не на основе конституции, а на основе революции. Свой мандат оно получило отнюдь не от короны или ответственных перед нею министров, а от своих избирателей и от себя самого. Собрание было суверенно как законное выражение революции, и мандат, изготовленный для него господином Кампгаузеном совместно с Соединенным ландтагом в виде избирательного закона 8 апреля, представлял только благочестивое пожелание, судьбу которого должно было решить собрание.

Вначале собрание более или менее восприняло теорию соглашения. Оно увидело, как обманывают его при этом министры и камарилья. Наконец, оно совершило суверенный акт, выступило на миг

в качестве учредительного, а не согласительного собрания. Будучи суверенным для Пруссии собранием, оно имело полное право на это.

Но суверенное собрание никем не может быть распущено и ничьим приказам не подчинено.

Но даже в качестве собрания, созванного для соглашения, даже по теории самого господина Кампгаузена, оно равноправно с короной. Обе стороны заключают государственный договор, обе стороны имеют равное участие в суверенитете, — такова теория 8 апреля, теория Кампгаузена-Ганземана, т.е. официальная теория, признанная самою короною.

Но если собрание *равноправно* с короной, *то корона не имеет никакого права распустить собрание*. В противном случае собрание имело бы такое же *право низложить короля*.

Итак, роспуск собрания означал бы государственный переворот. А как отвечают на государственный переворот, показали нам события 29 июля 1830 г. и 24 февраля 1848 г.

Скажут, что корона может опять апеллировать к тем же избирателям. Но кто не знает, что сегодня избиратели выбрали бы совсем другое собрание, собрание которое гораздо меньше церемонилось бы с короной? Все знают, что после роспуска данного собрания возможна только апелляция к другим избирателям, чем избиратели 8 апреля, и невозможны никакие выборы, кроме выборов в обстановке тирании сабли. Не будем поэтому строить себе никаких иллюзий.

Если собрание победит и добьется левого министерства, то сила короны, рядом с собранием, будет сломлена, король будет играть только роль платного слуги народа, и мы опять переживем день 19 марта, если только министерство Вальдека не предаст нас, как многие министерства до него.

Если победит корона и установит министерство принца прусского, собрание будет распущено, право собраний подавлено, пресса скована, будет издан цензовый избирательный закон, и даже, возможно, как уже было сказано, еще раз всплывет Соединенный ландтаг, — все это под охраной военной диктатуры, пушек и штыков.

Какая из этих двух сторон победит, будет зависеть от поведения народа и, в частности, от поведения демократической партии. Демократы должны сделать выбор.

Мы переживаем 25 июля. Кто осмелится издать ордонансы, которые куются теперь в Потсдаме? Будут ли провоцировать народ, чтобы он в один день проделал скачок от 26 июля до 24 февраля?

Конечно, нет недостатка в доброй воле, но мужество, — где мужество?

III.

Кельн, 13 сентября.

Кризис в Берлине сделал шаг вперед: *конфликт с короной*, который вчера еще можно было только отметить как неизбежный, *уже действительно наступил*.

Наши читатели найдут ниже ответ короля на просьбу министров об отставке. Благодаря этому письму на передний план выступает сама корона, — она становится на сторону министров и противопоставляет себя собранию.

Корона идет еще дальше: она образует министерство вне собрания, она призывает *Беккерата*, который во Франкфурте занимает место на крайней правой и который, как все заранее знают, в Берлине ни в каком случае не может рассчитывать на большинство.

Послание короля контрассигновано господином *Ауэрсвальдом*. Пусть же Ауэрсвальд несет ответственность за то, что выдвигает в такой форме вперед корону, чтобы прикрыть свое позорное отступление, что он в одно и то же время перед палатой пытается укрыться за конституционный принцип и тут же топчет этот конституционный принцип ногами, *компрометируя корону и толкая к республике*.

Конституционный принцип! — зывают министры. Конституционный принцип! — зывает правая. Конституционный принцип! — глухо стонет эхо «Кельнской газеты».

«Конституционный принцип!» Неужели эти господа действительно так глупы, чтобы поверить, будто из бурь 1848 года, из надвигающейся с каждым днем угрозы крушения всех исторически отживших учреждений можно вывести немецкий народ при помощи изъеденного червями деления властей по Монтескье-Делольму, при помощи затасканных фраз и давно разгаданных фикций!

«Конституционный принцип!» Но именно эти господа, любой ценой желающие спасти этот конституционный принцип, должны понять прежде всего, что при том провизорном состоянии, в каком мы находимся, спасти его можно только энергией.

«Конституционный принцип!» Но разве голосование Берлинского

собрания, разве столкновения между Потсдамом и Франкфуртом, разве беспорядки, реакционные попытки, провокационные деяния солдатчины не показали уже давно, что мы, вопреки всяким фразам, стоим все еще на *революционной* почве, что фикция, будто мы стоим уже на почве *конституированной*, законченной конституционной монархии, ведет только к коллизиям, которые сейчас уже привели «конституционный принцип» на край пропасти?

Всякое временное состояние государства, создающееся после революции, требует диктатуры — и диктатуры энергичной. С самого начала мы упрекали Кампгаузена именно в том, что он не действовал диктаторски, что он не сразу разбил и устранил пережитки старых учреждений. Таким образом, пока господин Кампгаузен убаюкивал себя конституционными бреднями, побежденная партия укрепляла свои позиции среди бюрократии и в армии и даже решалась временами на открытую борьбу. Собрание было созвано, чтобы согласовать конституцию. Оно выступало как равноправная с короной сторона. Две равноправные власти при временном государственном порядке! Именно разделение властей, при помощи которого господин Кампгаузен пытался «спасти свободу», именно это деление власти при временном порядке должно было вести к столкновениям. За спиной короны таилась контр-революционная камарилья дворянства, военщины и бюрократии. За большинством собрания стояла буржуазия. Министерство старалось посредничать. Но оно было слишком слабо, чтобы с решительностью отстаивать интересы буржуазии и крестьян и одним ударом свергнуть власть дворянства, бюрократии и военного командования; было слишком неспособно, чтобы вообще не задевать буржуазию своими финансовыми мероприятиями. И оно достигло только того, что сделалось неприемлемым для всех партий и привело к тем самым столкновениям, которых хотело избежать.

Во всяком неконституированном состоянии государства решающее значение имеет не тот или иной принцип, а только *salut public*, общественное благо. Министерство могло бы предупредить конфликт между собранием и короной только тем, что руководилось бы лишь принципом общественного блага, не останавливаясь даже перед опасностью *самому* вступить в конфликт с короной. Но министерство предпочло сделать себя «приемлемым» в Потсдаме. Оно никогда не колебалось применять *mesures du salut public* (меры общественного спасения) и всякие диктаторские меры против демократов. Чем же другим было применение старых законов к политическим преступлениям, даже после того как Меркер уже признал, что эти статьи зем-

ского права должны быть отменены? Что иное представляли собою массовые аресты во всех частях королевства?

Зато по отношению к контр-революции министерство весьма остерегалось руководствоваться соображениями общественного спасения!

И именно благодаря этой инертности министерства в отношении к контр-революции, которая с каждым днем становилась все более угрожающей, собрание оказалось вынужденным *само диктовать* меры общественного спасения. Если представляемая министрами корона была слишком слаба, собрание должно было само выступить. Оно совершило это, приняв свое постановление от 9 августа. Оно сделало это еще в весьма слабой форме, — оно сделало министрам только предостережение. Министры не обратили на это никакого внимания.

Да и как они могли бы согласиться с этим! Постановление от 9 августа попрало конституционный принцип, — оно является вмешательством законодательной власти в область исполнительной власти, оно уничтожает столь необходимые в интересах свободы разделение и взаимный контроль властей, оно превращает согласительное собрание в *национальный конвент!*

И вот ураганный огонь угроз, громовый призыв к страху мелких буржуа, широкая перспектива царства террора с гильотиной, с прогрессивным налогом, с конфискацией и красным знаменем.

Берлинское собрание — конвент! Какая ирония!

Но эти господа не совсем неправы. Если правительство будет и впредь идти тем же путем, мы довольно скоро будем иметь конвент — и не только для Пруссии, но и для всей Германии — конвент, который должен будет всеми средствами подавить гражданскую войну со стороны наших двадцати Вандей и ликвидировать неотвратимую войну с Россией. А пока, разумеется, мы имеем лишь пародию на Конституанту!

Но как же господа министры, апеллирующие к конституционному принципу, сами соблюдали этот принцип?

9 августа они дали собранию спокойно разойтись с уверенностью, что министры его постановление выполнят. Они и не думали сообщить собранию о своем отрицательном отношении к постановлению, а еще меньше думали они подавать в отставку.

Министры раздумывают целый месяц, и, наконец, когда надвигается целый ряд запросов, они коротко сообщают собранию, что они, само собой разумеется, постановления осуществлять не станут.

Когда же в ответ на это собрание предписывает министрам

постановление выполнить, они прячутся за спину короны, вызывают разрыв между короной и собранием и толкают таким образом к республике.

И эти господа толкуют еще о конституционном принципе!

Резюмируем:

Коллизия, неотвратимая в переходный период между двумя равноправными властями, разразилась. Министерство не умело править достаточно энергично; оно не принимало необходимых в интересах общественного спасения мероприятий. Собрание только выполняло свой долг, когда требовало от министерства, чтобы оно исполнило свои обязанности. Министерство съязвляет это оскорблением короны и еще больше компрометирует корону в момент своего ухода. Корона и собрание стоят друг против друга. «Соглашение» привело к разрыву, к конфликту. Решать, может быть, будет оружие.

Победит тот, у кого больше мужества и выдержки.

IV.

Кельн, 15 сентября.

Министерский кризис опять вступил в новую стадию. Не благодаря прибытию и напрасным стараниям неприемлемого господина Беккерата, а благодаря *военному возмущению в Потсдаме и Науэне*. Конфликт между демократией и аристократией разразился *в среде самой гвардии*: солдаты усматривают в решении собрания от 7 числа свое освобождение от тирании офицерства, шлют собранию благодарственные адреса и приветствуют его.

Этим вырван меч из рук контр-революции. Теперь *не* посмеют распустить собрание. А раз на это пойти нельзя, *не остается* ничего иного, как уступить, провести постановление собрания и составить министерство Вальдека.

Возмущение солдат в Потсдаме, возможно, избавит нас от необходимости революции.

СВОБОДА ДЕБАТОВ В БЕРЛИНЕ.

Кельн, 16 сентября.

С начала кризиса контр-революционная пресса продолжает утверждать, что Берлинское собрание несвободно в обсуждении вопросов. В частности, хорошо известный корреспондент «Кельнской газеты», выполняющий свою должность лишь «временно, впредь до назначения преемника», с нескрываемым страхом сообщил о «8 000—10 000 клубных молодцов», которые в каштановой роще «морально» поддерживают своих друзей из левой фракции. Фоссова газета, Шпенерова и другие подняли подобные же жалобы, а господин Рейхеншпергер даже прямо предложил 7-го сего месяца перенести собрание куда-нибудь из Берлина (например, в Шарлоттенбург).

«Berliner Zeitungshalle» напечатала длинную статью для опровержения этих обвинений. Она заявляет, что значительное большинство на стороне левых по сравнению с прежним колеблющимся поведением собрания отнюдь не свидетельствует о непоследовательности. Можно доказать, «что голосование 7 числа даже со стороны депутатов, прежде голосовавших всегда с министрами, могло не противоречить их прежнему поведению и, с точки зрения этих депутатов, даже находиться в полном согласии с их прежним поведением...» Депутаты, перешедшие из центра, «жили в заблуждении: они представляли себе дело таким образом, что министры суть исполнители народной воли; в стремлении министров восстановить спокойствие и порядок они видели выражение своей собственной воли, воли депутатов большинства, и не замечали, что министры лишь тогда допускают волю народа, когда она не противоречит воле короны, но не тогда, когда противопоставляет себя ей».

Так «Zeitungshalle» «объясняет» удивительный факт неожиданной перемены фронта столь многих депутатов изменением их «представлений» и «заблуждений». Невозможно придать делу более невинный вид.

Газета, однако, признает, что запугивания имели место. Но, полагает она, «если некоторые внешние влияния и оказали действие,

то они только отчасти уравнивали влияние обманных уверений и соблазнительных предложений со стороны министерства и тем дали многим слабым и несамостоятельным депутатам возможность следовать... естественному инстинкту жизни».

Вполне понятны причины, побуждающие «*Zeitungshalle*» морально оправдывать таким образом в глазах публики колеблющихся депутатов центра: статья написана скорее для этих самых господ из центра, чем для публики. Для нас, имеющих привилегию говорить без утайки и поддерживающих представителей определенной партии лишь постольку и до тех пор, пока они выступают революционно, этих причин не существует.

Почему нам не сказать этого? Конечно, депутаты центра 7-го сего месяца испугались народных масс: мы оставляем в стороне вопрос о том, был ли их страх обоснован или нет. Право демократических народных масс морально влиять своим присутствием на поведение учредительных собраний представляет старое революционное право народа, которое со времен английской и французской революций использовалось во все бурные эпохи. Этому праву история обязана почти всеми энергичными шагами упомянутых собраний; если сторонники «легальной почвы» или трусливые и филистерские друзья «свободы прений» жалуются на такое влияние, то единственная причина этого та, что они вообще не хотят никаких энергичных решений.

«Свобода прений!» Нет более пустой фразы, чем эта. «Свобода прений» умалется, с одной стороны, свободой печати, свободой собраний и слова, правом народа на вооружение. С другой стороны, она умалется существующей государственной властью, находящейся в руках короны и ее министров: армией, полицией, так называемыми независимыми судьями, которые на деле зависимы от любого назначения и любых политических перемен.

Свобода прений во все времена была фразой, означавшей только независимость от всех не признанных законом влияний. Эти узаконенные влияния: подкуп, поощрения, частные интересы, страх перед роспуском палаты и т. п., делают прения истинно «свободными». Но в революционное время эта фраза совершенно лишена смысла. Там, где друг против друга стоят две вооруженные силы, две партии, где ежеминутно может вспыхнуть борьба, депутаты могут сделать только следующий выбор:

либо они становятся под защиту народа и в таком случае время от времени благосклонно принимают его указания;

либо они становятся под защиту короны, переезжают в какой-

нибудь маленький город, совещаются под охраной штыков и пушек или даже осадного положения, — и в таком случае они ничего не будут иметь против того, чтобы корона и штыки предписывали им их решения.

Запугивание со стороны невооруженного народа или запугивание со стороны вооруженной военщины, — пусть собрание сделает выбор.

Французское Учредительное собрание переехало из Версаля в Париж. Согласительное же собрание, в полном соответствии со всем характером германской революции, переезжает из Берлина в Шарлоттенбург.

ВОССТАНИЯ В ФРАНКФУРТЕ И КЕЛЬНЕ

ВОССТАНИЕ В ФРАНКФУРТЕ.

I.

Кельн, 19 сентября, 7 час. вечера.

Германо-датское перемирие породило бурю. В Франкфурте разразилось кровавое восстание. Честь Германии, преданная Национальным собранием отставленному с бесчестьем и повором прусскому министерству, защищается рабочими Франкфурта, Оффенбаха и Ганау и крестьянами окрестного района.

Борьба еще идет. До вчерашнего вечера войска, повидимому, мало продвинулись вперед. За исключением Цейля (район Рядов) и разве еще некоторых других улиц и площадей, артиллерия может применяться лишь весьма мало, а кавалерией почти совсем нельзя пользоваться. С этой стороны шансы народа благоприятны. На помощь пришли жители Ганау, вооружившиеся захваченным во взятом приступом цейхгаузе оружием. Пришли также крестьяне из многочисленных окрестных селений. Численность войска ко вчерашнему вечеру составляла, повидимому, около 10 000 человек при немногих орудиях. За ночь приток крестьян, вероятно, был весьма велик, приток же солдат значительно меньше. Ближайшие окрестности были оголены от войск. Ввиду революционного настроения жителей Оденвальда, крестьян Нассау и Кургессена, дальнейшие отправки стали невозможны, — иначе прервана была бы связь частей. Если это восстание продержалось еще только сегодняшний день, тогда под ружьем находятся, должно быть, весь Оденвальд, Нассау, Кургессен и Рейнгессен, все население между Фульдой, Кобленцом, Маннгеймом и Ашаффенбургом, и нехватает войск для подавления восстания. А кто поручится за Майнц, Маннгейм, Марбург, Кассель, Висбаден, — города, в которых ненависть к солдатчине, благодаря кровавым эксцессам так называемых «имперских войск», достигла наивысшей степени? Кто поручится за крестьян на Рейне, которые легко могут воспрепятствовать отправке войск водным путем?

И все же мы признаем, что мало надеемся на победу храбрых повстанцев. Франкфурт слишком небольшой город, а несоразмерная сила войск и всем известные контр-революционные симпатии франкфуртских мецан имеют слишком подавляющее значение, чтобы мы могли питать чрезмерные надежды.

Но даже если повстанцы окажутся побежденными, это еще ничего не решает. Контр-революция обнаглеет и, введя осадное положение, подавляя свободу печати, клубы и народные собрания, поставит нас на мгновение в положение рабов. Но ненадолго. Пение галльского петуха возвестит час освобождения, час возмездья.

II.

Кельн, 20 сентября.

Известия из Франкфурта начинают подтверждать наши вчерашние опасения. Повидимому, достоверно, что инсургенты выбиты из Франкфурта и держатся еще только в Саксенгаузене, где они, должно быть, сильно укрепились. Во Франкфурте объявлено осадное положение. Всякий, взятый с оружием в руках или при оказании сопротивления «имперской власти», будет предан военному суду.

Господа из церкви св. Павла оказались в таком же положении, как их парижские коллеги. В полном спокойствии и под господством осадного положения могут они сводить до «минимума» основные права германского народа.

Железная дорога на Майнц во многих местах разобрана, и почта приходит слишком поздно или вовсе не приходит.

Повидимому, артиллерия решила бой на более широких улицах и открыла войскам дорогу в тыл баррикадных бойцов. Усердие, с которым франкфуртские мещане открыли свои дома солдатам, предоставляя им, таким образом, все преимущества в уличной борьбе, и превосходство быстро стянутых по железной дороге войск над медленно, пешком пробивавшимися крестьянскими подкреплениями довершили остальное.

Но даже если в самом Франкфурте борьба и не возобновилась, то восстание ни в каком случае еще не подавлено. Приведенные в бешенство крестьяне так просто оружия не сложат. Если они не могут разогнать Национальное собрание, то дома у них еще достаточно кое-чего, что нужно убрать. Штурм, отбитый от церкви св. Павла, может направиться отдельными рудами в шесть-восемь мелких резиденций, в сотни дворянских усадеб. Крестьянская война, поднятая этой весной, еще не дошла до своего конца, пока не достигнута ее цель — освобождение крестьян от феодализма.

Чем объясняется эта постоянная победа «порядка» во всех частях Европы? Откуда этот ряд многочисленных, все повторяющихся пора-

жений революционной партии от Неаполя, Праги, Парижа до Милана, Вены и Франкфурта?

Объясняется это тем, что все партии знают, насколько борьба, подготовляющаяся во всех цивилизованных странах, — совершенно иная, бесконечно более значительная, чем все происходившие до сих пор революции. Ибо в Вене и Париже, в Берлине и Франкфурте, в Лондоне и Милане дело идет о *свержении политической власти буржуазии*, о таком перевороте, даже ближайшие последствия которого наполняют ужасом всех благодушных и «философствующих» буржуа.

Разве есть еще в мире какой-нибудь революционный центр, где бы в течение последних пяти месяцев не развевалось на баррикадах красное знамя, боевой символ связавшего себя братскими узами европейского пролетариата?

И во Франкфурте борьба против парламента объединенных юнкеров и буржуа велась под красным знаменем.

Именно потому, что каждое происходящее сейчас восстание угрожает непосредственно политическому существованию буржуазии и косвенно ее общественному существованию, именно поэтому каждое восстание приводит к поражению. Безоружный в большинстве народ должен бороться не только против перешедшей в руки буржуазии власти организованного чиновничьего и военного государства, но еще и против самой вооруженной буржуазии. Против неорганизованного и плохо вооруженного народа стоят все остальные классы общества — хорошо организованные и хорошо вооруженные. Вот чем объясняется, что народ до сих пор терпел удары и будет терпеть удары до тех пор, пока либо его противники не будут ослаблены вследствие участия армии в войне или вследствие раскола в их рядах, либо какое-нибудь крупное событие не двинет народ на отчаянную борьбу и не деморализует его противников.

И такое крупное событие готовится во Франции.

Поэтому мы не должны отчаиваться, когда в течение четырех месяцев картечь всюду одерживает победу над баррикадами. Напротив, каждая победа наших противников была в то же время их поражением. Она раскалывала их, она несла господство не победившей партии февральских и мартовских консерваторов, она, в конечном счете подготовляла господство *той* партии, которая в феврале и марте была *свергнута*. Июньская победа в Париже только вначале принесла господство мелкой буржуазии, *чистым* республиканцам. Не прошло и трех месяцев, а уже крупная буржуазия, конституционная партия, угрожает свергнуть Кавеньяка и бросить «чистых»

в объятия «красных». То же произойдет и во Франкфурте. Победа послужит на пользу не простакам из центра, а *правым*. Буржуазия обеспечит преобладание господам из военного, чиновничьего и юнкерского сословия, и вскоре она должна будет вкусить горькие плоды своей победы.

На здоровье! А мы пока будем ждать того момента, когда в Париже пробьет для Европы час ее освобождения.

«КЕЛЬНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».

Кельн, 12 октября.

«Кельнская газета» рассказывает, что «кельнская революция» 25 сентября была карнавальской комедией, и газета права. «Кельнская комендатура» 26 сентября играла в Кавеньяка, и «Кельнская газета» удивляется мудрости и умеренности «кельнской комендатуры». Кто же, однако, явился наиболее комичным персонажем — рабочие ли, которые упражнялись в постройке баррикад, или же «Кавеньяк», который 26 сентября с напыщенной серьезностью объявил осадное положение, закрыл газеты, разоружил гражданское ополчение, распустил организации?

Бедная «Кельнская газета»! Кавеньяк «кельнской революции» ни на один дюйм не может быть более великим, чем сама «кельнская революция». Бедная «Кельнская газета»! «Революцию» она должна принять за шутку, а «Кавеньяка» этой забавной революции — всерьез. Досадная, неблагоприятная, полная противоречий тема!

О правомочности комендатуры мы не пророним ни одного слова: д'Эстер исчерпал этот вопрос. Мы, впрочем, считаем комендатуру подчиненным органом. Подлинными авторами этой странной трагедии были *«благомыслящие граждане»*, господа Дюмоны и компания. Неудивительно, таким образом, что г. Дюмон велел вместе со своими газетами распространять адреса против д'Эстера, Борхардта и Килля. Защищать приходилось этим «благомыслящим» не действия комендатуры, а свои собственные действия.

Кельнские события путешествовали через Сахару немецкой прессы в той форме, какую придал им кельнский «*Journal des Débats*». Тем большее основание вернуться к ним.

Молль, один из любимейших вождей рабочего союза, должен был быть арестован. Шаппер и Беккер уже были арестованы. Для проведения этих мероприятий избрали понедельник — день, когда наибольшая часть рабочих, как известно, не работает. Стало быть, заранее знали, что эти аресты вызовут среди рабочих большое возмущение и даже могут вызвать активное сопротивление. Странная

случайность, что эти аресты пришлось как раз на понедельник! Возмущение можно было предвидеть тем легче, что, в связи с приказом Штейна по армии после прокламации Врангеля и после назначения Пфуля министром-президентом, можно было каждую минуту ожидать решительного контр-революционного удара, а стало быть и революции в Берлине. Рабочие должны были, следовательно, рассматривать эти аресты не как судебную, а как *политическую* меру. В прокуратуре рабочие видели только контр-революционное ведомство. Они были уверены, что накануне важных событий их хотят лишить вождей. Рабочие решили любой ценой не допустить ареста Молля. И они покинули поле сражения только после того, как цель их была достигнута. Баррикады были построены лишь тогда, когда собравшиеся на Старом рынке рабочие получили известие, что войска со всех сторон идут в наступление. Рабочие не были атакованы. Стало быть, им не пришлось защищаться. К тому же им стало известно, что из Берлина вообще не поступило никаких важных известий. Поэтому, напрасно прождав врага в течение значительной части ночи, рабочие разошлись.

Ничего, следовательно, нет смехотворнее, чем брошенный кельнским рабочим упрек в малодушии.

Но делались им и другие упреки, чтобы оправдать таким образом осадное положение и перерядить кельнские события в маленькую июньскую революцию. Подлинный план рабочих состоял будто в разграблении города Кельна. Это обвинение покоится на имевшем, мол, место разграблении *одной* суконной лавки. Точно не каждый город имеет свой кадр воров, которые, естественно, используют дни общественных волнений. Или под грабежом разумеют разгром оружейных магазинов? Пусть пошлют тогда кельнскую прокуратуру в Берлин, дабы наладить там процесс против мартовской революции. Без разграбления оружейных магазинов, мы, быть может, никогда не пережили бы удовольствия видеть, как господин Ганзман превратился в банковского директора, а господин Мюллер в статс-секретаря.

Но довольно о кельнских рабочих. Перейдем к так называемым «демократам». В чем упрекают их «Кельнская газета», «Немецкая газета», «Всеобщая аугсбургская газета» и всякие другие, как они там называются, «благочесные» газеты?

Героические Брюггеманы, Вассерманы и т. д. желали крови, а мягкосердечные демократы из *малодушия* не дали им проливать кровь.

Суть дела просто такова. Демократы объявили рабочим в Кранце (на Старом рынке), в Эйзерском зале и на баррикадах, что они ни

при каких условиях не желают «путча». Поднимать восстание в такой момент, когда ни один крупный вопрос не толкает весь народ на борьбу и когда всякое восстание должно поэтому потерпеть поражение, было бы тем более безрассудно, что в течение ближайших дней могли произойти крупные события и был, таким образом, риск лишиться боеспособности как раз накануне решающего дня. Если бы министерство в Берлине решилось на контр-революцию, тогда для народа наступил бы момент, когда надо решиться на революцию. Судебное расследование подтвердит наше изложение событий. Господа из «Кельнской газеты» сделали бы лучше, если бы, вместо того чтобы в «ночной темноте» стоять перед баррикадами «со скрещенными руками и мрачными глазами» и «раздумывать о будущности народа», они, напротив, своими словами мудрости отвратили бы ослепленные массы от баррикад. Какой толк в мудрости *post festum* (запоздалой)?

Хуже всего, в связи с кельнскими событиями, обошлась благомыслящая печать с гражданским ополчением. Надо различать следующее. Что гражданское ополчение отказалось унизиться до роли безвольного слуги полиции, — это была его обязанность. Что оно добровольно сдало оружие, — может быть оправдано лишь одним обстоятельством. Либеральная часть ополчения знала, что нелиберальная часть с радостью воспользуется случаем, чтобы избавиться от оружия. Сопротивление же одной части было бы бесполезно.

«Кельнская революция» имела один результат. Она разоблачила существование фаланги из двух с лишним тысяч святых, «сытая добродетель и платежеспособная мораль» которых чувствует себя «свободно» лишь в условиях осадного положения. Авось когда-нибудь представится повод написать «Acta sanctorum», т. е. жития этих святых. Наши читатели узнают тогда, каким образом приобретены были эти «сокровища», которых не берет ни «моль», ни «ржа», и они поймут, каким образом создана была экономическая база «благомыслия».

МИНИСТЕРСТВО ПФУЛЯ
ВЕНСКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПФУЛЯ.

Кельн, 13 октября.

Когда пало министерство Кампгауэна, мы писали: «Министерство Кампгауэна облачило контр-революцию в свой либерально-буржуазный наряд. Контр-революция чувствует себя достаточно сильной, чтобы сбросить с себя эту стеснительную маску. Любое нежизнеспособное министерство левого центра (Ганземана) может, пожалуй, на несколько дней сменить министерство 30 марта. Но подлинным его преемником является *министерство принца Прусского*» («Новая рейнская газета», № 23 от 23 июня).

И действительно, за министерством *Ганземана* последовало министерство *Пфуля* (из *Невшателя*).

Министерство Пфуля носится с конституционными фразами, подобно тому как франкфуртская центральная власть — с «немецким единством». Если сравнить *corpus delicti*, подлинную сущность этого министерства, с его эхом в Берлинском собрании, его конституционными заявлениями, успокоительными заверениями, посредничеством, соглашениями, то можно применить к нему следующие слова Фальстафа:

«Насколько же мы, старики, подвержены пороку лжи!»

За министерством Пфуля может последовать лишь *министерство революции*.

«ФРАНКФУРТСКАЯ ГЛАВНАЯ ПОЧТОВАЯ ГАЗЕТА» И ВЕНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Кельн, 18 октября.

Германия находится во власти особого рока. Вот, кажется, достигнут, наконец, пункт, когда становится возможным приступить к восстановлению общего отечества, и *благодарный взор поднимается к небу*, но как раз в этот момент грозные тучи, которыми Европа все еще обложена, разражаются громовыми ударами и *вызывают дрожь в руках*, посвятивших себя делу государственного устройства Германии. Такой громовой удар мы пережили только что *в Вене!*

Так жалуется правительственный вестник — «Франкфуртская главная почтовая газета». Эта почтенная газета, последний редактор которой красуется в списке оплаченных креатур Гизо, на миг приняла свою позицию *au sérieux*. Центральная власть с ее парламентским окружением, франкфуртским собором, представилась ему серьезной властью. Вместо того чтобы отдавать подданным свои контр-революционные приказы непосредственно, тридцать восемь германских правительств делают вид, что получают приказы от франкфуртской центральной власти, — приказы выполнять их же собственные решения. Все шло наилучшим образом, как во время майнцской следственной комиссии. Центральная власть могла воображать, что она власть, а ее правительственный вестник мог воображать, что он правительственный вестник. «Возблагодарите все господа, вздымая руки к небу», пел он.

И вот мы «переживаем» громовый удар из Вены. «Руки» наших Ликургов «задрожали», несмотря на армию остроконечных касок, представляющих собой одновременно столь же многочисленные громоотводы революции; несмотря на декрет, по которому критика черно-красно-золотых личностей и их деяний объявлена чрезвычайным уголовным казусом; несмотря на крепкие слова гигантских фигур Шмерлинга, Молля и Гагерна. Снова раздается рычание революционного чудовища, — и во Франкфурте «дрожат». «Франкфуртская главная почтовая газета» с испугом должна прервать свой благодарст-

венный молебен. Трагически негодует она на неумолимую судьбу.

В Париже главенствует партия Тьера. В Берлине — министерство Пфуля с Врангелями во всех провинциях. Во Франкфурте — центральная жандармерия. Во всей Германии — более или менее скрытое осадное положение. Италия замирена ласковым Фердинандом и Радецким. Елачич, командующий в Венгрии, после истребления мадьяров устанавливает совместно с Виндишгрецом «кroatскую свободу и порядок» в Вене. В Бухаресте революция потоплена в крови. Дунайские княжества ошачастливлены благодеяниями русского режима. В Англии все вожди чартистов арестованы и сосланы. Ирландия слишком изголодалась, чтобы могла отважиться на что-нибудь. Скажи, что тебе еще нужно?

Венская революция еще не победила. Но первой зарницы было достаточно, чтобы осветить перед Европой все позиции контр-революции и чтобы таким образом сделать неотвратимой всеобщую борьбу на жизнь и смерть.

Контр-революция еще не уничтожена, но она сделала себя *смешной*. С героем Елачичем все ее герои превратились в комические фигуры, и с прокламацией Фуад-эффенди, после кровавой бани в Бухаресте, все прокламации друзей «конституционной свободы и порядка» сделались до-нельзя смешными — от прокламаций рейхстага до мельчайших адресов-слезниц.

Завтра мы подробнее остановимся на положении, создавшемся непосредственно в Вене, и на австрийских отношениях вообще.

ОТВЕТ ПРУССКОГО КОРОЛЯ ДЕПУТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

Кельн, 18 октября.

Король во всяком случае последователен. Его величество никогда себе не противоречит. Депутации Франкфуртского национального собрания он по случаю празднования закладки кельнского собора сказал: «Господа! Значение вашего собрания я понимаю очень хорошо. Я очень хорошо вижу, насколько важно ваше собрание!» Голос его величества стал серьезным и резким: «Не забудьте, однако, что в Германии существуют еще государи». При этом его величество положил руку на сердце и сказал с чрезвычайной силой выражения: «**И** не забудьте, что я принадлежу к ним».

Подобный же ответ получила и депутация Берлинского собрания, принеся его величеству 15 октября поздравление в замке Бельвю. Король сказал: «Мы собираемся воздвигнуть здание, которое должно просуществовать века. Но, господа, я обращаю ваше внимание на следующее. У нас имеется еще вызывающая у многих несомненную зависть наследственная верховная, божьей милостью власть, — эти слова король произнес с большой силой, — которая обладает еще полной мощью. Она есть тот фундамент, на котором только и может быть воздвигнуто это здание, если мы хотим, чтобы оно простояло так долго, как я сказал».

Король последователен. Он был бы последователен всегда, если бы, к сожалению, мартовские дни не поставили между его величеством и народом этот роковой клочок бумаги.

Их величества верят, повидимому, снова, как перед мартовскими днями, в «железные шаги» славянства. Венский народ, быть может, окажется тем волшебником, который превратит железо в глину.

ОТВЕТ ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМА IV ДЕПУТАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ.

Кельн, 18 октября.

Фридрих-Вильгельм IV ответил берлинскому командиру гражданского ополчения Римплеру на поздравления последнего по случаю 15 октября:

«Я знаю, что народ героический и храбрый, это — также и верный народ. Но не забудьте, что *оружие вы получили от меня*, и я вменяю вам в обязанность, чтобы вы взяли на себя охрану порядка, закона и свободы».

Конституционные короли безответственны, ибо они невменяемы — в конституционном, конечно, смысле: их поступки, слова, жесты принадлежат не им, а *ответственным министрам*.

Ганземан, например, при своем удалении опубликовал, что король сказал, что выполнение штейновского приказа по армии несовместимо с конституционной монархией. Пфүль выполнил этот приказ — в парламентском именно смысле. Ганземан был скомпрометирован — в конституционном смысле. Но король сам себе не противоречил, ибо он ничего не говорил — опять-таки в конституционном смысле.

Таким образом, приведенное выше заявление короля есть не что иное, как заявление *министерства*, и как таковое подлежит критике.

Утверждает ли Пфүль, что король вооружил гражданское ополчение по собственному побуждению? Если так, то Пфүль утверждает, что король явился инициатором мартовской революции, а это бессмыслица — и именно в конституционном смысле.

Но, совершенно независимо от этого, бог, создав вселенную и божьей милостью королей, более мелкие промыслы предоставил людям. Даже «оружие» и лейтенантский мундир производятся земным путем, а земное производство, в отличие от небесной промышленности, ничего из ничего не создает. Оно нуждается в сырье, орудиях труда и заработной плате, — в известных все вещах, которые

охватываются деловым названием «*издержки производства*». Эти издержки производства государство добывает из *налогов*, а налоги добываются из *национального труда*. Стало быть, в *экономическом* смысле остается загадкой, каким образом какой бы то ни было король может что-либо *дать* какому бы то ни было народу. Народ должен сперва сделать оружие и дать его королю, чтобы затем иметь возможность получить оружие от короля. Король может давать лишь то, что дают ему. Так обстоит дело в смысле *экономическом*. Но *конституционные* короли появляются как раз в такое время, когда люди начинают проникать в эту *экономическую тайну*. Поэтому первым поводом для свержения королей божьей милостью всегда служили *налоговые вопросы*. Так было и в Пруссии. Даже нематериальные товары, привилегии, которые народы заставляли королей себе давать, не только были раньше даны этими народами королям, но обратное получение этих привилегий народы оплачивали всегда *наличными* — кровью и звонкой монетой. Проследите, например, английскую историю с XI столетия, и вы всегда сможете подсчитать с достаточной точностью, сколько разбитых черепных коробок и сколько фунтов стерлингов стоила каждая конституционная привилегия. Господин Пфуль хочет, повидимому, вернуть нас к добрым временам *экономической таблицы Давенанта*. В этой таблице говорится насчет английского производства, между прочим, следующее:

§ 1. *Производительные работники*: короли, офицеры, лорды, сельское духовенство и т. д.

§ 2. *Непроизводительные работники*: матросы, крестьяне, ткачи, прядильщики и т. д.

По этой таблице производит § 1, а получает § 2. В этом именно смысле Пфуль и приписывает королю, что он что-то дает.

Заявление Пфуля показывает, чего в Берлине ждут от героя «кroatского порядка и свободы».

Последние события в Берлине напоминают о вызванных также камарильей столкновениях между гражданским ополчением и народом 23 августа в Вене. *За этим 23 августа следовало 5 октября.*

ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА

ПАРИЖСКАЯ «RÉFORME» О ПОЛОЖЕНИИ ВО ФРАНЦИИ.

Кельн, 2 октября.

Еще до июньского восстания мы неоднократно разоблачали иллюзии придерживающихся традиций 1793 г. республиканцев из «Réforme» (парижской). Июньская революция и вызванное ею движение все более и более раскрывают глаза этим утопическим республиканцам.

Передовая статья «Réforme» от 29 октября обнаруживает борьбу, происходящую в этой партии между старыми ее иллюзиями и новыми фактами.

«Réforme» говорит:

«С давних пор вся борьба, которая велась у нас за обладание властью, представляла собою *классовые войны*. Борьба буржуазии и народа против дворянства при возникновении первой республики, принесение вооруженного народа в жертву во-вне и господство буржуазии внутри при империи, попытка реставрации феодальных отношений при Бурбонах старшей линии, наконец триумф и господство буржуазии в 1830 г. — такова наша история».

Со вздохом «Réforme» добавляет:

«С сожалением, разумеется, говорим мы о *классах*, о безбожных и ненавистных различиях. Но эти различия существуют, и мы не можем этого отрицать».

Это значит вот что. Республиканский оптимизм газеты видел до сих пор только «граждан». Но история так сильно дала себя почувствовать, что от газеты не могло укрыться распадение этих «граждан» на «буржуа» и «пролетариев».

«Réforme» продолжает:

«В феврале был сломлен деспотизм буржуазии. Чего желал народ? Справедливости для всех, равенства. Таков был его первый клич, его первое желание. Буржуазия, наученная первой ударившей по ней молнией, вначале не желала ничего иного, чем народ».

Газета судит о характере февральской революции все еще по февральской фразеологии. В февральскую революцию деспотизм

буржуазии не только не был сломлен, но, наоборот, получил лишь законченное выражение. Корона, последний лучезарный венец феодализма, скрывавший господство буржуазии, была сброшена. Господство капитала выступило в оголенном виде. Буржуазия и пролетариат боролись в февральскую революцию против общего врага. Но как только общий враг был устранен, на поле сражения остались лишь эти два враждебных класса, и решительная борьба между ними должна была начаться. Но, спросят, если февральская революция лишь завершила господство буржуазии, то чем же вызван новый поворот буржуазии к роялизму? Нет ничего проще. Буржуазия тоскует о том времени, когда она господствовала, не будучи ответственной за свое господство, когда кажущаяся власть, стоя между ней и народом, должна действовать в пользу буржуазии и в то же время служить ей прикрытием; когда буржуазия имела коронованного, так сказать, козла отпущения, по которому пролетариат бил каждый раз, когда хотел попасть в нее, и против которого буржуазия сама объединялась с пролетариатом, когда этот козел отпущения становился для нее обременительным и когда она хотела утвердиться сама, как власть для себя. В лице короля буржуазия имела громоотвод для народа, а в лице народа — громоотвод для короля.

Принимая за действительность эти частью лицемерные, частью добросовестные иллюзии, потерпевшие крах на следующий за поражением Луи-Филиппа день, «Réforme» рассматривает движение, последовавшее *после* февральских дней, как ряд ошибок и прискорбных случайностей, которых можно было бы избежать, если бы нашелся великий муж, стоящий на уровне требований момента. Точно Ламартин, этот блуждающий огонек, не мог бы быть истинным мужем, которого требовало положение!

Но подлинный муж, великий муж все еще не хочет появиться, — жалуется «Réforme», — и положение ухудшается с каждым днем.

«С одной стороны, растет промышленный и торговый кризис. С другой стороны, растет ненависть, и все стремятся к противоположным друг другу целям. Те, которые до 24 февраля были угнетены, ищут счастья и свободы в рисующемся им совершенно новом обществе. Те, что при монархии господствовали, думают лишь о том, как бы заполучить обратно свою власть и использовать ее с удвоенной жестокостью».

Какую же позицию занимает «Réforme» между этими резко друг другу противостоящими классами? Поднимается ли она хотя бы до догадки, что классовые противоречия и классовая борьба могут исчезнуть лишь с исчезновением классов?

Нет! Только что она признала наличие классовых противоречий. Но классовые противоречия покоятся на экономических основах, на существующем до сих пор материальном способе производства и обусловленных им отношениях обмена. «Réforme» не знает иного способа изменить и уничтожить эти противоречия, как отвернуть свой взор от их действительной основы, от материальных отношений, и броситься назад, к туманному призраку республиканской идеологии, т. е. к поэтическому февральскому периоду, из которого она насильно была извергнута июньскими событиями! Послушайте.

«Самое печальное в этих внутренних распрях, это — заглушение и потеря патриотического национального чувства, т. е. потеря именно тех иллюзий, которыми оба класса разукрашивали условия своей жизни в национальном и патриотическом духе. Когда эти классы делали то же самое в 1789 г., подлинное противоречие между ними еще не развилось. Что тогда было соответствующим выражением положения, теперь означает увиливание от признания положения. Что тогда представляло плоть и кровь, теперь стало пережитком.

«Очевидно, — заключает «Réforme», — это — глубоко лежащее зло, от которого страдает Франция. Но оно не неизлечимо. Оно происходит от сумятицы идей и нравов, от забвения справедливости и равенства в общественных отношениях, от губительного влияния эгоистического воспитания. В этом же направлении необходимо озаботиться возможностью переустройства. А вместо этого прибегают к материальным средствам».

«Réforme» переводит вопрос в область «совести». И вот этакая моральная болтовня помогает от всех зол. Стало быть, противоречие между буржуазией и пролетариатом проистекает из идей этих двух классов. Но откуда происходят эти идеи? Из общественных отношений. А откуда эти отношения? Из материальных, экономических условий жизни враждующих классов. По мнению газеты, обоим классам можно помочь, если они потеряют *сознание* своего действительного положения и своего действительного противоречия, отуманив голову опиумом «патриотических» чувств и словесных оборотов 1793 г.

Какая беспомощность мысли!

РЕЧЬ ТЬЕРА О ВСЕОБЩЕМ ИПОТЕЧНОМ БАНКЕ.

Господин Тьер публикует в «Constitutionnel» брошюру «О собственности». На этом классическом по пошлости литературном документе мы остановимся подробнее, когда он появится полностью. Господин Тьер внезапно его прервал. Пока нам достаточно отметить, что «крупные» бельгийские газеты «Observateur» и «Indépendance» восторгаются этим сочинением господина Тьера. Сегодня мы вкратце займемся речью об ипотечных бонах, произнесенной им 10 октября в Национальном собрании. По словам бельгийской газеты «Indépendance», эта речь нанесла бумажным деньгам «смертельный удар». Но г. Тьер, как утверждает «Indépendance», и является таким оратором, который с несравненным умением трактует любые вопросы: политические, финансовые, социальные.

Нас эта речь интересует только потому, что она обнаруживает тактику рыцарей старых порядков, которую они с полным основанием проводят против Дон-Кихота новых порядков.

Потребуйте, подобно г. Тюрку, которому отвечает Тьер, частичной реформы промышленных и торговых отношений, и эти рыцари старых порядков вам противопоставят взаимную связанность и взаимодействие частей всего строя в целом. Потребуйте преобразования всего строя, и тогда вы — разрушитель, революционер, бессовестный человек, утопист и упускаете из виду частичные реформы. Отсюда вывод — оставьте все по-старому.

Г-н Тюрк, например, хочет облегчить крестьянам реализацию их земельной собственности через посредство государственного ипотечного банка. Он хочет втянуть крестьянскую собственность в обращение без того, чтобы она проходила через руки ростовщиков. Во Франции, как впрочем и вообще во всех странах, где преобладает парцелляция, господство феодалов превратилось в господство капиталистов, а феодальные повинности крестьянина превратились в буржуазные ипотечные обязательства.

Что же г. Тьер отвечает прежде всего?

Если вы хотите прийти на помощь крестьянину организацией государственных кредитных учреждений, то вы нанесете ущерб мелким торговцам. Вы не можете помочь одному, не вредя другому.

Стало быть, мы должны преобразовать *всю кредитную систему?*

Ни в каком случае! Это утопия. Так покончено с г. Тюрком.

Мелкий торговец, о котором столь любовно печется г. Тьер, **это** — *большой* Французский банк.

Конкуренция ипотечных бумаг на 2 миллиарда подорвала бы его монополию и дивиденды, а может быть еще something more (кое-что побольше). Таким образом, за этим аргументом г. Тьера скрывается — Ротшильд.

Перейдем к другому аргументу г. Тьера. Предложение об ипотеках, говорит г. Тьер, сельскому хозяйству по существу ничего не может дать.

Что земельная собственность поступает в обращение лишь тогда, когда ухудшается общее положение, что ее лишь с трудом можно реализовать, что капитал ее избегает, — все это, замечает г. Тьер, лежит в «природе» вещей. Земельная собственность приносит лишь незначительную прибыль. Но, с другой стороны, г. Тьер не может отрицать, что в соответствии с «природой» современного промышленного строя все его отрасли, стало быть и земледелие, хорошо развиваются лишь тогда, когда их продукты и их орудия производства легко могут быть реализованы, подвергнуты обмену, мобилизованы. С землей дело обстоит не так. Стало быть, вывод должен бы быть таков: при существующем состоянии цивилизации сельское хозяйство не может развиваться. Поэтому необходимо изменить существующие порядки. И небольшим, пусть и непоследовательным шагом к такому изменению является предложение г. Тюрка. Ни в коем случае! — восклицает г. Тьер. «Природа», т. е. современные общественные отношения, обрекает сельское хозяйство оставаться в его теперешнем состоянии. Современные общественные отношения представляют собою «природу», т. е. они неизменны. Утверждение о неизменяемости этих отношений есть, конечно, самый сильный довод против всякого предложения об их изменении. Если «монархия» — природа, то всякое республиканское стремление есть бунт против природы. Согласно г. Тьеру, ясно также, что земельная собственность *по самой природе своей* всегда дает одинаково небольшую прибыль — независимо от того, кредитует ли земельных собственников государство из 3% или ростовщик из 10%. Словом, это — «природа».

Отождествляя промышленную прибыль и приносимую сельским хозяйством ренту, г. Тьер относительно одной из форм общественных

отношений, которую он называет «природой», выдвигает противоречивое утверждение. Тогда как промышленная прибыль, в общем, неуклонно падает, земельная рента, т. е. стоимость земли, неуклонно растет. Господину Тьеру надо, следовательно, объяснить то явление, что крестьянин, вопреки этому, неуклонно беднеет. Но г. Тьер на этом вопросе, конечно, не останавливается.

Поистине замечательна, далее, поверхностность, с которой г. Тьер говорит о различии между французским и английским сельским хозяйством.

Все различие, учит нас г. Тьер, сводится к различию в *земельном налоге*. У нас слишком высокий земельный налог, у англичан — совсем низкий. Независимо от неправильности последнего утверждения, г. Тьер несомненно знает, что в Англии на сельское хозяйство падает еще налог в пользу бедных и масса других не существующих во Франции налогов. Аргумент г. Тьера применяется английскими сторонниками мелкого сельского хозяйства в обратном смысле. Знаете ли, говорят они, почему английское зерно дороже французского? Потому что мы платим земельную ренту, притом высокую ренту, чего французы не платят, так как они, в общем, не арендаторы, а мелкие собственники. Посему — да здравствует мелкая собственность!

Вся эта бесстыдная тьеровская пошлость сводится к тому, чтобы английскую концентрацию орудия труда — земли, — благодаря которой стало возможным применение в сельском хозяйстве машин и разделение труда в большом масштабе, — а также и взаимодействие английской промышленности и английской торговли, с одной стороны, и сельского хозяйства — с другой, — чтобы все эти широко разветвленные отношения свести к ничему не говорящей фразе о том, что англичане не платят *никаких земельных налогов*.

Мнению господина Тьера о том, что нынешнее ипотечное хозяйство не имеет значения для земледелия, мы противопоставляем мнение самого крупного французского агронома-химика. Домбаль обстоятельно доказал, что если нынешняя ипотечная система будет по существу развиваться во Франции и дальше, то французское сельское хозяйство станет невозможным.

Какая вообще нужна наглая тупость, чтобы утверждать, будто для сельского хозяйства безразличны отношения земельной собственности, — иными словами, будто для производства безразличны общественные отношения, в которых производство протекает?

Не требуется, впрочем, дальнейших доказательств, что г. Тьер, желая получить кредит для крупных капиталистов, должен быть

против всякого кредита мелким капиталистам. Кредитование крупных капиталистов означает в то же время отказ в кредите мелким капиталистам. Разумеется, мы не отрицаем, что при современном строе помочь мелким капиталистам путем каких бы то ни было финансовых трюков невозможно. Но Тьер должен был утверждать, что это возможно, потому что он считает нынешний мир лучшим из миров.

По поводу этой части речи Тьера мы отметим поэтому еще только одно. Высказываясь против мобилизации земельной собственности и восхваляя, с другой стороны, английские отношения, Тьер забывает, что в Англии земледелие в высочайшей степени обладает как раз тем преимуществом, что оно ведется как фабрика и что земельная рента, т. е. земельная собственность, является там такой же мобильной, движимой биржевой бумагой, как всякая другая ценная бумага. Фабрикообразное земледелие, т. е. ведение последнего по образцу крупной промышленности, с своей стороны обуславливает мобилизацию, легкий торговый обмен земельной собственности.

Вторая часть речи г. Тьера состоит из нападок на *бумажные деньги* вообще. Он вообще называет выпуск бумажных денег *выпуском фальшивых монет*. Он рассказывает нам ту великую истину, что, бросая на рынок слишком большую массу средств обращения, т. е. денег, обесценивают эти самые деньги, стало быть, обманывают вдвойне: и частных лиц, и государство. Это в особенности относится к ипотечным банкам.

Все это — такие открытия, которые можно найти в самых плохоньких *катехизисах* политической экономии.

Надо различать следующее. Ясно, что, увеличивая произвольно количество денег — бумажных или металлических, мы производства, следовательно действительного богатства, не увеличиваем. Так же точно, удваивая в карточной игре число игральные жетоны, мы не удваиваем этим числа взяток.

С другой стороны, столь же ясно, что если недостаток игральные жетоны, средств обмена, денег, мешает развитию производства, то всякое увеличение количества средств обмена, всякое уменьшение трудности в приобретении средств обмена, означает вместе с тем и увеличение продукции. Этой потребности производства обязаны своим происхождением векселя, банки и т. д. Таким же образом можно поднять и сельское хозяйство при помощи ипотечных банков.

Но г. Тьер борется вовсе не за металлические деньги против

бумажных. Он сам слишком много играл на бирже, чтобы обольщаться предрассудками старых меркантилистов. В действительности он борется против того, чтобы общество в лице государства регулировало кредит, а не монополия. Первым шагом к регулированию кредита в общих интересах общества явилось именно предложение Тюрка об общем ипотечном банке, билеты которого имели бы принудительный курс, — какое бы малое значение это предложение само по себе ни имело.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ИТАЛИИ.

Кельн, 21 октября.

Англо-французское посредничество в Италии прекращено. Череп-дипломатии скалит зубы после каждой революции, и главным образом после наступления реакции, следующей за каждой революцией. Но всякий раз, как раздаются громовые раскаты новой революции, дипломатия заползает в свой повапленный гроб. *Венская революция* опрокинула, словно карточный домик, франко-английскую дипломатию.

Пальмерстон расписался в своем бессилии, *Бастид* — тоже. Венская революция положила конец, по их собственному признанию, скучной переписке этих господ. *Бастид* официально сообщил об этом сардинскому послу маркизу *Риччи*.

На запрос последнего, «не возьмется ли при известных условиях Франция за оружие в пользу Сардинии», строгий республиканец *Бастид* (из газеты «National») сделал реверанс один раз, другой, третий и запел:

Надейтесь на меня, но не плошайте сами,
И бог, наверное, тогда поможет вам.

Франция твердо держится принципа *невмешательства*, — того самого принципа, борьба с которым во время Гизо годами питала *Бастиду* и всех прочих господ из «National'я».

В этом *итальянском* вопросе «честная» французская республика смертельно скомпрометировала бы себя, если бы после чреватого событиями июня она не стала выше всякого позора.

Rien pour la gloire! (Ничего ради славы!) — заявили друзья торговли во что бы то ни стало. Rien pour la gloire! — таков девиз добродетельной, умеренной, благопристойной, солидной, честной, словом — буржуазной республики. Rien pour la gloire!

Ламартин олицетворял мечту буржуазной республики о самой себе, буйное, фантастическое, экзальтированное представление, составленное ею о самой себе, ее грезу о своем собственном блеске.

Чего только нельзя себе вообразить! Подобно тому как Эол выпускает из своих мехов все ветры, так Ламартин развязывает и гонит по ветру на восток и на запад всех духов воздуха, все фразы буржуазной республики, — ветренные слова о братстве всех народов, об освобождении, которое Франция принесет всем народам, о самопожертвовании Франции в интересах всех народов.

А сделал он что? — *ничего!*

Дополнить его фразы делом взяли на себя Кавеньяк и его обращенный во-вне орган, Бастид.

Спокойно взирают эти господа на неслыханные сцены в Неаполе, на неслыханные сцены в Мессине, на неслыханные сцены в Миланском районе.

И уже по одному этому не остается ни малейшего сомнения, что в «честной» республике господствует тот же *класс*, а стало быть, и та же внешняя политика, что при конституционной монархии. При Кавеньяке та же политика, что и при Луи-Филиппе. Точно так же при международных распрях прибегают к старому, вечно новому средству, к *entente cordiale* (сердечному согласию) с Англией, с Англией Пальмерстона, с Англией контр-революционной буржуазии.

Но история не должна забывать всей соли, всей пикантности этого положения. Редактор «National'я», Бастид, должен был судорожно схватить руку Англии. А ведь *entente cordiale* представляла собою главный, направленный против Гизо, козырь, которого навсегда лишился бедный англофобский «National».

На надгробном камне «честной» республики будет начертано: «*Бастид-Пальмерстон*».

Но даже в *entente cordiale* «честные» республиканцы перещеголяли Гизо. Офицеры французского флота угощаются на банкете, устроенном неаполитанскими офицерами, и на дымящихся еще развалинах Мессины пьют за здоровье *неаполитанского короля, слабоумного тигра Фердинанда*. А над их головами реют фразы Ламартина...

ПАДЕНИЕ ВЕНЫ

РЕЧЬ ВАССЕРМАНА ОБ УБИЙСТВЕ ЛИХНОВСКОГО.

Кельн [без даты].

В своей речи от 16 октября (стенографический отчет, стр. 2651) наш честный *Бассерман* обратился со следующими словами к Национальному собранию во Франкфурте:

«Это факт, что банды, которые громогласно приветствовали в Воррингене этих убийц (т. е. убийц Лихновского и Ауэрсвальда), что эти банды хотели доставить господство не кому иному, как левым элементам этой палаты. В том же народном собрании, в котором приветствовали убийц, раздавались приветственные клики в честь левых элементов этой палаты. Это факт, господа, — неоспоримый факт».

Брут-Бассерман говорит, а Брут-Бассерман — «честный человек», и к тому же Брут-Бассерман забронирован против всякой критики своим голосованием по вопросу о мерах охраны Национального собрания.

«Это факт, господа, — неоспоримый факт».

Г-н Бассерман вероятно знает, что в последнее время сумели отыскать даже у евангелистов *писательские* чудеса — чудесные подвиги против географии, хронологии и тому подобных обыденных мелочей.

Мы надеемся, что меры безопасности, за которые Бассерман голосовал ради охраны своей собственной особы, не ставят его *выше* евангелистов. Обратимся же к критике евангелистов. Обратимся же к критике евангелий.

«Это факт, господа, — неоспоримый факт».

Евангелист утверждает, следовательно, что банды в народном собрании в Воррингене приветствовали убийство Лихновского и Ауэрсвальда, происшедшее восемнадцатого, я подчеркиваю — *восемнадцатого* сентября, и одновременно приветствовали *левых франкфуртских депутатов*.

Собрание в Воррингене имело место семнадцатого сентября, убийство Ауэрсвальда и Лихновского — восемнадцатого сентября.

«*Это факт*, г-н Бассерман, — неоспоримый факт». Чудо, ей-богу, чудо! «Честный» Бассерман уверяет нас, что *семнадцатого сентября 1848 г. в Боррингене* было выражено приветствие «убийству», которое произошло лишь *восемнадцатого сентября 1848 г. во Франкфурте*. «Честный» Бассерман обязан дать «бандам» объяснение.

Итак, бассермановское собрание в Воррингене вовсе не могло, в обыденном смысле, состояться. Приветственные клики, раздававшиеся на этом собрании, представляют собою, в обыденном смысле, акустическую иллюзию Бассермана. В обыденном смысле Бассерман выступил с тем, что в просторечии называется *ложью*, и притом с отвратительной ложью, с ложью при отягчающих обстоятельствах, — с ложью, целью которой было уличить *левых депутатов* в моральном соучастии во франкфуртском «убийстве».

Но в высшем *духовном* смысле, в сокровенном смысле, евангелист Бассерман обретается в самом средоточии истины, и он с полным правом проповедует левой в *нравственно-негодующем*, церковно-елейном тоне:

«Я, со своей стороны, должен признать, что если бы я, *политический деятель*, находящийся здесь, куда я призван *для спасения отечества из опасности*, в которой оно находится, если бы я увидел,

что крѡвъ|жѡднѡй|чѣрнь мнѣ|хѡчѣт дѡ|стѡвѣйтъ гѡс|пѡдствѡ,

если бы я встретил сочувствие среди таких элементов, — право, тогда бы я стремглав убежал в отдаленнейший угол отечества, и я спросил бы себя, на правом ли я пути, и я думаю, что я пришел бы к заключению, что я не могу быть на правом пути (находясь *слева*), ибо правым путем может быть только тот, на котором я снискиваю сочувствие нравственных, патриотических и отечественно-настроенных душ («патриотических» и «отечественно-настроенных» — приятная вариация!). Ибо что такое *свобода* и чего мы добиваемся для нашего отечества, как не такого положения, когда *господство будет принадлежать благороднейшим и лучшим*».

Мы не сомневаемся ни секунды, что «честный» г. Бассерман — «*политический деятель*». Мы считаем его призванным «спасти отечество». Человек, который может заставить 17 сентября 1848 г. следовать после 18 сентября 1848 г., чего не в силах сделать никакой бог, такой человек поистине избран и «призван» «*спасти отечество*». Германия нашла своего спасителя, великого мужа, *Бассермана*. И она с восторгом встретит его определение «*свободы*», которая есть для него не что иное, как «*господство*» благороднейших, наилучших, людей честных правил, *Бассерманов*. Паче же

всего она проникнется приведенными только что великими словами баденского депутата:

«Чего мы добиваемся для нашего отечества, как не такого положения, когда *господство* будет принадлежать благороднейшим и наилучшим» (эвфемистическое обозначение Бассермана и его коллег). Как олень алчет свежей воды, так Германия алчет династии *Бассермана*. Еще звучит песня о смелом герое, о Бассермане. *Хором трубы и литавры славят юного царя.*

ОБЕР-ПРОКУРОР ГЕККЕР И «НОВАЯ РЕЙНСКАЯ ГАЗЕТА».

Кельн, 28 октября.

В № 116 «Новой рейнской газеты» за чертой, т. е. вне политического отдела газеты, напечатано *«Слово к немецкому народу»*, подписанное Геккером. Этот «исторический документ» появился в некоторых немецких газетах раньше, чем в «Новой рейнской газете». Другие немецкие газеты, рейнско-прусские и старо-прусские в том числе, опубликовали его позже. Даже у «Кельнской газеты» нашлось ведь достаточно исторического смысла, чтобы перепечатать прокламацию Струве, а равно и Фуада-эффенди.

Не знаем, может быть, лавры республиканца Геккера не дали спокойно спать обер-прокурору Геккеру? Может быть, нужно было, чтобы изумленный мир узнал о двойном поражении германской революции — о ее поражении в результате бегства республиканца Геккера в Нью-Йорк и присутствия обер-прокурора Геккера в Кельне? Это вполне возможно. Наши потомки будут видеть в этих двух гигантских фигурах драматическое воплощение противоречий современного движения. Будущий Гете изобразит их вместе в новом «Фаусте». Пусть он сам решает, какому Геккеру отвести роль Фауста, какому — роль Вагнера.

Так или иначе, за фантастическим прощальным словом республиканца Геккера последовала не менее фантастическая обвинительная речь обер-прокурора Геккера.

Или мы ошибаемся? Может быть, обер-прокурор считает, что *«Слово к немецкому народу»* целиком сочинено самой «Новой рейнской газетой», что в своем изобретательном коварстве эта газета подписала свою собственную прокламацию именем Геккера, дабы уверить немецкий народ, что обер-прокурор Геккер переселится в Нью-Йорк, что обер-прокурор Геккер провозглашает германскую республику, что обер-прокурор Геккер по должности санкционирует благочестивые революционные пожелания?

Такой подвох вполне вероятен, ибо подпись под напечатанным в приложении к № 116 «Новой рейнской газеты» документом гласит

не «Фридрих Геккер», а tout bonnement «Геккер». Геккер без всяких прикрас, простой Геккер! А разве у Германии не два Геккера?

Кто же из этих двух наш «простой Геккер»? Что ни говори, в этой простоте есть что-то сомнительное, мы хотим сказать — что-то бросающее тень на «Новую рейнскую газету».

Как бы то ни было, г. Геккер, обер-прокурор, явно усмотрел в «Слове к немецкому народу» сочинение самой «Новой рейнской газеты». Он увидел в нем *прямой призыв к низвержению правительства*, государственную измену в чистейшем виде или, по меньшей мере, соучастие в государственной измене, что, согласно уголовному кодексу, равносильно «просто» государственной измене.

Ввиду этого г. Геккер предложил судебному следователю «*конституировать*» в качестве государственного изменника не формально ответственного издателя газеты, а ее главного редактора Карла Маркса. «Конституировать» кого-нибудь в качестве государственного изменника это значит, другими словами, немедленно посадить его в тюрьму, подвергнуть его впредь до дальнейших мер предварительному заключению. Дело идет здесь о «конституции» одиночной тюрьмы. Судебный следователь отказался выполнить предложение г. Геккера. Но когда г. Геккеру приходит в голову какая-нибудь идея, он уже не расстается с ней так легко. «Конституирование» главного редактора «Новой рейнской газеты» сделалось для него *навязчивой идеей*, как подпись «Геккер» под «прощальными словами» превратилась для него в *фикцию*. Он обратился в контрольную судебную камеру. Контрольная камера ответила отказом. От контрольной камеры он перешел к апелляционному сенату. Апелляционный сенат ответил отказом. Но обер-прокурор Геккер не избавился от своей навязчивой идеи «конституировать» — все в том же, вышеозначенном смысле — главного редактора «Новой рейнской газеты» Карла Маркса. Как видите, судейские идеи — не спекулятивные идеи в гегелевском смысле. Это, скорее, идеи в смысле Канта: домыслы «практического» разума.

Карла Маркса никак нельзя было прямо «конституировать» в качестве государственного изменника, даже если бы перепечатка какой-нибудь газетой революционных сообщений или прокламаций являлась с ее стороны актом государственной измены. Прежде всего нужно было привлечь того, кто *подписал* газету, особенно в данном случае, когда инкриминируемый документ помещен *за чертой*. Что же оставалось делать? Одна идея порождает другую. Ведь Карла Маркса можно было привлечь по ст. 60 уголовного кодекса в качестве соучастника преступления, якобы совершенного редактором

«для отсидки». Его можно, если угодно, привлечь и как сообщника в напечатании любого извещения, хотя бы оно появилось в «Кельнской газете». И вот Карл Маркс получил от судебного следователя приказ явиться, явился и был допрошен. Наборщики, насколько нам известно, были вызваны в качестве свидетелей, корректор и владелец типографии — также. И, наконец, для дачи *свидетельских* показаний был вызван *формально ответственный издатель*. Последнего вызова мы не понимаем. Неужто мнимый виновник стал бы показывать против своего сообщника?

Для полноты нашего повествования укажем, что в помещении редакции «Новой рейнской газеты» был произведен обыск.

Геккер, обер-прокурор, перецеголял Геккера-республиканца. Один совершает мятежные дела и выпускает мятежные прокламации. Другой вычеркивает факты, несмотря на все их сопротивление, из летописей современной истории, из *газет*. Он делает бывшее небывшим. Если «дурная печать» публикует революционные факты и прокламации, то она является государственной изменницей вдвойне. Она моральная соучастница преступлений: она сообщает о мятежных фактах только потому, что они возбуждают в ней зуд. И она сообщница в обыкновенном юридическом смысле слова: передавая факты, она распространяет их, а распространяя их, она становится орудием мятежа. Она оказывается, таким образом, «конституированной» в обоих смыслах и должна пожать *плоды* этой «конституции». За «хорошей» же печатью останется монополия сообщать или не сообщать революционные документы и факты, исказить их или не исказить. *Радецкий* применил эту теорию на практике, вопреки миланским газетам передавать венские факты и прокламации. «Миланская газета» и преподнесла публике вместо большой венской «революции» специально сочиненный Радецким маленький «венский» бунт. Тем не менее ходят слухи, что в Милане все-таки вспыхнуло восстание.

Г-н Геккер — обер-прокурор — состоит, как всем известно, *сотрудником* «Новой рейнской газеты». Как нашему сотруднику, мы готовы простить ему многое, только не грех против несвятого «духа» нашей газеты. А он совершает именно такой грех, превращая с неслышанным для сотрудника «Новой рейнской газеты» отсутствием критического чутья прокламацию Геккера-эмигранта в прокламацию «Новой рейнской газеты». Фридрих Геккер относится к движению *патетично*, «Новая рейнская газета» относится к нему *критично*. Фридрих Геккер возлагает все надежды на магическое действие отдельных *личностей*. Мы возлагаем все надежды на коллизии,

вытекающие из экономических *отношений*. Фридрих Геккер уезжает в Соединенные Штаты, чтобы изучать там «республику». «Новая рейнская газета» находит в грандиозных классовых битвах внутри *французской республики* более интересные предметы для изучения, чем в республике, в которой на западе классовой борьбы еще нет совсем, а на востоке она разворачивается пока лишь в старой, бесшумной английской форме. Для Фридриха Геккера социальные вопросы вытекают из политических боев, для «Новой рейнской газеты» политические бои суть только формы проявления социальных коллизий. Фридрих Геккер мог бы быть превосходным трехцветным республиканцем. Настоящая оппозиция «Новой рейнской газеты» к трехцветной республике только начинается.

Как могла бы, например, «Новая рейнская газета», не дезавуируя всего своего прошлого, обратиться к немецкому народу с таким призывом: «Объединяйтесь вокруг таких людей, которые высоко и непоколебимо держат знамя народного суверенитета, вокруг крайних левых Франкфуртского парламента; сомкнитесь твердой стеной вокруг мужественных вождей республиканского движения».

Мы неоднократно заявляли, что мы не «парламентский» орган и не боимся поэтому время от времени навлекать на свою голову гнев даже крайне левых из Берлина и Франкфурта. Мы призывали господ из Франкфурта примкнуть к народу, но никогда не призывали народ примкнуть к господам из Франкфурта. А «мужественные вожди республиканского движения» — где они, кто они? Геккер, как известно, в Америке, Струве в тюрьме. Остается Гервег? Редактора «Новой рейнской газеты», и в их числе Карл Маркс, решительно выступили на открытых народных собраниях против парижских замыслов Гервега, не убоившись недовольства возбужденных масс. Они были, как и следовало, взяты за это в свое время под подозрение утопистами, по ошибке принявшими себя за *революционеров* (ср., между прочим, «Немецкую народную газету»). Неужели же теперь, когда наши предсказания были уже не раз подтверждены событиями, мы присоединимся к людям противоположных взглядов?

Но будем справедливы. Обер-прокурор Геккер еще молодой сотрудник нашей газеты. Новичок в политике, как и новичок в естественных науках, подобен живописцу, знающему только две краски, белую и черную, или, если угодно, черно-белую и красную. Более тонкие оттенки в пределах каждого цвета открываются только искусственному и точному взору. И к тому же, разве г. Геккер не находился под властью навязчивой идеи *«конституировать»* главного редактора «Новой рейнской газеты» Карла Маркса, — идеи, которую

не мог расплавить ни очистительный огонь следственного суда, ни огонь контрольной камеры или апелляционного сената и которую следует поэтому признать огнеупорной навязчивой идеей?

Величайшим завоеванием мартовской революции бесспорно является, говоря словами Брута-Бассермана, «господство благороднейших и лучших» и их быстрое восхождение по ступеням этого господства. Мы надеемся поэтому, что и заслуги нашего уважаемого сотрудника, господина обер-прокурора Геккера, вознесут его на вершины государственного Олимпа, подобно белоснежным голубям, с быстротою молнии доставлявшим на Олимп колесницу Афродиты. Наше правительство, как известно всякому, конституционно. Пфүль бредит конституционализмом. В конституционных государствах принято внимательно прислушиваться к предложениям оппозиционных газет. Мы не сойдем стало быть с конституционной почвы, если посоветуем правительству назначить нашего Геккера на освободившуюся должность дюссельдорфского обер-прокурора. Дюссельдорфский прокурор г. Аммон, который, насколько нам известно, пока еще не заслужил медали за спасение отечества, тотчас же заставит почтительно смолкнуть свои личные притязания перед лицом более высоких заслуг. Если же г. Хеймсет сделается, как мы надеемся, министром юстиции, мы предложили бы г. Геккера на пост *государственного прокурора*. Но и этого нам мало для г. Геккера. Г-н Геккер еще молод. Русская поговорка гласит: велик царь, но бог еще больше, — *а царь еще молод*.

О РЕВОЛЮЦИИ В ВЕНЕ.

Кельн, 3 ноября.

Наши читатели никогда не питали утопических надежд относительно Вены. После июньской революции мы допускали всякую *низость* со стороны буржуазии. В первом же номере «Новой рейнской газеты», появившемся после снятия осадного положения, мы говорили: «Из-за недоверия буржуазии к рабочему классу этой революции грозит если не *крах*, то, по меньшей мере, *паралич*. Но как бы то ни было, отраженное влияние этой революции на Венгрию, Италию и Германию расстраивает весь военный план контр-революции».

Поэтому поражение Вены не явилось бы для нас *неожиданностью*. Это только побудило бы нас разорвать всякое соглашение с *буржуазией*, которая свободу измеряет *свободой торгашества*. Это побудило бы нас, непримиримо отвергая всякое соглашение, выступить против жалкого немецкого среднего класса, который охотно отказывается от собственного господства при условии, что, *не борясь*, сможет продолжать вести свою мелкую торговлю. Английская и французская буржуазия честолюбивы. Поражение Вены подтвердило бы бесчестие немецкой буржуазии.

Стало быть, мы ни на один момент не ручались за победу венцев. Их *поражение* нас не изумило бы. Оно *убедило бы* нас лишь в том, что никакой мир с *буржуазией* невозможен — даже в переходное время, что в борьбе буржуазии с правительством народ должен придерживаться нейтральной позиции и ожидать победы или поражения буржуазии, чтобы затем использовать ее победу или ее поражение. Нашим читателям достаточно просмотреть наши вышедшие до сих пор номера, чтобы убедиться, что ни победа, ни поражение венцев нас не могут изумить.

Но изумил нас повторный экстренный выпуск «Кельнской газеты». Распространяет ли правительство умышленно ложные слухи о Вене, чтобы ликвидировать возбуждение в Берлине и в провинции? *Платит ли Дюмон* прусскому *правительственному телеграфу* за то, чтобы он, Дюмон, получал от «берлинских» и «бреславльских»

утренних газет известия, которые «дурной прессе» не доставляются? И откуда Дюмон получил сегодня утром свою «телеграмму», которой мы не получали? Приглашен ли Бирк из Трира, этот нуль, занявший место Витгенштейна, к Дюмону редактором? Мы этому не верим. Ибо даже какой-нибудь Брюггеман, Вольферс, Шванбек—это еще не Бирк. Сомневаемся, чтобы Дюмон пригласил *такую* импотентную фигуру.

Дюмон, оболгавший февральскую и мартовскую революции в первых своих сообщениях, сегодня, в 6 часов вечера, снова приводит «телеграфное» известие, согласно которому Вена сдалась «вендской чесотке», то-бишь «Виндишгрецу».¹

Возможно. Но возможности *обагреного* некогда *кровью* «Брюггемана», бывшего корреспондента *старой* «Рейнской газеты», этого достойного мужа, чьи убеждения вообще идут рука об руку с «меновой стоимостью» убеждений, — его возможности покоятся на «Прусском государственном вестнике» и «Бреславльской газете». Собственным же его вкладом в историю явятся истории «Брюггемана» или «Кельнской газеты» о *февральской, мартовской и октябрьской* революциях.

Ниже мы даем это сообщение, ничего не сообщаящее.

¹ [Игра слов: «Windische Krätze» — вендская чесотка, Windischgrätz — Виндишгрец].

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ ИЗ ВЕНЫ.

Кельн, 4 ноября.

Горизонт проясняется.

Непосредственных известий из Вены все еще нет. Но даже из официальной *прусской прессы* явствует, что Вена еще не сдалась и Виндишгрец намеренно или *по недоразумению* сообщил всему свету *ложную телеграмму*, вызвавшую услужливый, многоязычный, правоверный отклик в «благомыслящей» печати, которая старается маскировать свое злорадство лицемерными похоронными речами. Если устранить все эти фантастические, совершенно друг друга уничтожающие своими противоречиями груды берлинских и силезских сообщений, то выясняются следующие моменты. К 29 октября императорские бандиты овладели лишь некоторыми предместьями. Из имеющихся до сих пор сведений не видно, чтобы эти бандиты проникли в самый город Вену. Вся капитуляция Вены ограничивается некоторыми *имеющими характер государственной измены прокламациями венского общинного совета*. 30 октября стал наступать авангард венгерской армии Виндишгреца,¹ но, *повидимому*, был отбит. 31 октября Виндишгрец снова начал бомбардировку, но безрезультатно. Виндишгрец находится теперь между венцами и насчитывающей более 80 000 человек венгерской армией. Его гнусные манифесты послужили во всех провинциях сигналом к восстанию или, по меньшей мере, к весьма угрожающему движению. Даже чешские фанатики в Праге, неофиты «Slowenska lipa» («Славянской липы»), очнулись от своих пустых грез и высказались за Вену против императорского Живодера (Schinderhannes).² *Никогда* еще контр-революция не осмеливалась так нелепо-бесстыдно разглашать свои планы. Даже в *Ольмюце*, австрийском Кобленце, почва под ногами коронованного

¹ [Здесь, как и дальше, имя австрийского фельдмаршала пишется в «Новой рейнской газете» «der Windisch-Grätz», т.е. в более скрытой форме продолжается отмеченная уже раньше игра слов («вендская четотка».)]

² [Schinderhannes — кличка известного в конце XVIII века на Рейне разбойника (настоящее его имя Иоганн Бюклер).]

идиота колеблется. Тот факт, что командующим является всемирно-известный «сипахсалар» Елачич, чье имя так велико, что *«при блеске его сабли испуганная луна прячется в облаках»*, кому всегда «гром пушек указывает направление», в котором ему надо удирать, этот факт также не оставляет никакого сомнения, что Венгрия и Вена

Гонят сволочь вдоль Дуная —
 Наглый и бездомный сброд;
 Из-под плети эта стая
 Нищих и плутов бредет.
 То кроатские холопы:
 Этот подлый стан воров
 Ввергнуть злачный край Европы
 В *бездну* верную готов.

Более поздние сообщения принесут отвратительные подробности позорных действий кроатов и рыцарей «законного порядка и конституционной свободы». А европейская буржуазия из своих бирж и прочих удобных для наблюдения лож рукоплещет этой не имеющей себе имени кровавой сцене. Это та самая жалкая буржуазия, которая при некоторых грубоватых актах народного суда изрыгала общий крик морального негодования и карканием тысяч глоток провозглашала анафему «убийцам» бравого Латура и благородного Лихновского.

Поляки, в возмездие за сцены убийства в Галиции, снова стали во главе освободителей Вены, как стоят во главе итальянского народа, как становятся всюду благородными *генералами революции*. Слава, трижды слава полякам!

Берлинская камарилья, опьяненная кровью Вены, ослепленная столбами дыма, вздымающимися из предместий, оглушенная победным ревом кроатов и гайдуков, скинула маску. «Спокойствие в Берлине восстановлено». *Nous vertons!* (Посмотрим!)

Наконец, из *Парижа* мы слышим первые подземные гулы, возвещающие землетрясение, которое похоронит честную республику в ее собственных развалинах.

Горизонт проясняется.

ПАДЕНИЕ ВЕНЫ.

Кельн, 6 ноября.

Хорватская свобода и порядок победили и отпраздновали свою победу поджогами, изнасилованиями, грабежами и другими несказанно-отвратительными преступлениями. Вена находится в руках Виндишгреца, Елачича и Ауэршперга. Гекатомбы человеческих жертв кидаются в могилу престарелого предателя Латура.

Все мрачные предсказания нашего венского корреспондента оправдались, и он сам, быть может, уже убит сейчас.

Короткое время мы надеялись на освобождение Вены венгерскими вспомогательными войсками, и движения венгерской армии представляются нам еще загадочными.

Предательство всякого рода подготовило падение Вены. Вся история рейхстага и общинного совета после 6 октября есть непрерывная история предательства. Кто был представлен в рейхстаге и общинном совете? — Буржуазия.

С самого начала октябрьской революции одна часть венской национальной гвардии открыто стала на сторону камарильи. А к исходу октябрьской революции мы видим другую часть национальной гвардии в борьбе против пролетариата и академического легиона, в тайном соглашении с императорскими бандитами. Кому принадлежат эти части национальной гвардии? — Буржуазии.

Но во Франции буржуазия выступила во главе контр-революции после того, как она сбросила все препоны, стоявшие на пути к господству ее собственного класса. В Германии она придавлена абсолютной монархией и феодализмом, еще не успев обеспечить себе даже первые жизненные условия своей гражданской свободы и своего господства. Во Франции она выступила в качестве деспота и проделала свою собственную контр-революцию. В Германии она выступает в качестве рабыни и проделывает контр-революцию своих собственных деспотов. Во Франции она победила для того, чтобы смирить народ. В Германии она сама себя смиряет, чтобы народ не победил. История не знает более позорной и жалкой роли, чем роль германской буржуазии.

Кто убегал толпами из Вены и предоставлял охрану покинутых богатств великодушию народа, чтобы потом поносить последний за его сторожевую службу во время бегства и по возвращении смотреть, как его убивают? — Буржуазия.

Чьи глубочайшие секреты выдает термометр, который падал при всяком проявлении жизни венского народа и поднимался при всяком его предсмертном хрипении? Кто говорит на руническом языке биржевых курсов? — Буржуазия.

«Германское Национальное собрание» и ее «центральная власть» предали Вену. Кого они представляют? — Прежде всего буржуазию.

Победа «хорватского порядка и свободы» под Веной была обусловлена победой «благопристойной» республики в Париже. Кто победил в июньские дни? — Буржуазия.

Своей победой в Париже европейская контр-революция начала справлять свои оргии.

В февральские и мартовские дни вооруженная сила была всюду разбита. Почему? Потому что она никого не представляла, кроме правительств. После июньских дней она всюду победила, ибо буржуазия всюду находится в тайном соглашении с нею, сохраняя, с другой стороны, в своих руках официальное руководство революционным движением и пуская в ход все те полумеры, естественным плодом которых является недоносок.

Национальный фанатизм чехов послужил сильнейшим орудием в руках венской камарильи. Теперь союзники уже перессорились. В настоящем номере наши читатели найдут протест пражской депутации против грубых оскорблений, которыми она была встречена в Ольмюце.

Это первый симптом войны, которая начнется между славянской партией с ее героем Елачицем и между партией камарильи, возвышающейся над всеми национальностями, с героем Виндишгрецем. С другой стороны, немецкое сельское население Австрии еще не замирено. Его голос резко раздастся среди кошачьего концерта австрийских народов. А с третьей стороны, до самого Пешта доносится голос народолюбивого царя: его палачи ждут решающего слова в дунайских княжествах.

Наконец, последнее решение германского Национального собрания во Франкфурте, которое включило немецкую Австрию в Германскую империю, тоже должно было бы привести к гигантскому конфликту, если бы только германская центральная власть и германское Национальное собрание не видели своей задачи исключительно в том, чтобы выйти на сцену и быть освистанными европейской пуб-

ликой. При всей их смиренной преданности, борьба в Австрии развернется в таких гигантских размерах, которых мировая история никогда еще не видала.

В Вене только что закончился второй акт драмы, первый акт которой разыгрался в Париже под названием «июньские дни». В Париже — мобили, в Вене — «хорваты», в обоих городах лаццарони, вооруженный и подкупленный люмпен-пролетариат против трудящегося и мыслящего пролетариата. В Берлине мы скоро переживем третий акт.

Пусть контр-революция существовала во всей Европе при помощи оружия, но умрет она во всей Европе благодаря деньгам. Рок, который мог бы сломить победу, уничтожить ее результаты, это — европейское банкротство, государственное банкротство. Об «экономические» вопросы острие штыков ломается, как мягкий трут.

Но ход развития не будет ждать исполнения срока по тому векселю, который европейские государства перевели на новое европейское общество. В Париже разбитая в июне революция нанесет сокрушительный контр-удар.

С победой «красной» республики в Париже армии из глубины разных стран будут выброшены к границам и за границы, и ясно обнаружится действительная сила борющихся партий. Тогда мы вспомним июнь и октябрь и тоже воскликнем: *Vae victis!* (Горе побежденным!).

Безрезультатная резня после июньских и октябрьских дней, надоевшие гекатомбы после февраля и марта, каннибализм контр-революции убедят народы в том, что существует только одно средство для того, чтобы *сократить*, упростить и локализовать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — *революционный террор*.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОСПОДИН КАВЕНЬЯК.

I.

Э. Жирарден жалок в своей апологии цезаристского кретина, «маленького констебля», Луи-Наполеона. И в то же время он мил в своей атаке на Кавеньяка, эту шпагу г. Марраста. С 7 ноября г. Жирарден в ряде последовательных номеров раздражается филиппикой против *героя европейской буржуазии*, влюбившейся в его арабский ночной колпак. Но неверная по природе, она принесла его в жертву ради «*сипахсалара*» Елачича, нынешнего льва европейского мелкого торгашества.

Мы передаем нашему читателю этот *acte d'accusation* (акт обвинения) парижской «La Presse» полностью. В отличие от всех европейских газет большого и малого формата мы понимали июньскую революцию так, как это подтвердила история. Мы намерены время от времени возвращаться к главным моментам и к главным действующим лицам *июньской революции*, ибо она представляет собой центр, вокруг которого вращаются и европейская революция, и контр-революция. Удаляться от июньской революции значит, как мы выразились в тот момент, когда она происходила, приближаться к зениту контр-революции, которая должна была обойти Европу. Возврат к июньской революции, это — подлинное начало европейской революции. Таким образом, назад к Кавеньяку, *творцу осадного положения!*

Господин Кавеньяк.

§ 1. «*Господин Кавеньяк — характер двойственный, слабый, нерешительный, который, для того чтобы стать на сторону сильного, храбро ожидает, пока наиболее слабый будет хотя бы наполовину побежден*».

Первый акт, которым Кавеньяк вышел за пределы узкого круга военной жизни, чтобы войти в широкий круг политики, был актом слабости, ясно обнаружившим нерешительный характер, если словом «нерешительность» можно обозначить боязнь смело вступить в ряды партии, которая не является победительницей.

Как известно, первый акт правительства Марраста заключался в том, что генерал-губернатором Алжира, вместо герцога Омальского, был назначен не находившийся в Алжире генерал Шангарнье, а пребывавший в Оране генерал Кавеньяк.

В один прекрасный день, 22 апреля, «National» исторг крик ужаса:

Анархия!

В чем дело?

Послушайте!

Дело идет об Алжире, управление которым доверено генералу Кавеньяку. Анархия, анархия, анархия! Трижды анархия!

«Ледрю-Роллен, — восклицает перепуганный «National», — послал в Алжир некую *личность*, именуемую Купе. Личности, именуемой Купе, — вздыхает «National», — личности, объявляющей себя *чрезвычайным*, снабженным неограниченными полномочиями комиссаром, угодно было посадить в Алжире *дерево свободы* и, повесив на это дерево — угадайте! — *красный колпак*, заставить *господина Кавеньяка, генерал-губернатора Алжира*, этот красный колпак приветствовать».

Какая безрассудная смелость! Какая неловкость! Один единственный человек! Так изнасиловать генерала, имеющего в своих руках армию в 100 000 сабель и штыков!

Генерал Кавеньяк носит шпагу на бедре не для того, чтобы приветствовать красный колпак и повиноваться приказу «личности» Купе!

К сожалению, не все обладают таким мужеством, как Вильгельм Телль. Генерал Кавеньяк склоняет свою голову и свою шпагу пред красным колпаком и пред авторитетом «личности» Купе.

Один человек имеет мужество выступить против парижского Гесслера. Это — не Кавеньяк, генерал-губернатор Алжира, это — простой офицер гражданской гвардии, *Фрушье*.

Самое худшее, это — способ, каким Кавеньяк оправдывает свое нежелание приветствовать «красный колпак», «личность Купе» и свое все же героическое, вопреки этому нежеланию, приветствие.

Разверните алжирскую газету «Achhar» — и вы прочтете там следующее:

«Из объяснений, данных генерал-губернатором, следует, что свое согласие на посадку дерева свободы он дал для того, чтобы пойти в ногу с политикой всей Франции и с общественным мнением. *Что же касается красного колпака, то генерал не преминул объяснить, что он такого требования не ожидал, но вместе с тем не придает этому никакого значения*».

Кавеньяк, стало быть, не придает *красному колпаку, т. е. красной республике*, никакого значения! И для чего только *Ламартин* рисковал своей жизнью 24 февраля на площади перед городской ратушей! *Красный колпак* не имеет значения! Почему же «National» кричал: «*анархия, анархия!*» Это делалось, чтобы *разоблачить Ледрю-Роллена*. Для характеристики поведения Кавеньяка «анархия» не была бы подходящим словом.

Отсюда видно: это все тот же человек с двойственным, слабым, нерешительным характером. Тот самый человек, который 24 июня одному командиру эскадрона национальной гвардии, пришедшему к нему на помощь, сказал: «Настроение населения против нас» — и тут же отдал этому офицеру два распоряжения, из которых одно отменяло другое. Это тот самый человек, который до такой степени потерял голову, что позволил себе опрометчиво сказать: «*Если бы одна из моих рот была разоружена, я пустил бы себе пулю в голову*» — слово, которое он имел благоразумие не сдерживать, ибо на площади Вогезов одна его рота была разоружена.

Сказанным характер Кавеньяка очерчен. Перейдем к его действиям.

II.

«Господин Кавеньяк мог бы помешать восстанию 23 июня. Он не помешал, ибо в его расчеты входило сделать это восстание достаточно крупным и опасным, чтобы ускорить свержение Исполнительной комиссии и убедить в необходимости диктатуры».

Откроем первый том материалов «Комиссии по расследованию июньских событий». Первый документ, привлекающий наше внимание, это — сообщение гражданина *Бошара*.

На стр. 38 читаем:

«Перед 23 июня люди самые близорукие и весьма малоопытные не питали никакого сомнения насчет того, что предстоит взрыв. Уже перед самым 17 июня перехвачено было письмо к Бланки в Венсенн, возвещавшее выступление».

Народный представитель *Адельсвард* заявил: «В эти четыре дня свидетель был как-то задержан людьми, которые сказали, что пришли из Сен-Кантена, и пожелали, чтобы их отвели в президиум. По дороге они сказали, что национальная гвардия идет на Париж, но что *линейные войска* не идут и *это всех приводит в изумление*».

Изумление проходит, когда продолжаешь читать дальше. Послушайте господина Бертрана, лейтенанта второго легиона.

«23 июня мы были посланы к воротам Сен-Дени, где без борьбы взяли одну баррикаду. Однако после ее взятия нас приветствовали весьма густым огнем из дома Жувена. Когда мы пришли туда, то не нашли ни легкой гвардии, ни линейных войск, которые прибыли лишь в 2¹/₂ часа».

За господином Бертраном следует бывший депутат г. *д'Оссонвиль*. Он говорит:

«23 июня дело шло о том, чтобы отправить войска в Париж. В субботу в центральном пункте кантона было собрано много частей. Я отправился в Мелен. Префект сказал, что он не получил никаких распоряжений. Я посоветовал ему призвать национальную гвардию в главный пункт департамента. *Он отказался под предлогом, что нет никакого приказа*. Можно было собрать 10 000 человек на-

циональной гвардии и линейных войск и на другой день перебросить их в Париж. *Префект, наконец, решился: он подписал приказ.* Однако он тут же раздумал, и, вместо того чтобы доверить мне и прибывшим со мною лицам этот приказ, он заявил нам, что пошлет его с обычными вестовыми или с жандармами. Я тотчас же догадался, что приказ, наверное, не дойдет по назначению. И действительно, был отдан обратный приказ.

Жубер, бывший директор парижской таможни, сообщает:

«Если бы в пятницу 23 июня до 2 часов дня мы имели самую незначительную вооруженную силу, мы не допустили бы устройства баррикад. Национальные гвардейцы, видя, что никаких линейных войск не прибывает, пали духом и разошлись по своим домам. Повстанцы сильно колебались. Большая баррикада, которая была взята в пятницу вечером линейными войсками и национальной гвардией, была вновь построена лишь 24 числа в 5 часов утра».

Лалан, директор Национальных мастерских, показывает:

«Я доказывал, что если тотчас же не будут приняты крупные меры, кризис станет неотвратимым».

Господин *Мари* является министром юстиции, и его свидетельское показание не может быть заподозрено и оспорено. Послушайте его:

«22 июня, видя возбуждение, я собственноручно написал военному министру Кавеньяку: --- День и вечер прошли очень бурно. Это внушает мне беспокойство насчет завтрашнего дня. *Примите все необходимые меры.* Мне сообщили, что завтра в 6 часов рабочие должны собраться в большом числе на площади Пантеона. Пошлите в Люксембург два полка пехоты и один полк кавалерии. — Таким образом, генерал был осведомлен. И с утра 23 июня ему было доверено общее командование».

Стало быть, еще с 22 июня, — это заявляет г. Мари, — министру предложено было принять все необходимые меры. С 23 числа господину Кавеньяку было вручено генеральное командование. Он обладал, следовательно, всей военной властью, к которой декрет Национального собрания от 23 июня ничего не прибавил.

Показание парижского мэра, г. *Марроста*, наивно. Оно гласит: «Баррикады строились в полном *спокойствии*».

А почему они строились в спокойствии? Почему не помешали их появлению?

Но это не так наивно, как кажется. Цель этого признания косвенно обвинить Исполнительную комиссию и возложить на ее членов всю ответственность за непринятие мер или за их недостаточ-

ность. Цель была в том, чтобы оправдать декрет 24 июня, передавший всю исполнительную власть генералу Кавеньяку, чтобы узаконить диктатуру, наконец, чтобы выставить самих себя в роли спасителей Парижа, спасителей порядка и общества.

Как ни ловко прядет свою пряжу «National», но ее нити можно все же проследить.

Если бы баррикады не строились, дескать, так спокойно, если бы Исполнительная комиссия не вызвала подозрений в непредусмотрительности, беспечности или тайном соглашении, не было бы ни средства, ни предлога отнять у нее власть и передать — кому? военному министру, которому Исполнительная комиссия накануне вручила главное командование, прославленной шпаге газеты «National».

III.

Господин Моро, народный представитель, бывший мэр восьмого городского округа, показывает:

«В четверг, 22 июня, вечером, я увидел толпу приблизительно в 2 000 человек. Я слышал, как условливались встретиться на следующее утро. И действительно, на другой день начали строить баррикады. Господин Рекюр пришел рано в мэрию. Я сделал распоряжения, которые были плохо выполнены одним из служащих мэрии. Я сам вышел на улицу и приказал разрушить начатые баррикады. Призывный барабанный бой привлек небольшое число национальных гвардейцев — 200 или 300 человек. На мое требование прислать полк линейных солдат г. Рекюр ответил, что это его не касается. Мятеж разрастался. Пришли ко мне в мэрию и заявили, что необходимо выступить походом против Национального собрания. Я отказался. Национальных гвардейцев принудили принять участие в постройке баррикад. В пятницу (23 июня), в 2 часа, пришел Белэ. Его просили прислать войска. Он записал это у себя и ушел. Один только полицейский комиссар оказал мне действительную услугу, — около 2½ часов пришел в мэрию патруль в 350 человек. Наступил вечер. Рекюр и Биксио пришли приблизительно в 4 часа. Наконец, прибыли Гарнье-Пажес и Паньер, которые, входя в мэрию, сказали: «Будьте спокойны, вам пришлют помощь». Никто не приходил. Одним словом, если бы *предместье Сент-Антуан не было покинуто и оставлено без поддержки*, там мятежа бы не было. Я это утверждаю».

Как видно, все показания совпадают в двух следующих пунктах:

Восстание предвидели, и его легко можно было предупредить.

Очень важны следующие два свидетельских показания: одно — *Паньера, секретаря временного правительства*, а другое — *Панисса, директора общей безопасности при министерстве внутренних дел*.

Господин Паньер сказал:

«Я думаю, что, если бы приказ об аресте 56 делегатов и Пюжоля был выполнен, *восстание, вероятно, можно было бы предупредить*. Приказ об аресте господина Пюжоля и четырех других человек был

отдан непосредственно префекту полиции. Приказ же об аресте 56 делегатов Национальных мастерских был отдан 22 июня в *3 часа утра самому господину Рекюру*.

Господин Панисс показал:

«22 июня в 7 часов вечера я получил письменный приказ господина Рекюра, подписанный в Люксембурге, о том, чтобы распорядиться об аресте 56 делегатов 12-го округа. Я приказал написать ордера об аресте: я хотел вечером дать их на подпись господину Рекюру. Но я не мог получить его подписи, ибо *он был на обеде*».

Господин Рекюр *обедал!* А потому величайшей важности приказ, который должен был помешать восстанию, не был подписан.

Этот приказ был дан Исполнительной комиссией самому господину Рекюру в *3 часа утра*. Когда же приказ был подписан? В 7 часов вечера. Потеря 16 часов, которые стоили Франции потоков крови. Но что прикажете! Господин Рекюр (из «National'я») *изволил обедать*.

Реййо, жандармский полковник, показал:

«Казарма отряда Франк-буржуази осаждалась в течение полутора суток. Она не сдалась, хотя осаждало ее 1 500 человек. Вначале требовалось только 150 человек (и их просили прислать), чтобы помешать баррикадам».

Господин Рэ, священник больницы «Долина благодати», рассказывает:

«В пятницу, около полудня, я был на площади Пантеона и видел баррикады, воздвигнутые на улице Суфлю. Никто не противодействовал, хотя присутствовало 300 — 400 зрителей. Я предложил четверем-пяти национальным гвардейцам выступить; они *отказались, ссылаясь на то, что их мало*».

«На следующее утро я был на той же площади. Несколько национальных гвардейцев оживленно расспрашивали офицера и жаловались, что не получают никаких приказов».

Руссо, командир батальона одиннадцатого легиона, показал:

«Один офицер генерального штаба был вынужден отдать приказ об отправке двух батальонов к Национальному собранию. Офицер, распорядившийся у Люксембурга, воспротивился отправке этих войск. Пришлось ему сказать: *вас предадут за это военному суду*. В четверг (22 июня) весь квартал был в большом возбуждении. Утром в этот день меня позвали в мэрию. Полковник сказал мне, что он пошел в Люксембург, дабы получить письменный приказ бить сбор. *Такого приказа он не добился*. Я сказал ему: «Судя по тому, как складываются сейчас обстоятельства, надо бить не просто сбор, а генерал-марш (общий сбор)». Мы пошли обратно в Исполнительную ко-

миссию. Приказ нам был дан. *Баррикады воздвигались повсюду, не встречая сопротивления.* С полковником и еще другим лицом я отправился в Люксембург. Я потребовал взвод линейных войск и заявил, что *при таком подкреплении я беру все на свою ответственность.* Господин Гарнье-Пажес возразил: *«Оставьте, у Кавеньяка свой план. Он собирает внушительные силы и сильными колоннами возьмет баррикады.»*

В пятницу, 23 июня, — заметьте эту дату, — начальник 11-го легиона отправляется в Люксембург для получения приказа бить сбор. *Полковник не может добиться приказа.*

Со всех сторон воздвигаются баррикады, не встречая сопротивления.

Бравый командир батальона Руссо требует взвода линейных войск и заявляет, что, имея такую поддержку, он *берет все на свою ответственность.* Все это происходит в пятницу, 23 июня.

Какой ответ получает господин Руссо? *«У Кавеньяка свой план».*

Другой начальник батальона, г. Тейль, показывает:

«В четверг, 22 июня, я видел сборище в 40 000 мятежников. Они открыто подготавливали заговор. В пятницу собралась у Пантеона толпа приблизительно в 1 000 рабочих. Один национальный гвардеец, Севиньяк, подвергся с их стороны преследованию. Пост летучей гвардии не был способен его защитить». Свидетель разыскал Исполнительную комиссию. Там он встретил трех батальонных командиров. Они нашли господина Рекюра и сделали ему представление о недостаточности принятых мер. Рекюр сказал, что он пришел по поводу того же. Араго был в постели. Ему рассказали, как обстоят дела. Он был *изумлен недостаточностью предохранительных военных мероприятий.* Ему посоветовали принять самые энергичные меры. Ему сказали, что вся страна будет обвинять его и его коллег в тайном соглашении с повстанцами. Просили его дать приказ бить общий сбор. Он оставался равнодушен. Его просили распорядиться бить хотя бы только сбор. Араго не хотел давать приказ — то не было у него пера, то не было чернил. Наконец, он обещал встать с постели и написать приказ.

«В 9 часов я и В. Кине пришли опять в Исполнительную комиссию, чтобы получить письменный приказ. Исполнительная комиссия собралась полностью. Я все повторил снова. Присутствовали Кавеньяк, Клеман Тома, Рекюр и т. д. Я сказал: «Пора положить этому конец. Национальная гвардия не знает, что думать. Сейчас нужны пушки и картечь. В противном случае национальная гвардия будет знать, что ей делать.»

Это свидетельское показание достаточно ясно: 22 июня 40 000 повстанцев открыто готовили заговор. Какие меры были приняты в пятницу 23 июня? Никаких. Г-н Араго изумляется *недостаточности военных мероприятий*. Свидетель вынужден, наконец, *прибегнуть к угрозам*.

Надо ли приводить еще другие свидетельства для доказательства, что восстания 23 июня можно было избежать, если бы этого хотели? Если не было в этом преступного расчета, то была преступная беспечность.

Один или другой из этих терминов может характеризовать г. Кавеньяка.

Ou coupable ou incapable. Или виновен, или неспособен.

Мы не можем сказать ничего лучшего, чем сказано в показании *Труве-Шовеля*, тогдашнего *префекта полиции и нынешнего министра финансов*.

«21 июня, — сказал он, — состоялось большое собрание на площади перед ратушей. Я потребовал назавтра три батальона и получил согласие на это. Я знал, что 22-го вечером должно состояться другое собрание у Пантеона. В 11 часов утра я отправился в Исполнительную комиссию, чтобы ее информировать об этом. Режюр хотел в этот момент уйти. Его задержали. *Я заявил, что положение очень серьезно*. Я сообщил, что, поскольку касается меня, будут приняты все полицейские меры, но *необходима переброска войск*. Моих агентов оскорбляли, били; *никаких войск не присылали*. Мои агенты получили известие о собрании, которое должно произойти 23 июня в 6 часов утра. Я писал об этом Исполнительной комиссии и *умолял ее держать войска наготове к 5 часам утра*. Мои агенты отправились в надлежащее время на место происшествия. Их первый доклад получен был мною в 7½ часов. Он сообщал мне, что никаких войск не прислали. Моих агентов снова избили. Собрание насчитывало 12 000 — 15 000 человек. Я пожаловался на отсутствие войск. Если бы требуемые войска были мне даны 22 июня вечером или 23 июня к 6 часам утра, я мог бы еще арестовать у Пантеона главарей собравшейся на площади толпы. Вероятно, вместе с ними арестовал бы также и 56 делегатов Национальных мастерских; мандат на арест этих делегатов я получил, наконец, 23 июня в полдень».

Сопоставьте все эти показания и взвесьте, наконец, слова, которые Гарнье-Пажес сказал храброму батальонному командиру Руссо:

«У Кавеньяка свой план»,

и вы должны будете сделать подобающие выводы.

IV.

Если у Кавеньяка был план, если его план состоял не в том, чтобы свергнуть Исполнительную комиссию в целях захвата диктатуры, то надо признать, что трудно было бы выбрать план, который подверг бы Париж, общество и порядок большей опасности, привел бы к большому кровопролитию и причинил бы большее несчастье.

Мы не хотели обосновывать наше доказательство *виновности* или *неспособности* Кавеньяка свидетельскими показаниями, которые он мог бы отвести как до известной степени сомнительные. Все же для полноты важно хотя бы запротоколировать показания Франсуа Араго, Гарнье-Пажеса, Ламартина, Ледрю-Роллена.

Франсуа Араго: «В ночь с 22 на 23-ье, в 3 часа утра, по докладу полицейской префектуры, был послан Кавеньяку приказ, предписывающий к 6 часам утра послать на площадь Эшепад полк пехоты и два эскадрона. Этот приказ не был выполнен. В результате, вместо того чтобы брать баррикады, которые только воздвигались и легко могли быть взяты, пришлось бороться против баррикад, уже построенных и укрепленных».

Гарнье-Пажес: «23 июня мы приказали генералу Кавеньяку отправить войска к Пантеону... *Ни один такого рода приказ не был выполнен.* Вызовы войск из близлежащих к Парижу департаментов, напр. из Шербурга, а также из Бреста, произведены были по приказу Ледрю-Роллена».

Ламартин: «Больше чем за месяц до событий, был дан генералу Кавеньяку приказ окружить Национальное собрание линейными войсками и рассчитывать на национальную гвардию только как на резерв. Число войск в Париже составляло тогда лишь 6 500 человек. Сошлись на том, чтобы разместить в столице по казармам 23 000 человек линейных войск. Мы имели 16 000 летучей гвардии, 2 500 человек республиканской гвардии и 2 000 человек парижской охраны. Я требовал, кроме того, размещения 15 000 человек в ближайших окрестностях Парижа. Получилась бы боевая сила в 60 000 человек, не считая национальной гвардии, и я находил эту силу

более чем достаточной для подавления всякого повстанческого движения. Я, можно сказать, *осаждал генерала Кавеньяка своими соображениями на этот счет*. Я не обвиняю генерала Кавеньяка, но вынужден сказать, что *в военном управлении было нечто такое, что внушало нам недоверие*. Я предлагал сделать усилие и взять баррикады до ночи. *Но отсутствие войск затянуло борьбу*».

Ледрю-Роллен: «В связи с событиями 23 июня Исполнительную комиссию обвиняли в недостатке предусмотрительности. Я отклоняю этот упрек и заявляю, что все предохранительные меры были приняты. *Наши приказы были точны, но они не были выполнены*. Так, например, мы хотели увеличить гарнизон Парижа и окрестностей до 60 000 человек, включая сюда летучую и республиканскую гвардию, а также парижскую охрану. Так как нам чинили затруднения, то мы снизили это количество сперва до 55 000, затем до 50 000 и, наконец, до 45 000. Генерал Кавеньяк говорил, что *не может оставить остальную страну без войск*. Сошлись, наконец, на 20 000 для Парижа и 5 000 для Версаля, Сен-Дени и т. д., в общем на 25 000 человек. Кроме того, Ламартин предложил перевести 20 000 человек из альпийской армии, что и было принято.

«Я вспоминаю, что забота Ламартина о наличном составе войск была так велика, что он часто спрашивал, как обстоит дело с *выполнением наших приказов по этому поводу*. Нужно установить, было ли в Париже в соответствующий момент 25 000 человек войска. Я не могу этому поверить. Из всех частей Парижа жаловались 23 июня, что нет никаких войск.

«Между тем, среди нас были существенные разногласия по поводу того, какие средства защиты надлежало принять 23 июня. Выдвигались две противоположные друг другу системы. Генерал Кавеньяк требовал, чтобы армия была предоставлена в его распоряжение, чтобы была произведена массовая концентрация и чтобы только затем уже войска были брошены на атакуемые пункты. Напротив, Исполнительная комиссия хотела, чтобы баррикады брали, как только они воздвигались или даже как только приступали к их постройке. Исполнительная комиссия долго настаивала на своем мнении. Лишь с сожалением она уступила, оставив управление военными делами в руках Кавеньяка, а сама удалилась в кабинет президиума, где она могла с ним объясниться.

«Приблизительно в 3¹/₂ часа Кавеньяк удалился, чтобы лично ознакомиться с положением на местах. Его отсутствие должно было продолжаться максимум час. *Вернулся он только около 9 часов вечера*. Никогда не буду в состоянии изобразить муки, которые я пе-

реживал за время его отсутствия. Все мэрии Парижа присылали ко мне за подкреплениями. Они жаловались, что не видать никаких войск. Национальная гвардия кричала об измене. А я, — я был там, в кабинете президиума, совсем один, в невыразимо смертельном беспокойстве. В отсутствие моих коллег я решил написать префектам, прося их о присылке всех боевых сил, расположенных по соседству с Парижем. Я изготовил приказы адмиралу Кази, чтобы он немедленно вызвал войска из Бреста и Шербурга. Когда вернулся генерал Кавеньяк, признаюсь, я встретил его с большой пылкостью.

«Из всего сказанного мной я считаю возможным сделать вывод, что в первый день восстания в Париже действовало максимум 8 000—10 000 человек. Во всяком случае, факт, что *когда я, приблизительно в час ночи, спросил у генерала Кавеньяка, сколько в Париже войск, он мне ответил, что не знает.* Я стоял за то, чтобы с рассветом вновь начать атаку и послать генералу Дамему два батальона. Генерал Кавеньяк был против этого. Около 3 часов утра начата была перестрелка.

«Обвинения, выдвинутые против нас из-за отсутствия войск, были так велики, что один офицер пришел нам сказать, что Комиссию громко обвиняют в измене, и ее *надо расстрелять.*

«События представлялись мне настолько серьезными, что приходилось помышлять о применении артиллерии. Я думал взять орудия из Венсенна. Кавалерия двинулась в 11 часов, чтобы их доставить. *Благодаря какому роковому обстоятельству они прибыли лишь около 10 часов утра? Поистине трудно допустить, что для поездки в Венсенн и возвращения обратно в Париж потребовалось 11 часов.* Эта экспедиция была поручена полковнику Мартиницеу, который должен был привести с собой два находившихся в Венсенне пехотных полка. Генерал Кавеньяк сказал: «Честь армии требует, чтобы я настаивал на своей системе. Если бы только одна из моих рот была обезоружена, я пустил бы себе пулю в лоб. Пусть национальная гвардия берет баррикады. Если она будет побита, я предпочту отступить в Сен-Дени и там дать сражение восставшим».

Пусть читатель превратится в присяжного. Пусть положит руку на сердце и ответит на следующий вопрос:

«Мог ли генерал Кавеньяк помешать восстанию 23 июня?»

«Если он не помешал восстанию, то не произошло ли это потому, что в его план входило сделать восстание достаточно широким и опасным, чтобы ускорить свержение Исполнительной комиссии и убедить в необходимости диктатуры?»

Да или нет?

V.

В палате происходили дебаты о Кавеньяке. Обвинения, выдвигаемые против него, становятся с каждым днем грознее. Вотум одобрения, принятый палатой, ни в какой мере этих обвинений не устранил.

С 17 мая Кавеньяк был военным министром. Мог ли он на таком посту предупредить восстание 23 июня? Да. Что же он сделал? Он поставил на карту Париж и общество. А подвергнув общество смертельной опасности, спас ли он его? Нет! Не должен ли был бы он уйти также вместе с исполнительной властью? Да! Ушел ли он? Нет!

Как 17 апреля, так и 22 июня не было ничего легче, как мерами устрашения помешать восстанию. Достаточно было только перебросить в Париж значительную военную силу. А из собственных признаний Кавеньяка вытекает, что в его распоряжении имелись 42 000 человек войска. Что же делает Кавеньяк? Ничего. Он только допускает, чтобы баррикады строились, как выразился Марраст, в полном спокойствии. А почему? «Потому что у него свой план». А в чем этот план? Не раздроблять своих войск и лучше подавить восстание, чем предупредить мятеж, лучше дать сражение, чем разогнать собирающиеся массы народные. Но если таков был его план, то ведь он должен был, по меньшей мере, поставить в известность об этом офицеров национальной гвардии, дабы они спокойно оставались по домам, а не губили себя у баррикад. Несомненно, кровь солдат ценна и заслуживает, чтобы ее щадили. Но разве кровь гражданской гвардии не столь же ценна, и не легкомысленно ли проливали кровь граждан, чтобы щадить кровь солдат? Не поощрял ли Кавеньяк намеренно восстание в той же мере, в какой обескураживал национальную гвардию?

И когда Бартеlemi-Сент-Илэр представил все это генералу Кавеньяку, что последний ему ответил? «Разве я здесь для того, чтобы защищать ваших парижан и вашу национальную гвардию? Пусть она сама защищает свой город и свои лавки. Я не хочу дробить мои войска. Я помню еще 1830 и 1848 годы». Таков знаменитый план

Кавеньяка. Это то, что он называет своей «системой концентрации». Он держит концентрированными свои войска, пока баррикады не готовы, и затем посылает национальную гвардию в огонь, пока она не истечет кровью. Тогда лишь начинается наступление войск, появляется картечь. Кавеньяк ссылается на 1830 и 1848 годы. Но тогда положение было совершенно другое. Оба эти раза королевская власть не была побита, а распалась. Кавеньяк знал о приближении кривиса. Он знал, что этот кривис будет означать не бунт, а настоящее сражение. Он знал это с 8 июня. Какие предупредительные меры принял при таких условиях Кавеньяк? Ламартин спрашивал его ежедневно, когда же, наконец, придут войска. Если бы Кавеньяк дал необходимые распоряжения своевременно, как он заявил в своем ответе Ламартину, тогда не было бы надобности еще 24 июня вызывать по телеграфу морские полки из Шербурга, Бреста и т. д.

Дебаты не только не сняли вину с генерала Кавеньяка а, напротив, возвели на него еще новое обвинение — в участии в парламентском заговоре.

VI.

Дебаты в палате отнюдь не исчерпали вопроса. Напротив, новые обвинения с растущей силой выдвигаются против Кавеньяка. Еще 18 июня Исполнительная комиссия хотела подать в отставку. Кавеньяк один побудил комиссию остаться и обязался разделить ее участь. Кавеньяк должен был остаться вместе с комиссией или вместе с нею уйти в отставку. Он не сделал ни того, ни другого. Комиссия ушла, а он остался. 22 июня пришла к генералу депутация. Генерал высказал мнение, что члены комиссии в ее теперешнем составе сами себя взаимно губят. Он дал депутации понять, что никаких обязательств по отношению к комиссии не имеет и готов принять всякий пост, который ему вручит Национальное собрание. 24 июня председатель палаты Сенар и Кавеньяк заперлись в кабинете, чтобы обсудить условия вручения генералу власти. Гарнье-Пажес упрекнул генерала в неблагодарности по отношению к Исполнительной комиссии. Гарнье-Пажес неправ. Единственно, в чем можно упрекнуть Кавеньяка, это, как он сам признает, в скверной памяти.

Наступило 25 июня. Восстание становилось все грознее. Кавеньяк как военный министр не принял никаких предупредительных мер. Ораторскую трибуну занял министр иностранных дел Бастид и указал, что, быть может, через час здание ратуши попадет в руки повстанцев. Тотчас было проголосовано предложение Дюфора об объявлении осадного положения и сосредоточении всей власти в руках одного человека. В этот момент комиссия сообщает палате, что подает в отставку не ввиду опасности, а ввиду голосования палаты. Тотчас же после отставки Комиссии и назначения Кавеньяка диктатором последний отправляет свои телеграммы о немедленной присылке отовсюду войск в Париж. Нужны ли еще доказательства того, что Кавеньяк подло обманул комиссию и своей медлительностью дал восстанию распространиться настолько, что победитель в июньской борьбе стал господином Парижа и буржуазной палаты.

Концентрация власти в руках Кавеньяка обнаруживает сейчас свои результаты. Она — не что иное, как военное господство грубой силы, купленной буржуазией для торжества над пролетариатом.

VI.

Париж, 13 апреля.

Итак, Кавеньяк, который в своей ревностной службе врагам республики расстрелял народ картечью, Кавеньяк, который задушил февральскую революцию, — этот Кавеньяк по достоинству ныне судим консерваторами — сторонниками старого режима. Поистине роялисты и аристократы весьма неблагодарны! Так жестоко наказывать человека, который все принес в жертву силе, власти, длившейся лишь день. И какой он сейчас одинокий, совершенно покинутый всеми, кроме весьма немногочисленных друзей, которые столь же слепы, как он, но еще менее способны и еще менее влиятельны! Обладай еще этот человек гением, можно было бы сказать: он — гений разрушения, на развалинах воздвигший свой трон. Но он стоит совершенно одинокий между двумя партиями, между которыми Франция должна выбирать, без всякого иного титула, кроме титула ионьского героя, распоряжавшегося жизнью и свободой своих сограждан по своему полному произволу. Кавеньяк, это значило тогда: воистину храбрый солдат, твердый ум, спокойная душа, честное, послушное закону сердце. Кавеньяк — надежда республики, единственный человек, которого создала республика. Это был человек, олицетворявший судьбу. Мы видели, как он в качестве диктатора вызывал восхищение и уважение в такой же мере, как и страх, и при всем том он оставался столь снисходительным, благосклонным, словно был такой же, как другие.

Не будучи подобен Сулле ни как полководец, ни как политик, он все же, несмотря на все эксцессы, был обуреваем самым кичливым и необузданным неистовством скромности. Его скипетр — гибкая трость, совершенно неприметная тросточка, которую он ни за какие деньги не променял бы ни на копьё Ахилла, ни на меч Карла Великого.

Мы видели, как он тысячами сажал в тюрьму, казнил и ссылал «врагов республики». Мы видели, как он, словно римский император, правил диктаторски и третировал Национальное собрание как свой сенат. Уничтожить свободу печати, свободу личности и свободу

организаций было для него мелочью, и стоило это ему меньше усилий, чем полицейскому комиссару приучить жителей какого-нибудь городского квартала к соблюдению чистоты на улицах. Если он не был писателем наиболее красноречивым, то был наиболее внушающим страх. Одним росчерком пера он умертвил 25 газет, и газеты эти могли быть уверены, что снова не воскреснут.

Мы видели, как он делал вид, будто испрашивает у Национального собрания совета, получает от собрания приказы, которые он сам же давал, — и все это с величайшим хладнокровием.

Национальное собрание оставалось немым. А когда оно однажды заговорило, то на все вопросы диктатор ответил заявлением, что ему нечего отвечать. Собрание было удовлетворено и вынесло вотум доверия. Если бы это доставило Кавеньяку малейшее удовольствие, собрание зачислило бы его в сонм богов. Но Кавеньяк был философом, он предпочитал Пантеону свой дом на улице Варенн.

И вот однажды маршалу Радецкому случилось разбить пьемонтскую армию. В тот день, когда стало известно это печальное происшествие, мы увидели диктатора необычайно пораженным: неожиданно он перестал играть во время речи своей тросточкой. Он был столь мало подготовлен к этому событию, сколь мало честнейший человек в мире может быть подготовлен к тому, чтобы получить кирпичом по голове. И это несомненно делает честь политическому и военному гению Кавеньяка. Он ни в малейшей мере не догадывался, что если Радецкий четыре месяца играл роль мертвого, то только благодаря альпийской армии.

И Кавеньяк, распорядившись по почте об отозвании альпийской армии, хотя ни малейшей причины к этому не было, думал по простоте сердечной, что австрийцы ничего не узнают или же это не используют.

После четырех дней великого страха, после повторных совещаний с биржевыми спекулянтами, Кавеньяк придумал, наконец, англо-французское посредничество.

Мы видели, как он дал знать собранию, что ведет с Англией переговоры в интересах Италии и что больше ни о чем не следует его спрашивать; впрочем, он готов подать в отставку, если на этом настаивают. Мы видели, как он вытащил на трибуну Бастида, молчаливого Бастида, и заставил последнего сказать, что ведутся переговоры о том, чтобы Италию «сделать свободной», и что, конечно, надо соблюдать спокойствие, конечно, надо хранить молчание.

И этот неограниченный, столь лаконичный в своих объяснениях диктатор, который всегда делал то, что хотел, и никогда ничего не

говорил о том, что делал, — этот диктатор взял 30 марта слово, чтобы отклонить ответственность за свои действия. Собрание несет солидарную ответственность за действия и слова господина Кавеньяка, ибо ведь это оно вручило господину Кавеньяку диктатуру. Но эта солидарность не та, на какую претендовал Кавеньяк. Это — моральная поддержка в самом широком смысле слова. Каким маленьким и скромным он себя представил! Правило собрание, — он был лишь послушным, восприимчивым орудием волеизъявления этого собрания. Он дал собранию отчет о своих действиях за каждый день, за каждый час.

Да, да! Собрание правило. Это оно перебрало альпийскую армию. И это оно, именно оно, было более всего ошеломлено, когда через 14 дней после июньской битвы австрийцы появились у Тичино.

Да, да! Англо-французское посредничество было изобретением палаты! Это палата заявила публично: «Я веду переговоры, чтобы сделать Италию свободной», и действительно палата тайно вела переговоры на основе трактата 1815 г. Это палата подписала перемирие, в результате которого выступавшие с посредничеством державы хотели предоставить королю Сардинии своей собственной судьбе, если бы он снова начал войну. И все это Кавеньяк заявил с трибуны с такой безмятежностью духа, как в лучшие послеиюньские дни. Его бессмертная тросточка не могла бы произнести более наглядную, ловкую и уступчивую речь.

Этот человек, который в августе месяце с непринужденной правдивостью и естественностью играл роль стыдливого, застенчивого диктатора, великого государственного мужа и полководца, который при первых движениях Радецкого потерял голову, этот наивный, простодушный политик, ухватившийся за английское соглашение, как утопающий хватается за соломинку, — этот человек осмелился сказать, что англо-французское посредничество было «предвосхищенной им идеей», о которой он думал давно. Я поистине удивлен, как это он не сказал, положивши руку на сердце или на жилет, что думал об этом еще 18 лет тому назад, в Аравийской пустыне. В своем новом припадке тщеславия он совершенно не замечает те невероятные противоречия, в которых он запутался. После того как он позорнейшим образом отклонил от себя ответственность за свои действия, вышло, точно он себя рекламировал как автора, как отца всех глупостей и противоречий французской дипломатии.

Какая законопослушность! Какое величие! Какая логика!

ИЗ ПАРИЖА В БЕРН.

1. Сена и Луара

La belle France! В самом деле, французы имеют прекрасную страну, и они в праве гордиться ею.

Какая страна в Европе может померяться с Францией богатством, разнообразием природных возможностей, разнообразием продуктов, универсальностью?

Испания? Но две трети ее поверхности представляют собой, вследствие заброшенности или от природы, знойную каменистую пустыню, а та часть полуострова, которая прилегает к Атлантическому океану, Португалия, ей не принадлежит.

Италия? Но с тех пор как путь мировой торговли проходит через океан, с тех пор как Средиземное море пересекают взад и вперед пароходы, Италия лежит заброшенной.

Англия? Но Англия вот уже восемьдесят лет всецело ушла в торговлю и промышленность, в угольный дым и животноводство. И в Англии страшно свинцовое небо и никакого вина.

А Германия? На севере, это — плоская равнина, от европейского юга она отделена гранитной стеной Альп, и это страна, бедная вином, страна пива, водки и ржаного хлеба, страна засоренных рек и революций!

То ли дело Франция! Расположенная между тремя морями, она в трех направлениях прорезана пятью большими реками; на севере почти германский и бельгийский, на юге — почти итальянский климат, на севере — пшеница, на юге — кукуруза и рис, на севере — сурепица, на юге — оливковое дерево. И почти повсюду — вино.

И какое вино! Что за разнообразие — от бордо и до бургундского, от бургундского до крепкого южного Сен-Жоржа, Люнеля, Фронтиньяна и до пенистого шампанского. Какое разнообразие белого и красного, от Пти-Макона, Шабли до Шамбертена, Шато-Лароза, Сотерна, до руссильонского, до шипучего Аи! И если вспомнить, что каждое из этих вин дает свой особый хмель, что при помощи

нескольких бутылок можно пройти всю гамму настроений — от вялой кадрили до марсельезы, от бурной страсти канкана до бешеного пыла революционной встряски, и, наконец, одной бутылкой шампанского снова настроить себя на самый веселый карнаваль- ный лад!

И одна Франция имеет Париж — город, в котором европей- ская цивилизация достигла своего высшего расцвета, в котором сходятся нервные нити всей европейской истории и из которого в определенные промежутки исходят электрические волны, потря- сающие весь мир, — город, население которого сочетает в себе, как никакой другой народ в мире, страсть к наслаждениям со страстью к исторической активности, жители которого умеют жить, как самые утонченные эпикурейцы Афин, и умирать, как бесстраш- ные спартанцы, воплощая в себе Алкивиада и Леонида вместе, — город, который в самом деле является, как выразился Луи Блан, сердцем и мозгом мира.

Когда обзереваешь Париж с какого-нибудь высокого пункта города — с Монматра или с террасы Сен-Клу, когда бродишь по окрестностям города, тогда невольно является мысль: Франция знает, что она имеет в лице Парижа, Франция отдала свои лучшие силы на то, чтобы заботливо выпестовать Париж. Как одалиска на отливающем цветом бронзы диване, лежит гордый город на за- литых солнцем виноградных холмах извивающейся долины Сены. Где в мире найдете вы такие виды, как те, которые открываются из вагона обеих версальских железных дорог вниз на зеленую долину с ее многочисленными деревнями и местечками, и где найдете вы так причудливо расположенные, так чисто и мило построенные, с таким вкусом распланированные деревни и местечки, как Сюрен, Сен-Клу, Севр, Монморанси, Энгийен и множество других? Выйдите к любой заставе, направьтесь в какую хотите сторону — и всюду вы увидите одинаково красивые окрестности, с одинаковым вкусом использованные красоты местности, то же изящество и чистоту. И опять-таки, лишь сам царь-город создал себе это изумительное ложе.

Но, конечно, нужна была и такая страна, как Франция, чтобы создать такой Париж, и лишь когда узнаешь поразительное богат- ство этой великолепной страны, начинаешь понимать, как мог воз- никнуть этот искрящийся, пышный, несравненный Париж. Этого, конечно, не чувствуешь, когда приезжаешь с севера, когда проно- сишься в поезде по равнинам Фландрии и Артуа, по безлесным и лишенным виноградников холмам Пикардии. Там видишь лишь за- сеянные рожью поля и луга, однообразие которых прерывается

только болотистыми равнинами рек, далекими заросшими кустарником холмами, и лишь около Понтуаза, когда вступаешь в область парижской атмосферы, начинаешь замечать кое-что из «красот Франции». Немного больше начинаешь понимать Париж, когда едешь по направлению к столице вдоль прекрасной долины Марны, по плодородным долинам Лотарингии, по увенчанным виноградниками меловым холмам Шампани. Еще больше понимаешь его, когда едешь через Нормандию и по дороге от Руана до Парижа то следишь из вагона поезда за изгибами Сены, то пересекаешь их. Сена как бы выдыхает парижский воздух до самого своего устья, и деревни, города, холмы — все напоминает окрестности Парижа, только все становится красивее, роскошнее, художественнее, чем больше приближаешься к центру Франции. Но лишь тогда я окончательно понял, как стал возможен Париж, когда я шел вдоль берега Луары и оттуда перевалил через горы в покрытые виноградниками долины Бургундии.

Я знал Париж в последние два года монархии, когда буржуазия еще наслаждалась полнотой власти, когда торговля и промышленность были в сносном состоянии, когда молодежь из среды крупной и мелкой буржуазии еще имела достаточно денег для развлечений и разгула, когда даже часть рабочих была еще настолько хорошо обеспечена, что могла принимать участие в общем беззаботном весельи. Я снова видел Париж во время краткого опьянения медового месяца республики, в марте и апреле, когда рабочие, эти доверчивые безумцы, с беззаботной решимостью предоставили «в распоряжение» республики «три месяца нищеты», когда они в течение дня питались сухим хлебом и картофелем, а по вечерам сажали на бульварах деревья свободы, жгли фейерверк и восторженно пели Марсельезу и когда буржуа, прячась целый день по своим домам, пытались разноцветными плошками смягчить гнев народа. Я снова приехал туда — не совсем добровольно, клянусь Геккером!¹ — в октябре. Между тогдашним и нынешним Парижем было 15 мая, было 25 июня, была жесточайшая борьба, когда-либо виданная миром, было море крови, было пятнадцать тысяч трупов. Гранаты Кавеньяка взорвали непреодолимую веселость парижан. Замолкли звуки марсельезы и *Chant du départ*;² лишь буржуазия еще напевала сквозь зубы свое «*mourir pour la patrie*» (умереть за отечество). Рабочие же, без куска хлеба и без оружия, скрежетали зубами от за-

¹ [Намек на неудачное восстание, во главе которого стоял Геккер.]

² [Тоже песня, созданная французской революцией, менее известная за границей, но очень популярная во Франции.]

таенного возмущения. В школе осадного положения легкомысленная республика скоро стала добропорядочной, скромной, приличной и умеренной (*sage et modérée*). Но Париж был мертв, — это не был уже Париж. На бульварах — только буржуа и полицейские шпионы. Балы, театры опустели. Гамены напялили мундиры национальной гвардии, продались буржуазной республике за 30 су в день, и чем глупее они становились, тем более прославляла их буржуазия. Словом, это был снова Париж 1847 года, но без настроения, без жизни, без огня, без фермента, который рабочие тогда вносили во все. Париж был мертв, и этот красивый труп был тем ужаснее, чем красивее он был.

Я не мог выдержать долго в этом мертвом Париже. Я должен был уехать, — все равно куда. И вот прежде всего я направился в Швейцарию. Денег у меня было немного, — пришлось, следовательно, пойти пешком. Я не стремился выбирать ближайший путь: с Францией не расстаются охотно.

В одно прекрасное утро я снялся с места и зашагал наугад прямо в южном направлении. Я заблудился между деревнями, как только вышел из пригородов Парижа. Этого нужно было ожидать. Наконец, я попал на шоссе, ведущую в Лион. Я прошел по ней некоторое расстояние, уклоняясь по временам в сторону, чтобы побродить по холмам. С их высот открываются изумительные виды на верхнее и нижнее течение Сены, к Парижу и Фонтенебло. В бесконечной дали извивается река в широкой долине; по обеим ее сторонам тянутся покрытые виноградниками холмы, а дальше, на горизонте, синие горы, за которыми течет Марна.

Но мне не хотелось идти прямо в Бургундию, сперва хотелось побродить по берегам Луары. И вот я на следующий день сошел с большой дороги и направился через горы к Орлеану. Конечно, я снова заблудился между деревнями, так как проводниками мне служили лишь солнце и отрезанные от всего мира крестьяне, которые ничего порядком не умели объяснить. Переночевал я в какой-то деревне, имя которой я не мог ясно уловить в произношении крестьян, говоривших на своем местном наречии, в пятнадцати милях от Парижа, на водоразделе между Сеной и Луарой.

Этим водоразделом является широкий горный хребет, тянувшийся от юго-востока к северо-западу. По обеим его сторонам раскинулись многочисленные ущелья, омываемые маленькими ручьями или речками. Наверху, на зигзаге вершин, произрастают лишь рожь, гречиха, клевер и овощи, а на склонах — везде виноград. Склоны, обращенные к востоку, почти все покрыты огромными массами

известковых глыб, называемых английскими геологами *bolderstones* и часто встречающихся в холмистых местностях, образование которых относится к вторичному и третичному периоду. Огромные синие глыбы, между которыми зеленеют кустарники и молодые деревья, представляют совсем не плохой контраст с расстилающимися в долине лугами и покрывающими противоположный склон виноградниками.

Медленно спустился я в одну из этих маленьких речных долин и прошел по ней некоторое расстояние.

Наконец, я вышел на проселочную дорогу и там встретил людей, от которых мог узнать, где я, собственно, нахожусь. Оказалось, что я был поблизости от Мальзерб, на полпути между Парижем и Орлеаном. Орлеан лежал слишком далеко на запад; моей ближайшей целью был Невер. Поэтому, перевалив через ближайшую гору, я направился снова прямо на юг. С вершины горы моему взору открылись чудесные виды: между покрытыми лесом горами раскинулся живописный городок Мальзерб, на склонах гор приютились многочисленные деревушки, а наверху, на одной из вершин, стоял замок Шатобриан. И что мне было еще приятнее — напротив, по ту сторону узкого ущелья, протянулась департаментская дорога, ведущая прямо на юг.

Во Франции есть три рода дорог: государственные дороги, прежде называвшиеся королевскими, а ныне именующиеся национальными, — прекрасные широкие шоссе, связывающие между собой важнейшие города. Эти национальные дороги, в окрестностях Парижа не только красивые, но прямо пышные, — великолепные ильмовые аллеи шириною в шестьдесят и больше футов и вымощенные посредине, — становятся хуже, хуже и оголеннее, чем дальше от Парижа и чем меньшее значение имеет дорога. Они местами становятся так плохи, что после двухчасового умеренного дождя они непроходимы для пешеходов. Ко второму разряду принадлежат департаментские дороги, представляющие собой пути сообщения второго ранга, построенные и содержащиеся на средства департаментов. Они хуже, чем национальные дороги, и не имеют их блеска. Третий разряд составляют большие проселочные дороги (*chemins de grande communication*), построенные и содержащиеся на средства кантонов, — узкие, скромные, находящиеся, однако, местами в лучшем состоянии, чем более широкие шоссе.

Перерезав поле, я направился прямо к моей департаментской дороге и нашел, к своему величайшему удовольствию, что она совсем прямой линией ведет на юг. Деревни и трактиры встречались

редко. После многочасового перехода я, наконец, попал на большую ферму, где мне с величайшей охотой предложили освежиться, а я, в благодарность за это, нарисовал детям несколько рож на листе бумаги, очень серьезно поясняя: это — генерал Кавеньяк, это — Луи-Наполеон, это — Арман Марраст, Ледрю-Роллен и т. д. Все они были похожи друг на друга, как две капли воды. Крестьяне глазели на карикатуры с величайшим благоговением, радостно благодарили и немедленно развесили поразительно сходные между собой портреты по стене.

От этих почтенных людей я также узнал, что нахожусь по пути от Мальзерба к Шатонеф на Луаре, до которого оставалось около двенадцати миль.

Я направился дальше через Пюизо и другое небольшое местечко, название которого забыл, и поздно ночью прибыл в Бельгард, красивый и довольно большой город, где переночевал. Дорога через плато, покрытое, кстати, во многих местах виноградниками, была довольно однообразна.

На следующее утро я пошел по направлению к Шатонеф, в пяти милях от Бельгарда, а оттуда берегом Луары на национальное шоссе, ведущее от Орлеана к Неверу.

На зеленом берегу Луары,
Где миндаль пленительный цветет,
Я познал любви взаимной чары,
И с тех пор туда меня влечет.

Так поет иной мечтательный немецкий юноша и иная нежная германская дева сантиментальными словами Гельмины фон-Шези на сантиментальный мотив Карла-Мари фон-Вебера. Но тот, кто ищет на берегах Луары миндальных деревьев и сладкой нежной любовной романтики, как это было в моде в двадцатых годах в Дрездене, тот строит себе страшные иллюзии, позволительные разве немецкому потомственному синему чулку в третьем поколении.

От Шатонеф через Ле-Борд к Дампиерру почти не приходится видеть Луару. Дорога пролегает в двух-трех милях от реки, и только изредка сверкают вдали отсвечивающие на солнце воды Луары. Местность эта богата вином, хлебом, фруктами, а поближе к реке расстилаются роскошные луга. Вид этой безлесной, окаймленной волнообразными холмами долины все же довольно однообразен.

Посредине дороги, поблизости от группы крестьянских домов, я встретил караван из четырех мужчин, трех женщин и нескольких детей с тремя тяжело нагруженными тележками, которые тащили ослы. Здесь же, посреди дороги, они сидели вокруг большого костра,

на котором варили себе обед. Я на минуту остановился: я не ошибся, они говорили по-немецки, на самом жестком верхне-немецком диалекте. Я заговорил с ними: они были в восторге, услышав в центре Франции звуки родной речи. Это были эльзасцы из окрестностей Страсбурга, отправлявшиеся каждое лето таким-то образом внутрь Франции, добывая себе пропитание плетением корзин. На мой вопрос, могут ли они прожить этим, мне ответили: «С трудом, если бы приходилось все покупать, но многое мы собираем милостыней». Постепенно выполз совсем старый человек из одной тележки, где у него была настоящая постель. Вся банда имела какой-то цыганский вид в своих выпрошенных в разных местах костюмах, из которых ни одна вещь не подходила к другой. При всем том они имели весьма довольный вид и без конца рассказывали о своих скитаниях. И тут же, среди веселой болтовни, мать и дочь — синеекое кроткое создание — почти вцепились друг дружке в рыжие взъерошенные волосы. Я не мог не удивиться тому, с какой силой немецкое добродушие и немецкая задушевность пробиваются сквозь цыганский образ жизни и цыганский костюм, распротился с ними и пустился в дальнейший путь, сопровождаемый на некотором расстоянии одним из цыган, позволившим себе перед обедом удовольствие сделать прогулку верхом на костлявом крупе захудалого ослика.

Вечером я прибыл в Дампиерр, маленькую деревушку, неподалеку от Луары. Около 300 — 400 парижских рабочих — осколки прежних Национальных мастерских — возводили там, по заказу правительства, плотину для защиты от наводнений. Среди них были рабочие всякого рода: ювелиры, мясники, сапожники, столяры, — вплоть до подбирающих тряпье на парижских бульварах. Я встретил около двадцати этих рабочих в трактире, где остался ночевать. Здоровенный мясник, дослужившийся уже до чего-то вроде надсмотрщика, говорил с большим восторгом о предприятии: можно-де выработать, смотря по тому, как взяться за дело, от 30 до 100 су в день; при некотором старании можно легко выработать от 40 до 60 су. Он хотел меня немедленно зачислить в бригаду, убеждая меня, что я очень быстро освоюсь с работой и уже со второй недели буду наверное зарабатывать 50 су в день, что я могу там хорошо устроиться и что работы хватит еще, по крайней мере, на шесть месяцев. Я был непрочь переменить для разнообразия на один или два месяца перо на лопату. Но у меня не было никаких документов, — могла бы получиться неприятность.

Эти парижские рабочие сохранили свое традиционное веселье.

Они работали десять часов в день среди смеха и шуток, свободные часы проводили в веселых забавах, а по вечерам развлекались тем, что «развивали» деревенских девиц. Во всех же других отношениях они были, благодаря своей изолированной жизни в маленькой деревушке, совершенно деморализованы. У них не замечалось и следа внимания к интересам своего класса, к злободневным политическим вопросам, так близко затрагивающим насущные нужды рабочих. Они, повидимому, даже не читали никаких газет.

Вся их «политика» ограничивалась тем, что они наделяли друг друга разными кличками: один из них — рослый и сильный пен-тюх — назывался Коссидьером, другой — плохой работник и горький пьяница — окрещен был Гизо и т. д. Напряженная работа, сравнительно недурные условия жизни и главным образом отдаленность от Парижа и пребывание в замкнутом, тихом уголке Франции необычайно сузили их кругозор. Они уже были близки к тому, чтобы духовно окрестяниться, а между тем они прожили там всего два месяца.

На следующее утро я прибыл в Жин, лежащий уже в самой долине Луары. Жин — маленькое заброшенное местечко с прекрасной набережной и с мостом через Луару, которая здесь по ширине почти равняется Майну у Франкфурта. Она вообще очень мелка и изобилует песчаными мелями.

От Жина до Бриара дорога тянется по долине на расстоянии приблизительно четверти мили от Луары. Идет она на юго-восток, и местность постепенно принимает южный характер. Ильмы, дуб, акации и каштановые деревья тянутся с обеих сторон дороги, образуя аллею. Пышные луга и плодородные поля, на которых между снопами пробиваются одинокие стебли жирного клевера, вместе с окаймляющими их рядами тополей раскинулись по нижней части долины. По ту сторону Луары в воздушной дали синееет ряд холмов; по сию сторону, у самой проселочной дороги, — другая цепь возвышенностей, усеянных виноградниками. В этом месте долина Луары вовсе не так поразительно красива или романтична, как это обычно утверждают, но она производит в высшей степени приятное впечатление. По этой богатой растительности можно судить о том мягком климате, которому она обязана своим расцветом. Даже в самых плодородных местностях Германии я не встречал растительности, которая могла бы сравниться с растительностью между Жином и Бриаром.

Прежде, чем расстаться с Луарой, скажу еще несколько слов о жителях пройденных мною местностей и об их образе жизни.

Деревни, тянущиеся на расстоянии четырех-пяти часов ходьбы от Парижа, не дают никакого представления о деревнях остальной части Франции. На их планировке, на архитектуре их домов, на нравах их жителей слишком сильно сказывается влияние великой столицы, которой они кормятся. Лишь в десяти милях от Парижа, в глуши, на возвышенностях, начинается настоящая деревня, и лишь там можно видеть настоящие крестьянские избы. Во всей этой местности, до Луары и даже до Бургундии, бросается в глаза, что крестьянин старается, по возможности, скрыть вход в свой дом от проходящих по проселочной дороге. На высотах каждый крестьянский двор окружен каменной стеной, во двор вступают через ворота, да и в самом дворе приходится искать дверь в дом, которая пробивается обычно на заднем фасаде. Большинство крестьян имеет там коров и лошадей, и поэтому крестьянские избы и дворы довольно велики; на Луаре же, где сильно распространено огородничество, где даже состоятельные крестьяне совсем не имеют скота или имеют его очень мало и где скотоводство является особым промыслом, находящимся всецело в руках более крупных землевладельцев и арендаторов, крестьянские избы становятся все меньше и меньше, и часто они так малы, что удивляешься тому, как крестьянская семья со всем своим скарбом и запасами может в ней разместиться. Однако и там входы в дома находятся на противоположной от дороги стороне, и в деревнях почти только трактиры и лавки имеют двери, выходящие на дорогу.

Крестьяне этой местности, несмотря на свою бедность, живут в общем хорошо. Вино, по крайней мере в долинах, — своего производства, хорошего качества и дешево (в этом году бутылка стоит от двух до трех су), хлеб повсюду, за исключением совсем высоко расположенных местностей, пшеничный, а вдобавок — прекрасный сыр и великолепные фрукты, которые во Франции, как известно, везде едят с хлебом. Как все деревенские жители, они мало потребляют мяса, зато пьют много молока, едят супы из разной зелени и вообще питаются растительной пищей прекрасного качества. Северо-германский крестьянин, даже значительно более зажиточный, живет, пожалуй, в три раза хуже, чем французский крестьянин между Сеной и Луарой.

Эти крестьяне — добродушные, гостеприимные, веселые люди, любезные и предупредительные к чужим и, несмотря на свой скверный жаргон, совсем настоящие вежливые французы. Несмотря на развитое у них в высшей степени чувство собственности по отношению к земле, отвоеванной их предками у дворянства и духовенства,

они еще сохраняют, особенно в деревнях, лежащих в стороне от больших дорог, некоторые патриархальные добродетели.

Однако крестьянин остается крестьянином, и условия крестьянской жизни ни на минуту не перестают оказывать на него свое влияние. Несмотря на все личные добродетели французского крестьянина, несмотря на то, что он живет в лучших условиях, чем восточно-рейнский крестьянин, все же французский крестьянин так же, как и германский, остается варваром среди цивилизации. Уединенность крестьянина в глухой деревне с немногочисленным, меняющимся лишь со сменой поколений, населением, напряженный однообразный труд, сильнее всякого крепостного права приковывающий его к земле, один и тот же труд из поколения в поколение, устойчивость и однообразие всех жизненных отношений, ограниченность жизненной сферы, при которой семья является для него важнейшим, решающим социальным моментом, — все это суживает кругозор крестьянина до самых тесных пределов, возможных вообще в современном обществе. Великие исторические движения проходят мимо него, вовлекая его время от времени в свою орбиту, но без того, чтобы он имел какое-нибудь представление о природе их движущей силы, об их возникновении и их цели.

В средние века, в XVII и XVIII веках движение буржуазии в городах шло параллельно движению крестьянства, которое, однако, постоянно выдвигало реакционные требования и, не достигая значительных результатов для крестьян, оказывало лишь поддержку освободительной борьбе городов.

В первой французской революции крестьяне выступали революционно лишь до тех пор, пока этого требовали их ближайшие, ясно ощутимые частные интересы, пока не была обеспечена за ними частная собственность на их земли, возделывавшиеся ими ранее на условиях феодальных отношений, пока не были раз навсегда упразднены эти отношения и не были удалены чужеземные армии из страны. Когда это было достигнуто, они со всем неистовством слепой жадности обратились против не понятого ими движения больших городов и особенно против революционного Парижа. Бесчисленные прокламации Комитета общественного спасения, бесчисленные декреты Конвента, прежде всего о максимуме и о спекуляции хлебом, карательные отряды и передвижные гильотины — все это пришлось пустить в ход против упрямых крестьян. И все же террористический режим, прогнавший чужеземные армии и подавивший гражданскую войну, никому не пошел в такой мере на пользу, как крестьянам.

Когда Наполеон низверг господство буржуазной директории,

восстановил порядок, упрочил новые условия крестьянского землевладения, санкционировал их в своем Code civil (Гражданском кодексе) и прогнал далеко от границ Франции чужеземные армии, крестьяне примкнули к нему с восторгом и сделали его главной опорой. Ибо французский крестьянин националистичен до фанатизма. La France (Франция) приобрела для него огромное значение с тех пор, как он владеет куском Франции на правах наследственной собственности. Чужеземцев он знает лишь в виде грабительских вторгающихся армий, причиняющих ему огромный ущерб. Этим объясняется безграничный национализм французского крестьянина, его безграничная ненависть к l'étranger (чужеземцу). Этим же объясняется и энтузиазм, с которым он шел на войну в 1814 и в 1815 гг.

Когда в 1815 г. вернулись Бурбоны, когда прогнанная аристократия снова заявила свои притязания на потерянные ею во время революции земли, крестьяне увидели в этом угрозу всем своим революционным завоеваниям. Вот источник их ненависти к господству Бурбонов и их ликования, когда июльская революция вернула им обеспеченность их владения и трехцветное знамя.

После июльской революции крестьяне снова перестали принимать участие в общих интересах страны. Их желания были удовлетворены, их землевладению ничто больше не угрожало, на мэрии их деревни снова развевалось знамя, под которым на протяжении четверти века они и их отцы одерживали победы.

Но, как всегда, они и на этот раз мало воспользовались плодами своей победы. Буржуа немедленно стали весьма энергично эксплуатировать своих деревенских союзников. Плоды парцеллирования и раздела земли, обеднение крестьян и рост ипотечных долгов на их владениях стали обнаруживаться уже в эпоху реставрации; после 1830 г. они стали все более распространяться и принимать все более грозный характер. Но гнет, которому крупный капитал подвергал крестьянина, был в глазах последнего частным отношением между ним и его работодателем; он не видел, да и не мог видеть, что эти принимавшие все более общий характер, все более превращавшиеся в общие нормы частные отношения постепенно развились в классовые отношения между крупными капиталистами и мелкими землевладельцами. И к этим тяготам у крестьянина было совсем не то отношение, что к феодальным повинностям, происхождение которых давно было забыто, которые давно потеряли свой смысл, давно перестали быть вознаграждением за оказанные услуги и давно стали бременем для одной лишь стороны. Ипотечный же долг

возник недавно; сам крестьянин — или его отец — получил взятую в долг сумму в твердых пятифранковых монетах, и долговая расписка и ипотечная книга напоминают ему при случае об источнике повинности. Проценты, которые он обязан выплачивать, и все новые добавочные выплаты ростовщику, это — современные буржуазные тяготы, в одинаковой мере обременяющие всех должников. Эксплуатация крестьянина совершается в современной, соответствующей духу времени форме, — крестьянина высасывают и разоряют в полном согласии с теми самыми правовыми началами, которые гарантируют ему владение его землей. Его собственный *Code civil*, его современная библия, становится бичом для него. В ипотечном ростовщичестве крестьянин не может усматривать никакого классового отношения, он не может требовать его упразднения, не подрывая тем самым основу и своего владения собственностью. Гнет ростовщика, вместо того чтобы толкать его в ряды революции, сбивает его окончательно с толку. Облегчения для себя он может ждать лишь от понижения налогов.

Когда в феврале этого года в первый раз была произведена революция, в которой пролетариат выступил с самостоятельными требованиями, крестьяне в ней ничего не поняли. Если республика вообще имела для них какой-нибудь смысл, то он сводился лишь к уменьшению налогов, а для иных, может быть, еще к увеличению национальной славы, к завоевательной войне и продвижению до Рейна. Но когда на следующий день после низвержения Луи-Филиппа в Париже вспыхнула война между пролетариатом и буржуазией, когда застой в торговле и промышленности рикошетом отозвался в деревне, когда продукты крестьянского труда, и без того обесцененные в урожайный год, еще более упали в цене и перестали находить сбыт, а тем более, когда июньское сражение распространило ужас и страх до самых отдаленных углов Франции, — тогда среди крестьян поднялся всеобщий крик фанатического возмущения против революционного Парижа и против вечно недовольных парижан. Да и могло ли быть иначе! Что знал упрямый, узколобый крестьянин о пролетариате и буржуазии, о демократически-социальной республике, об организации труда, о вещах, основные условия и причины которых никогда не могли проявиться в тесных пределах его деревни! А когда он в иных местах получил через нечистые каналы буржуазных газет смутное представление о том, вокруг чего шла борьба в Париже, когда буржуа бросили ему великий лозунг против парижских рабочих: *ce sont les partageurs*, это — люди, желающие поделить всякую собственность, всякую

*

землю, какой кто-либо владеет, — тогда усилилось его негодование, и возмущение крестьянина не знало больше границ. Я беседовал с сотнями крестьян в разных местностях Франции, и все они переполнены были фанатической ненавистью к Парижу и особенно к парижским рабочим. «Пусть этот проклятый Париж завтра будет взорван!» — это было еще самое мягкое пожелание. Понятно, что старое презрение крестьян к горожанам благодаря событиям этого года лишь усилилось и как бы получило оправдание. Крестьяне, деревня должны спасти Францию. Деревня производит все, города живут нашим хлебом, ткнут себе одежду из нашего льна и нашей шерсти, мы должны восстановить порядок, мы, крестьяне, должны взять дело в свои руки, — вот тот припев, который более или менее ясно, более или менее сознательно звучал сквозь темные речи крестьян.

И чем хотят они спасти Францию, каким путем хотят они взять дело в свои руки? Путем избрания в президенты республики Луи-Наполеона Бонапарта, — великое имя, носителем которого является ничтожный, тщеславный, путаный дурак! У всех крестьян, с которыми мне приходилось беседовать, энтузиазм по отношению к Луи-Наполеону был так же велик, как ненависть к Парижу. Этими двумя страстями, да еще бессмысленным животным недоумением по поводу всей европейской встряски, ограничивается вся политика французского крестьянина. А крестьяне имеют свыше шести миллионов голосов, более двух третей всех избирательных голосов во Франции.

Правда, временное правительство не сумело связать интересы крестьянина с революцией, и повышением земельного налога на 45 сантимов, задевшим, главным образом, интересы крестьянина, оно совершило непростительную, непоправимую ошибку. Но если бы оно даже привлекло крестьян на сторону революции на несколько месяцев, летом они все равно отошли бы от нее. Теперешнее отношение крестьян к революции 1848 г. не является следствием каких-либо ошибок или случайных промахов, — оно естественно, оно коренится в жизненных условиях, в социальном положении мелкого землевладельца. Прежде чем французский пролетариат сможет осуществить свои требования, ему придется подавить всеобщую крестьянскую войну, войну, которую даже упразднение всех ипотечных обязательств могло бы лишь отсрочить на короткое время.

Нужно было в течение четырнадцати дней встречаться почти исключительно с крестьянами, с крестьянами разных местностей, нужно было повсюду сталкиваться с той же узколобой ограничен-

ностью, с тем же полным непониманием всех городских, промышленных и торговых отношений, с той же слепотой в области политики, с тем же бессмысленным гаданием по поводу всего, что лежит за пределами деревни, с тем же применением масштаба деревенских отношений к самым сложным историческим отношениям, — нужно было, одним словом, познакомиться с французскими крестьянами именно в 1848 г., чтобы испытать все то подавляющее впечатление, какое производит эта закоренелая глупость.

II. Бургундия.

Бриар — старинный городок, расположенный у устья канала, соединяющего Сену с Луарой. Там я расспросил о дальнейшем маршруте и нашел более целесообразным отправиться в Швейцарию через Окзерр, чем через Невер. Я покинул Луару и направился через горы в Бургундию.

Плодородный характер Луарской долины постепенно и очень медленно сменяется другой картиной. Подъем в гору идет незаметно, и лишь в пяти-шести милях от Бриара, у Сен-Совер и Сен-Фаржо, начинается лесистая пастбищная гористая местность. Горный хребет между Ионной и Луарой там уже выше, и вся эта западная сторона департамента Ионны вообще довольно гориста.

Неподалеку от Туси, в шести милях от Окзерра, я впервые услышал своеобразный, наивно-растянутый бургундский диалект, — диалект, который в самой Бургундии довольно мил и приятен еще, но в вышележащих местностях Франш-Конте звучит тяжеловесно, аляповато, почти докторально. Там наблюдается то же, что и с наивным австрийским диалектом, который постепенно переходит в грубое верхне-баварское наречие. Бургундский диалект совсем не по-французски ставит ударение на слоге, предшествующем тому, на который падает главное ударение в хорошем французском языке; он превращает ямбический французский язык в трохеический и этим поразительно извращает ту изящную отчеканенность, которую образованный француз умеет придавать своей речи. Но, повторяю, в самой Бургундии это еще звучит довольно мило, а в устах хорошенькой девушки даже прелестно: «Mais, mâ foi, monsieur, je vous demande ûn reu...» (Но, сударь, прошу вас...).

Вообще бургундец, если допустимо сравнение, это — французский австриец. Наивные, добродушные, в высшей степени доверчивые, сметливые в пределах привычного жизненного круга, полные наивно-комических представлений обо всем, что выходит за этот

круг, забавно-неловкие в непривычных отношениях, всегда неистощимо веселые, — таковы эти добрые люди, поразительно похожие один на другого. Милому, добродушному бургундскому крестьянину охотнее всего можно простить его полное политическое ничтожество и его восторженное поклонение Луи-Наполеону.

Бургундцы, впрочем, имеют бесспорно более сильную примесь немецкой крови, чем далее к западу живущие французы; волосы и цвет лица у них светлее, овал лица длиннее, особенно у женщин, значительно менее острый критический ум, значительно менее едкое остроумие, но это замещается у них здоровым юмором, а иногда и легким налетом задумчивости. Однако французское веселье еще в значительной степени доминирует, а в беззаботном легкомыслии бургундец никому не уступит.

Западная гористая часть департамента Ионны живет, главным образом, скотоводством. Но француз вообще плохой скотовод, и бургундский рогатый скот — худой и мелкий. Однако на-ряду со скотоводством производится много ржи и везде едят хороший пшеничный хлеб.

Крестьянские избы там также уже немецкого типа; они больше и объединяют под одной крышей жилое помещение, сарай и хлев; однако входная дверь и там находится в стороне от дороги или на противоположной стороне.

На длинном склоне, ведущем вниз к Окзерру, я видел первые бургундские виноградники с еще, большею частью, не снятым неслыханным урожаем винограда 1848 г. На некоторых лозах из-за ягод почти не видно было листьев.

Окзерр — небольшой, неровный, неказистый изнутри городок с прекрасной набережной на Ионне и с некоторыми зачатками бульвара, без которого не обходится во Франции ни один главный город департамента.

В обыкновенное время городок этот, должно быть, тих и мертв, и префект Ионны, вероятно, очень мало тратится на обязательные балы и званые вечера, которые он должен был давать при Луи-Филиппе местным нотаблям. Но теперь Окзерр был оживлен, как бывает только раз в году. Если бы гражданин Данжуа, — депутат, который в Национальном собрании выражал свое негодование по поводу того, что на демократически-социальном банкете в Тулузе все помещение было разукрашено в красный цвет, — если бы этот почтенный гражданин Данжуа прибыл вместе со мной в Окзерр, с ним случился бы удар. Там не только одно какое-нибудь помещение, — там весь город был разукрашен в красный цвет. И какой красный

цвет! Самый несомненный, самый неприкрытый кроваво-красный цвет окрашивал стены и лестницы домов, блузы и рубашки людей; темно-красные потоки наполняли даже сточные трубы и окрашивали в красный цвет мостовую, и какие-то бородастые, страшные люди носили по улицам в больших чанах ужасную, темноватую, краснопенистую жидкость. Казалось, красная республика господствует там со всеми ее ужасами. Казалось, гильотина, паровая гильотина действует там перманентно, и *buveurs de sang* (кровопийцы), о которых «*Journal des Débats*» умеет рассказывать такие ужасные вещи, повидимому устраивали там свои каннибальские оргии. Но красная окзеррская республика была совсем невинна, — это была красная республика бургундского сбора винограда, и кровопийцы, поглощавшие с большим наслаждением благородное изделие этой красной республики, были не кто иные, как сами господа почтенные республиканцы, крупные и мелкие буржуа Парижа. Да и почтенный гражданин Данжуа, несмотря на всю свою благонамеренность, полон был в этом отношении красных вождедений.

Если бы только иметь в этой красной республике полные карманы денег! Сбор 1848 года был так бесконечно обилен, что нельзя было раздобыть достаточно бочек, чтобы вместить все вино. К тому же, по качеству оно лучше, чем вино 46 года, и даже, может быть, лучше, чем вино 34 года. Со всех сторон устремились сюда крестьяне, чтобы закупить по баснословно дешевым ценам остатки 47 года — 2 франка за боченок в 140 литров хорошего вина; ко всем воротам прибывали телеги за телегами с пустыми бочками, и все же бочек нехватало. Я сам видел, как один виноторговец в Окзерре вылил на улицу ряд бочек вина 47 года, и хорошего вина, чтобы опростать посуду для нового вина, которое, конечно, открывало спекуляции совсем иные перспективы. Меня уверяли, что этот виноторговец вылил таким образом в течение нескольких недель до 40 больших бочек.

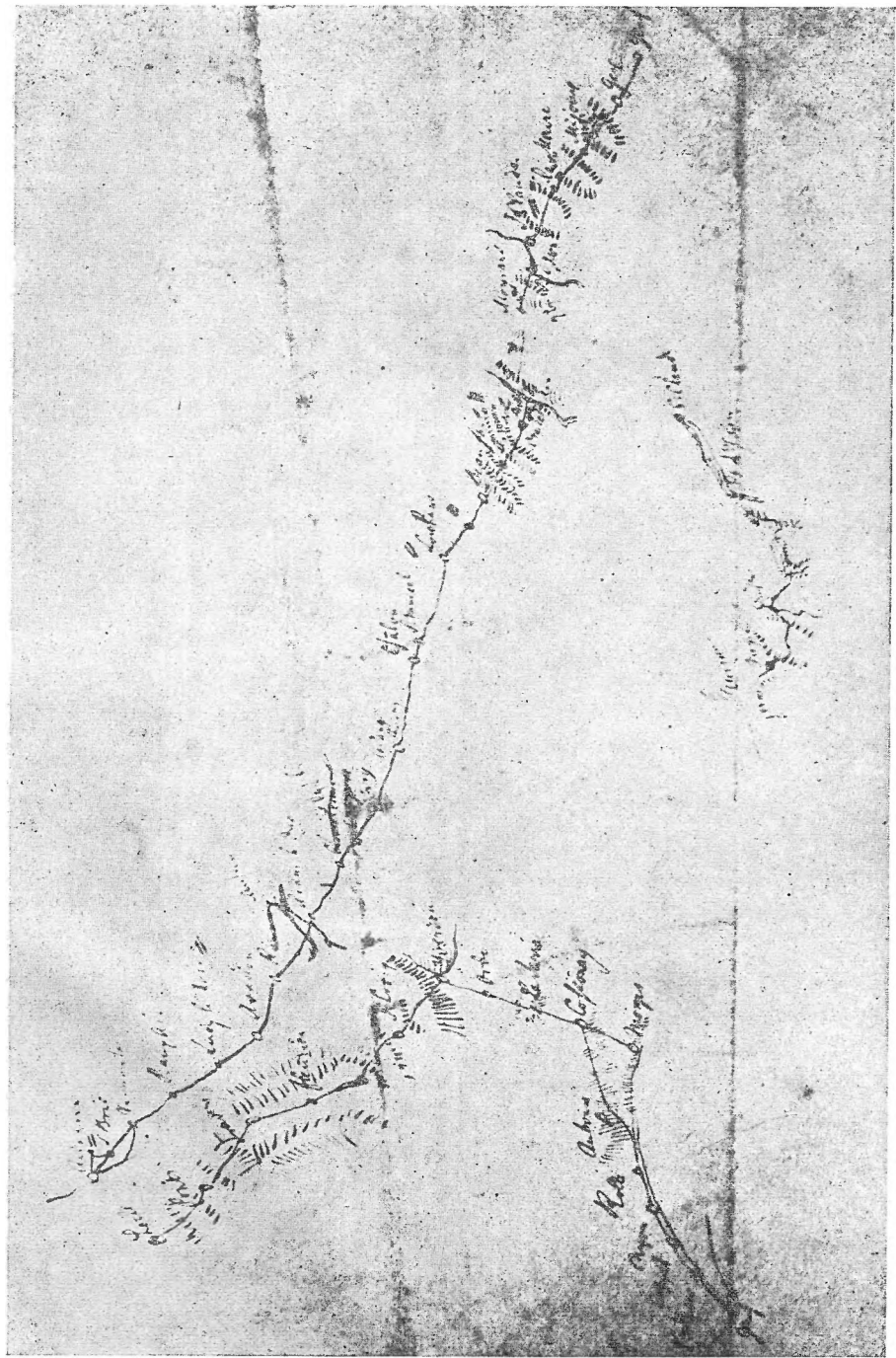
Выпив в Окзерре несколько бутылок как старого, так и нового вина, я направился через Ионну по направлению к горам правого берега. Шоссе идет вдоль долины, но я пошел по старому кратчайшему пути, через горы. Небо было облачно, погода неблагоприятна, сам я был утомлен, и поэтому я решил переночевать в ближайшей деревне, в нескольких километрах от Окзерра.

На следующее утро я отправился в путь очень рано. Стояла яркая солнечная погода. Дорога вела между виноградниками, через довольно высокий горный хребет. Но за усилие, затраченное на подъем, я был вознагражден наверху чудесным видом. Передо мной убежал вниз весь холмистый спуск — вплоть до Ионны, дальше —

ее зеленая, покрытая сочными лугами и обсаженная тополями долина, усеянная многочисленными деревьями и крестьянскими дворами, а позади — серо-каменный Окзерр, прислонившийся к высящейся на той стороне горе. И повсюду деревни, и везде, куда ни достигает глаз, виноградники, только виноградники, а сверкающий, жаркий блеск солнца, умеряемый вдали лишь осенней дымкой, льется в этот громадный котел, в котором августовское солнце варит благороднейшее вино.

Я не знаю, что придает этим французским ландшафтам, вовсе не отличающимся какими-нибудь исключительно красивыми очертаниями, их своеобразную прелесть. Конечно, не та или другая деталь, а все в целом, весь ансамбль накладывает на них печать такой насыщенности, какую редко можно встретить где-либо в другом месте. На Рейне и Мозеле — гораздо красивее расположенные скалы, в Швейцарии — более привлекательные контрасты, Италия — более красочна, но ни в одной стране нет местностей с таким гармоническим ансамблем, как во Франции. С необычайным удовольствием переходит взор с широкой, покрытой цветущими лугами долины к горам, густо поросшим до высочайшей своей вершины виноградниками, и к бесчисленным деревьям и городам, поднимающимся из шатров фруктовых деревьев. Нигде ни одного голого пятна, нигде ни одного режущего глаз негостеприимного места, нигде ни одной шершавой скалы, на которой не могли бы цвести растения. Всюду богатая растительность, красивая сочная зелень, отливающая осенне-бронзовой окраской, и все это залито блеском солнца, которое еще в середине октября достаточно горячо жжет, чтобы не оставить ни одной ягоды на виноградной лозе не созревшей.

Я пошел немного дальше, и передо мной открылся новый, такой же красивый вид. Глубоко внизу, в более узком котле долины лежал Сен-Бри — небольшой, живущий также только виноделием городок. Те же детали ландшафта, что и только что мною виденные, но в более мелком виде. Внизу, в долине, городок окружен пастбищами и огородами, кругом, на спусках, виноградники и лишь на северной стороне невспаханые или сжатые, но успевшие покрыться новыми зелеными всходами клевера поля и луга. Внизу, на улицах Сен-Бри, та же суета, что и в Окзерре, — повсюду бочки и давила, повсюду население под смех и шутки давит виноград, перекачивает его в бочки или носит по улицам в больших чанах. В то же время шел базар. На широких улицах стояли крестьянские телеги с зеленью, рожью и другими полевыми продуктами. Крестьяне со своими белыми остроконечными шапками, крестьянки со своими мадрасскими платками,



ПЛАН МАРШРУТА ИЗ ПАРИЖА В БЕРН СДЕЛАННЫЙ ЭНГЕЛЬСОМ.

обязанными вокруг головы, толкались среди виноделов, болтая, крича и смеясь, и в маленьком Сен-Бри царило такое оживление, что, казалось, находишься в большом городе.

По ту сторону Сен-Бри дорога опять медленно идет в гору. Но на эту гору я поднимался с исключительным удовольствием. Там все еще были заняты сбором винограда, а сбор винограда в Бургундии несравненно веселее, чем даже в Рейнской области. На каждом шагу я встречал самое веселое общество, самый сладкий виноград и самых хорошеньких девиц, ибо в Бургундии, где от одного городка до другого часа три ходьбы, где жители, благодаря торговле вином, находятся в постоянных сношениях с остальным миром, господствует уже некоторая цивилизация, и никто не усваивает себе эту цивилизацию быстрее, чем женщины, ибо они извлекают из нее непосредственные и очевидные выгоды. Ни одной французке-горожанке не приходит в голову петь:

Если бы равняться я посмела
С девушками сельскими красой,
Шляпу из соломы я б надела
С лентой розовой иль голубой.

Наоборот, она слишком хорошо знает, что развитием своих чар она обязана городу, освобождению от всяких грубых работ — цивилизации с ее множеством средств соблюдать чистоту и одеваться к лицу. Она знает, что деревенские девушки, даже если они не унаследовали от родителей широкую кость, которая так не нравится французам и которая составляет гордость германской расы, все же, благодаря постоянным полевым работам, и в жгучую пору, и в сильнейший дождь, мешающим соблюдать чистоту, благодаря отсутствию средств ухода за своим телом, благодаря, правда, очень почтенному, но в такой же мере беспомощному и безвкусному костюму, становятся неуклюжими, с утиной походкой, комически раскрашенными в яркие цвета пугалами. Вкусы различны. Нашим немецким соотечественникам больше нравятся крестьянские девушки, и, может быть, они и правы. Отдадим дань уважения драгунской поступи дюжей скотницы, особенно ее кулакам; воздадим должное ярко-зеленым и огненно-красным разводам на ее платье, облегающем ее колоссальную талию; почет и уважение той безупречной равнине, которая тянется у нее от шеи до пяток и придает ей сзади вид обтянутой пестрым ситцем доски! Однако вкусы различны, и поэтому пусть не согласная со мной, но тем не менее почтенная часть моих соотечественников простит меня, если чисто умытые, гладко причесанные, стройно сложенные бургундки из Сен-Бри

и Вермантона мне больше нравятся, чем те первобытно-грязные, взъерошенные, мясистые буйволы между Сеной и Луарой, которые плят глаза, когда при них сворачивают папиросу, и с воем убегают, когда у них справляются на чистом французском языке, как итти дальше.

Мне поэтому охотно поверят, что я больше валялся в траве, поедая виноград, попивая вино, болтая и шутя с виноградарями и их девушками, чем взбирался в гору, и что за время, отданное восхождению на этот незначительный хребет холмов, я мог бы взобраться на вершину Блоксберга или даже Юнгфрау. Тем более, что каждый день можно шестьдесят раз досыта наесться винограду и таким образом иметь в каждом винограднике удобный предлог побывать в обществе этих постоянно смеющихся, любезных людей обоего пола. Однако все имеет свой предел. Кончился подъем и на эту гору. Было уже после полудня, когда я спускался по противоположному склону в прелестную долину Эры, небольшого притока Ионны, по направлению к городку Вермантону, еще более красиво расположенному, чем Сен-Бри.

Вскоре после Вермантона исчезают, однако, красоты природы. Постепенно надвигается более высокий хребет Фосильон, являющийся водоразделом между Сеной, Роной и Луарой. От Вермантона подъем продолжается несколько часов и тянется через длинное неплодородное плато, на котором рожь, овес и гречиха более или менее вытесняют пшеницу.

[Здесь рукопись обрывается.]

МАРКС И ПРУССКОЕ ПОДДАНСТВО.

Кельн, 4 сентября.

У главного редактора «Новой рейнской газеты» Карла Маркса возник конфликт из-за прусского подданства. Это обстоятельство является новым показателем того, к каким мерам прибегают, чтобы равными обманами взять назад данные в марте обещания. Как обстоит дело в этом отношении, видно из следующего документа, который Маркс направил министру внутренних дел г. Кюльветтеру.

Кельн, 22 августа 1848 г.

Господин министр!

Позволю себе обратиться к вам с апелляцией на касающуюся меня лично постановление здешних королевских властей.

В 1843 г. я покинул мою родину — Рейнскую Пруссию, чтобы временно поселиться в Париже. В 1844 г. я узнал, что из-за моих писаний королевским обер-президентом в Кобленце было дано соответствующим пограничным полицейским властям предписание о моем аресте. Это известие было также опубликовано в берлинских подцензурных газетах. С того времени я считал себя политическим эмигрантом. Позднее — в январе 1845 г. — по настоянию тогдашнего прусского правительства я был выслан из Франции и поселился в Бельгии. Но так как и в бельгийское министерство поступило представление прусского правительства о моей высылке, я, наконец, счел себя вынужденным потребовать исключения меня из числа граждан прусского государства. Лучшим доказательством того, что я лишь вынужденно прибег к выходу из прусского гражданства, служит то обстоятельство, что я не принял гражданства никакого другого государства, хотя мне это было предложено во Франции после февральской революции членами временного правительства.

После мартовской революции я вернулся на родину, и в апреле месяце вошел с ходатайством о предоставлении мне прав гражданства, каковые и были мне предоставлены местным муниципальным советом без всяких препятствий. Согласно закону от 31 декабря

1842 г., дело пошло на утверждение королевского правительства. Теперь я получил здесь от исполняющего обязанности полицей-директора г. Гейгера бумагу следующего содержания:

Его высокородию господину д-ру Марксу, здесь.

Уведомляю ваше высокородие, что королевское правительство, принимая во внимание то положение, в котором вы находились до настоящего времени, не нашло возможным применить в вашу пользу принадлежащее ему, согласно § 5 закона от 31 декабря 1842 г., право принимать иностранцев в прусское подданство. Поэтому вы впредь, как и доныне, должны считаться иностранцем (§§ 15 и 16 упомянутого закона).

Исполняющий обязанности полицей-директора

Гейгер.

Кельн, 3 августа 1848 г.

№ 2678.

Я считаю это постановление королевского правительства незаконным по следующим основаниям.

Согласно постановлению Союзного сейма, правом голоса и правом быть выбранным в Национальное собрание пользуются также политические эмигранты, если они вернулись в Германию и заявили о желании принять германское гражданство.

Постановление предпарламента, хотя и не имеющее прямой силы закона, но являющееся, однако, руководящим в области надежд и обещаний, данных германскому народу после революции, предоставляет активное и пассивное избирательное право даже тем политическим эмигрантам, которые стали *иностранцами гражданами*, но снова желают вступить в германское гражданство.

Во всяком случае постановление Союзного сейма и основанный на нем порядок выборов, установленный министерством Кампгаузена, имеет в Пруссии силу закона.

Так как в моем заявлении о предоставлении мне права жительства в Кельне мое желание вернуться в германское гражданство выражено достаточно ясно для того, чтобы я мог участвовать в выборах и быть выбранным в германское Национальное собрание, то я, во всяком случае, обладаю правом германского гражданства.

Если же я обладаю высшим правом, каким только может обладать немец, то тем менее мне может быть отказано в более ограниченном праве *прусского* гражданства.

Королевское окружное управление в Кельне ссылается на закон от 31 марта 1842 г. Но и этот закон в связи с вышеприведенным постановлением Союзного сейма говорит в мою пользу.

По § 15, пп. 1 и 3, право прусского гражданства теряется по ва-

явлению самого подданного или после его десятилетнего пребывания за границей. Многие политические эмигранты, вернувшиеся после революции на родину, пробыли за границей более десяти лет, — следовательно, перестали быть прусскими гражданами точно так же, как и я. Некоторые из них, например г. Я. Венедей, заседают даже в германском Национальном собрании. Прусские «полицейские власти» (§ 5 закона) могут, таким образом, лишить, если им только вздумается, этих германских законодателей права прусского гражданства.

Наконец, я считаю совершенно недопустимым, что здешнее королевское окружное управление или исполняющий обязанности полицей-директора г. Гейгер употребляют в присланном мне оповещении слово «подданство», в то время как и прежнее, и нынешнее министерства изгнали это слово из всех официальных документов и заменили его словом «гражданин государства». Столь же недопустимо, даже оставляя в стороне мое право прусского гражданства, называть германского гражданина «иностранцем».

Далее, если здешнее королевское окружное управление отказывается утвердить принятие меня в прусское гражданство «на основании того положения, в котором я находился до настоящего времени», то это не может относиться к моему материальному положению, так как, согласно точному смыслу закона от 31 декабря 1842 г., выносить постановления по этому вопросу может только кельнский муниципальный совет, а он решил этот вопрос в мою пользу. Это может относиться только к моей деятельности в качестве главного редактора «Новой рейнской газеты», и тогда должно быть сказано: «на основании моих демократических убеждений и моего оппозиционного отношения к существующему правительству». Но если бы здешнему окружному управлению или министру внутренних дел в Берлине даже и принадлежало право, — что я отрицаю, — в этом специальном, относящемся к постановлению Союзного сейма случае отказать мне в праве прусского гражданства, то подобные тенденциозные мотивы могли иметь значение только в старом полицейском государстве, но ни в каком случае не в революционизированной Пруссии с ее ответственным правительством.

Наконец, я должен еще отметить, что г. полицей-директор Мюллер, которому я заявил о невозможности для меня перевода моей семьи в Кельн при создавшемся неопределенном положении, заверил меня, что восстановление меня в правах гражданства не встретит никаких препятствий.

Ввиду всех этих соображений я требую, чтобы вы, господин

министр, отдал распоряжение здешнему кельнскому окружному управлению об утверждении предоставленного мне местным муниципальным советом права жительство и тем самым о восстановлении меня в правах прусского гражданина.

Примите, господин министр, уверения в моем совершенном почтении.

Карл Маркс.

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТР.
Предисловие редактора	VII
<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Маркс и «Новая рейнская газета»	1
(«Der Sozialdemokrat», 1884, экстренный выпуск вместо перехваченного полицией № 8 — 9).	
<i>К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Революция и контр-революция в Германии	13
(«New York Daily Tribune», 1851 — 1853 гг.)	
I. [Германия накануне революции]	15
(25 октября 1851 г.)	
II. [Прусское государство]	24
(28 октября 1851 г.)	
III. [Другие немецкие государства]	33
(6 ноября 1851 г.)	
IV. [Австрия]	38
(7 ноября 1851 г.)	
V. [Восстание в Вене]	44
(12 ноября 1851 г.)	
VI. [Восстание в Берлине]	47
(28 ноября 1851 г.)	
VII. [Франкфуртское национальное собрание]	52
(27 февраля 1852 г.)	
VIII. [Поляки, чехи и немцы. — Панславизм. — Шлезвиг-голь-	
IX. штинская война]	57
(5 и 15 марта 1852 г.)	
X. [Парижское восстание. — Франкфуртское собрание] . . .	64
(18 марта 1852 г.)	
XI. [Венское восстание]	68
(19 марта 1852 г.)	
XII. [Штурм Вены. — Обман Вены]	73
(9 апреля 1852 г.)	
XIII. [Прусское собрание. — Национальное собрание]	80
(17 апреля 1852 г.)	
XIV. [Восстановление порядка. — Собрание и палата]	84
(22 апреля 1852 г.)	
XV. [Торжество Пруссии]	89
(27 июля 1852 г.)	
XVI. [Собрание и правительства]	93
(19 августа 1852 г.)	
XVII. [Восстание]	97
(18 сентября 1852 г.)	
XVIII. [Мелкая буржуазия]	101
(2 октября 1852 г.)	
XIX. [Конец восстания]	105
(23 октября 1852 г.)	

	СТР.
<i>К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Статьи из «Новой рейнской газеты»	111
(Июнь — начало ноября 1848 г.)	
Франкфуртское национальное собрание	113
Франкфуртское собрание	115
(№ 1 от 1 июня 1848 г.)	
Демократическая партия	119
(№ 2 от 2 июня 1848 г.)	
Программа радикально-демократической партии и франкфуртской левой	122
(№ 7 от 7 июня 1848 г.)	
Заккрытие клубов в Штуттгарте и Гейдельберге	127
(№ 20 от 20 июня 1848 г.)	
Франкфуртское национальное собрание (Руге)	129
(№ 13 от 13 июня 1848 г.)	
Учредительное собрание в Берлине и министерство Кампгаузена	133
Декларация Кампгаузена в заседании 30 мая	135
(№ 3 от 3 июня 1848 г.)	
Вопросы жизни и смерти	139
(№ 4 от 4 июня 1848 г.)	
Революция, а не эпизод	142
(№ 4 от 4 июля 1848 г.)	
Реакция	143
(№ 6 от 6 июня 1848 г.)	
Согласительные дебаты	145
(№ 7 от 7 июня 1848 г.)	
Вопрос об адресе	149
(№ 8 от 8 июня 1848 г.)	
Седьмой раздел Польши	154
(№ 9 от 9 июня 1848 г.)	
Щит династии	156
(№ 10 от 10 июня 1848 г.)	
Кельн в опасности	158
(№ 11 от 11 июня 1848 г.)	
Берлинские дебаты о революции	162
I. (№ 14 от 14 июня 1848 г.)	162
II. (№ 15 от 15 июня 1848 г.)	165
III. (№ 16 от 16 июня 1848 г.)	169
IV. (№ 17 от 17 июня 1848 г.)	174
Согласительное заседание 15 июня	178
(№ 18 от 18 июня 1848 г.)	
Согласительное заседание 17 июня	179
(№ 20 от 20 июня 1848 г.)	
Пражское восстание	184
(№ 18 от 18 июня 1848 г.)	
Поправка Штуппа	187
(№ 21 от 21 июня 1848 г.)	
Новая политика в Познани	191
(№ 21 от 21 июня 1848 г.)	
Падение министерства Кампгаузена	193
(№ 23 от 23 июня 1848 г.)	
Июньская бойня в Париже и ее влияние на Германию	195
Известия из Парижа	197
I. (№ 27 от 27 июня 1848 г.)	197
II. (№ 29 от 29 июня 1848 г.)	198
Ход движения в Париже	202
I. (№ 31 от 1 июля 1848 г.)	202
II. (№ 32 от 2 июля 1848 г.)	206

	СТР.
23 — 24 июня в Париже	211
I. (№ 28 от 28 июня 1848 г.)	211
II. (№ 28 от 28 июня 1848 г.)	215
«Кельнская газета» об июньской революции	220
(№ 31 от 1 июля 1848 г.)	
Парижская «Réforme» об июньском восстании	227
(№ 123 от 22 октября 1848 г.)	
<i>Внешняя политика Национального собрания в Франкфурте и Учредительного собрания в Берлине.</i>	229
Первое деяние германского Национального собрания	231
(№ 23 от 23 июня 1848 г.)	
«Новая берлинская газета» о чартистах	233
(№ 24 от 24 июня 1848 г.)	
Угроза «Газеты Гервинуса»	235
(№ 25 от 25 июня 1848 г.)	
Внешняя политика Германии	237
(№ 33 от 3 июля 1848 г.)	
Письмо редактору газеты «Alba»	240
(«Neue Zeit», 1896 — 1897, II. В., S. 666 — 667)	
Туринская «Concordia»	241
(№ 55 от 25 июля 1848 г.)	
Внешняя политика Германии и последние события в Праге	242
(№ 42 от 12 июля 1848 г.)	
«Кельнская газета» об английских порядках	246
(№ 62 от 1 августа 1848 г.)	
Русская нота	251
(№ 64 от 3 августа 1848 г.)	
«Кельнская газета» об Италии	258
(№ 87 от 27 августа 1848 г.)	
Бунзен	261
(№ 135 от 5 ноября 1848 г.)	
<i>Учредительное собрание в Берлине и министерство Ганземана.</i>	265
Министерство Ганземана	267
(№ 24 от 24 июня 1848 г.)	
Записка Патова о выкупе	269
(№ 25 от 25 июня 1848 г.)	
Согласительные дебаты	271
(№ 34 от 4 июля 1848 г.)	
Аресты	276
(№ 35 от 5 июля 1848 г.)	
Министерство дела	279
(№ 39 от 9 июля 1848 г.)	
Согласительное заседание 4 июля	280
(№ 41 от 11 июля 1848 г.)	
Г-н Форстман о государственном кредите	289
(№ 44 от 14 июля 1848 г.)	
Согласительные дебаты о предложении Якоби	292
I. (№ 48 от 18 июля 1848 г.)	292
II. (№ 49 от 19 июля 1848 г.)	296
III. (№ 53 от 23 июля 1848 г.)	299
IV. (№ 55 от 25 июля 1848 г.)	304
Прусский законопроект о печати	309
(№ 50 от 21 июля 1848 г.)	
Законопроект о гражданском ополчении	312
I. (№ 51 от 21 июля 1848 г.)	312
II. (№ 52 от 22 июля 1848 г.)	316
III. (№ 54 от 24 июля 1848 г.)	320
Законопроект о принудительном займе и его мотивировка	324
I. (№ 56 от 26 июля 1848 г.)	324

	Стр.
II. (№ 60 от 30 июля 1848 г.)	328
«Нельнская газета» о принудительном займе	333
(№ 65 от 4 августа 1848 г.).	
Законопроект о феодальных поборах	335
(№ 60 от 30 июля 1848 г.).	
Министерство Ганземана и старо-прусский проект уложения о наказаниях	341
(№ 65 от 4 августа 1848 г.)	
Прения по поводу действующего законодательства о выкупе	343
(№ 67 от 6 августа 1848 г.).	
<i>Бельгийские дела</i>	349
«Образцовое государство» Бельгия	351
(№ 68 от 7 августа 1848 г.).	
Смертные приговоры в Антверпене	354
(№ 93 от 3 сентября 1848 г.).	
«Образцовое конституционное государство»	358
(№ 123 от 22 октября 1848 г.)	
<i>Польский вопрос в немецкой революции</i>	361
Пруссия в Польше	363
(№ 55 от 25 июля 1848 г.).	
Прения по польскому вопросу во Франкфурте	368
I. (№ 70 от 9 августа 1848 г.)	368
II. (№ 73 от 12 августа 1848 г.)	376
III. (№ 81 от 20 августа 1848 г.)	382
IV. (№ 82 от 22 августа 1848 г.)	386
V. (№ 86 от 26 августа 1848 г.)	393
VI. (№ 90 от 31 августа 1848 г.)	398
VII. (№ 91 от 1 сентября 1848 г.)	403
VIII. (№ 93 от 3 сентября 1848 г.)	406
IX. (№ 96 от 7 сентября 1848 г.)	412
<i>Шлезвиг-гольштинская война</i>	417
Перемирие с Данией	419
I. (№ 52 от 22 июля 1848 г.)	419
II. (№ 97 от 8 сентября 1848 г.)	423
III. (№ 99 от 10 сентября 1848 г.)	427
Ратификация перемирия	432
(№ 107 от 20 сентября 1848 г.).	
<i>Падение министерства Ганземана</i>	435
Падение министерства дела	437
(№ 99 от 10 сентября 1848 г.).	
Кризис и контр-революция	440
I. (№ 100 от 12 сентября 1848 г.)	440
II. (№ 101 от 13 сентября 1848 г.)	441
III. (№ 102 от 14 сентября 1848 г.)	443
IV. (№ 104 от 16 сентября 1848 г.)	447
Свобода дебатов в Берлине	448
(№ 105 от 17 сентября 1848 г.).	
<i>Восстания во Франкфурте и Кельне.</i>	451
Восстание во Франкфурте	453
I. (№ 107 от 20 сентября 1848 г.)	453
II. (№ 108 от 21 сентября 1848 г.)	455
«Кельнская революция»	458
(№ 115 от 13 октября 1848 г.)	
<i>Министерство Пфуля, венская октябрьская революция</i>	461
Министерство Пфуля	463
(№ 116 от 14 октября 1848 г.)	
«Франкфуртская главная почтовая газета» и венская революция	464
(№ 120 от 19 октября 1848 г.)	

	Стр.
Ответ прусского короля депутации Национального собрания . . . (№ 120 от 19 октября 1848 г.)	466
Ответ Фридриха-Вильгельма IV депутации гражданского ополчения (№ 121 от 20 октября 1848 г.)	467
<i>Французские дела</i>	469
Парижская «Réforme» о положении во Франции (№ 133 от 13 ноября 1848 г.)	471
Речь Тьера о всеобщем ипотечном банке (№ 116 от 14 октября 1848 г.)	474
Англо-французское посредничество в Италии (№ 123 от 22 октября 1848 г.)	479
<i>Падение Вены.</i>	481
Речь Бассермана об убийстве Лихновского (№ 123 от 22 октября 1848 г.)	483
Обер-прокурор Геккер и «Новая рейнская газета» (№ 129 от 29 октября 1848 г.)	486
О революции в Вене (№ 133 от 3 ноября 1848 г.)	491
Последние известия из Вены (№ 135 от 5 ноября 1848 г.)	493
Падение Вены (№ 136 от 7 ноября 1848 г.)	495

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Господин Кавеньяк	501
(«Neue Rheinische Zeitung»)	
I. (№ 142 (2-е изд.) от 14 ноября 1848 г.)	501
II. (№ 145 (приложение) от 17 ноября 1848 г.)	504
III. (№ 146 от 18 ноября 1848 г.)	507
IV. (№ 147 (2-е изд.) от 19 ноября 1848 г.)	511
V. (№ 157 от 1 декабря 1848 г.)	514
VI. (№ 158 от 2 декабря 1848 г.)	516
VII. (№ 273 от 13 апреля 1849 г.)	517
Из Парижа в Берн. (<i>Ф. Энгельс.</i>)	520
(Рукопись)	
I. Сена и Луара	520
II. Бургундия	533
Маркс и прусское подданство (<i>Ф. Энгельс.</i>)	539
(«Neue Rheinische Zeitung» № 94 от 5 сентября 1848 г.)	

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

1. Страница «Нью-йоркской трибуны» от 25 октября 1851 г. с первой статьей из «Революции и контр-революции в Германии»	16—17
2. Первый номер «Новой рейнской газеты» от 1 июня 1848 г. (первая страница)	116—117
3. Номер «Новой рейнской газеты» от 29 июня 1848 г. со статьей об июньских днях в Париже	200—201
4. Начало рукописи Энгельса «Из Парижа в Берн»	520—521
5. План маршрута из Парижа в Берн, сделанный Энгельсом	536—537

